

КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ

# КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ

ВОСПОМИНАНИЯ,  
СНОВИДЕНИЯ,  
РАЗМЫШЛЕНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ  
СНОВИДЕНИЯ  
РАЗМЫШЛЕНИЯ





КАРЛ ГУСТАВ  
ЮНГ

---

ВОСПОМИНАНИЯ,  
СНОВИДЕНИЯ,  
РАЗМЫШЛЕНИЯ

**УДК 159.9**  
**ББК 88**  
**Ю 50**

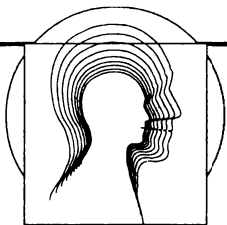
**Научный редактор перевода:**

Кандидат психологических наук, заведующий Научно-исследовательской лабораторией практической психологии Европейского гуманитарного университета — *Поликарпов В. А.*

- Юнг К. Г.**  
Ю 50 **Воспоминания, сновидения, размышления.** — Мн.: ООО «Харвест», 2003. — 496 с.  
**ISBN 985-13-1220-7.**

Карл Густав Юнг (1875—1961) — всемирно известный швейцарский психолог и философ, основатель «аналитической психологии». Его работы «Воспоминания, сновидения, размышления» и «Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе» составляют содержание данной книги.

**УДК 159.9**  
**ББК 88**



**Воспоминания,  
сновидения,  
размышления**

1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

## Предисловие

He looked at his own Soul with a Telescope.  
What seemed all irregular he saw and shewed  
to be beautiful Constellations and he added to  
the Consciousness hidden worlds within worlds.

*Coleridge. Note book*<sup>1</sup>.

Летом 1956 года на конференции «Эраноса» в Асконе издатель Курт Вольф сообщил, что хотел бы опубликовать в нью-йоркском издательстве «Pantheon books» биографию Карла Густава Юнга. Доктор Иоланда Якоби, долгое время сотрудничавшая с Юнгом, предложила взять на себя работу биографа.

Все понимали, что сделать это будет непросто, поскольку Юнг не желал выставлять напоказ свою личную жизнь. И действительно, только после долгих сомнений и колебаний он нашел для меня время. Мы встречались раз в неделю после обеда. И если учесть, что работал Юнг ежедневно и напряженно, а утомлялся быстро (ему было уже за восемьдесят), на это уходила значительная часть его рабочего времени.

Работать мы начали весной 1957 года. По замыслу Курта Вольфа книга должна была выглядеть не как «биография», а как «автобиография», т. е. быть написанной от лица самого Юнга. Моя задача состояла лишь в том, чтобы задавать вопросы и записывать ответы. Первое время Юнг был довольно скрытен, но вскоре работа ему понравилась и он стал относиться к

---

<sup>1</sup> Он взглянул на свою душу в телескоп. То, что раньше представлялось совершенно беспорядочным, оказалось прекрасными созвездиями, ему открылись скрытые миры внутри миров. *Колридж. Записная книжка.*

ней с большим интересом. Он начал рассказывать о себе, своем становлении, своих сновидениях и размышлениях, и его это захватило.

К концу года отношение Юнга к нашим совместным усилиям совершенно переменилось. Мы затронули скрытые глубоко в подсознании образы его детства, и он ощутил их связь с идеями работ, которые писал в конце жизни, не вполне осознавая, на мой взгляд, характер этой связи. Однажды утром он сообщил мне, что хочет сам записать воспоминания детства. К этому времени он рассказал уже многое, но в моих записях все еще оставались большие пробелы.

Его решение явилось приятной неожиданностью — я знала, с каким напряжением Юнг писал. В последние годы он ничего подобного не предпринимал, если только не чувствовал некоторого «внутреннего обязательства». Теперь ему казалось, что работа над «автобиографией» внутренне оправданна.

Вот одно из замечаний, относящихся к тому периоду, которое я записала: «Книга для меня — всегда вопрос судьбы. В процессе писания есть что-то непредсказуемое, и я не в состоянии задать себе какое-либо направление. Так, эта «автобиография» принимает теперь направленность, совершенно отличную от той, что представлялась мне вначале. Я чувствую необходимость записать ранние воспоминания, и, если не занимаюсь этим хотя бы день, у меня немедленно возникают неприятные физические симптомы. Стоит же мне сесть за работу, они исчезают, и я ощущаю в голове полную ясность».

В апреле 1958 года были написаны главы о детстве, школьных годах и университетском периоде. Сначала Юнг дал им общее название — «О ранних событиях в моей жизни». Эти главы заканчивались 1900-м годом, когда он завершил медицинское образование.

В январе 1959 года Юнг жил в своем загородном доме в Боллингене. Каждое утро он посвящал чтению избранных глав нашей книги, к этому времени ее форма уже стала вырисовываться. Возвращая мне главу «О жизни после смерти», он сказал: «Во мне что-то сдвинулось, и я чувствую потребность писать». Так появились «Поздние мысли», где были отражены самые глубокие и последовательные его убеждения.



Тогда же, летом 1959 года, Юнг написал главу о Кении и Уганде. Раздел об индейцах пуэбло мы взяли из его неоконченной рукописи, посвященной психологии примитивных народов.

Чтобы завершить главы «Зигмунд Фрейд» и «Встреча с бессознательным», я заимствовала кое-какие фрагменты из семинара 1925 года, на котором Юнг впервые заговорил о внутреннем развитии.

Глава «Психиатрическая деятельность» основана на беседе Юнга с молодыми ассистентами цюрихской психиатрической клиники Бургхёльцли в 1956 году, где один из его внуков работал психиатром. Беседа происходила в доме Юнга в Кюснахте.

Прочитав рукопись, Юнг остался ею доволен. Где-то он исправил целые абзацы или добавил новый материал. Я в свою очередь воспользовалась записями наших бесед, чтобы дополнить главы, которые он написал сам, подробнее изложила факты, убрала повторения. Но в дальнейшем провести грань между моим участием в работе над книгой и его собственным вкладом было уже почти невозможно.

Генезис книги в какой-то степени определил ее содержание. Беседе или спонтанному повествованию всегда свойственна определенная непоследовательность. И этот тон распространился на всю «автобиографию». Главы — это стремительно распространяющиеся лучи света, которые лишь на мгновение выхватывают внешние события жизни Юнга и его деятельность. Но недостаточное освещение внешних событий компенсировалось погружением в атмосферу его внутренней жизни, в переживания человека, для которого душа была совершенно реальной сущностью. Я часто просила Юнга поподробнее рассказать о внешних событиях, но мои просьбы оставались без ответа. Только духовное содержание жизненного опыта осталось в его памяти, и только оно казалось ему достойным повествования.

Эти изначальные препятствия личного характера оказались существеннее, чем трудности формальной организации текста, и Юнг так объясняет это в письме к другу студенческих лет. Во второй половине 1957 года, отвечая на просьбу записать воспоминания молодости, он пишет:

«...Вы безусловно правы. Когда мы стареем, к нам возвращаются воспоминания нашей молодости, и причины этого кроются

не только в нас. Когда-то, около тридцати лет назад, мои ученики просили меня рассказать, как я пришел к понятию бессознательного. Я исполнил их просьбу, организовав семинар. За последние годы в различной форме мне были высказаны предложения сделать нечто подобное и в отношении автобиографии. Не могу представить себя в этой роли. Я знаком со слишком многими автобиографиями, с их самообманом и прямой ложью, и слишком хорошо осознаю невозможность описать себя, чтобы у меня возникло желание предпринять такую попытку.

В последнее время меня просят дать сведения для моей автобиографии, и, отвечая на вопросы, я обнаружил скрытые в моих воспоминаниях объективные проблемы, которые, похоже, заслуживают более пристального внимания. Пораздумав, я решил на какое-то время отложить остальные дела, чтобы обратиться к истокам своей жизни и объективно их исследовать. Поставленная цель оказалась крайне трудной и необычной, для ее достижения мне пришлось пообещать себе, что результаты не будут опубликованы при моей жизни. Эта мера, на мой взгляд, обеспечит необходимые спокойствие и отстраненность. Как выяснилось, все воспоминания, сохранившие яркость, были связаны с эмоциональными переживаниями, причинявшими мне беспокойство и вызывавшими сильные чувства, — едва ли это достаточное условие для беспристрастного повествования! Ваше письмо «естественно» пришло в тот самый момент, когда я фактически решил на подобную попытку.

Судьба распорядилась таким образом — как, собственно, всегда и бывало, — что все внешнее в моей жизни всегда оказывалось случайным, и лишь внутреннее имело смысл и значение. В результате все воспоминания о внешних событиях поблекли, а, возможно, эти «внешние» опыты жизни вообще никогда не были особенно важны или были важны лишь постольку, поскольку совпадали с фазами моего внутреннего развития. Огромная часть этих «внешних проявлений» исчезла из памяти как раз потому (как мне казалось), что я участвовал в них, тратя на них энергию. Но ведь именно внешние события являются главными компонентами общепринятой биографии. Это — люди с которыми вы встречались, путешествия, приключения, затруднительные обстоятельства, удары судьбы и т. д. Однако, за некоторыми ис-

ключениями, все эти вещи превратились для меня в фантомы, которые я вспоминаю с трудом — они более не волнуют воображение.

Воспоминания о «внутренних» переживаниях, напротив, стали более отчетливыми и красочными. И здесь возникает проблема описания, с которой я едва ли способен справиться, по крайней мере сейчас. По этим причинам, к моему великому сожалению, я не могу удовлетворить вашу просьбу».

Надо сказать, процитированное письмо типично для Юнга. Хотя он уже и «решился сделать попытку», тем не менее в конце последовал отказ. До самой смерти он не мог окончательно определиться между «да» и «нет». Всегда оставался некий скепсис, некоторая скованность перед читающей публикой. Он рассматривал эти биографические записи не как научный труд, и даже не как собственную книгу, а скорее как свой вклад в «проект Аниэлы Яффе», как он называл нашу с ним работу. Особо он настаивал, чтобы эту книгу не включали в собрание сочинений.

Юнг бывал чрезвычайно скрытен, упоминая о своих встречах с людьми, шла ли речь об известных лицах, или о близких друзьях и родственниках. «Я был знаком, — замечал он, — со многими известными людьми моего времени, людьми, занимавшими выдающееся место в науке или политике, с исследователями, артистами и писателями, принцами и финансовыми магнатами, но, если быть честным, я вынужден признать, что только несколько таких встреч стали для меня событием. В целом, наши встречи скорее напоминали встречи кораблей в море, когда они приспускают флаги, приветствуя друг друга. К тому же эти люди обычно желали узнать у меня о чем-то таком, что не подлежит огласке. Так что во мне не осталось никаких воспоминаний об этих людях, какую бы ценность они ни представляли в глазах мира. Наши встречи были бессодержательны, скоро позабылись и не имели никакого серьезного влияния. А об отношениях с людьми, которые были для меня жизненно важными и о которых я вспоминаю теперь с чувством отстраненности, я говорить не могу, поскольку они касаются не только моей интимной жизни, но и интимной жизни других. Это не по мне — открывать публике то, что закрыто навсегда».

Однако, недостаток внешних событий, с избытком искупается отчетами о событиях жизни внутренней, о мыслях и чувствах, которые, как считал Юнг, составляют неотъемлемую часть его биографии. Это справедливо прежде всего по отношению к его религиозным переживаниям. В этой книге заключено религиозное кредо Юнга.

Религиозные вопросы предстают в ней как различные стороны его жизненного опыта: здесь и детские откровения, определившие отношения Юнга с религией до самого конца жизни, и вечное любопытство ко всему, что связано с внутренним миром человека, — иными словами, это потребность знать, столь характерная для его научного творчества. И последнее, но чуть ли не самое важное, — это осознание себя врачом. В первую очередь Юнг и рассматривал себя как врача, осознающего, что религиозные чувства его пациентов играли решающую роль в лечении психических заболеваний. Это наблюдение совпало с открытием, что человеческое сознание спонтанно создает образы религиозного содержания, что многочисленные неврозы (особенно во второй половине жизни) происходят от невнимания к этому особому свойству нашей души.

То, как Юнг понимал религию, во многом отличалось от традиционного христианства — особенно, когда речь шла о проблеме зла и об идее Бога (который у Юнга не так уж добр и далеко не всегда «благ»). С точки зрения догматического христианства Юнг предстает очевидным еретиком. Такова, несмотря на его мировую славу, была реакция на его работы. Это огорчало его; часто в этой книге проскальзывает разочарование человека, религиозные идеи которого не были поняты должным образом. Не единожды он мрачно говорил: «Они бы сожгли меня как средневекового еретика!». Лишь после его смерти все большее число теологов стало признавать, что Юнг был несомненно выдающейся фигурой в религиозной истории нашего века.

Он доказал свою верность христианству, и наиболее важные его труды посвящены именно проблемам христианства. Они написаны с позиции психологии, и Юнг намеренно связывал психологию и теологию. Тем самым он подчеркивал необходимость осмысления там, где христианство требует лишь веры. Эта необходимость была для него само собой разумеющейся, она стала

неотъемлемой частью его жизни. «Я обнаружил, что все мои мысли, выстраиваясь как планеты вокруг солнца, образуют круг с центром в Боге, и непреодолимо стремятся к Нему. Я чувствую, что совершил бы серьезнейший грех, если бы стал оказывать какое-либо сопротивление этой силе», — писал он в 1952 году одному молодому пастору.

В этой книге — единственной из огромного количества его работ — Юнг говорит о Боге и своем ощущении Бога. Вспоминая свой юношеский бунт против церкви, он сказал: «Тогда мне стало понятно, что Бог (во всяком случае, для меня) — это один из наиболее непосредственно воспринимаемых образов». В научных работах Юнг редко упоминал о Боге, предпочитая термин «образ бога в человеческом сознании». Здесь нет противоречия. В одном случае перед нами субъективный язык, основанный на внутреннем опыте, в другом — объективный язык научного описания. В первом случае Юнг говорит как человек, чьи мысли подвержены воздействию чувств и страстей, интуитивных ощущений и переживаний долгой и необыкновенно богатой содержанием жизни; во втором — как ученый, сознательно ограничиваясь тем, что может быть продемонстрировано и доказано. В этом смысле Юнг — эмпирик. Когда в этой книге он говорит о своем религиозном опыте, он полагает, что читатели его поймут. Его субъективные утверждения могут быть приемлемы лишь для тех, кто имел сходные переживания или, говоря иначе, в чьей душе образу Бога свойственны те же или сходные черты.

Несмотря на то что Юнг одобрительно и деятельно отнесся к созданию «автобиографии», к ее опубликованию он в течение долгого времени относился — по вполне понятным причинам — крайне критически, чтобы не сказать отрицательно. Его сильно беспокоила реакция публики, во-первых, из-за откровенности, с которой он поведал о своих религиозных переживаниях и мыслях, и во-вторых, потому что до сих пор ощущалась враждебность, вызванная его книгой «Ответ Иову», а непонимание и недопонимание воспринималось им слишком болезненно. «Я хранил этот материал всю мою жизнь, но никогда не собирался представлять его миру, потому что в этом случае нападки ранят меня гораздо больше, чем в случае с другими книгами. Не знаю, буду ли я духовно

отдален от этого мира настолько, что окажусь недосыгаемым для критических стрел и смогу вынести неприязненную реакцию. Я достаточно страдал от непонимания и изоляции, в которую попадает человек, когда говорит вещи, другим непонятные. Если «Ответ Иову» встретил столь резкое непонимание, то мои «Воспоминания» ожидает еще более несчастная судьба. Автобиография — это моя жизнь, рассмотренная в свете знаний, которые я приобрел благодаря научным занятиям. Моя жизнь и моя научная работа составляют единое целое, и потому книга эта предъявляет большие требования к людям, которые не знают или не могут понять мои научные идеи. В некотором смысле именно моя жизнь была воплощением моих работ, а не работы — ее воплощением. То, что я есть, и то, что я пишу, — едино. Все мои идеи и все мои усилия — это я. Таким образом, автобиография — это всего лишь точка над *i*».

За время создания книги воспоминания все больше объективировались. С каждой следующей главой Юнг как бы уходил от себя все дальше, пока не смог взглянуть на себя, свою жизнь и работу со стороны. «Если бы меня спросили о значимости моей жизни, это имело бы смысл в плане весьма отдаленной временной ретроспективы: с точки зрения прошлого века я могу сказать: да, моя жизнь чего-то стоила. На фоне же развития современных идей она не значит ничего». Осознание безликой исторической преемственности, выраженной в этих словах, ощущается и в самой книге, в чем читатель легко сможет убедиться.

Глава «О происхождении моих сочинений» несколько фрагментарна. Но по-другому и быть не могло, ведь собрание сочинений Юнга — это почти двадцать томов. Более того, Юнг никогда не чувствовал склонности к реферированию — ни в устной, ни в письменной форме. Когда его просили об этом, он отвечал в свойственной для него достаточно резкой манере: «Такого рода вещи находятся вне сферы моей деятельности. Я не вижу никакого смысла в публикации сжатого изложения работ, в которых я, ценой стольких усилий, разобрал все детали. Мне пришлось бы выкинуть все доказательства и полагаться на разного рода категорические утверждения, что не сделало бы мои результаты более понятными. Так жевательная деятельность парнокопытных, суть которой в срыгивании уже пережеванного, не вызывает у меня никакого аппетита...».

Поэтому читателю следует рассматривать эту главу как ретроспективный очерк, написанный по конкретному поводу, и не ожидать от него всесторонности.

В осуществлении этой благородной и такой трудной задачи мне помогали многие люди, которые проявляли к книге неослабевающий интерес, внося полезные предложения и критические замечания. Здесь я упомяну только Елену и Курта Вольф из Локарно, которые предложили идею создания этой книги, Марианну и Вальтера Иехус-Юнг из Кюснахта (Цюрих), помогавших мне словом и делом, и Р. Ф. С. Налла из Пальдиа-де-Маллорка, который дал мне ряд советов и помогал с неустанным терпением.

*Аниэла Яффе  
Декабрь 1961 г.*

# | Введение

Моя жизнь представляет собой историю самореализации бессознательного! Все, что есть в бессознательном, стремится к реализации, и человеческая личность, ощущая себя единым целым, хочет развиваться из своих бессознательных источников. Прослеживая это на себе, я не могу использовать язык науки, поскольку не рассматриваю себя как научную проблему.

То, чем мы представляемся нашему внутреннему взору, и то, что есть человек *sub specie aeternitatis* (с точки зрения вечности. — *лат.*), может быть выражено только через миф. Миф более индивидуален и отражает жизнь более точно, нежели наука. Она работает с идеями, слишком общими, чтобы соответствовать субъективному множеству событий одной единственной жизни.

Сейчас, в восемьдесят три года, я предпринимаю попытку объективно рассмотреть мою жизнь. Таким образом я создаю личный миф. Все, что я могу сделать, — это утверждать нечто, «рассказывать истории». Говорю я правду или нет — не важно. Важно лишь, что это *моя* история, *моя* правда.

Написать собственную биографию невероятно сложно: ведь когда мы судим о себе, у нас нет стандартов и нет объективных критериев. У нас изначально нет возможности сравнивать. Я знаю, что во многих отношениях не похож на других, но мне неизвестно, что же я такое в действительности. Человек не в состоянии сравнить себя ни с одним существом, он не обезьяна, не корова и не дерево. Я — человек. Но что это означает — быть человеком? Я отдельная часть безграничного Божества, но при этом я не могу сопоставить себя ни с животным, ни с растением, ни с камнем. Лишь мифологические герои обладают большими



возможностями, нежели человек. Но как же человеку составить о себе мнение?

Каждому из нас, предположительно, свойственен некий психический процесс, который нами не контролируется, а лишь частично направляется. Потому мы не в состоянии вынести окончательного суждения о себе или о своей жизни. Если бы мы могли — это означало бы, что мы знаем, но такое утверждение — не более чем претензия на знание. В глубине души мы никогда не знаем, что же на самом деле произошло. История жизни начинается для нас в случайном месте — с некой определенной точки, которую мы запомнили, и уже с этого момента наша жизнь становится чрезвычайно сложной. Мы вообще не знаем, чем она станет. Поэтому у истории нет начала, а о конце ее можно лишь высказывать смутные предположения.

Человеческая жизнь — опыт, не внушающий доверия; только взятый во множестве, он способен произвести впечатление. Жизнь одного человека так быстротечна, так недостаточна, что даже существование и развитие чего-либо является в буквальном смысле чудом. Я осознал это давно, еще будучи студентом-медиком, и до сих пор удивляюсь, что не был уничтожен еще до появления на свет.

Жизнь всегда казалась мне похожей на растение, которое питается от своего собственного корневища. В действительности же она невидима, спрятана в корневище. Та часть, что появляется над землей, живет только одно лето и потом увядает. Ее можно назвать мимолетным видением. Когда думаешь о концах и началах, не можешь отделаться от ощущения всеобщей ничтожности. Тем не менее меня никогда не покидало чувство, что нечто живет и продолжается под поверхностью вечного потока. То, что мы видим, лишь крона, и после того как она исчезнет, корневище останется.

В конце концов, единственные достойные упоминания события в моей жизни — это те, в которых непреходящий мир прорывался в наш — преходящий. Поэтому я главным образом говорю о внутренних переживаниях, к которым также отношу мои сны и видения. Эти формы — исходный материал моей научной работы. Они были магмой, из которой постепенно выкристаллизовался камень.

Остальные воспоминания о путешествиях, людях и окружающей обстановке поблекли рядом с событиями жизни внутренней. Многие люди были непосредственными участниками современных исторических событий и написали об этом; если читатель испытывает нужду в подобных свидетельствах, пусть обратится к ним. Но мои воспоминания о внешних событиях собственной жизни во многом потускнели или стерлись. Встречи же с иной реальностью, моя борьба с бессознательным, остались в памяти навсегда. В этом царстве я всегда находил избыток содержания, остальное же, напротив, содержание утрачивало.

И людей я запомнил лишь постольку, поскольку их имена входили в список, начертанный моей судьбой с самого начала, так что встречи с ними были связаны с внутренними переживаниями.

Эти переживания наложили свой отпечаток на все, что со мной происходило, они приобрели значение либо уже в юности, либо несколько позже. Я рано осознал, что, когда нет внутреннего отклика на вопросы и сложности жизни, их значение в конечном счете ничтожно. Внешние обстоятельства не заменяют внутренних переживаний, поэтому моя жизнь была на редкость бедна внешними событиями. Мне нечего о них сообщить, поскольку для меня они на удивление бессодержательны. Я могу оценить себя только в свете внутренних событий. Именно они придают уникальность моей жизни, и о них пойдет речь в моей «автобиографии».

## | Мое детство

Когда мне исполнилось шесть месяцев, мои родители переехали из Кессвиля (кантон Тюргау) в приход замка Лауфен, расположенного на Боденском озере в верховьях Рейна. Это случилось в 1875 году.

Я помню себя с двух или трех лет. Помню дом священника, сад, прачечную, церковь, водопады, величественную громаду Лауфена и миниатюрный замок Верц и ферму церковного сторожа. Это лишь маленькие островки воспоминаний, проплывающие в море смутных очертаний, каждый сам по себе, без связи с остальными.

Передо мной встает одно воспоминание, вероятно самое раннее в моей жизни, которое в действительности кажется неясным, туманным. Я лежу в детской коляске в тени дерева. Стоит чудесный, теплый летний день, небо голубое, и золотистый солнечный свет проникает сквозь зеленую листву. Верх коляски поднят. Я только что начал ощущать красоту этого дня, и мне неопишимо хорошо. Я вижу, как солнце просвечивает сквозь листья деревьев и цветущие кустарники. Все совершенно удивительно, ярко, великолепно.

Следующее воспоминание. Я сижу на высоком стуле в столовой, расположенной в западной части нашего дома, и черпаю ложкой теплое молоко с хлебными крошками. У молока приятный вкус и особенный запах. Я впервые тогда почувствовал запах молока. Это был момент, когда я, если можно так выразиться, вообще осознал существование запаха. Это тоже одно из очень ранних воспоминаний.

Еще одно воспоминание. Дивный летний вечер. Тетка говорит мне: «А теперь я хочу тебе что-то показать». Она выводит

меня на дорогу в Дахсен. Далеко на горизонте высятся Альпы в багряном пламени заката. Альпы в тот вечер были видны очень отчетливо. «Взгляни-ка туда, какие красные горы», — говорит она. Именно тогда я в первый раз осознанно смотрел на Альпы. Потом я услышал, что завтра ребята из Дахсена едут на экскурсию в Цюрих и побывают в горах. Мне ужасно хотелось отправиться с ними!

Увы, оказалось, что таких маленьких детей, как я, не берут, и тут уж ничего не поделаешь. С этого момента горы и Цюрих стали для меня недостижимой сказочной страной с пылающими снежными вершинами.

Воспоминание более позднее. Мать взяла меня с собой в Тюргау, она собиралась навестить друзей, живущих в замке на Боденском озере. Меня не могли оттащить от воды. Волны, оставляемые пароходом, выплескивались на берег, солнце сверкало на воде, и видно было ребристое песчаное дно. Озеро казалось огромным, и водная гладь доставляла мне неизъяснимое наслаждение. В эти минуты я вдруг четко осознал, что должен жить возле какого-нибудь озера; без воды, подумал я, жить вообще невозможно.

Вот еще одно воспоминание. Чужие люди, суматоха, шум. Служанка вбегает с криком: «Рыбаки нашли труп — приплыл через водопады, они хотят занести его в прачечную». Мой отец отвечает: «Да, да, конечно». Мне почему-то очень захотелось увидеть мертвое тело. Мать удерживает меня и строго запрещает выходить в сад, но, как только мужчины уходят, я незаметно проникаю в сад и бегу к прачечной, но дверь туда заперта. Я обхожу дом сзади и смотрю на спускающийся по склону желоб, откуда тонкой струйкой вытекают кровь и вода. Мне это кажется необыкновенно интересным. Тогда мне было года четыре, не больше.

Другая картина. Я не могу уснуть, мечусь, дрожу. Отец берет меня на руки. Он ходит взад-вперед, напевая старые студенческие песни. Одну я помню особенно хорошо, она мне очень нравилась и всегда меня успокаивала. «Все молчит, все поникло...», — начало было примерно такое. Даже сегодня я помню, как звучал в ночной тишине его голос.

...У меня была экзема, как позже я узнал от матери. Вокруг смутные намеки на неблагополучный брак моих родителей. Моя

болезнь в 1878 году, очевидно, была вызвана их временным расставанием. Мать тогда провела несколько месяцев в больнице в Базеле, и, болезнь ее, по-видимому, тоже была связана с семейными неурядицами. Меня взяла к себе незамужняя тетка, которая была почти на двадцать лет старше матери. Я помню, что был очень обеспокоен отсутствием матери. С тех пор я всегда чувствовал недоверие, когда кто-нибудь при мне произносил слово «любовь». Чувство, которое у меня ассоциировалось со словом «женщина», было чувством естественной незащищенности. С другой стороны, слово «отец» означало надежность и — слабость. Это был подсознательный импульс, с которого все начиналось. Позднее мои ранние впечатления откорректировались: я доверял друзьям мужчинам — и был разочарован, не доверял женщинам — и не обманулся.

Пока матери не было, за мной приглядывала и наша служанка. До сих пор помню, как она берет меня и кладет мою голову себе на плечо. У нее были черные волосы и смуглая кожа, и она совершенно не походила на мою мать. Я даже сейчас вижу линию ее волос, шею и родинки на ней, ее ухо. Все это казалось мне тогда очень странным и вместе с тем знакомым. Как будто она принадлежала не моей семье, а только мне, как будто она была связана каким-то образом с другими таинственными вещами, которых я не понимал. Этот тип девушки потом стал частью моего духовного существа, моей анимы. Ощущение странности, которое от нее исходило, и чувство, что я знал ее всегда, воплощали для меня с тех пор некую женственную суть.

С тех времен, когда родители жили раздельно, во мне сохранился еще один образ: молодая, хорошенькая, очень обаятельная девушка с синими глазами и светлыми волосами. Ясным светлым осенним днем она ведет меня вдоль Рейна, ниже водопада, под золотистыми кленами и каштанами вблизи замка Верц. Солнце светит сквозь листву, и на земле лежат желтые листья. Эта девушка впоследствии стала матерью моей жены. Она восхищалась моим отцом. Второй раз я увидел ее, когда мне исполнился двадцать один год.

Это мои воспоминания о «внешних» событиях. То же, что следует теперь — гораздо более сильные, хотя не вполне ясные образы. Было падение с лестницы, например, и другое паде-

ние — на острый угол плиты. Я помню боль и кровь, врача, зашивающего рану у меня на голове, — шрам от нее оставался заметным, даже когда я учился в старших классах гимназии. Мать рассказывала, как однажды я переходил мост над рейнскими водопадами, ведущий в Нойгаузен. Служанка схватила меня как раз вовремя, я уже просунул одну ногу под ограждение и вот-вот готов был соскользнуть вниз. Это указывает, по-видимому, на бессознательное желание совершить самоубийство или на неизбежное сопротивление жизни в этом мире.

В то время меня тревожили смутные ночные страхи. Иногда я слышал, как *кто-то* ходит по дому. Здесь постоянно был слышен несмолкаемый шум рейнских водопадов, и приближаться к ним было опасно. Тонули люди, их тела выносило на скалистые уступы. Неподалеку на кладбище церковный сторож неумоимо копал ямы, выбрасывая груды свежей коричневой земли. Торжественного вида люди, одетые в длинные черные одеяния и необычно высокие шляпы, обутое в сверкающие черные ботинки, проносили черный гроб. Мой отец был там в своем священническом облачении, он говорил что-то звучным голосом. Женщины плакали. Мне объяснили, что кто-то похоронен в этой яме. Некоторые люди, которых я видел раньше, внезапно исчезали. Потом говорили, что их похоронили и что Иисус Христос взял их к себе.

Моя мать научила меня молитве, которую я должен был читать каждый вечер. Я рад был это делать, потому что молитва успокаивала меня перед лицом смутных образов ночи.

*Распрости крылья,  
Милосердный Иисусе,  
И прими птенца Твоего.  
Если дьявол захочет уловить его,  
Вели ангелам петь:  
Этот ребенок должен остаться незревшим!*

«Her Jesus» был уютным, благодушным господином (совсем как герр Вегенштайн из замка), он был почтенный, богатый, влиятельный, он защищал маленьких детей по ночам. Почему он должен быть крылатым как птица, было загадкой, которая меня не волновала. Куда более важным и наводящим на размышле-

ния было сравнение детей с птенцами, которых «Her Jesus» очевидно «принимал» неохотно, как горькое лекарство. Это было трудно понять. Но я сразу же сообразил, что дьявол любит птенцов и нужно не дать ему проглотить их. Так что «Her Jesus», хотя ему это было и не по вкусу, все равно поедал их, чтобы они не достались дьяволу. До сих пор ход моих мыслей был утешителен, но после я узнал, что «Her Jesus» таким же образом «принял» к себе других людей и что «принятие» означало помещение их в яму, в землю.

Мрачная аналогия послужила причиной моего недоверия к Христу. Он уже не казался мне большой добродушной птицей и стал ассоциироваться со зловещей чернотой людей в церковных одеяниях, высоких шляпах и блестящих черных ботинках, которые несли черный гроб.

Эти размышления привели к первой осознанной травме. Однажды жарким летним днем я сидел один, как обычно, у дороги перед домом и играл в песке. Дорога поднималась вверх к лесу, и мне хорошо было видно, что происходило наверху. Я увидел спускающегося из леса человека в странно широкой шляпе и длинном темном облачении. Он выглядел как мужчина, но был одет как женщина. Человек медленно приближался, и я увидел, что это действительно мужчина, одетый в особенную, доходящую до пят черную одежду. При виде его я преисполнился страхом, который превратился в смертельный ужас, как только пугающая мысль узнавания вспыхнула в моей голове: «Это иезуит». Незадолго перед тем я подслушал беседу между отцом и гостившим у нас священником. Беседа касалась грязной деятельности иезуитов. По полураздраженному, полуниспуганному тону отцовских реплик я понял, что «иезуиты» — это нечто исключительно опасное, даже для моего отца. На самом деле я, конечно же, и представления не имел о том, что такое иезуиты, но мне было знакомо похожее слово «Jesus» из моей маленькой молитвы.

Человек, спускающийся вниз по дороге, видимо, переоделся, подумал я, поэтому на нем женская одежда. Возможно, у него дурные намерения. Ужаснувшись, я бросился к дому, быстро взбежал по лестнице и спрятался под балкой в темном углу чердака. Не знаю, сколько я там просидел, но, должно быть, долго, потому что, когда я осмелился спуститься на первый этаж и осто-

рожно высунул голову из окна, черного человека не было и в помине. Еще несколько дней я сидел в доме, оцепеневший от страха. И даже когда я опять начал играть на дороге, лесистая вершина холма оставалась для меня предметом бдительного беспокойства. Позже я, конечно, понял, что черный человек был обычным католическим священником.

Приблизительно в то же время — я не могу сказать с абсолютной точностью, предшествовало ли это случаю с иезуитом — мне приснился один из первых запомнившихся мне снов, которому предстояло занимать меня всю жизнь. Мне было тогда немногим больше трех лет.

Вблизи замка Лауфен особняком стоял дом священника, рядом тянулся большой луг, начинавшийся у фермы церковного сторожа. Во сне я очутился на этом лугу и внезапно увидел темную прямоугольную, выложенную изнутри камнями яму. Никогда прежде я не видел ничего подобного. Подбежав, я с любопытством заглянул вниз и увидел каменные ступени. В страхе и дрожа от страха я все же туда спустился. В самом низу, за зеленым занавесом, находился вход с круглой аркой. Занавес был большой и тяжелый, ручной работы, похожий на парчовый и выглядевший очень богато. Любопытство толкнуло меня узнать, что за ним: я отодвинул занавес и увидел в тусклом свете прямоугольную палату, метров в десять длиной, с каменным сводчатым потолком. Пол тоже был выложен каменными плитами, а в центре его лежал красный ковер. Там, на возвышении, стоял богато изукрашенный золотой трон. Я не уверен, но на сиденье, кажется, лежала красная подушка. Это был действительно величественный трон — сказочный королевский трон. На нем что-то стояло, что я поначалу принял за ствол дерева (около 4—5 м высотой и 0,5 м толщиной). Этот ствол доходил почти до потолка, и очень напоминал странную массу — сплав кожи и голого мяса; все венчалось нечто вроде головы без лица и волос, на макушке которой располагался один глаз, устремленный неподвижно вверх.

Помещение довольно хорошо освещалась, хотя там не было ни окон, ни другого видимого источника света. От головы же полукругом исходило яркое свечение. То, что стояло на троне, не двигалось, но у меня возникло чувство, что оно в любой момент может соскользнуть и, как червяк, поползти ко мне. Я застыл в



ужасе. В этот момент снаружи, сверху, слышался голос моей матери. Она воскликнула: «Взгляни, это же людоед!» Ее слова лишь усилили мой ужас, и я проснулся в поту, перепуганный до смерти. После этого мне долгое время было страшно засыпать, я боялся повторения сна.

Кошмарное сновидение не давало мне покоя много дней. Гораздо позже я понял, что это был образ фаллоса. И прошли еще десятилетия, прежде чем я узнал, что это ритуальный фаллос. Я никогда не смог до конца понять, что же тогда хотела сказать моя мать: «*это* людоед» или «*таков* людоед»? В первом случае она подразумевала бы, что не Иисус или некий иезуит пожирали маленьких детей, но представшее чудище, во втором же — людоед вообще был символом, так что мрачный «*Her Jesus*», иезуит и образ моего сна были идентичны.

Абстрактный фаллический смысл подтверждается единичностью предмета и его вертикальным положением на троне. Яма на лугу — это могила, сама же могила — подземный храм, чей зеленый занавес символизировал луг, другими словами, тайну земли с ее зеленым травяным покровом. Ковер был кроваво-красным. А что сказать о своде? Возможно ли, чтобы я уже побывал в Муноте, цитадели Шафгаузена? Маловероятно — никто не возьмет туда трехлетнего ребенка. Так что вряд ли это было воспоминанием. Кроме того, я не знаю, откуда взялась анатомическая правильность образа. Интерпретация самой верхней его части как глаза с источником света указывает на значение соответствующего греческого слова *φαλλος* — светящийся, яркий.

Во всяком случае, образ из сна, похоже, был полезным богом, имя которого «помянуть» не следует, и таким оставался в период моей молодости, возникая всякий раз, когда кто-нибудь эмфатично говорил о Господе. «*Her Jesus*» так никогда и не стал для меня вполне реальным, никогда — вполне приемлемым, никогда — любимым, потому что снова и снова я думал о его подземных свойствах, пугающее открытие которых было дано мне, хоть я не искал его. «Переодетый» иезуит отбрасывал тень на христианскую доктрину, которой меня учили. Часто она казалась мне торжественным шествием масок, своего рода похоронами, на которых люди в траурных одеждах придают своим лицам серьезное или печальное выражение, но в следующий момент тайком

посмеиваются и вовсе не чувствуют себя расстроенными. Иисус казался мне в каком-то смысле богом смерти, полезным, правда, тем, что отгонял ночные страхи, но вместе с тем это был жутковатый, распятый на кресте кровавый труп. Любовь и доброта его, о которых так много говорили, казались мне сомнительными в первую очередь потому, что люди, чаще всего говорившие о «возлюбленном Господе нашем, Иисусе», носили черную одежду и глянцево-черные ботинки, напоминавшие о похоронах. Все они, как мой отец, как восемь моих дядей, — все они были священниками. Многие годы они вызывали у меня страх, не говоря уже о появлявшихся иногда католических священниках, похожих на ужасного иезуита, так встревожившего однажды моего отца. Вплоть до конфирмации, я прилагал все усилия, чтобы заставить себя относиться к Христу как положено, но мне так и не удалось преодолеть свое тайное недоверие.

Испытываемый любым ребенком страх перед «черным человеком» не был основной нотой в моем чувстве, важнее было само узнавание, пронзившее мой мозг, — это иезуит. Важна была и особая символическая обстановка моего сна, и его поразительная интерпретация — это людоед. Не великан-людоед из детских сказок, а настоящий людоед, сидящий под землей на золотом троне. В моем детском воображении на золотых тронах обычно сидели короли, а совсем далеко, на самом прекрасном высоком и ослепительно сверкающем троне, где-то в голубом небе сидели Бог и Иисус в белых одеяниях, увенчанные золотыми коронами. Но от того же Иисуса произошел «иезуит» в черной женской одежде и широкой черной шляпе. Так что, как ни посмотришь, именно оттуда исходила опасность.

В сновидении я спустился под землю и увидел нечто совершенно необычное, нечто непохожее на человека и принадлежащее подземному миру, оно неподвижно сидело на золотом троне, смотрело вверх и кормилось человеческим мясом. Пятьдесят лет спустя я наткнулся на отрывок из работы о религиозных ритуалах. Он касался идеи каннибализма, лежащей в основе евхаристии. Только тогда мне стало ясно, какой далеко не детской, какой усложненной была мысль, начавшая прорываться в мое сознание в тех двух случаях. Кто говорил во мне? Чей ум изобрел это? Какой высший разум работал тогда? Я знаю, что всякий, инстин-

ктивно уходящий от правды в таких вопросах, будет разглагольствовать о «черном человеке», «людоеде», «случайности» и «ретроспективной интерпретации» — разглагольствовать для того, чтобы закрыть нечто, неприятно тревожное, нечто, что может нарушить привычную картину детского неведения. Да, эти добродушные, деловитые, здравомыслящие люди всегда напоминают мне тех оптимистичных головастиков, которые в солнечный день плещутся в луже, на самом мелком месте, собравшись вместе и дружелюбно помахивая своими хвостиками. Они суетятся, совершенно не осознавая, что на следующее утро лужа высохнет и все для них кончится.

Кто тогда говорил со мной? Кто посвящал меня в проблемы, далеко превосходившие мое разумение? Кто совместил высокое и низкое и заложил основу того, что станет главной страстью второй половины моей жизни? Кто же еще, кроме далекого гостя, явившегося оттуда, из области, где сходятся высокое и низкое?

Этот сон посвятил меня в тайны земли. Это было своего рода захоронением в землю, и прошли многие годы, прежде чем я снова вышел наружу. Сегодня я знаю, что это случилось затем, чтобы внести как можно больше света в окружающую меня темноту. Это посвящение в царство тьмы. В этот момент бессознательно началась моя интеллектуальная жизнь.

В 1879 году мы переехали в Кляйн-Хенинген близ Базеля. Самого переезда я не помню, но помню, что произошло несколько лет спустя. Как-то вечером, когда я уже был в постели, отец подхватил меня на руки и вынес на западное крыльцо. Это было после извержения Кракатау в 1883 году.

В другой раз отец позвал меня, чтобы показать ярко светившуюся комету в восточной части неба.

А однажды произошло наводнение. Протекавшая через древнюю река Визэ прорвала плотину, верхние подпорки моста рухнули. Утопили четырнадцать человек, желтый водяной поток унес их в Рейн. Когда вода отступила, несколько трупов застряли в песке. Как только я узнал об этом, меня невозможно было удерживать. Фактически я сам нашел тело человека средних лет в черном церковном одеянии, видимо, он как раз возвращался из церкви. Он лежал наполовину засыпанный песком, прикрыв руками глаза. Точно так же меня зачаровало зрелище закалывания сви-

ны. К ужасу моей матери, я остался досмотреть до конца. Эти вещи вызвали у меня огромный интерес.

К тем же годам, проведенным в Кляйн-Хенингене, относятся и мои ранние впечатления, связанные с искусством. Дом, в котором мы жили, построили в XVIII веке для священника. В нем была темная комната, где стояла добротная мебель, а на стенах висели старинные картины. Особенно мне запомнилась итальянская картина, изображавшая Давида и Голиафа. Это была копия с полотна Гвидо Рени, оригинал которого находится в Лувре. Как она попала в нашу семью, мне не известно. В той комнате была еще одна старая картина, которая теперь висит в доме моего сына: вид Базеля, датированный началом XIX века. Часто я прокрадывался в эту темную, отделенную от других комнату и часами сидел там, уставившись на картины. Это было единственное проявление прекрасного, известное мне.

Примерно тогда же — должно быть, я все еще был маленьким (не старше шести лет) — тетка взяла меня в Базель и повела смотреть чучела животных в музее. Мы пробыли там довольно долго, поскольку мне хотелось рассмотреть все тщательно. В четыре часа прозвенел колокольчик, это означало, что музей закрывается. Тетка тормозила меня и бранила, но я не мог оторваться от витрин. Тем временем зал заперли и нам пришлось идти другим путем — к лестнице, через античную галерею. И вот я оказался перед этими изумительными образами! Пораженный, я широко открыл глаза. Мне никогда не доводилось видеть ничего столь же прекрасного. Но я не мог их рассматривать так долго, как мне хотелось. Тетка тянула меня за руку к выходу. Я же тащился на шаг позади нее, а она громко повторяла: «Зажмурься, гадкий мальчишка, зажмурься, гадкий мальчишка!» И лишь тогда я осознал, что фигуры были обнаженными, что на них только фиговые листки. Раньше я этого просто не замечал! Такова была моя первая встреча с прекрасным. Тетка кипела от негодования, будто она выволакивала меня из борделя.

Когда мне исполнилось шесть лет, родители взяли меня на экскурсию в Арлесхайм. По этому случаю мать надела платье, которое я никогда не забывал, и это единственное ее платье, которое запечатлелось в моей памяти. Оно было сшито из черной

ткани с маленькими зелеными полумесяцами. Ранний образ матери — это образ изящной молодой женщины в этом платье. В более поздних моих воспоминаниях она была уже немолодой и располневшей.

Мы направлялись в церковь, и мать вдруг сказала: «А это католический храм». Страх и любопытство побудили меня ускользнуть от нее и заглянуть внутрь. Времени как раз хватило, чтобы увидеть большие свечи на богато украшенном алтаре (это было накануне Пасхи), но тут я споткнулся о ступеньку и ударился подбородком о железо. Помнится, я глубоко поранился и у меня сильно текла кровь, когда родители поднимали меня. Ощущения мои были противоречивы: с одной стороны, мне было стыдно, потому что мои вопли привлекли внимание прихожан, с другой стороны, я чувствовал, что совершил нечто запретное. Иезуиты, зеленый занавес, секрет людоеда... Это та самая католическая церковь, что связана с иезуитами. Она виновата, что я упал и кричал.

Многие годы, стоило лишь мне войти в храм, я испытывал тайный страх перед кровью, падением и иезуитами. Таковы были образы, всплывавшие при мысли о католическом храме, и вместе с тем его атмосфера всегда очаровывала меня. Присутствие католического священника обостряло мои чувства (если такое возможно). И только к тридцати годам я перестал испытывать чувство угнетения перед матерью-церковью. Первый раз я почувствовал это в Соборе святого Стефана в Вене.

Когда мне исполнилось шесть лет, отец стал учить меня латыни, и я начал ходить в школу. Я ничего не имел против школы, там мне было легко, поскольку я всегда опережал других, научившись читать прежде, чем попал в школу. Однако помню случай, когда, еще не умея читать, я приставал к матери, чтобы она почитала мне «*Orbis pictus*», — старую, богато иллюстрированную детскую книгу, где я находил описания экзотических религий. В ней были необыкновенно интересовавшие меня картинки с изображениями Брахмы, Вишну и Шивы. По рассказам матери, я постоянно возвращался к ним. И когда бы я это ни делал, у меня возникало неясное чувство родства этих образов с моим «первым откровением», но я ни с кем об этом не говорил. Это был мой секрет. Косвенно мать подтвердила мое чувство —

я заметил легкое презрение в ее тоне, когда она говорила о «язычниках». Я знал, что она не примет моего «откровения», а только ужаснется, и мне не хотелось лишней раз себя травмировать.

Такое недетское поведение было связано, с одной стороны, с острой чувствительностью и уязвимостью, с другой — и это особенно важно — с одиночеством в ранний период моей жизни. (Моя сестра родилась через девять лет после меня.) Я один играл в свои игры. К сожалению, не могу вспомнить, во что играл, помню только — я не хотел, чтобы меня беспокоили. Погружаясь в свои игры, я не выносил, когда за мной наблюдали или говорили обо мне и моей игре. Первое четкое воспоминание об играх относится к седьмому или восьмому году жизни. Я обожал кубики и строил башни, которые потом с восторгом разрушал «землетрясением». Между десятью и одиннадцатью годами я все время рисовал — битвы, штурмы, бомбардировки, морские сражения. Потом я заполнял всю книгу упражнений чернильными кляксами и развлекался, придумывая им фантастические объяснения. И школа мне нравилась кроме всего прочего тем, что у меня наконец появились товарищи для игр — то, чего я так долго был лишен.

И это было не единственное, что я нашел для себя в школе. Но прежде чем рассказать об этом, я должен упомянуть о мрачной атмосфере, которая ночью как бы сгущалась в доме. Что-то происходило по ночам, что-то непостижимое и тревожное. Мои родители спали порознь. Я спал в комнате отца. Из комнаты матери исходило нечто пугающее, по вечерам мать казалась странной и таинственной. Однажды ночью я увидел выходящую через ее дверь слабо светящуюся расплывчатую фигуру, ее голова отделилась от шеи и поплыла впереди по воздуху, как маленькая луна. Тут же появилась другая голова и тоже отделилась. Это повторилось шесть или семь раз. Меня беспокоили сны, в которых предметы то увеличивались, то уменьшались. Например, мне снился крошечный шар, находящийся на большом расстоянии, постепенно он приближался, разрастаясь в нечто чудовищное и вызывая удушье. Или мне снились телеграфные провода с сидящими на них птицами; провода расширялись, мой страх нарастал, пока наконец от ужаса я не пробуждался.

Сны эти были предвестниками физиологических изменений, связанных с половым созреванием, однако у них была и другая

причина. В семь лет я заболел ложным крупом с приступами удушья. Однажды ночью во время такого приступа я с откинутой назад головой стоял в кровати, в то время как отец держал меня под руки. Над собой я увидел круг голубого пламени размером с полную луну, внутри него двигались золотые фигурки, я думал — ангелы. Видение повторялось, и всякий раз страх удушья становился слабее. Но удушье в невротических снах возникало снова и снова. В этом я вижу психогенный фактор: удушающей становилась атмосфера в доме.

Я терпеть не мог ходить в церковь. Исключением было Рождество. Мне очень нравилась рождественская песенка «Это день, сотворенный Господом». А вечером, конечно, была рождественская елка. Рождество было единственным христианским праздником, которому я от души радовался, к остальным же был равнодушен. Еще как-то привлекал меня сочельник, хотя он явно стоял на втором месте. Но в адвентах было нечто дисгармоничное, нечто, связанное с ночью, штормами, ветром и темнотой дома — то, что шепталось, что казалось сверхъестественным.

Теперь я вернусь к открытию, которое сделал, общаясь с моими деревенскими школьными друзьями. Я обнаружил, что они отрывали меня от самого себя, с ними я был не таким, как дома. Я принимал участие в их проказах и даже сам придумывал их, что дома никогда не пришло бы мне в голову (так мне казалось, по крайней мере). Тем не менее я прекрасно знал, на что способен. Я думал, что изменился под влиянием моих друзей. Они каким-то образом уводили меня в сторону от самого себя или принуждали быть не таким, каким я был в действительности. Влияние этого более широкого, не только родительского мира казалось мне сомнительным, едва ли не подозрительным, и чем-то, пусть не отчетливо, но враждебным. Все более сознавая яркую красоту наполненного светом дневного мира, где есть «золотистый солнечный свет» и «зеленая листва», я в то же время чувствовал власть над собой неясного мира теней, полного неразрешимых вопросов. Моя вечерняя молитва была своего рода ритуальной границей: она, как положено, завершала день и предвляла ночь и сон. Но в новом дне таилась новая опасность. Меня пугало это мое раздвоение, я видел в нем угрозу своей внутренней безопасности.

Мне вспоминается также, что в это время (от семи до девяти лет) я любил играть с огнем. Наш сад был обнесен каменной стеной, в кладке которой, между камнями, образовались углубления. В одном из таких углублений я вместе с другими мальчиками часто разводил маленький костер. Его нужно было поддерживать, и мы все вместе собирали для него ветки. Однако никто, кроме меня, не имел права поддерживать этот огонь. Другие могли разводить огонь в других углублениях, и эти костры были обычными, они меня не волновали. Только мой огонь был живым и священным. Это на долгое время стало моей излюбленной игрой.

У стены начинался склон, на котором я обнаружил вросший в землю большой камень — мой камень. Часто, сидя на нем, я предавался странной метафизической игре, — выглядело это так: «Я сижу на этом камне, я на нем, а он подо мною». Камень тоже мог сказать «я» и думать: «Я лежу здесь, на этом склоне, а он сидит на мне». Дальше возникал вопрос: «Кто я? Тот ли, кто сидит на камне, или я — камень, на котором он сидит?» Ответа я не знал и всякий раз, поднимаясь, чувствовал, что не знаю толком, кто же я теперь. Эта неопределенность сопровождалась ощущением странной и чарующей темноты, возникающей в сознании. У меня не было сомнений, что этот камень тайным образом связан со мной. Я мог часами сидеть на нем, замороженный его загадкой.

Через тридцать лет я вновь побывал на этом склоне. У меня уже была семья, дети, дом, свое место в мире, голова моя была полна идей и планов. Но здесь я неожиданно снова превратился в того ребенка, который зажигал полный таинственного смысла огонь и сидел на камне, не зная, кто был кем: я им или он мной? Я подумал о своей жизни в Цюрихе, и она показалась мне чуждой, как весть из другого мира и другого времени. Это пугало, ведь мир детства, в который я вновь погрузился, был вечностью, и я, оторвавшись от него, ощутил время — длящееся, уходящее, утекающее все дальше. Притяжение того мира было настолько сильным, что я вынужден был резким усилием оторвать себя от этого места для того, чтобы не забыть о будущем.

Никогда не забуду это мгновение — будто короткая вспышка необыкновенно ярко высветила особое свойство времени, некую «вечность», возможную лишь в детстве. Что это значило, я узнал



позже. Мне было десять лет, когда мой внутренний разлад и неуверенность в мире вообще привели к поступку, совершенно непостижимому. У меня был тогда желтый лакированный пенал, такой, какой обычно бывает у школьников, с маленьким замком и измерительной линейкой. На конце линейки я вырезал человечка, в шесть сантиметров длиною, в рясе, цилиндре и блестящих черных ботинках. Я выкрасил его черными чернилами, спилил с линейки и уложил в пенал, где устроил ему маленькую постель. Я даже смастерил для него пальто из куска шерсти. Еще я положил в пенал овальной формы гладкий черноватый камень из Рейна, покрасил его водяными красками так, что он казался как бы разделенным на верхнюю и нижнюю половины, и долго носил камень в кармане брюк. Это был его камень, моего человечка. Все вместе это составляло мою тайну, смысл которой я не вполне понимал. Я тайно отнес пенал на чердак (запретный, потому что доски пола там были изъедены червями и сгнили) и спрятал его на одной из балок под крышей. Теперь я был доволен — его никто не увидит! Ни одна душа не найдет его там. Никто не откроет моего секрета и не сможет отнять его у меня. Я почувствовал себя в безопасности, и мучительное ощущение внутренней борьбы ушло. Когда мне бывало трудно, когда я делал что-нибудь дурное или мои чувства были задеты, когда раздражительность отца или болезненность матери угнетали меня, я думал об этом моем человечке, заботливо уложенном и завернутом, о его гладком, замечательно раскрашенном камне. Время от времени, когда я был уверен, что никто меня не увидит, я тайком пробирался на чердак. Взобравшись на балку, я открывал пенал и смотрел на моего человечка и его камень. Каждый раз я клал в пенал маленький свиток бумаги, где перед этим что-нибудь писал на тайном, мной изобретенном языке. Новый свиток я прятал так, будто совершал некий торжественный ритуал. Не могу, к сожалению, вспомнить, что же я хотел сообщить человечку. Знаю лишь одно, что мои «письма» были своего рода библиотекой для него. Мне кажется, хотя я не очень уверен в этом, что они состояли из моих любимых сентенций.

Объяснить себе смысл этих поступков я никогда не пытался. Я испытывал чувство вновь обретенной безопасности и был доволен, владея тем, о чем никто не знал и до чего никто не мог

добраться. То была тайна, которую нельзя было открывать никому, ведь от этого зависела безопасность моей жизни. Почему это было так, я себя не спрашивал. Просто было и все.

Владение тайной оказало мощное влияние на мой характер. Я считаю это самым значительным опытом моего детства. Точно так же я никогда никому не рассказывал о моем сне: иезуит тоже принадлежал к таинственной сфере, про которую — я это знал — нельзя говорить никому. Деревянный человечек с камнем был первой попыткой, бессознательной и детской, придать тайнам внешнюю форму. Я был поглощен всем этим и чувствовал, что должен попытаться это понять, но не знал, что на самом деле хотел выразить. Я всегда надеялся, что смогу найти нечто такое (возможно, в природе), что даст мне ключ от моей тайны, прояснит наконец, в чем она заключается, т.е. ее истинную суть. Тогда же у меня возникла страсть к растениям, животным, камням. Я всегда готов был к чему-то таинственному. Теперь я сознаю, что был религиозен в христианском смысле, хотя всегда с оговоркой вроде: «Все это так, да не совсем!» или «А что же делать с тем, что под землей?» И когда мне вдалбливали религиозные догматы и говорили: «Это прекрасно и это хорошо!», я думал про себя: «Да, все это так, но есть нечто Другое — тайное, чего не знает никто».

Эпизод с вырезанным человечком стал высшей и последней точкой моего детства. Длился он примерно год. Больше я не вспоминал о нем до тех пор, пока мне не исполнилось тридцать пять. Тогда передо мной с необыкновенной ясностью вновь возникло это детское впечатление. Я работал над книгой «Либи́до: его метаморфозы и символы» и собирал материал о «кладбище живых камней» близ Арлесхайма, об австралийских амулетах, когда внезапно обнаружил, что совершенно отчетливо представляю себе один из этих камней: черный, овальный, с двух сторон окрашенный. За этим образом в моей памяти возникли желтый пенал и деревянный человечек. Человечек этот был маленьким языческим идолом, чем-то вроде античной статуи Эскулапа со свитком.

Вместе с этим воспоминанием меня впервые посетила мысль, что существуют некие архаические элементы сознания, не имеющие аналогов в книжной традиции. В библиотеке отца (с которой я познакомился гораздо позднее) не было ни единой книги, в

которой можно было бы отыскать информацию по этой теме. Не говорю уже о том, что отец не имел ни малейшего представления о подобных вещах.

В 1920 году, будучи в Англии, я, совершенно забыв о своем детском опыте, вырезал из дерева две похожие фигурки. Одну из них я воспроизвел в увеличенном масштабе из камня, теперь она стоит в моем саду в Кюснахте. И лишь тогда подсознание подсказало мне ее имя — «atmavictu» — «breath of life» (букв. — дуновение жизни). Это было продолжением тех квазисексуальных образов моего детства, но теперь они представляли как «breath of life», творческий импульс. Все вместе это называлось «kabiḡ»<sup>1</sup>, — фигурка, завернутая в плащ, она имела так называемый «kista» — запас жизненной силы в виде продолговатого черного камня. Но эта связь открылась мне много позже. Ребенком я совершал ритуал так же, как, по моим позднейшим наблюдениям, это делали африканские аборигены; они тоже сперва что-то делали и лишь потом осознавали, что же это было.

---

<sup>1</sup> Кабиры (или боги-великаны) — природные божества, культ которых, как правило, был связан с культом Деметры. Обычно в них видели источник жизни и созидания.

# | Школа

## I

В одиннадцать лет меня отправили учиться в базельскую гимназию, и это значило довольно много. Меня разлучили с деревенскими товарищами, и я оказался в «большом мире», заполненном «большими людьми», куда более влиятельными, чем мой отец; они жили в великолепных домах, разъезжали в дорогих каретах, запряженных чудесными лошадьми, изысканно объяснялись на немецком и французском. Их хорошо одетые сыновья с прекрасными манерами и обилием карманных денег стали моими школьными товарищами. С удивлением и тайной завистью я слушал их рассказы о каникулах, проведенных в Альпах. Они побывали там, среди тех самых пылающих горных вершин близ Цюриха, они даже побывали на море — последнее меня совершенно ошеломило. Я взирал на них так, будто они были существами из другого мира, их окружал ореол недостижимости, «пылающих горных вершин», далекого и невообразимого моря. Тогда я впервые осознал, что мы бедны, что мой отец — бедный деревенский священник, а я — еще более бедный сын священника, у меня дырявые туфли и я по шесть часов кряду сижу в школе в мокрых носках. Я увидел своих родителей в другом свете и стал понимать их заботы и беспокойство. Особенно я сочувствовал отцу, и что удивительно — гораздо меньше матери. Она всегда казалась мне сильнее. Тем не менее, когда отец давал выход своему раздражению, я всегда становился на ее сторону. Необходимость такого выбора не лучшим образом отразилась на моем характере. Я взял на себя роль высшего судьи, который *polens-volens* должен был рассу-

дить родителей. Это сделало меня в некоторой степени высокомерным, но в то же время моя неуверенность в себе возрастала.

Мне было девять лет, когда родилась моя сестра. Отец был взволнован и обрадован. «Сегодня у тебя появилась маленькая сестренка», — сказал он мне, и я был крайне удивлен, поскольку ничего не заметил. Я не придавал значения тому, что мать подолгу оставалась в постели, иначе я счел бы это непростительной слабостью. Отец подвел меня к материнской кровати, и она протянула мне маленькое создание, вид которого меня ужасно разочаровал: красное, сморщенное, как у старушки, личико, закрытые глаза. «Наверное, такая же слепая, как новорожденный щенок», — подумал я. Мне показали несколько длинных красных волосинок у нее на спине. Может она вырастет обезьянкой? Я был расстроен и не знал, как к этому отнестись. Неужели так выглядят новорожденные дети? Они пробормотали что-то об аисте, который принес ребенка. А как насчет щенков или котят? Сколько раз аисту пришлось бы летать взад и вперед, прежде чем он собрал бы весь помет? А как же коровы? Я не мог вообразить, как аист умудрился бы принести в клюве целого теленка. Эта история явно принадлежала к одному из тех обманов, которыми меня все время потчевали. Я был уверен в этом. Они еще раз сделали что-то такое, что мне не следует, не положено знать.

Неожиданное появление сестры оставило у меня в душе смутный осадок недоверия, которое обострило мое любопытство и наблюдательность. Появившиеся впоследствии странности в поведении матери укрепили меня в подозрении, что с этим рождением было связано что-то печальное. В остальном же это не слишком меня беспокоило, хотя, возможно, каким-то образом отразилось на переживании другого события, произошедшего год спустя.

У матери была досадная привычка давать мне разнообразные добрые советы, когда я отправлялся куда-нибудь в гости. В этих случаях я надевал праздничный костюм и до блеска чистил туфли. Я сознавал всю важность момента, и мне казалось унижительным, что люди на улице слышали все те позорные для меня реплики, которые мать выкрикивала мне вслед: «И не забудь передать им привет от папы и мамы, и вытри нос — платоку тебя есть? Ты вымыл руки?» и т. д. Меня задевала эта очевидная не-

справедливость: чувство собственной неполноценности, неотделимое от тщеславия, было таким образом выставлено напоказ, тогда как я изо всех сил старался казаться уверенным. Идя в гости, я был важен и полон достоинства — как всегда, когда в будний день надевал праздничный костюм. Но все менялось, как только передо мной возникал дом, куда я шел. Мной овладевало ощущение некой избранности и превосходства его обитателей. Я боялся их и от чувства собственной ничтожности готов был провалиться сквозь землю. С этим чувством я звонил в дверь. Дверной колокольчик звучал в моих ушах похоронным звоном. Я был труслив и робок, как побитая собака. Еще хуже, если мать успевала меня заранее «подготовить». «Мои ботинки грязны и руки тоже; у меня нет платка и шея черна от грязи». Из чувства противоречия я не передавал привет от родителей, был чересчур пуглив и упрям. Когда становилось совсем плохо, я вспоминал о тайном сокровище на чердаке и это помогало восстановить душевное равновесие, я думал о себе как о «другом человеке» — человеке, владеющем тайной, о которой не знает никто: черным камнем и человечком в цилиндре и черном платье.

Не помню, чтобы в детстве меня когда-нибудь посещала мысль о возможной связи между Христом, черным иезуитом, людьми в черном с высокими шляпами, стоящими у могилы, подобной подземному ходу на лугу из моего сна, и моим маленьким человечком в пенале. Сон о подземном боге был моей первой настоящей тайной, человечек — второй. Однако сегодня мне кажется, что я смутно ощущал связь между камнем-талисманом и тем камнем, что был «мною».

И сегодня, в свои восемьдесят три года, когда я записываю эти воспоминания, я так до конца и не смог объяснить себе характер той связи. Они как различные стебли одного подземного корня, как остановки на пути развития бессознательного. В какой-то момент для меня стало положительно невозможным принять Христа, и я помню, что с одиннадцати лет меня начала интересовать идея Бога. Я молился Ему, и это действовало на меня умиротворяюще. В этом не было противоречия. Я не испытывал недоверия к Богу. Более того, Он был не «черный человек» и не «Нег Jesus», изображенный на картинках, где Он появляется в чем-то ярком, окруженный людьми, которые ведут себя с ним совер-

шенно панибратски. Он (Бог) — существо, ни на что не похожее, которое, как мне было известно, никто не может себе представить. Он представлялся мне кем-то вроде очень могущественного старца. Моему ощущению отвечала заповедь «Не сотвори себе кумира». С Богом нельзя было обращаться так фамильярно, как с Христом, который не являлся ничьей «тайной». В моей голове возникла очевидная аналогия с секретом на чердаке.

Школа стала надоедать мне. Она занимала слишком много времени, а я предпочел бы потратить его на рисование батальных сцен или игры с огнем. Уроки закона Божьего были невыразимо скучны, а математики я просто боялся. Учитель делал вид, что алгебра — вполне обычная вещь, которую следует принимать как нечто само собой разумеющееся, тогда как я не понимал даже, что такое числа. Они не были камнями, цветами или животными, они не были тем, что можно вообразить, они представляли собой просто количества — они получались при счете. Мое замешательство усиливалось от того, что эти количества не были обозначены буквами, как звуки, которые, по крайней мере, можно было слышать. Но, как ни странно, мои одноклассники оказались в состоянии справиться с этими вещами и даже находили их очевидными. Никто не мог объяснить мне, что такое число, и я даже не мог сформулировать вопрос. С ужасом обнаружил я, что никто не понимает моего затруднения. Нужно признать, что учитель пытался самым тщательным образом объяснить мне цель этой любопытной операции перевода количеств в звуки. Наконец до меня дошло, что целью была некая система сокращений, с помощью которой многие количества могут быть сведены к короткой формуле. Но это ни в коей мере не интересовало меня. Я считал, что весь процесс был совершенно произвольным. Почему числа должны выражаться буквами? С тем же успехом можно было выразить буквы через обиходные вещи, которые на эти буквы начинаются. *A, b, c, x, y* не были конкретными и говорили мне о сущности чисел не более, чем их предметные символы. Но что больше всего выводило меня из себя, так это равенство: если  $a = b$  и  $b = c$ , то  $a = c$ . Если по определению  $a$  было чем-то отличным от  $b$ , оно не могло быть приравнено к  $b$ , не говоря уже о  $c$ . Когда вопрос касался эквивалентности, говорилось, что  $a \equiv a$  и  $b \equiv b$  и

т. д. Это я мог понять, тогда как  $a \equiv b$  казалось мне сплошной ложью и надувательством. Точно так же меня раздражало, когда учитель, вопреки собственному определению, заявлял, что параллельные прямые сходятся в бесконечности. Это мне казалось фокусом, на который можно поймать только крестьянина, и я не мог и не желал иметь с этим ничего общего. Чувство интеллектуальной честности боролось во мне с этими замысловатыми противоречиями, которые навсегда сделали для меня невозможным понимание математики. Сейчас, будучи пожилым человеком, я безошибочно чувствую, что, если бы тогда я, как мои школьные товарищи, принял без борьбы утверждение, что  $a = b$  или что солнце равно луне, собака — кошке и т. д., — математика дурачила бы меня до бесконечности. Каких размеров достиг бы обман, я стал понимать, только когда мне исполнилось восемьдесят четыре. Для меня на всю жизнь осталось загадкой, почему я не преуспел в математике, ведь, без сомнения, я мог хорошо считать. Невероятно, но основным препятствием стали соображения морального характера.

Уравнения становились понятными мне лишь после подстановки конкретных чисел вместо букв и перепроверки фактическим подсчетом. По мере того как мы продвигались в математике, я старался более или менее не отставать, списывая алгебраические формулы, значения которых не понимал, запоминая лишь, где находится та или иная комбинация букв на доске. Однако в какой-то момент я переставал успевать и не мог больше заменять буквы числами, потому что учитель время от времени произносил: «Здесь мы напишем такое-то выражение», и черкал несколько букв на доске. Я не имел представления, откуда он их взял и зачем это делал. Единственной причиной я считал то, что это давало ему возможность довести всю процедуру до конца и испытать удовлетворение. Из-за моего непонимания я был так запуган, что не смел задавать вопросы.

Уроки математики превратились для меня в настоящий кошмар. Другие предметы давались мне легко. И поскольку благодаря хорошей зрительной памяти я сумел в течение долгого времени не вполне честным образом успевать на уроках математики, у меня, как правило, были хорошие оценки. Но страх неудач и чувство собственной малозначительности перед лицом огромно-



го мира породили во мне не только неприязнь к школе, но и безысходное отчаяние. Вдобавок я был освобожден от уроков рисования по причине полной неспособности. В этом был свой плюс — у меня оставалось больше свободного времени, но, с другой стороны, это явилось новым поражением, потому что на самом деле я был не лишен некоторых способностей к рисованию, но мне и в голову не приходило, что все зависит от заданий, которые нам давались. Я мог рисовать лишь то, что занимало мое воображение, а меня принуждали копировать головы греческих богов с незрячими глазами, и, когда это у меня не получалось, учитель, думая, что мне требуется нечто более реалистическое, ставил передо мной картинку с изображением козлиной головы. Эту задачу я провалил окончательно, что положило конец моим урокам рисования.

Мне исполнилось двенадцать лет, когда произошли события, в какой-то степени определившие мою дальнейшую судьбу. Както в начале лета 1887 года я вышел из школы на соборную площадь и стал поджидать одноклассника, с которым обычно вместе возвращался домой. Был полдень, уроки уже закончились. Внезапно меня сбил с ног другой школьник. Я упал и так сильно ударился головой о тумбу, что на миг потерял сознание. В течение получаса потом я испытывал легкое головокружение. В момент удара в моей голове вспыхнула мысль: «Теперь не надо будет ходить в школу». Я находился всего лишь в полубморочном состоянии, но оставался лежать гораздо дольше, чем это было необходимо, главным образом потому, чтобы отомстить моему обидчику. Затем мне помогли подняться и отвели в дом неподалеку, где жили две мои пожилые незамужние тетки.

С тех пор, как только родители посылали меня в школу или усаживали за уроки, у меня начинались головокружения. Я не посещал занятия больше шести месяцев, что было мне на руку — теперь можно было ходить куда хочется, гулять в лесу или у реки, рисовать. Я опять рисовал войну, старинные замки, пожары и штурмы, иногда целые страницы заполнял карикатурами. (По сей день, перед тем как заснуть, перед моими глазами проходят эти ухмыляющиеся маски. Иногда мне виделись среди них лица людей, которых я знал и которые вскоре после этого умирали.) Но все чаще я погружался в таинственный мир, которому при-

надлежали деревья и вода, камни и звери, и отцовская библиотека. Я все дальше уходил от мира действительного и временами испытывал слабые уколы совести. Я растрачивал время в рассеянии, чтении и играх. Счастья не прибавилось, зато возникло неясное чувство, что я ухожу от себя.

Я уже совершенно позабыл, с чего все это началось, но мне стало жаль испуганных родителей, которые уже начали обращаться к самым разным врачам. Те, почесав затылки, отправили меня на каникулы к родственникам в Винтертур. В этом городе была железнодорожная станция, что привело меня в настоящий восторг. Но по возвращении домой, все пошло по-прежнему. Один из врачей решил, что у меня эпилепсия. Я знал, как выглядят эпилептические припадки, и про себя посмеивался над этой чушью. Но родителям было не до смеха. Однажды к отцу зашел его приятель. Они сидели в саду, а я из любопытства подслушивал, спрятавшись за кустом. Я услышал, как гость спросил отца: «Ну как ваш сын?» «А, это печальная история, — ответил отец, — врачи уже не знают, что с ним. Они подозревают эпилепсию, и это было бы ужасно. Те небольшие сбережения, что у меня были, я потерял, и что будет с мальчиком, если он не сможет заработать себе на жизнь?»

Меня как громом поразило. Это было первое столкновение с реальностью. «Что ж, значит, мне придется работать!» — подумал я. И с этого момента я сделался серьезным ребенком. Я тихонько отполз и направился в отцовский кабинет, где достал свою латинскую грамматику и стал старательно зубрить. Спустя десять минут со мной случился самый сильный из моих обмороков. Я чуть не упал со стула, но через несколько минут почувствовал себя лучше и продолжал работать. «Черт подери, я не собираюсь падать в обморок», — сказал я себе. На этот раз прошло пятнадцать минут, прежде чем начался второй приступ. Он был похож на первый. «А теперь ты снова будешь работать!» — приказал я себе, и через час пережил третий приступ. Тем не менее я не сдался и работал еще час, пока у меня не возникло ощущение, что я победил. Теперь я чувствовал себя лучше, и приступы больше не повторялись. Я ежедневно садился за грамматику и несколько недель спустя вернулся в школу. Головокружения прекратились. С этим было покончено навсегда! Но таким образом я узнал, что такое невроз.

Постепенно я припомнил, с чего все началось, и полностью осознал, что причиной всей этой неприятной истории был я сам. Поэтому я никогда не испытывал злобы к толкнувшему меня школьнику, понимая, что он «предназначен» был сделать это и что все было «срежиссировано» мной самим — от начала и до конца. Знал я и то, что это больше не повторится. Я ненавидел себя, и еще — стыдился. Я сам себя наказал и выглядел дураком в собственных глазах. Никто кроме меня не был виноват. Я был проклят! С того времени меня начала безумно раздражать родительская заботливость и их жалостливый тон, когда речь заходила обо мне.

Невроз стал еще одной моей тайной, и тайной постыдной. Это было поражение. Тогда же проявились во мне крайняя щепетильность и необыкновенное прилежание. Причем добросовестность моя была не только показной, мне необходимо было убедиться, чего я стою, необходимо было быть добросовестным перед самим собой. Регулярно я вставал в пять утра, чтобы позаниматься, а иногда работал с трех до семи — до ухода в школу.

То, что меня сломило и, собственно, привело к кризису, — это стремление к одиночеству, восторг от ощущения, что я один. Природа представлялась мне полной чудес, и меня влекло к ней. Каждый камень, каждое растение, каждая вещь казались мне живыми и удивительными. Я уходил в природу, к ее основаниям — все дальше и дальше от человеческого мира.

Приблизительно тогда же со мной произошло еще одно важное событие. Я шел в школу из Кляйн-Хенингена, где мы жили, в Базель, как вдруг в какой-то момент меня охватило чувство, будто я только что вышел из густого облака и теперь наконец стал самим собой! Как будто стена тумана осталась за моей спиной, и там, за этой стеной, еще не существовало моего «я». Теперь же я знал, что оно есть. До этого я тоже существовал, но все, что случалось, случалось с тем «я». Раньше со мной что-то делали, теперь это я делал что-то. Переживание было очень важным и новым: я обладал властью. Как ни странно, в этот миг, как и в те месяцы, что длился мой обморочный невроз, я ни разу не вспомнил о своем сокровище на чердаке. Иначе я, наверное, заметил бы аналогию между чувством власти и чувством облада-

ния сокровищем. Но этого не произошло, — все мысли о челoveчке в пенале исчезли.

Кажется тогда же я получил приглашение провести каникулы на Фирвальдштеттском озере, в доме одного нашего знакомого. Дом стоял у самого озера, рядом был лодочный причал и весельная лодка. Сыну хозяина и мне разрешили ею пользоваться, строго предупредив, чтобы мы были осторожны. К несчастью, я уже тогда знал, что править вайдлингом (лодка типа гондолы) нужно стоя. Дома у нас была маленькая плоскодонка, и в старой канаве мы пробовали разные штуки. Поэтому первое, что я сделал, — это стал на корме во весь рост и веслом оттолкнулся от берега. Для осторожного хозяина это было уж слишком, он свистком подозвал нас к себе и здорово меня отругал. Я был крайне огорчен, признавая, что сделал именно то, чего меня просили не делать, а значит, заслужил выговор. И тем не менее меня охватила ярость: как этот толстый, невежественный и грубый человек посмел оскорблять *меня*. Мое «я» ощущало себя взрослым человеком, обладающим чувством собственного достоинства, человеком уважаемым и почтенным. Но контраст с реальностью был столь очевиден, что в какой-то момент я остановил себя: «А кто ты, собственно, такой? Реагируешь так, будто ты бог весть какая персона! И ведь сам понимаешь, что он совершенно прав. Тебе едва двенадцать, ты школьник, а он отец семейства, богатый, влиятельный человек, у него два дома и множество отличных лошадей».

В голове у меня была каша: во мне как бы сошлись два человека: один — школьник, который не успевает по математике и далеко не уверен в себе, второй — важная персона — человек, которым нельзя пренебрегать, столь же уважаемый и влиятельный, как хозяин дома. Этот «второй» был пожилым человеком, он жил в восемнадцатом веке, носил туфли с пряжками и белый парик, ездил в наемном экипаже с высокими колесами, оборудованном козлами на пружинах с кожаными ремнями.

В восемнадцатом веке я чуть позже побывал благодаря необычному случаю. Однажды мимо нашего дома в Кляйн-Хенингене проехала старинная зеленая карета из Шварцвальда. Она выглядела так, будто в самом деле прикатила из прошлого. Увидев ее, я подумал: это именно то, что нужно! Это из «моего» вре-

мени. Я будто узнавал ее — ну точно такая же, как те, на которых я ездил. Потом возникло своего рода *santiment écoeurgant* (отвратительное чувство. — *фр.*), как будто кто-то украл ее у меня, обманул — отнял любимое прошлое. Карета осталась от тех времен! Не могу описать, что происходило со мной или что меня так сильно волновало: тоска, ностальгия или чувство узнавания: «Все так и было! Именно так!»

Затем произошло еще одно событие, опять уводившее меня в мой восемнадцатый век. В доме одной из моих теток я обнаружил старинную статуэтку: две терракотовые фигурки — старый доктор Штукельбергер (личность, хорошо известная в Базеле в конце восемнадцатого века) и его пациентка — с высунутым языком и закрытыми глазами. Легенда такова: однажды старый Штукельбергер шел по мосту, когда к нему подскочила эта изрядно надоевшая доктору дама и стала взхлеб излагать свои жалобы. Старик сказал: «Да, да, в самом деле с вами что-то не так. Высуньте-ка язык и закройте глаза», после чего быстро исчез. Назойливая дама так и осталась стоять с высунутым языком — всем на посмешище. Так вот, у старого доктора были туфли с пряжками, которые я странным образом признал за свои, будучи твердо уверенным, что именно такие туфли я носил. Я даже заявил об этом, чем привел всех в замешательство. Я почему-то помнил эти туфли у себя на ногах и не мог объяснить, откуда взялась эта безумная убежденность. Каким образом я очутился в восемнадцатом веке? Кстати в те дни я часто путал даты, писал: 1786 вместо 1886, и всякий раз с чувством необъяснимой ностальгии.

После случая с лодкой и последовавшего за ним вполне заслуженного наказания я стал обдумывать эти разрозненные впечатления, и они связались воедино: во мне две личности, два разных человека, живущих в разное время. Я пребывал в крайнем замешательстве, мой мозг не справлялся с этим. Наконец я пришел к неутешительному выводу, что сейчас я все-таки всего лишь младший школьник, который заслужил наказание и должен вести себя соответственно возрасту. Тот другой, похоже, совершенная бессмыслица. Я подозревал, что это как-то связано с различными историями, которые рассказывали родители и родственники о моем деде. Но и это было не совсем так, по-

сколько дед родился в 1795 году, а значит, жил в девятнадцатом веке; более того, он умер задолго до моего рождения. Невозможно, чтобы я был идентичен ему. Эти мои догадки были тогда неотчетливы и походили на сны. Не могу сейчас вспомнить, знал ли я тогда о моем легендарном родстве с Гёте. Думаю, что нет, потому что впервые услышал эту историю от посторонних людей. Суть этих неприятных для меня слухов заключалась в том, будто мой дед был родным сыном Гёте.

К двум моим фиаско — математике и рисованию — добавилось третье: с самого начала я ненавидел физкультуру. Я не выносил, когда меня учили, как мне следует двигаться. Я ходил в школу, чтобы научиться чему-то новому, а не для того, чтобы отрабатывать бесполезные и бессмысленные акробатические упражнения. Более того, после несчастных случаев в раннем детстве у меня осталась некоторая физическая робость, которую я так и не смог преодолеть. В основе ее лежала моя недоверчивость к миру и к собственным силам. Мир, конечно же, казался мне прекрасным, но вместе с тем непостижимым и угрожающим. А я всегда с самого начала хотел знать, кому и чему я доверялся. Возможно, это было как-то связано с матерью, которая однажды покинула меня на несколько месяцев? Тогда — и я опишу это позже — у меня начались невротические обмороки, и врач, к моему большому удовольствию, запретил мне заниматься гимнастикой. Я избавился от этого бремени, но вынужден был проглотить еще одну неудачу.

Освободившееся время уходило не только на игры, у меня появилось время для новой страсти: я читал любой попадавшийся мне на глаза кусок печатного текста.

В один из летних дней того же 1887 года я вышел из школы и отправился на соборную площадь. Небо было изумительным, и все вокруг заливал яркий солнечный свет. Крыша кафедрального собора, покрытая свежей глазурью, сверкала. Это зрелище привело меня в восторг, и я подумал: «Мир прекрасен, и церковь прекрасна, и Бог, который создал все это, сидит далеко-далеко в голубом небе на золотом троне и...» Здесь мысли мои оборвались, и подступило удушье. Я оцепенел и помнил только одно: сейчас не думать! Надвигается что-то ужасное, то, о чем я не хочу

думать, к чему не смею приблизиться. Но почему? Потому что совершу самый страшный грех. Что же это за самый страшный грех? Убийство? Нет, не может быть. Самый большой грех — это грех против Святого Духа, и нет ему прощения. Всякий, кто совершит его, проклят навечно. Это очень огорчит моих родителей: их единственный сын, к которому они так привязаны, обречен на вечное проклятие. Я не могу допустить, чтобы это произошло с моими родителями. Все, что мне нужно, — никогда больше не думать об этом.

Но сказать легко, а сделать? Всю дорогу домой я старался думать о самых разных вещах, но обнаружил, что мысли мои снова и снова возвращаются к прекрасному кафедральному собору, который я так любил, и к Богу, сидящему на троне, — дальше все обрывалось, словно от удара током. Я повторял про себя: «Только не думать об этом. Только не думать об этом!» Домой я пришел в смятенном состоянии. Мать, заметив мое смятение, спросила: «В чем дело? Что-нибудь случилось в школе?» Я не обманул ее, сказав, что в школе все в порядке. Я даже подумал, что, может, стоит признаться матери в подлинной причине своего смятения. Но для этого мне пришлось бы сделать невозможное: додумать свою мысль до конца. Бедная мать ни о чем не подозревала, она не могла знать, что я находился в смертельной близости греха, который не прощается, что я мог попасть в ад. Я решил не признаваться и постарался привлечь к себе как можно меньше внимания.

В ту ночь мне плохо спалось. Снова и снова неведомая и запретная мысль вривалась в мое сознание, и я отчаянно пытался отогнать ее. Следующие два дня были сущим мучением, и мать окончательно убедилась, что я болен. Но я, как мог, противился искушению признаться во всем, понимая, что признание заставит моих родителей сильно страдать.

Однако на третью ночь муки стали невыносимыми. Я проснулся как раз в тот момент, когда поймал себя на мысли о Боге и кафедральном соборе. Я уже почти продолжил эту мысль! Я чувствовал, что больше не в силах сопротивляться. Покрывшись испариной от страха, я сел в кровати, чтобы окончательно проснуться. «Вот оно, теперь это всерьез! Я должен думать. Это должно быть придумано прежде, чем... Но почему я должен ду-

мать о том, чего не знаю! Я не хочу этого, клянусь Богом, не хочу! Но кому-то это нужно? Кто-то хочет принудить меня думать о том, чего я не знаю и не хочу знать. Я подчинен какой-то страшной Воле. И почему выбрали именно меня? Я придумывал хвалы Творцу этого прекрасного мира, был благодарен Ему за этот ни с чем не сравнимый дар, но почему же я должен думать о чем-то непостижимо жестоком? Я не знаю, что это, действительно не знаю, потому что не могу и не должен подходить сколько-нибудь близко к этой мысли, иначе я рискую внезапно подумать об *этом*. Я этого не делал и не хотел, оно пришло, как дурной сон. Откуда берутся такие вещи? То, что случилось со мной, — не в моей власти. Почему? В конце концов, я не создавал себя, я пришел в этот мир по воле Бога, то есть был рожден своими родителями. Или, может быть, этого хотели мои родители? Но мои добрые родители никогда бы не помыслили ничего подобного. Это слишком жестоко!»

Последняя мысль даже показалась мне забавной. Я вспомнил про дедушку и бабушку, которых знал только по портретам. Они выглядели такими добродушными — я не мог представить себе, что они в чем-то виноваты. Затем я окинул взором длинный ряд своих неведомых предков и наконец добрался до Адама и Евы. И тут меня осенило: Адам и Ева были первыми людьми, у них не было родителей, они были созданы Самим Богом, и Он намеренно создал их такими, какими они стали. У них не было никакого другого выбора, кроме как быть такими, какими создал их Бог. Они вообще не знали, что можно быть кем-то другим. Они были безупречны, ведь Бог творит лишь совершенство, и все же они согрешили. Как такое стало возможно? Они не смогли бы сделать этого, если бы Бог не создал для них эту возможность. Очевидно, что Бог и змия сотворил в искушение им. Бог в Своем всеведении устроил все так, чтобы первые родители согрешили. *Итак, это Бог хотел, чтобы они согрешили.*

С моей души будто камень упал, теперь я знал, что происходящее со мною сейчас — происходит по Божьей воле. Но должен ли я совершить свой грех? Входит это в Его намерение или же нет? Мне больше не приходило в голову молить о просветлении, ведь Сам Бог придумал для меня эту безнадежную ситуацию, я не волен уйти и не могу рассчитывать на Его помощь. Я был уве-



рен, что, по Его мнению, мне самому следует найти выход. И я продолжал свои размышления.

Чего Он хочет? Чтобы я действовал, или наоборот? Я должен выяснить, чего Бог требует от меня, и должен выяснить это сейчас. Разумеется, я понимал, что с точки зрения общепринятой морали следует избегать греха. До сих пор я этому и следовал, но теперь стал осознавать, что больше так не смогу. Мое душевное расстройство подсказывало мне, что, стараясь не думать, я запутываюсь все сильнее. Так продолжаться не могло. Но я не смогу поддаться искушению прежде, чем пойму, в чем состоит Божья воля, чего Он добивается от меня. Ведь я даже не был уверен, что именно Он поставил меня перед этой отчаянной проблемой. Примечательно, что я ни на минуту не допускал мысли о дьяволе. Дьявол играл такую незначительную роль в моем тогдашнем духовном мире, что в любом случае он представлялся мне бессильным в сравнении с Богом. Но с того момента, как мое новое «я» возникло словно из туманной дымки и я начал осознавать себя, мысль о единстве и сверхчеловеческом величии Бога завладела моим воображением. Я не задавал себе вопроса, Сам ли Бог поставил меня перед решающим испытанием, все зависело лишь от того, правильно ли я пойму Его. Я знал, что в конце концов буду вынужден подчиниться, но страшился своего непонимания, оно ставило под угрозу спасение моей вечной души.

«Богу известно, что я не в силах больше сопротивляться, и Он не хочет помочь мне, хотя до смертного греха мне остается один шаг. В своем всеведении Он с легкостью устранил бы искушение, однако не делает этого. Должен ли я думать, что Он желает испытать мое послушание, поставив меня перед непостижимой задачей: выступить против собственной морали, против веры, и даже против Его собственной заповеди, чему я сопротивляюсь всеми силами, потому что боюсь вечного проклятия? Возможно ли, чтобы Бог хотел увидеть, способен ли я повиноваться Его воле даже тогда, когда моя вера и мой разум восстают при мысли о вечном проклятии? Похоже, что так и есть! Но, может, это всего лишь мое предположение, а я могу ошибаться. Я не смею до такой степени доверять моей собственной логике. Мне следует все продумать еще раз».

Но я снова и снова возвращался к одному и тому же: Богу угодно, чтобы я проявил мужество. Если это так, я сделаю это, тогда Он помилует меня и просветит.

Я собрал все свое мужество, как если бы вдруг решился немедленно прыгнуть в адское пекло, и дал мысли возможность появиться. Перед моим взором возник кафедральный собор и голубое небо. Высоко над миром, на своем золотом троне, сидит Бог — и из-под трона на сверкающую новую крышу собора падает кусок кала и пробивает ее. Все рушится, стены собора разламываются на куски.

Вот в чем дело! Я почувствовал несказанное облегчение. Вместо ожидаемого проклятия на меня снизошла благодать, а с нею невыразимое блаженство, которого я никогда не знал. Я плакал от счастья и благодарности. Мудрость и доброта Бога открылись мне сейчас, когда я подчинился Его неумолимой воле. Казалось, что я испытал просветление, понял многое, чего не понимал раньше, понял то, чего так и не понял мой отец, — волю Бога. Он сопротивлялся ей из лучших побуждений, из глубочайшей веры. Поэтому мой отец так никогда и не пережил чуда благодати, чуда, которое всех исцеляет и делает все понятным. Он принял библейские заповеди как путеводитель, он верил в Бога, как предписывала Библия и как его учил его отец. Но он не знал живого Бога, который возвышается, свободный и всемогущий, и над Библией и над Церковью, который призывает людей стать столь же свободными. Бог, ради исполнения Своей воли, может заставить отца отринуть все свои взгляды и убеждения. Испытывая человеческую храбрость, Бог заставляет отказываться от традиций, сколь бы священны они ни были. В своем всемогуществе Он позаботится, чтобы эти испытания не причинили настоящего зла. Если человек исполняет волю Бога, он может быть уверен, что выбрал правильный путь.

Бог создал Адама и Еву так, чтобы они помышляли о том, чего сами отнюдь не желали. Он поступил таким образом, чтобы узнать, послушны ли они. И точно так же Он мог потребовать от меня нечто, для меня традиционно неприемлемое. Именно послушание давало благодать, а после этого опыта я знал, что благодать Божья есть. Вы должны полностью подчиниться Богу, не заботясь ни о чем, кроме исполнения Его воли. В про-

тивном случае все лишено смысла. Именно тогда у меня возникло настоящее чувство ответственности. Мысль о том, что я должен думать о причинах осквернения Богом своего собора, была ужасна. И вместе с тем пришло еще неясное понимание того, что Бог способен быть чем-то ужасным. Это была страшная тайна, и чувство, что я владею ею, наложило тень на всю мою жизнь.

Этот опыт тоже заставил меня ощутить собственную неполноценность. «Я — дьявол или свинья, — размышлял я, — похоже, во мне есть какая-то червоточина». Но потом, перечитав отцовский Новый Завет и с некоторым удовлетворением обнаружив там притчу о фарисее и мытаре, я понял, что лишь осужденные *будут* избраны. Новый Завет навсегда оставил меня в убеждении, что неверный управитель был хвалим и что Петр — колеблющийся — наименован камнем.

Чем сильнее было во мне чувство собственной неполноценности, тем более непостижимой казалась мне Божественная благодать. В конце концов чувство неуверенности сделалось постоянным. Когда моя мать однажды сказала: «Ты всегда был хорошим мальчиком», я просто не в состоянии был понять это. Я хороший мальчик? Это невероятно! Я всегда казался себе существом порочным и неполноценным.

Вместе с мыслью о соборе у меня наконец появилось нечто реальное, составлявшее часть моей великой тайны, будто я всегда говорил о камнях, падающих с неба, и теперь держу в руке один из них. Но на самом деле это был опыт, которого я стыдился. Словно я был отмечен чем-то постыдным, чем-то зловещим, — и в то же время это был знак отличия. Время от времени у меня возникало сильное искушение заговорить об этом, но не прямо, а каким-то образом намекнуть, дескать, со мной произошла интересная вещь... Я просто хотел выяснить, происходит ли что-либо подобное с другими людьми. Самому мне не удавалось заметить ничего похожего. В конце концов у меня появилось чувство, что я не то отвержен, не то избран, не то проклят, не то благословлен.

Мне никогда не приходило в голову напрямую рассказать кому бы то ни было мой сон о фаллосе или про вырезанного из дерева человечка. Я молчал об этом, пока мне не исполнилось шестьдесят пять. О других опытах я, может быть, говорил жене, но уже в

зрелом возрасте. Долгие годы детство оставалось для меня табуированной сферой, и я ни с кем не мог поделиться своими переживаниями.

Всю мою юность можно понять лишь в свете этой тайны. Из-за нее я был невыносимо одинок. Моим единственным значительным достижением (как я сейчас понимаю) было то, что я устоял против искушения поговорить об этом с кем-нибудь. Таким образом, мои отношения с миром были predetermined: сегодня я одинок как никогда, потому что знаю вещи, о которых никто не знает и не хочет знать.

В семье моей матери было шесть священников, священником был и мой отец, а также два его брата. Так что я наслушался различных богословских бесед, теологических дискуссий и проповедей. И всякий раз у меня возникало чувство: «Да, все верно. Но как же быть с тайной? Ведь это же таинство благодати! Никто из вас не знает об этом. Никто из вас не знает, что Бог хочет, чтобы я поступал дурно, что Он принуждает меня думать об отвратительных вещах для того, чтобы я испытал чудо Его благодати». Все, что говорили другие, было совсем не то. Я думал: «Богу должно быть угодно, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Где-то должна быть правда». Я рылся в отцовской библиотеке, читая все, что смог найти о Боге, Троице и Духе. Я, что называется, глотал книги, но не становился умнее. Теперь я стал думать: «Вот и они тоже не знают». Я даже искал это в лютеровской Библии. Убогая морализация Книги Иова отвратила меня, а жаль, ведь я мог найти в ней то, что искал: «Хотя бы я омылся и снежною водою..., то и тогда Ты погрузишь меня в грязь...» (9, 30).

Позже мать рассказывала мне, что в те дни я часто пребывал в угнетенном состоянии. В действительности это было не совсем так, скорее я был поглощен своей тайной. Тогда я сидел на своем камне — это необыкновенно успокаивало и каким-то образом излечивало от всех сомнений. Стоило представить себя камнем, все становилось на свои места: «У камня нет проблем и нет желания рассказывать о них, он уже тысячи лет такой, какой есть, тогда как я лишь феномен, существо преходящее; охваченный чувством, я разгораюсь, как пламя, чтобы затем исчезнуть». Я был лишь суммой всех моих чувств, а Другой во мне был вне времени, был камнем.

## II

Тогда же во мне поселилось глубокое сомнение в отношении всего, что говорил отец. Слушая его проповеди о чуде благодати, я всегда размышлял о моем опыте. Все, что он говорил, звучало банально и пусто, как история, рассказанная с чужих слов человеком, не вполне в нее верящим. Я желал бы ему помочь, но не знал как. Кроме того, я был слишком замкнут, чтобы делиться с отцом своим опытом или вмешиваться в его личные дела. Я ощущал себя, с одной стороны, слишком маленьким, с другой же — боялся собственной власти, меня мучила авторитарность моего второго «я».

Гораздо позже, уже восемнадцатилетним юношей, я часто спорил с отцом и всегда питал тайную надежду, что смогу рассказать ему о чуде благодати и таким образом помогу его совести. У меня была уверенность, что, если он выполнит Божью волю, так будет лучше. Но споры наши ничем не кончались. Они раздражали его и огорчали меня. «Вечно ты хочешь думать, — возмущался он, — а должно не думать, а верить». Я мысленно возражал ему: «Нет, должно знать и понимать». Однако вслух говорил: «Так дай мне эту веру». На что он пожимал плечами и в отчаянье отворачивался.

У меня появились друзья, в основном это были застенчивые, робкие ребята из простонародья. В школе я делал успехи и позже даже стал лучшим учеником. Но я заметил, что те, кто учился хуже, завидовали мне и пытались при любой возможности добиться таких же успехов. Это портило настроение. Я ненавидел всякого рода состязания, не играл в игры, где требовалось непременно победить, я предпочитал оставаться вторым. Школьные занятия были и без того достаточно утомительными. Впрочем, очень немногие учителя, которых я вспоминаю с благодарностью, находили во мне особые способности. Прежде всего это был учитель латинского языка — университетский профессор и мудрый человек. Так сложилось, что латынь я учил с шести лет, — отец занимался со мной, и вместо уроков этот учитель зачастую отправлял меня в университетскую библиотеку за учебниками. Я же выбирал самый длинный путь, оттягивая насколько возможно свое возвращение.

Но большинство учителей считали меня недалеким и способным устраивать всякие каверзы. Когда в школе что-нибудь случалось, подозревали, как правило, меня. Если где-то начиналась потасовка, меня считали подстрекателем. В действительности, я лишь один раз принимал участие в драке, когда мне стало ясно, что немало одноклассников относятся ко мне враждебно. Они напали на меня сзади, их было семеро. Тогда, в мои пятнадцать лет, я был крупным и сильным подростком, и у меня случались приступы внезапной ярости. Разозлившись, я схватил обеими руками одного из них и, вращая вокруг себя, сбил его ногами нескольких других. Учителя обо всем узнали, но я лишь смутно припоминаю какое-то наказание, казавшееся мне несправедливым. С того дня меня оставили в покое, никто больше не осмеливался затевать со мной драку.

Для меня было неожиданностью узнать, что у меня есть враги. Но это было вполне объяснимо. Выговоры, естественно, вызывали раздражение, но не казались несправедливыми. Знал я о себе мало, и это немногое было столь противоречиво, что я мог бы, наверное, признать за собой любую вину. И действительно, я всегда чувствовал себя виноватым, сознавая все свои явные и скрытые недостатки. В силу этого я был особенно чувствителен к порицаниям: все они в основном попадали в цель. Не совершая на самом деле того, в чем меня обвиняли, я знал, что мог бы это сделать. Я даже записывал свое алиби на случай, если меня в чем-либо заподозрят. Было куда легче, когда я действительно совершал дурные поступки. Тогда я по крайней мере знал, в чем моя вина.

Естественно, свою внутреннюю неуверенность я компенсировал внешней уверенностью, или — лучше сказать — недостаток компенсировал себя сам, без моей воли. Я казался себе виновным и невиновным одновременно. Ведь в глубине души я всегда знал, что во мне сосуществуют два человека. Один был сыном моих родителей, он ходил в школу и был глупее, ленивее, неряшливее многих. Другой, напротив, был взрослый — даже старый — скептический, недоверчивый. Удалившись от людей, он был близок природе, земле, солнцу, луне, ему ведомы были все живые существа, но более всего — ночная жизнь и сны. Иными словами, все, в чем находил он «живого Бога». Здесь я намеренно заключил слово «Бога» в кавычки, ведь природа, как

и сам я, казалась отделившейся от Него, небожеской. Тем не менее она была создана Им и была проявлением Его. В голове моей не укладывалось, что выражение «по образу и подобию Божьему» должно быть применимо к человеку. Мне казалось, что горы, реки, озера, прекрасные деревья, цветы и звери с большим правом могут называться Божьими подобиями, нежели люди с их смехотворными одеждами, с их бестолковостью и тщеславием, лживостью и отвратительным эгоизмом — со всем тем, что я так хорошо узнал в себе, то есть в моем «номере 1», школьнике из 1890 года. Но существовал и другой мир, и он был как храм, где каждый забывает себя, с удивлением и восторгом постигая совершенство Божьего творения. В этом мире жил мой «другой», который знал Бога в себе, знал Его как тайну, хоть это была не только его тайна. Там, в этом мире, ничто не отделяло человека от Бога. Там все было так, будто дух человеческий был с Богом заодно и глядел вместе с Ним на все созданное.

То, что я здесь излагаю, тогда я не смог бы выразить вразумительно, хотя глубоко чувствовал. В такие минуты я знал, что достоин себя. Я был самым собою. Но лишь одиночество давало мне это чувство, и я искал покоя и уединения для своего «другого».

Эта игра, это противостояние двух ипостасей моей личности продолжалось всю жизнь, но оно не имеет ничего общего с тем, что медики называют патологическим распадом личности. Наоборот, это происходит со всеми людьми, и, прежде всего, в том, что касается религии, которая в моей «другой жизни» — внутренней жизни — играла первостепенную роль. «Другой» («номер 2») — типичная фигура, но осознается она очень немногими.

Посещение церкви постепенно стало для меня невыносимым. Там громогласно, и я бы даже сказал — бесстыдно, вещали о Боге, о Его намерениях и поступках. Там людей громко убеждали иметь такие чувства и *верить* в такие тайны, которые, я знал, были внутренними и сокровенными и которые не следует выдавать ни единым словом. Я мог лишь заключить, что никто, даже священник, видимо, не знает тайны, иначе люди не осмелились бы открыто говорить о ней и профанировать глубокие чувства банальными сантиментами. Более того, я был уверен, что такой путь к Богу неправилен, поскольку твердо знал, знал по опыту, что благодать нисхо-

дит только на того, кто безоговорочно подчиняется Его воле. То же говорилось и с кафедры, но словами из совершенно непонятного мне Апокалипсиса. Мне казалось, что каждый человек должен ежедневно задумываться о смысле Божьей воли. Я этого не делал (мой «номер 1» отнимал у меня слишком много времени), но был уверен, что сделаю, как только возникнет настоящая необходимость. Мне казалось, что религиозные предписания зачастую заменяли собой Божью волю, которая могла проявляться столь неожиданно и пугающе, с единственной целью — избавить людей от необходимости понимания. Я становился все более скептическим, проповеди моего отца и других священников вызывали у меня чувство неловкости. Люди вокруг, казалось, принимают как должное этот темный жаргон, бездумно проглатывая все противоречия, как то: Бог всеведущ и поэтому все предвидел, Он сам сотворил людей грешными, но тем не менее наказывает их за грехи вечным проклятием и адским пламенем.

Долгое время дьявол никак не присутствовал в моих размышлениях. Я считал его чем-то вроде злой собаки на хозяйском дворе. Никто, кроме Бога, не нес ответственности за этот мир, и Он, я знал это, был не только добр, но и страшен. Мне становилось как-то неуютно, когда я слышал прочувствованную проповедь отца о «добром» Боге, о любви Его к людям и людей к Нему. «Знает ли отец, о чем говорит?» — думал я, терзаясь сомнениями. «Может ли он убить меня, своего сына, принеся меня в жертву, как Авраам — Исаака, или принять крестные муки, как Иисус? Нет, он не способен на это». А это значит, что он не всегда осознавал волю Бога, подчас ужасную, как известно из самой Библии. Мне стало ясно, что слова о повинении Богу произносятся бездумно. Очевидно, Божья воля неизъяснима для людей, иначе они относились бы к ней благоговейно из одного лишь страха перед Его могуществом, которое может быть столь ужасным — я знал это. Мог ли кто-нибудь, претендующий на знание Божьей воли, предвидеть то, что Он заставил сделать меня? В Новом Завете, по крайней мере, нет ничего подобного. Ветхий Завет и Книга Иова могли бы открыть мне глаза, но я тогда знал их мало, равно как и не мог найти ничего полезного, готовясь к конфирмации. О страхе Божьем я, конечно, слышал, но лишь как о «пережитке иудаизма», давно отринутым христианским учением о Божьей любви и доброте.



Образы моих детских снов меня смущали. Я спрашивал себя: «Кто со мною говорит? Кто настолько бесстыден, что выставляет фаллос в храме? Кто заставляет меня думать о Боге, Который разрушает Свою церковь столь непристойным образом?» Возможно ли, чтобы это был дьявол? Я не сомневался, что здесь действовал Бог или дьявол. По крайней мере, я был совершенно уверен, что эти мысли и образы принадлежат не мне.

Таков был главный опыт моей жизни, и я осознал, что несу за него ответственность, что от меня зависит, как сложится в дальнейшем моя судьба. Я был поставлен перед проблемой, решить которую не мог. Кто поставил меня перед ней? — спросить было не у кого. Я был уверен лишь в одном — я сам должен найти ответ в глубинах своего сознания; я одинок перед лицом Бога; именно Он задает мне эти ужасные вопросы. С самого начала я ощущал свое предназначение, как если бы моя жизнь была определена мне судьбой и должна быть выполнена как задача. Это придавало мне внутреннюю уверенность. И, хотя я никогда не мог объяснить это, судьба моя не раз подтверждала справедливость моей убежденности. Мне не нужно было *иметь* эту уверенность, она *владела* мной, часто даже наперекор обстоятельствам. Никто не мог отнять у меня убеждение, что мне было предписано сделать то, что хочет Бог, а не то, что хочу я. Часто у меня появлялось чувство, что в каких-то значительных вещах я уже не среди людей, но наедине с Богом. И «там» я уже не был одинок, а находился вне времени, и Он, Который был всегда и будет всегда, в конце концов давал ответ. Эти разговоры с моим Другим были глубоким переживанием: с одной стороны, это была тяжелая борьба, с другой — высочайшее наслаждение.

Понятно, что об этом я ни с кем говорить не мог. Я не знал никого, кому можно было бы объяснить это, кроме, разве что, моей матери. Мне казалось, она думала, как я. Однако вскоре я заметил, что она уклонялась от разговоров со мной. Она восхищалась мною и только. Итак, я оставался один со своими мыслями. Признаться, мне это нравилось. Я играл один и один мечтал. У меня был мой собственный, только мне принадлежащий мир.

Мать я любил безмерно. От нее исходило живое тепло, с ней было уютно, она обожала поболтать, но и сама с готовностью выслушивала любого. У нее, очевидно, был литературный та-

лант, вкус и глубина. Но эти ее качества не смогли развиваться должным образом, они так и остались не востребуемыми, скрытыми за неброской внешностью полной, добродушной, пожилой женщины. Она очень любила угощать гостей и прекрасно сама готовила, она, наконец, была не лишена юмора. Взгляды ее были вполне традиционными для человека ее положения, однако ее бессознательное нередко обнаруживало себя, и тогда возникал образ мрачный и сильный, обладающий абсолютной властью и как бы лишенный физического тела. Мне казалось, она состояла из двух половинок, одна безобидная и человечная, другая — темная и таинственная. Эта вторая обнаруживала себя лишь иногда, но всякий раз это было неожиданно и страшно. Тогда она говорила как бы сама с собой, но все ею сказанное проникало мне в душу и я совершенно терялся.

Когда это случилось впервые, мне, помнится, было лет шесть и я еще не ходил в школу. По соседству с нами жили весьма зажиточные люди. У них было трое детей — старший мальчик, примерно моего возраста, и две девочки помладше. По воскресеньям детей наряжали, как мне казалось, очень смешно — в лакированные туфли, крахмальные жабо и белые перчатки. Одежду детей чистили щеткой, а их самих тщательно причесывали даже в будни. Они были хорошо воспитаны и старались держаться на расстоянии от меня, грубого мальчика в рваных брюках, дырявых туфлях и с грязными руками. Мать бесконечно не давала мне покоя сравнениями и наставлениями: «Посмотри на этих милых детей, они так хорошо воспитаны, так вежливы, а ты ведешь себя как уличный мальчишка, ты невозможен». Я почувствовал себя униженным и решил отколотить «милого мальчика», что и исполнил. Его мать пришла в бешенство, она прибежала к моей с криками и протестами. Моя мать была, конечно, напугана и прочитала мне приправленную слезами нотацию, более долгую и страстную, чем когда-либо раньше. Я не чувствовал никакой вины, наоборот, был вполне доволен собой. Мне казалось, что я в какой-то мере наказал этого чужака за вызывающее поведение. Однако волнение матери испугало меня. Раскаиваясь, что огорчил ее, я убежал к своему столику за клавирами и принялся играть в кубики. Некоторое время в комнате было тихо. Мать, как обычно, сидела у окна и вязала. Потом я услышал, как

она невнятно бормочет что-то, и из ее отрывочных слов понял, что она думает о происшествии, но смотрит на него уже другими глазами. Вдруг она произнесла: «Но нельзя же так выставляться, в конце концов!» Я догадался, что она говорила о тех раздетых «обезьянках». Ее любимый брат был охотником, он держал собак и без конца говорил о щенках, полукровках, помете и т. д. С облегчением я понял, что мать считает этих ужасных детей «беспородными» и что ее выговор не следует принимать всерьез. Но я уже тогда понимал, что должен оставаться совершенно спокойным, не показывать свой триумф и говорить: «Вот видишь, ты же сама так считаешь!» Она пришла бы в негодование: «Ужасный мальчишка, как ты смеешь говорить такое о своей матери!» Отсюда можно заключить, что нечто подобное случалось и раньше, просто я не помню.

Я рассказываю эту историю потому, что в тот период, когда развивался мой скепсис, произошел случай, проливший свет на двойственную природу моей матери. Однажды за столом заговорили о скучных мелодиях некоторых духовных гимнов. Речь шла о возможной их ревизии. И вдруг мать пробормотала: «O du Liebe meiner Liebe, du *verwünschte* Seligkeit» («О любовь моей любви, ты проклятое блаженство...» — *нем.*)<sup>1</sup>. Как и раньше, я притворился, что не расслышал, стараясь не выдать свое ликование.

Двойственная природа матери была одной из главных причин моих ночных кошмаров. Днем ласковая, по ночам она казалась странной и таинственной, являясь мне страшным всевидящим существом — полузверем, жрицей из медвежьей пещеры, беспощадной как правда и как природа. В такие минуты она была воплощением того, что я называю «*natural mind*».

Я знаю, во мне тоже есть нечто от этой древней природы, и это позволяет, что не всегда приятно, видеть людей и вещи такими, какие они есть. Я могу дать себя обмануть, если не желаю знать истинного положения вещей, но в глубине души я его вполне себе представляю. Это чувство сродни инстинкту или архаическому механизму *партиципации* — мистического соединения с

---

<sup>1</sup> Речь идет об оговорке: *verwünschte* (проклятое) и *verwunschte* (вожделенное).

другими. Это как внутреннее зрение, когда каждый акт видения беспристрастен.

Понял я это гораздо позже, после разного рода странных происшествий. Так, однажды я рассказал историю жизни незнакомого мне человека. Это было на свадьбе друга моей жены. Ни невесту, ни кого-либо из ее семьи я не знал. За столом я сидел напротив бородатого мужчины средних лет, которого мне представили как адвоката, мы оживленно беседовали о криминальной психологии. Чтобы ответить на конкретный вопрос, я в качестве примера привел придуманную историю. Вдруг мой собеседник изменился в лице, а за столом воцарилась тишина. Я растерянно замолчал. Слава Богу, подали десерт, так что вскоре я поднялся и вышел в холл, где, забившись в угол с сигарой, попытался осмыслить случившееся. В эту минуту ко мне подошел один из соседей по столу и с укором сказал: «Как вы могли так дискредитировать человека?» — «Дискредитировать?! Чем же?» — «Ну, та история, которую вы рассказали...» — «Но я ее просто выдумал — от начала и до конца!»

Каково же было мое изумление, когда выяснилось, что я во всех подробностях рассказал правдивую историю моего визави. И в этот момент я с ужасом обнаружил, что не могу вспомнить ни единого слова из нее — и по сей день это мне не удалось. Один из немецких психологов в своей автобиографии описывает аналогичный случай: однажды на постоялом дворе он уличил в краже неизвестного ему молодого человека, поскольку увидел это своим внутренним зрением.

Я могу привести массу случаев из своей жизни, когда мне вдруг становилось известно то, чего я никоим образом знать не мог. Это знание приходило ко мне как моя собственная идея. С моей матерью бывало то же самое. Она не понимала, что говорит, но в ее голосе появлялась некая абсолютная авторитарность, и произносила она именно то, чего требовала данная ситуация.

Мать считала меня не по возрасту разумным и, как правило, общалась со мной как со взрослым, делилась тем, чего не могла сказать отцу, делая меня, ребенка, своим поверенным. Мне было лет одиннадцать, когда я узнал от нее об одном деле, связанном с отцом и сильно меня встревожившем. Я долго ломал голову и наконец решил, что должен посоветоваться с одним из друзей

отца — тот, как считалось, был влиятельным человеком. Не сказав матери ни слова, я отправился после школы в город. Был полдень, когда я позвонил в дверь этого человека, но служанка, сказала, что его нет дома. Разочарованный, я вернулся домой. Теперь же мне понятно, что это было *providentia specialis* (некое предвидение. — *лат.*). Несколько позже мать снова вспомнила об этом деле. На этот раз все выглядело совершенно иначе — оно не стоило и выеденного яйца. Почувствовав себя глубоко уязвленным, я подумал: «Каким же нужно было быть ослом, чтобы принять это всерьез, я ведь чуть было не наделал бед!» С тех пор все, что говорила мне мать, я делил надвое, потеряв к ней доверие. Меня больше никогда не тянуло рассказать ей о том, что всерьез занимало мои мысли.

Но иногда, в те моменты, когда проявлялось ее второе «я», она говорила настолько *to the point* (в точку. — *англ.*), что меня бросало в дрожь. В такие минуты мать была неподобным собеседником.

С отцом все было по-другому. Мне часто хотелось поделиться с ним религиозными сомнениями и попросить у него совета, но я не делал этого: мне казалось (я даже знал это наверняка), что он ответит лишь так, как велит ему долг. Насколько я был прав в своем предположении, выяснилось позже. Отец лично готовил меня к конфирмации, что утомляло меня смертельно. Листая катехизис и надеясь найти там что-нибудь, кроме смутных, скучных и сентиментальных измышлений о «*Her'e Jesus'e*», я однажды наткнулся на главу о Троице. Там обнаружилось нечто меня волновавшее: единство, которое одновременно являлось тройственностью. Этот парадокс не давал мне покоя, и я с нетерпением ожидал момента, когда мы дойдем до этого места. Но когда наконец дошли, отец сказал: «Далее говорится о Троице, но мы это пропустим, потому что я сам здесь ничего не понимаю». Восхищаясь его честностью, я тем не менее был глубоко разочарован и сказал себе: «Вот так. Они ничего не знают и даже думать не хотят. Как же я могу поделиться с ними моей тайной?»

Я осторожно попытался сблизиться с некоторыми одноклассниками, казавшимися мне склонными к размышлениям, но тщетно — в ответ никакого отклика, одно лишь недоумение, что, в конечном счете, оттолкнуло меня.

Несмотря на очевидную скуку, я честно старался достичь слепой веры без понимания — такое отношение, на мой взгляд, соответствовало отцовскому, и готовился к причастию — последней моей надежде. Это, думал я, всего лишь традиционное причащение, своего рода ежегодное прославление Господа нашего Иисуса Христа, который умер 1890 — 30 = 1860 лет назад. Но ведь он же сказал когда-то: «Примите, ядите: сие есть тело мое» (Мф. 26, 26), чтобы мы ели хлеб причащения так, будто это его тело, изначально бывшее человеческой плотью. Точно так же мы должны пить вино, которое было его кровью. Мне стало ясно, что таким образом мы должны были принять его в себя. Это выглядело настолько абсурдным и невозможным, что я уверился в существовании великой тайны, скрытой за всем этим, и в своей причастности к ней. Это и было причащением, которому мой отец придавал такое большое значение.

По обычаю моим крестным отцом стал член церковного комитета. Этот симпатичный молчаливый пожилой человек был каретником, и я часто бывал в его мастерской. Он явился к нам в церковном облачении и цилиндре, придававшем ему торжественный, праздничный вид, и повел меня в церковь, где мой отец стоял позади алтаря и читал молитву из литургии. На алтарной столешнице лежали большие подносы с маленькими кусочками хлеба. Я знал, что хлеб испечен нашим пекарем, а выпечка редко ему удавалась, (как правило, она была безвкусной). Из оловянного кувшина налили в оловянную чашу вино. Мой отец съел кусочек хлеба, отпил глоток вина — я знал ресторанчик, где его брали, — и передал чашу одному из старейшин. Все были напряжены и, похоже, безучастны. Я с волнением ждал чего-то особенного, но все было так же, как и на других церковных службах — крещении, похоронах и т. д. Мне показалось, что все здесь происходило по раз и навсегда установленному образцу: мой отец более всего был озабочен тем, чтобы завершить церемонию согласно правилам, и в эти правила входило произнесение некоторых слов с особым ударением. Но почему-то он ничего не сказал о том, что Иисус умер 1863 года назад, в то время как во всех других поминальных службах эта дата особо выделялась. Я не видел ни печали, ни радости, чувствуя, что праздник оказался недостойн личности,

которой он посвящался. Служба не шла ни в какое сравнение со светскими юбилейными торжествами.

Как-то незаметно подошла моя очередь. Я съел хлеб, — как и ожидалось, он был невкусным, вино, я лишь пригубил его, — слабым и кислым, явно не из лучших. Потом прозвучала заключительная молитва; люди уходили — на их лицах не было ни огорчения, ни просветления, и лишь читалось: «Ну вот и все».

Я шел домой с отцом, все время думая, что на мне черная фетровая шляпа и новый черный костюм, похожий на тот, какие носят пасторы. Это был странный удлинённый пиджак, заканчивающийся внизу двумя крылышками, с обеих сторон, между ними находились шлицы с карманами, куда можно было засунуть носовой платок — небрежным жестом, как это делают взрослые мужчины. Внезапно я ощутил свой новый социальный статус: меня приняли в мужское братство. Обед в тот день тоже был необыкновенно хорош. Еще я мог гулять в своем новом костюме. И все же я чувствовал опустошенность и ничего больше.

Спустя какое-то время я понял, что ничего не изменилось. Вот я уже на вершине религиозных таинств, жду непонятно чего, и... ничего не происходит. Я знал, что Бог может поступить со мной удивительнейшим образом — может испепелить и может наполнить все вокруг неземным светом. Но в той церемонии не было и следа Бога. Правда, все говорили о Нем, но то были не более чем слова. Ни в ком другом я не обнаружил и доли того безграничного отчаяния, того предельного напряжения всех сил и той чудесной благодати наконец, которые для меня составляли сущность Бога. Я не заметил ничего похожего на «*сompitio*» — никакого слияния, никакого единения... Единения с кем? С Иисусом? Но он был всего лишь человеком, умершим 1860 лет назад. Почему кто-то должен «сливаться» с ним? Его называли «Сыном Божьим» — следовательно, он был полубогом вроде античных героев; каким же образом обычный человек может «слиться» с ним? Это называлось «христианская религия», но она не имела ничего общего с тем Богом, Которого я знал. С другой стороны, было совершенно ясно, что Иисус — человек, знавший Бога. Он испытывал отчаяние и крестные муки и учил любить Бога как доброго Отца. Должно быть, и ему был ведом страшный облик Бога. Это я был в состоянии понять, но какова была цель этой несчастной

поминальной службы с этим хлебом и этим вином? Мало-помалу я пришел к пониманию, что причастие было роковым для меня: оно опустошило меня, более того, я будто что-то утратил. В этой религии я больше не находил Бога, я знал, что уже никогда не смогу принимать участие в этой церемонии и никогда не пойду в Церковь — там все мертво, там нет жизни.

Меня охватила жалость к отцу, я понял весь трагизм его профессии и его жизни: он боролся со смертью, существование которой не признавал. Между ним и мной открылась бездонная пропасть, и не было надежды когда-либо преодолеть ее. Я не смог бы причинить боль моему доброму отцу, всегда такому терпимому ко мне, не мог заставить его войти в кощунство, необходимое для постижения благодати. Только Бог мог потребовать такое, но не я — это было бы бесчеловечно. Бог не подвержен человеческим слабостям, думал я, Он и добр и зол, Он являет смертельную опасность, и каждый, естественно, старается каким-то образом спастись. Люди недалековидно цепляются за Его любовь и благодать из страха перед Его искушениями и Его разрушительным гневом. Иисус тоже заметил это и потому просил: «И не введи нас в искушение» (Мф. 6, 13).

Таким образом, я порвал с церковью и с человеческим миром, такими, какими их знал. Я — как мне казалось — потерпел величайшее поражение в жизни. Религиозные убеждения — моя единственная осмысленная связь с миром — утратили для меня смысл: я уже не мог разделять со всеми общую веру, но оказался причастным к чему-то невыразимому, к «тайне» внутри меня. Это было ужасно. И что всего невыносимее — это было грубо и бессмысленно. Какая-то дьявольская шутка.

«Как человек должен представлять себе Бога?» — размышлял я. Разве в моих силах придумать разрушение Богом собора или тот детский сон о подземном храме? Это навязала мне чья-то могущественная воля. Может, за это ответственна природа? Но природа — не что иное, как воля Создателя. Обвинить дьявола? Тоже невозможно — и он творение Бога. Значит только Бог действительно существует — только Он способен испепелить и подарить невыразимое блаженство.

А как же причастие? Может, все дело в моей собственной несостоятельности? Но я готовился к нему со всей серьезностью,



надеясь пережить просветление, сподобиться чуда благодати, — и ничего не произошло. Бога не было при этом. Бог пожелал отвести меня от церкви и от веры моего отца. Я оказался отрезанным от всех людей, потому что они верили не так, как я. Знание это омрачило мою жизнь, и так продолжалось вплоть до поступления в университет.

### III

Я искал книги, которые рассказали бы мне о Боге все, что было известно о Нем другим людям, начав со скромной библиотеки моего отца (тогда она казалась мне вполне достаточной). Сначала мне попадались вполне традиционные сочинения. Я не находил ни одного автора, который бы мыслил независимо, пока не наткнулся на «Христианскую догматику» Бидермана 1869 года. От него я узнал, что религия — «работа духа», «самоопределение человека в отношениях с Богом». С этим мне было трудно согласиться, поскольку я понимал религию как нечто такое, что Бог совершает со мною — это была *Его* работа, Он сильнейшая сторона, а я лишь подчиняюсь. Моя «религия» не осознавала связи человека с Богом, ибо как может человек быть связанным с Тем, Кого так мало знает? Мне следует прежде узнать Его.

У Бидермана в главе «О сущности Бога» я прочел, что Бог — это «существо, которое надо представлять себе по аналогии с человеческим «я», но это «я» — единственное в своем роде, совершенное, вселенское».

Насколько я понял, данное определение не противоречило Библии. Богу свойственна индивидуальность и сознание Себя как вселенной, подобно тому как мое «я» является духовным и физическим существом. Но здесь таилось серьезное препятствие. Индивидуальность, размышляя я, со всей очевидностью предполагает характер; характер же — то, что отличает вас от других (вы являетесь одним и не являетесь другим); иными словами, он подразумевает некоторые определенные качества. Но если Бог — все, то как может Он иметь характер, отличный от других? Если у Него есть характер, Его «Я» субъективно и ограничено. И, наконец, какого рода этот характер? Вот главный вопрос — и если вы не знаете ответа, вы не в состоянии определить свое отношение к Нему.

Воображая Бога по аналогии с собой, я ощущал сильное внутреннее сопротивление. Такая аналогия представлялась мне если не богохульством, то, по крайней мере, непомерной самонадеянностью. Да и с моим собственным «я» все было далеко не просто. В первую очередь, я сознавал свою двойственность и противоречивость. В обоих проявлениях мое «я» было крайне ограниченным, легко впадало в самообман и зависело от настроений, эмоций и страстей. Оно знало куда больше поражений, чем побед, ему свойственны были инфантильность, эгоистичность, упрямство, оно требовало к себе любви и жалости, было несправедливым и слишком чувствительным, ленивым и безответственным и т. д. Ему недоставало многих достоинств и талантов, которые я находил у других и которыми восхищался не без зависти. Как же оно могло явиться той аналогией, которая даст мне возможность представить себе природу Бога?

Я усердно искал другие характеристики Бога, но обнаружил лишь нечто вроде списка, подобного тому, который я когда-то составил перед конфирмацией. Я обнаружил, что согласно §172 «наиболее непосредственно отражает неземную природу Бога:

- 1) negativ: Его невидимость для людей и т. д., а также
- 2) positiv: Его пребывание на небесах и т. д.»

Это был провал: передо мной тотчас возникло богохульное видение, которое Бог прямо или непрямо (через дьявола) навязал моей воле.

Из §183 я вычитал, что «Божественная сущность» противна светской морали, Его «справедливость» не просто «беспристрастна», но является «проявлением Его Божественной сущности». Я рассчитывал найти здесь хоть что-нибудь о темных сторонах Бога, которые причинили мне столько беспокойства, — о Его мстительности, Его ужасающей ярости, о необъяснимом отношении к созданиям, рожденным Его всемогуществом. Ему ведомо их слабость, но Он доставляет Себе удовольствие, сбивая их с пути или, по меньшей мере, подвергая испытаниям, хотя результат этих экспериментов Ему заранее известен. Каков же характер Бога? Что мы подумали бы о человеке, который ведет себя подобным образом? Продолжить эту мысль у меня не хватило духа. Далее я прочитал, что Бог, «хотя Ему было достаточно Самого Себя», сотворил мир для собственного «удовлетворе-

ния», что, «творя мир физический, Он наполнил его Своею красотой, творя мир духовный, Он пожелал наполнить его Своею любовью».

Сначала я долго раздумывал над непонятным словом «удовлетворение». Удовлетворение чем или кем? Очевидно, миром, ведь Он посмотрел на плоды труда Своего и нашел, что это хорошо. Но именно этого я никогда не понимал. Да, мир прекрасен безгранично, но он и не менее страшен. В маленькой деревушке, вдали от городской жизни, где живет горстка людей и ничего не происходит, «старость, болезнь и смерть» предстают перед глазами во всех своих мельчайших подробностях, более очевидных, чем где бы то ни было еще. Мне еще не было шестнадцати лет, но я уже много знал об истинной жизни людей и животных; в церкви и в школе достаточно наслышался о страданиях и порочности мира. Бог мог, разумеется, находить «удовлетворение» в раю, но ведь Он Сам старательно позаботился о том, чтобы это блаженство было не слишком долгим, поместив там ядовитого змия — самого дьявола. Находил ли Он в этом удовлетворение? Я был убежден, что Бидерман так не думал, — он просто излагал свои мысли в свойственной богословам легковесной и бездумной манере, даже не сознавая их абсурдности и бессмыслицы. Я и предположить не мог, что Бог находит мрачное удовлетворение в незаслуженных страданиях человека и животных, не мог помыслить, что Он намеревался сотворить мир из одних противоречий, чтобы одно создание пожирало другое и всяк рождался, чтобы умереть. «Божественная гармония» естественных законов казалась мне хаосом, умеряемым робкими усилиями людей, и «вечный» небесный свод со звездами, движения которых предопределены, выглядел как набор случайных тел, беспорядочный и бессмысленный, со всеми этими созвездиями, о которых все говорят и которых никто не видел. Ведь очертания их совершенно произвольны.

Я глубоко сомневался, в том, что естественный мир преисполнен Божественной красоты. На мой взгляд, это являлось очередным утверждением, которое следовало без раздумий просто принимать на веру. В самом деле, если Бог являет Собой высшую красоту, почему же мир, Его творение, столь несовершенен, столь порочен, столь жалок? Вероятно, эта путаница была делом рук дьявола, думал я. Но и дьявол — ведь тоже создание

Бога. И тогда я стал читать о дьяволе — это казалось очень важным. Я снова обратился к моим догматикам, пытаюсь найти ответы на мучившие меня вопросы о причинах страданий, несовершенства и зла. Ответов не было; я закрыл книгу. В ней не нашлось ничего, кроме красивых и пустых слов, и, что гораздо хуже, за всей этой глупостью стояла единственная цель — скрыть правду. Я был не просто разочарован, я был возмущен!

Но где-то и когда-то существовали же люди, которые, как и я, стремились доискаться правды, которые мыслили разумно, не желая обманывать себя и других, не закрывая глаза на горькую реальность. И тогда моя мать (вернее, ее «номер 2») вдруг сказала: «Ты как-нибудь должен прочесть «Фауста» Гёте». У нас имелось превосходно изданное собрание сочинений Гёте, и я нашел там «Фауста» — на мои раны будто пролили бальзам. «Вот наконец-то человек, — думал я, — который принял дьявола всерьез, который заключил кровавый договор с тем, кто своей властью расстроил совершенный Божественный замысел». Я не одобрял Фауста, на мой взгляд, ему не следовало быть столь забывчивым и легковверным. Он должен был проявить большую рассудительность и большую нравственность. Какая непростительная инфантильность — так легкомысленно проиграть свою душу! Фауст оказался откровенным пустозвоном. У меня сложилось впечатление, что центр драмы и ее смысл главным образом были связаны с Мефистофелем. Я не слишком огорчился бы, отправься душа Фауста в ад. Он этого заслуживал. Но сюжет об «обманутом дьяволе» в конце меня просто возмутил — Мефистофель был кем угодно, но только не простаком, и странно, чтобы его провели глупцы. Мефистофель казался мне обманутым совсем в другом смысле: он не получил обещанного потому, что Фауст, этот ветреный и бесхарактерный тип, попал на небеса со своими непомерными претензиями. Думаю, там его ребячество обнаружилось в первый же день; по-моему, он вовсе не заслуживал посвящения в великие тайны, его стоило прежде испытать очистительным огнем. Но главным действующим лицом был для меня не он, а Мефистофель, я смутно чувствовал его связь с тем, чего не понимал в матери. В любом случае Мефистофель и заключительное Посвящение навсегда остались в моем сознании как прикосновение к чему-то таинственному и чудесному.

Наконец я уверился в том, что были и есть люди, которые смотрели в лицо злу, видели его власть, более того — его тайную роль в избавлении человека от мрака и страданий. В этом смысле моим пророком и стал Гёте. Но простить ему то, как он отделился от Мефистофеля, я не мог — каким-то трюком, каким-то *tour de passe-passe* (фокусом. — *фр.*), так легкомысленно, так по-богословски. Это было слишком безответственно, и я досадовал, что Гёте тоже оказался из тех обманщиков, кто с помощью словесных ухищрений пытается представить зло безвредным.

Для себя я сделал вывод, что Фауст был философом, хотя и не слишком глубоким, и что, несмотря на отход от философии, он, очевидно, успел приобрести некую восприимчивость к истине. До этого я практически ничего не слышал о философии, и теперь у меня появилась новая надежда. Может быть, рассуждал я, есть философы, которые пытались разрешить те же вопросы и которые помогут мне.

В библиотеке отца философов не нашлось — все они были на плохом счету, поскольку пытались думать; мне пришлось довольствоваться «Универсальным философским словарем» Круга (2-е изд. 1832 г.). Я отыскал статью о Боге. Она начиналась с этимологии слова «Бог», которое — и это представлялось неоспоримым — происходит от слова «благо» и означает нечто высшее и совершенное. Существование Бога недоказуемо, говорилось далее, но может быть доказана имманентность идеи Бога. Таковая присуща человеку изначально, если не в видимых проявлениях, то, во всяком случае, скрыто. И наши «интеллектуальные силы» должны были «развиться до определенной степени», прежде чем смогли породить столь возвышенную идею.

Объяснение буквально поразило меня. «Да что такое с этими философами?» — спрашивал я себя. Очень похоже, что они судят о Боге с чужих слов. С теологами иначе: те по крайней мере уверены, что Бог есть, хотя и высказываются о Нем самым противоречивым образом. Но и Круг выражался столь завуалированно лишь затем, чтобы скрыть настоящую убежденность в существовании Бога. Почему не сказать об этом прямо? Зачем он притворяется, будто и в самом деле думает, что мы «порождаем» идею Бога и, чтобы сделать это, должны достичь определенного уровня развития? Такие идеи, насколько я знал, есть даже у на-

гих дикарей в джунглях. А ведь они не философы, они не собираются специально для того, чтобы «породить идею Бога». Я тоже никогда не «порождал» никакой «идеи Бога». Разумеется, существование Бога не может быть доказано, — как, скажем, моль, поедающая австралийскую шерсть, докажет другой моли, что Австралия существует? Существование Бога не зависит от наших доказательств. Как пришел я к этому определению? На сей счет мне довелось услышать массу объяснений, но я ничему не мог верить, ничто не убеждало меня. В действительности, это никоим образом не было моей идеей. Это не выглядело так, как если бы сначала я воображал что-то, потом это что-то обдумывал и затем наконец верил в это. Так, например, история о Христе всегда казалась мне подозрительной. По-настоящему я никогда в нее не верил, хотя мысли об Иисусе внушались мне с куда большей настойчивостью, чем мысли о Боге. Почему же я стал воспринимать Бога как нечто само собой разумеющееся? Почему философы стараются внушить другим, будто Бог — это «идея», своего рода произвольное допущение, которое можно «породить» или «не породить», — когда совершенно ясно, что Он существует так же реально, как кирпич, что падает вам на голову?

Неожиданно мне открылось, что Бог — это одно из наиболее существенных и непосредственных переживаний, по крайней мере для меня. Не мог же я выдумать той страшной истории с собором. Напротив, она была мне навязана, и чья-то жестокая воля принудила меня думать об этом. Но зато потом на меня снизошло невыразимое ощущение благодати.

Я сделал вывод, что эти философы изначально опирались на шаткую основу — на странное представление о Боге как о своего рода гипотезе, которую можно обсуждать. Мне казалось в высшей степени неудовлетворительным то, что философы не нашли никакого объяснения разрушительным действиям Бога. А именно такие действия, на мой взгляд, заслуживали особого внимания философии, поскольку теология с этим явно не справлялась. И как же я был разочарован, когда сообразил, что философы, похоже, об этом даже не подозревали.

Я перешел к следующей интересующей меня статье — о дьяволе. Если, читал я, допустить, что дьявол изначально зол, мы впадем в явное противоречие, то есть в дуализм. Поэтому нам

следует предположить, что он первоначально создан добрым, но позже был развращен своей гордыней. Однако, как отмечал автор статьи — и я был доволен, что он это заметил, — данная гипотеза предполагает, что главное зло, которое она пытается объяснить, — собственно гордыня. В остальном, по его мнению, происхождение зла «неясно и необъяснимо». Для меня это означало, он, как и теологи, не желает думать о зле. Статья о зле и его происхождении выглядела столь же бесполезной.

Здесь я попытался связно изложить идеи и мысли, занимавшие меня, пусть и с перерывами, в течение нескольких лет. Это были проявления моего скрытого второго «я», моего «номера 2». Я пользовался отцовской библиотекой тайно, без разрешения. Между тем мое первое «я» открыто читало Герштейкера и переводные английские романы. Я увлекся немецкой литературой, в первую очередь классической, от которой школа еще не успела отвлечь меня своими скучными многословными комментариями. Читал тогда я много и беспорядочно, читал сочинения лирические и драматические, исторические и естественнонаучные. Увлечение это было не только приятным и полезным — оно давало мне своеобразную разрядку. Но увлечения моего второго «я» все глубже и глубже погружали меня в депрессию. Не находя ответов на свои вопросы, я окончательно разочаровался. Окружающие, казалось, интересовались совсем другими вещами, я был совершенно одинок с моими исканиями. Больше всего на свете мне хотелось поговорить с кем-нибудь, но я не мог найти точек соприкосновения, обнаруживая лишь отчужденность, недоверие, некий страх, что в конце концов лишало меня желания общаться. Это угнетало еще сильнее. Я не знал, как это понимать: почему никто не переживает ничего подобного? Почему об этом нет книг? Неужели я единственный, кому это пришлось в голову? Но мысль, что я мог сойти с ума, меня никогда не посещала, поэтому светлая и темная стороны Бога казались мне вещами, которым, несмотря на душевное сопротивление, я должен был найти объяснение сам.

Я ощущал свое вынужденное «отличие», и оно пугало меня (означая не что иное как изоляцию) и приводило к очевидной несправедливости: меня делали козлом отпущения куда чаще, чем

я мог это вынести. На уроках немецкого я выглядел весьма посредственно: ни грамматика, ни синтаксис совершенно меня не интересовали. Я скучал и ленился. Темы сочинений казались мне как правило, пустыми и глупыми, а собственные работы — беспредметными и вымученными. Оценки я получал средние, что вполне устраивало: я старался не выделяться, не подчеркивать свое проклятое «отличие». Меня тянуло к мальчикам из бедных семей, которые, как и я, вышли из ничтожества, но многие из них были тупыми и невежественными, а это уже раздражало. Приятивало же меня то, что эти одноклассники в своей простоте не замечали во мне ничего особенного. А я из-за своего «отличия» уже начал бояться сам себя: мне казалось, что есть во мне нечто такое, чего я сам в себе не знаю, из-за чего меня не любят учителя и избегают товарищи.

Тогда же произошла история, которая меня доканала. Мы наконец получили тему для сочинения, которая показалась мне интересной. Я писал добросовестно и с увлечением и, как мне казалось, мог рассчитывать на успех — получить один из высших баллов, не самый высший, конечно, это бы меня выделило, но близкий к нему.

Наш учитель имел обыкновение начинать обсуждение сочинений с лучших. Сперва он прочел сочинение первого ученика, это было в порядке вещей. Затем последовали другие, а я все ждал и ждал, когда же прозвучит мое имя. Меня не называли. «Этого не может быть, — думал я, — неужели мое сочинение настолько плохое, ведь он уже перешел к откровенно слабым работам. В чем же дело?» Или я снова оказался «вне конкурса» и обнаружил свое проклятое «отличие»?

В конце концов, когда все сочинения были прочитаны, учитель сделал паузу и произнес: «У меня есть еще одно сочинение — Юнга. Оно намного превосходит другие, и я должен был бы отдать ему первое место. Но, к сожалению, это обман. Откуда ты списал его? Скажи начистоту!»

В ужасе и негодовании я вскочил с криком: «Я не списал ни единого слова! Я же потратил столько сил, я старался написать хорошее сочинение». Но учитель был неумолим: «Ты лжешь. Ты не мог написать такое сочинение. Это маловероятно. Итак — откуда ты его списал?»



Напрасно я клялся в невинности, учитель стоял на своем. «Значит, так, — сказал он, — если я найду, откуда ты его списал, тебя исключат из школы». И отвернулся. Мои одноклассники бросали на меня странные взгляды, и я с ужасом понял, что они думают: «Ах, вот оно что». И снова передо мной оказалась глухая стена.

Теперь на мне было клеймо — клеймо моего проклятого «отличия». Униженный и опозоренный, я клятвенно пообещал отомстить учителю, и, если бы такая возможность вдруг появилась, я рассчитался бы с ним по закону джунглей. Но как мог я доказать всему свету, что не списывал сочинение?

Я днями размышлял над этой историей и снова приходил к выводу, что ничего нельзя было поделать, что волею слепой и глупой судьбы я оказался лжецом и обманщиком. Теперь до меня стало доходить многое, чего я не понимал раньше, например, почему один из учителей сказал моему отцу, когда тот пришел поинтересоваться моей учебой: «Ну, он, конечно, средний ученик, но работает с похвальным усердием». То, что я числился в «недалеких» и «поверхностных», сказать по правде, меня это не задевало. Меня убивало то, что они считали меня способным на ложь.

Я уже не в силах был сдерживать горечь и негодование. И тут случилось то, что я замечал в себе и прежде: в сознании воцарилась внезапная тьма, будто захлопнулась глухая дверь, отгородив меня от всех. И я спросил себя с холодным любопытством: «Что, собственно, произошло? Ну да, ты возмущен. Учитель, бесспорно, глупец, он ничего не понимает, он не понимает тебя, но ведь и ты понимаешь не больше. Он сомневается в тебе точно так же, как ты сам. Ты не веришь в себя и в других и тянешься к тем, кто прост, наивен и виден насквозь. Что это — возмущение чело века, который чего-то не понимает?»

Подобные мысли *sine ira et studio* (без гнева и пристрастия. — *лат.*) удивительным образом напоминали цепочку тех других моих рассуждений, которые я считал для себя запретными. Тогда я не видел различия между «я» первым и «я» вторым, кроме того, что мир второго «я» был только моим. И все же меня никогда не покидало чувство, что в том втором мире было замешано что-то еще помимо меня. Будто дыхание огромных миров и бес-

крайних пространств коснулось меня, будто невидимый дух витал в моей комнате — дух кого-то, кого давно нет, но кто будет всегда, кто существует вне времени. В этом было нечто потустороннее.

В то время у меня, безусловно, не было таких слов, но мое описание вовсе не относится к моему теперешнему состоянию. Я лишь пытаюсь объяснить те прошлые ощущения и осветить сумеречный мир своего детства с помощью того, что мне известно сейчас.

Через несколько месяцев после того случая мои школьные товарищи прозвали меня «отцом Авраамом». Мой «номер 1» не мог понять почему и возмущался, считая это смешным и глупым. Но в глубине души я сознавал, что имя было точным, и болезненно воспринимал все эти намеки на мое подсознание. Чем больше я читал и чем ближе знакомился с городской жизнью, тем сильнее чувствовал, что та реальность, которую пытаюсь постичь, подразумевает совсем иной порядок вещей, нежели тот маленький мир, в котором я вырос, с его реками и лесами, людьми и животными, с маленькой деревней, что купалась в солнечных лучах, с ветрами и облаками, с темными ночами, когда происходят странные вещи. Это была не просто точка на карте, а «Божий мир», полный тайного смысла. Но люди ничего о нем не знали, и даже животные почему-то утратили этот смысл. Я отыскивал это неведение в печальном, потерянном взгляде коров, в безнадежных глазах лошадей, в преданности собак, которые так отчаянно цеплялись за место возле человека, даже в поведении самоуверенно гуляющих котов, которые жили в амбарах и там же охотились. Люди, думалось мне, походили на животных и, казалось, так же не осознавали себя. Они смотрели на землю и на деревья лишь затем, чтобы увидеть, можно ли это использовать и для чего. Как и животные, они сбивались в стадо, спаривались и боролись между собой, жили в этом Божьем мире и не видели его, не осознавая, что он един и вечен, что все в нем уже родилось и все уже умерло.

Я любил всех теплокровных животных, потому что они похожи на людей и разделяют наше незнание. Я любил их за то, что у них была душа, и, мне казалось, они все понимали. Им, как и нам, считал я, доступны печаль и радость, ненависть и любовь, голод и жажда, страх и вера, просто они не умеют говорить, не

могут осознавать и неспособны к наукам. И хотя меня, как и других, восхищали успехи в развитии наук, я видел, что знание усиливает отчуждение человека от Божьего мира, способствует вырождению, тому, чего в животном мире нет и быть не может. К животным я испытывал любовь и доверие, в них было некое постоянство, которого я не находил в людях.

Насекомых я считал «ненастоящими» животными, а позвоночные для меня являлись лишь какой-то промежуточной стадией на пути к насекомым. Создания, относившиеся к этой категории, предназначались для наблюдения и коллекционирования, они были интересны в своем роде, но не имели человеческих свойств, а были всего-навсего проявлением безличной жизни и стояли ближе к растениям, нежели к человеческим существам.

Растения находились у самого основания Божьего мира, — вы словно заглядывали через плечо Создателя, когда Он, думая, что Его никто не видит, мастерил игрушки и украшения. Тогда как человек и «настоящие» животные, будучи независимыми частицами Божества, могли жить, где хотят, — растения (хорошо это или плохо), были привязаны к месту. Они выражали не только красоту, но и идею Бога, не имели своих целей и не отклонялись от заданных. Особенно таинственными, полными непостижимого смысла казались мне деревья, поэтому лес был тем местом, где я сильнее всего ощущал страх и трепет Божьего мира, его глубокое значение и благо всего, в нем происходящего.

Это ощущение усилилось после того, как я увидел готический собор. Но там безграничность космоса и хаоса, весь смысл и вся непостижимость сущего, все безличное и механическое было воплощено в камне, одухотворенном и исполненном тайны. Именно так я чувствовал свое родство с камнем, ведь Божество присутствует и в мертвом, и в живом.

Как я уже говорил, не в моих силах было сформулировать все эти интуитивные ощущения — они относились к сфере моего второго «я», тогда как мое деятельное и осмысленное начало пребывало вне времени, превращаясь в «старца». Я ощущал его в себе и ощущал его влияние, но, странным образом, не задумывался об этом. Когда «старец» присутствовал, мой «номер 1» как бы исчезал, и, наоборот, когда на сцену выходил «номер 1», «старец» превращался в далекую и нереальную мечту.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет, этот туман стал медленно рассеиваться. Приступы депрессии становились все слабее, и все более отчетливо начало проступать мое первое «я». Школа и городская жизнь поглощали все мое время, и знания об окружающем мире, которых становилось все больше, прорываясь в мир интуитивных опасений, подавляли их. Я сознательно наметил себе круг вопросов, которыми систематически занимался. Прочитав краткое введение в историю философии, я получил некоторое представление обо всем, что уже было передумано разными философами до меня. Мне было приятно узнать, что во многих интуитивных ощущениях я имел исторических предшественников. Ближе других оказались мне греки, особенно Пифагор, Гераклит, Эмпедокл и Платон (хотя его «Диалоги» показались чересчур растянутыми). Они были столь же прекрасны и академичны, как те запомнившиеся мне фигуры в античной галерее, но и столь же далеки. Впервые я почувствовал дыхание жизни у Мейстера Экхарта, но так и не понял его. Я остался равнодушен к средневековой схоластике, и аристотелевский интеллектуализм святого Фомы показался мне безжизненным, как пустыня. «Все они, — рассуждал я, — хотят воспроизвести нечто при помощи логических кунштюков — нечто такое, чего изначально в них самих нет, чего они не чувствуют и о чем в действительности не имеют ни малейшего представления. Они хотят умозраительно доказать себе существование веры, тогда как на самом деле она может явиться лишь через опыт». Они походили на людей, которые понаслышке знали, что слоны существуют, но сами никогда не видели ни одного, пытаясь с помощью умозаключений доказать, что согласно логике такие животные должны существовать, как оно и есть на самом деле. По понятным причинам скептицизм XVIII века не был мне близок. Гегель напугал меня своим языком, вымученным и претенциозным. Я не испытывал к нему никакого доверия, он показался мне человеком, который заключен в тюрьму из собственных слов и который с важным видом прохаживается по камере.

Главной удачей моих исследований стал Шопенгауэр. Он был первым, кто рассказал мне о настоящих страданиях мира, о путанице мыслей, страстях и зле — обо всем том, чего другие почти не замечали, пытаясь представить либо как всеобщую

гармонию, либо как нечто само собой разумеющееся. Наконец я нашел философа, у которого хватило смелости увидеть, что не все было к лучшему в самих основаниях мира. Он не рассуждал о совершенном благе, о мудром провидении, о космической гармонии, он прямо сказал, что все беды человеческой истории и жестокость природы происходят от слепоты творящей мир Воли. И я видел подтверждение этому еще в детстве — больных и умирающих рыб, чесоточных лис, замерзших и погибших от голода птиц, т.е. те жестокие трагедии, которые скрываются под цветущим покровом луга: земляных червей, заеденных муравьями, насекомых, разрывающих друг друга на куски, и т. д. Мой опыт наблюдения над людьми тоже научил меня чему угодно, только не вере в изначально присущие человеку доброте и нравственности. Я достаточно хорошо узнал себя и видел, что я лишь в какой-то степени, условно говоря, отличаюсь от животных.

Мрачную шопенгауэровскую картину мира я принимал, но с предлагаемым им решением проблемы не мог согласиться. Я был убежден, что под Волей философ в действительности имеет в виду Бога, Создателя, и утверждает, будто Бог слеп. По опыту мне было известно, что Бог не обижался на подобное богохульство, а напротив, мог даже поощрять его, как поощряет Он не только светлые, но дурные и темные стороны человеческой природы, поэтому суровый приговор Шопенгауэра я принял спокойно. Но крайне разочаровала меня его мысль о том, что интеллекту достаточно превратить слепую Волю в некий образ, чтобы заставить ее повернуть вспять. Возможно ли это, если она слепа? Почему она должна непременно повернуть вспять? И что такое интеллект? Он — функция человеческого духа, не все зеркало, а лишь его осколок, который ребенок подставляет солнцу в надежде ослепить его. Для меня было загадкой, почему Шопенгауэр довольствовался такой слабой идеей, это выглядело абсолютно неправдоподобным.

Я детально занялся Шопенгауэром и остановился на его полемике с Кантом, обратившись к работам последнего, и в первую очередь к его «Критике чистого разума». Это стоило мне значительного серьезного напряжения, но в конце концов мои усилия оказались не напрасными, потому что я открыл, как мне

казалось, фундаментальный просчет в системе Шопенгауэра. Он совершил смертный грех, переводя в некий реальный план категорию метафизическую, чистый ноумен, «вещь в себе». Я понял это благодаря кантовской теории познания, которая просветила меня гораздо более, нежели «пессимистическое» мироощущение Шопенгауэра.

Мои философские занятия продолжались с семнадцати лет вплоть до того времени, когда я всерьез занялся изучением медицины. Они в корне изменили мой взгляд на жизнь и мое отношение к миру. Прежде я был робким, стеснительным и недоверчивым. Теперь же я знал, чего хочу, и стремился к этому. Я стал общительнее, проще сходилась с людьми и понял, что бедность — не порок и далеко не главная причина страданий, что дети богатых на самом деле не обладают никакими преимуществами и что для счастья и несчастья нужны более весомые основания, чем размер суммы карманных денег. У меня появилось больше друзей, и друзей хороших. Я чувствовал твердую почву под ногами и даже нашел смелость открыто говорить о своих идеях, о чем, впрочем мне пришлось очень скоро пожалеть. Я столкнулся не только с отчуждением и насмешками, но и с откровенным неприятием, с изумлением обнаружив, что некоторые люди считают меня хвастуном и позером. Опять всплыло, хоть и в более мягкой форме, давнишнее обвинение в нечестности. Поводом снова послужило сочинение, тема которого показалась мне интересной. Я писал очень старательно, на этот раз особенно изощряясь в стиле. Результат был ошеломляющим. «Вот работа Юнга, — сказал учитель, — в ней видна одаренность, но она сделана поспешно и так небрежно, что легко заметить, как мало усилий потрачено на нее. Вот что я тебе скажу, Юнг, ты ничего не добьешься в жизни с таким поверхностным отношением к делу. Жизнь требует серьезности и прилежания, работы и усилий. Посмотри на работу Д. Ему недостает твоего блеска, но он честен, прилежен и трудолюбив. А именно это и нужно для успеха в жизни».

На этот раз я был не столь уязвлен — все же учитель, *contre soi* (против желания. — *фр.*), отдал мне должное — по крайней мере, не обвинил меня в обмане. Я пытался протестовать, но он отделался замечанием: «Аристотель утверждает, что лучшая поэма — та, в которой не видны затраченные на нее усилия. Но к

твоему сочинению это не относится, можешь оправдываться как угодно, но оно написано поспешно и без какого-либо усердия». Я знал, что в моей работе было несколько хороших мыслей, но учитель предпочел их не заметить.

Едва ли мне было обидно, но что-то изменилось в отношении ко мне школьных товарищей — я опять оказался в изоляции и ощутил прежнюю подавленность. Я ломал голову, пытаюсь понять, в чем причина их косых взглядов, пока, наконец, задав несколько осторожных вопросов, не выяснил, что все дело в моих амбициях, зачастую безосновательных. Так, я давал понять, что знаю нечто о Канте и Шопенгауэре или, например, о палеонтологии, чего у нас в школе еще «не проходили». Теперь стало понятно, что причина их недовольства кроется не в обыденности, но в моем тайном «Божьем мире», о котором лучше упоминать не следовало.

С того времени я перестал посвящать одноклассников в свою «эзотерику», а среди взрослых у меня не было знакомых, с которыми я мог бы поговорить, не рискуя показаться хвастуном и обманщиком. Самым болезненным оказался крах моих попыток преодолеть внутренний разрыв, мою пресловутую «раздвоенность». Снова и снова происходили события, уводившие меня от обыденного, повседневного существования в безграничный «Божий мир».

Выражение «Божий мир» может показаться сентиментальным, но для меня оно имеет совершенно иной смысл. «Божий мир» — это все «сверхчеловеческое»: ослепляющий свет, мрак бездны, холод вечности и таинственная игра иррационального мира случайности. «Бог» для меня мог быть чем угодно, только не «проповедью».

## IV

Чем старше я становился, тем чаще родители и знакомые спрашивали меня: чего же я, собственно, хочу? Но этого я сам не знал. Меня интересовали самые разнообразные вещи. В естественных науках меня привлекло прежде всего то, что здесь истина была доказана и доказана опытным путем. Но одновременно с этим меня увлекало все, я живо интересовался всем, что относилось к истории религии. В первом случае мои интересы были сосредоточены главным образом на зоологии, палеонтоло-

гии и геологии, во втором же — на греко-римской, египетской и доисторической археологии. Тогда я еще не понимал, насколько этот выбор соответствовал природе моей внутренней двойственности. В естественных науках для меня важны были конкретные факты и их историческая подоплека, в богословии — философская и духовная проблематика. В науке мне не доставало смысла, а в религии — фактов. Наука в большей степени служила нуждам первого «я», занятия историей и богословием — «я» второму.

Это противоборство двух «я» долгое время не позволяло мне определиться. Мой дядя — глава семьи матери, был пастором церкви святого Альбано в Базеле (в семье его прозвали «Ледяной человек»), ненавязчиво поощрял мой интерес к теологии. Он не мог не заметить, с каким вниманием я прислушивался к беседам за столом, когда он обсуждал религиозные проблемы с кем-нибудь из своих сыновей (все они были теологами). Я сомневался, знают ли теологи, близкие к вершинам университетской науки, больше, чем мой отец. Из этих бесед я не вынес впечатления, что их рассуждения имеют какое-то отношение к реальному опыту, особенно — к моему собственному. Они спорили, исключительно «школьным образом», о сюжетах из библейской истории, и меня несколько смущали многочисленные упоминания о едва ли достоверных чудесах.

Учась в гимназии, я каждый четверг обедал в доме дяди и был признателен ему не только за обед, но и за единственную возможность слушать иногда взрослые, умные беседы. Это было чрезвычайно полезно для меня, поскольку в моем кругу ничего подобного слышать не приходилось. Когда я пытался серьезно поговорить с отцом, то встречал лишь настороженность и испуг. Лишь через несколько лет я понял, что мой бедный отец не смел думать, потому что его мучили внутренние сомнения. Он боялся сам себя и потому так настаивал на слепой вере. Он хотел «отвоевать ее в борьбе», прилагая невероятные усилия, чтобы прийти к ней, и именно потому он не смог воспринять благодати.

Мой же дядя и мои кузены обсуждали догматы отцов церкви и взгляды современных теологов совершенно спокойно. Там, где все для них было самоочевидным, они, похоже, чувствовали себя в полной безопасности, но имя Ницше, например, вообще не упоминалось, а Якоб Буркхардт мог рассчитывать разве что на



нисходительную похвалу. Буркхардт был «либералом», «человек свободомыслящим», и я понял, что он не вписывается в этот вечный и очевидный порядок вещей. Мой дядя, по всей видимости, даже не подозревал, как далек я был от теологии, и мне было очень жаль его разочаровывать. Если бы я не осмелился прийти к нему со своими проблемами, дело неминуемо обернулось бы катастрофой. Я ничего не сумел бы сказать в свою защиту. Зато мой «номер 1» вполне благоденствовал, и мои скудные на тот момент знания были насквозь пропитаны тогдашним научным материализмом. Меня лишь несколько «тормозили» исторические свидетельства и кантовская «Критика чистого разума», которую в моем окружении никто, очевидно, не понимал. Хотя мой дядя с похвалой отзывался о Канте, кантовские принципы использовались им для дискредитации враждебных ему взглядов, но никогда не применялись к его собственным. Об этом я тоже ничего не говорил и потому чувствовал себя за одним столом с дядей и его семьей все более неловко.

Учитывая мой комплекс вины, можно понять, что эти четверги стали для меня «черными». В мире социальной и духовной стабильности моих родственников мне делалось все неуютней, хотя я и нуждался в этих редких моментах интеллектуального общения. Я чувствовал себя несчастным и стыдился этого. Я вынужден был признаться себе: да, ты обманщик, ты лжешь людям, которые желают тебе добра. Они не виноваты в том, что живут в своем надежном мире, ничего не зная о бедности, что их религия — это их профессия. Им не приходит в голову, что Бог может вырвать человека из этого «надежного» и упорядоченного мира и приговорить его к богохульству. Я не сумел бы объяснить им это. Посему я мог винить во всем только себя и должен был научиться выносить это. Но последнее, к сожалению, мне не слишком-то удавалось.

По мере нарастания внутреннего конфликта мое второе «я» казалось мне все более сомнительным и неприятным, в чем я был вынужден себе признаться. Я пытался подавить его, но безуспешно. В школе, среди друзей или на занятиях, я мог забыть о нем. Но едва лишь я оставался один, рядом со мной возникали Шопенгауэр и Кант, а с ними все великолепие «Божьего мира». Мои научные знания становились частью этого мира, насыщая его все новыми красками и образами. «Номер 1» и его заботы о

выборе профессии превращались в ничтожный эпизод последнего десятилетия XIX века, уплывали за горизонт. Но, рано или поздно, я возвращался назад и впадал в состояние, сходное с похмельем. Я, или, вернее, мой «номер 1», жил здесь и сейчас и, в конце концов, ему придется как-то определяться.

Обеспокоенный моим увлечением богословием отец несколько раз пытался вести со мной серьезные разговоры, предостерегая меня: «Можешь становится кем угодно, только не богословом!» К тому времени между нами существовало молчаливое соглашение: некоторые вещи позволялось говорить и делать, не объясняя. Отец никогда не выговаривал мне за то, что я не посещал церковь так часто, как следовало бы, и перестал ходить к причастию — так мне было легче. Я скучал по органу и хоралам, но менее всего сожалел о потере так называемой «церковной общины». Это словосочетание ровным счетом ничего для меня не значило. Люди, которые ходили в церковь, ни в коей мере не были общиной, они были мирскими существами. Последнее вряд ли можно отнести к добродетелям, но в этом качестве они казались мне куда симпатичнее — естественные, общительные и сердечные.

Отец мог не волноваться — у меня не было ни малейшего желания податься в богословы. Но я по-прежнему колебался в выборе между естественными и гуманитарными науками — и те и другие одинаково влекли меня. Тем не менее я начал осознавать, что мой «номер 2» не имеет почвы под ногами. Он, безусловно, способен подняться над «здесь» и «сейчас», он — один из глаз в тысячеглазой вселенной, но он неподвижен, как булыжник на мостовой. «Номер 1» восстал против этой пассивности, желая делать что-то, но находился в плену неразрешимых проблем. Мне оставалось лишь ждать, что из этого получится. Если кто-нибудь спрашивал, кем я хочу быть, я по привычке отвечал: филологом. Втайне я подразумевал под этим ассирийскую и египетскую археологию. На самом же деле все свободное время я отдавал естественным наукам и философии, особенно на каникулах, которые я проводил дома с матерью и сестрой. Давно прошли те времена, когда я жаловался матери: «Мне скучно, я не знаю, чем заняться». Теперь я полюбил каникулы — я один и свободен. Больше того, летом моего отца вообще не было дома, он всегда проводил свой отпуск в Захсельне.

Лишь однажды на каникулах я тоже отправился в путешествие. Мне было четырнадцать лет, и, по совету врачей, меня послали лечиться в Энтлебух, в надежде, что мое здоровье укрепится, а аппетит улучшится. Здесь я впервые оказался один среди незнакомых взрослых людей. Меня поселили в доме католического священника, что я воспринял как чуточку опасное увлекательное приключение. Но самого священника я видел редко и мельком, а его домоправитель оказался совсем не страшным, хотя часто бывал грубоват. Итак, ничего ужасного не произошло. За мной приглядывал старый деревенский врач, под чьим присмотром находился своего рода санаторий для выздоравливающих. Здесь собралась весьма разношерстная публика: фермеры, мелкие чиновники, торговцы и несколько образованных людей из Базеля, среди которых был ученый-химик. Мне он казался небожителем, поскольку имел докторскую степень. Мой отец тоже был доктором, но в лингвистике. Химик же был для меня человеком из другого, неведомого мне мира, одним из тех кто, может быть, понимал секреты камней. Этот еще молодой человек учил меня играть в крокет, но не передал мне ничего из своих (предположительно обширных) знаний. Я же из-за своей чрезмерной пугливости, неуклюжести и невежественности не мог расспросить его как следует. Он внушал мне почтение, будучи первым живым человеком из когда-либо встреченных мной, посвященным в тайны природы (по крайней мере в некоторые из них). Он сидел со мной за одним столом, ел то же, что и я, иногда мы обменивались несколькими словами. Я чувствовал себя вознесенным в некие высокие сферы взрослой жизни, но окончательно «посвященным» ощутил себя лишь тогда, когда мне позволили наравне со всеми принимать участие в пикниках для отдыхающих. В один из таких вечеров мы посетили винокуренный завод, где нам предложили отведать его продукцию, причем в буквальном соответствии с известными строками:

*Nun aber naht sich das Malör  
Denn dies Getränke ist Likör...<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Сейчас, однако, произойдет конфуз, поскольку данный напиток — это ликер... (нем.)

Я после нескольких рюмок пришел в такой экстаз, что вдруг ощутил себя в совершенно новом и неожиданном для себя состоянии. Не было больше разделения на внешнее и внутреннее, не было больше «я» и «они», «номер 1» и «номер 2» больше не существовали. Настороженность и стеснительность исчезли, земля и небо, вселенная и все, что в ней ползает, летает, вращается, падает и взлетает, — все слилось воедино. Я был неприлично, чудесно и восхитительно пьян. Я словно погрузился в океан блаженных грез, но из-за сильной качки вынужден был взглядом, руками и ногами цепляться за все твердые предметы, чтобы сохранить равновесие перед качающимися лицами на качающихся улицах среди покачивающихся домов и деревьев. «Превосходно, — радовался я, — только, кажется, немного чересчур». Опыт закончился печально горьким похмельем. Тем не менее я чувствовал, что мне открылись смысл и красота, вот только я сам все безнадежно испортил своей глупостью.

К концу моего пребывания в Этленбухе приехал отец, и мы отправились к озеру Люцерн, где — о счастье! — сели на паром. Мне никогда в жизни еще не доводилось видеть что-либо подобное. Я стоял, не сводя глаз с работающей паровой машины, когда вдруг сообщили, что мы уже прибыли в Витцнау. Над городом высилась большая гора, отец объяснил мне, что это Риги и что на вершину ее можно подняться на специальном поезде. Мы подошли к маленькому зданию станции, возле которого стоял самый удивительный локомотив в мире, с каким-то «неправильным» паровым котлом, расположенным не вертикально, а под необычным углом. Даже сидения в вагонах были наклоненными. Отец вложил мне в руку билет и сказал: «Ты можешь ехать на вершину один. Я останусь здесь, для нас двоих это слишком дорого. Будь осторожен и не свались где-нибудь».

От счастья я не мог произнести ни слова. Я находился у подножья величественной горы, самой высокой из всех виденных мною, совсем близко от тех пылающих горных вершин, о которых мечтал много лет назад. Теперь я уже почти мужчина. Для этого путешествия я приобрел бамбуковую трость и английскую жокейскую кепку — как положено настоящему путешественнику, — и сейчас поднимусь на эту гору. В этот момент я не мог разобраться, кто же больше — я или гора. Выпустив густые коль-

ца дыма, чудесный локомотив дрогнул и, постукивая, повлек меня к головокружительным вершинам. Все новые и новые пропасти и дали открывались перед мною, пока наконец мы не остановились наверху, где воздух был необыкновенно прозрачен, а вид сказочно прекрасен. «Да, — думалось мне, — это и есть настоящий, тайный мир, в котором нет ни школ, ни учителей, ни неразрешимых вопросов, — в нем просто нет вопросов». Я ходил по тропинкам осторожно, чтобы не сорваться с какого-нибудь из многочисленных обрывов. Все вокруг было преисполнено величавой торжественности, и я чувствовал, что здесь должно быть почтительным и молчаливым — в этом *Божьем мире*. Эта поездка была самым лучшим и ценным подарком из всего, что когда-либо дарил мне отец.

Впечатление было столь сильным, что затмило в моей памяти последующие годы. Но и «номер 1» тоже получил свое во время этого путешествия: его впечатления сохранились у меня на всю жизнь. Я и сейчас все еще вижу себя такого взрослого и независимого, в жестком черном кепи с тросточкой. Я сижу на террасе одного из роскошных отелей, у озера Люцерн или в прекрасных садах Витцнау, пью утренний кофе с круассанами за маленьким, застланным белоснежной скатертью столом под полосатым навесом, сквозь который просвечивает солнце, — я обдумываю, чем бы заполнить этот длинный летний день. После кофе я обычно спокойно и неторопливо шел к пароходу, который отвозил меня к подножию тех самых гор с пылающими ледниковыми вершинами.

Многие десятилетия этот образ вставал у меня перед глазами, когда я уставал от работы и пытался немного рассеяться. В реальной жизни я обещал себе это великолепие снова и снова, но не смог сдержать обещания.

После этого первого сознательного путешествия последовало второе, год или два спустя. Отец отдыхал в Захсельне, и я навестил его; он рассказал, что подружился там с католическим священником. Это показалось мне исключительно мужественным поступком, и втайне я восхищался храбростью отца. Тогда же я побывал во Флюэ, в убежище св. брата Клауса, где находились его мощи. Меня очень интересовало, откуда католики узна-

ли, что он был святым. Может быть, он все еще бродил где-то поблизости и сообщил об этом людям? *Genius loci* (дух места. — лат.) подействовал на меня так сильно, что я смог не только представить самую возможность жизни, столь беззаветно посвященной Богу, но даже, не без внутреннего содрогания, понять ее. Однако у меня возник еще один вопрос: как жена и дети могли терпеть такого святого мужа и отца, ведь именно слабости моего отца были источником моей любви к нему? Ответа у меня не было. «Да, — рассуждал я мысленно, — кому под силу жить со святым? Наверное, он сам понял, что это невозможно, и потому стал отшельником. Однако келья его находилась недалеко от дома, — эта мысль показалась мне удачной. Очень разумно в одном доме иметь семью, а жить на некотором расстоянии в хижине, с грудой книг и письменным столом. Я жарил бы каштаны и готовил на очаге суп, поставив его на треножник. Как святой отшельник, я мог бы больше не ходить в церковь, зато имел бы свою личную часовню.

В задумчивости я поднялся на холм и уже собирался возвращаться, когда слева появилась тоненькая девичья фигурка, в местном наряде. Эта была девушка, приблизительно моего возраста, с миловидным лицом и голубыми глазами. Мы вместе спустились в долину — так, будто это было для меня самым обычным делом. Прежде я не знал никаких других девушек, кроме моих кузин, и смущался, не зная, как с ней говорить. Запинаясь, я начал объяснять, что приехал сюда на несколько дней отдохнуть, что учусь в гимназии в Базеле и хочу потом поступить в университет. Когда я говорил, мною овладело странное чувство «предопределенности» этой встречи. «Она появилась именно в этот момент, — думал я про себя, — и идет со мной так естественно, как будто мы принадлежим друг другу». Взглянул в ее сторону, я увидел на ее лице смесь испуга и восхищения и смутился. Неужели это судьба? Или наша встреча — простая случайность? Крестьянская девушка — возможно ли это? Она католичка, но, может быть, посещает того самого духовника, с которым подружился мой отец? Она понятия не имеет, кто я, и мы, конечно, не сможем беседовать с ней о Шопенгауэре и отрицании Воли. Но ведь в ней нет ничего зловещего. Может быть, ее духовник не похож на того иезуита — моего «черного челове-

ка». И все же я не мог открыть ей, что мой отец — лютеранский пастор, это могло ее испугать или смутить. А говорить с ней о философии или дьяволе, который значит гораздо больше, чем Фауст, хотя Гёте и сделал из него простака, — было совершенно невозможно. Она ведь еще обитает в уже далекой от меня счастливой стране неведения, тогда как я уже познал реальность, во всей ее жестокости и великолепии. По силам ли ей такое вынести! Между нами стояла непроницаемая стена.

Несколько огорченный я направил беседу в менее опасное русло: идет ли она в Захсельн, согласна ли, что погода чудесная и пейзаж прекрасен и т. д.

На первый взгляд эта случайная встреча не могла иметь никакого значения, но внутренний смысл ее был таков, что я размышлял о ней много дней, и она навсегда осталась в моей памяти. В то время я был еще в том детском состоянии, когда жизнь состоит из отдельных, разобщенных впечатлений. Как мог я угадать нити судьбы, связавшие брата Клауса и хорошенькую девушку?

Все это время меня раздирали противоречивые мысли. Во-первых, Шопенгауэр и христианство никак не складывались в единое целое, во-вторых, мой «номер 1» желал освободиться от тягостной меланхолии «номера 2», тогда как «второму» бывало тяжело вспоминать о «первом». Из этого противоборства и возникла моя первая систематическая фантазия. Она развивалась постепенно, и у истоков ее, насколько я помню, стояло впечатление, глубоко меня взволновавшее.

Однажды северо-западный ветер поднял на Рейне волны. Я шел в школу вдоль реки и внезапно увидел приближающийся с севера корабль, нижний парус его главной мачты развевался по ветру. Это было нечто совершенно новое для меня — парусный корабль на Рейне! Мое воображение расправило крылья. Если бы не было этой бурной реки, а весь Эльзас превратился в озеро, у нас были бы парусники и большие пароходы. Базель стал бы портовым городом, и вся наша жизнь походила бы на жизнь у моря. Тогда все выглядело бы иначе — наша жизнь проходила бы в другом времени и другом мире, где нет гимназии, нет долгого пути в школу. Себя в этом мире я видел уже взрослым, самостоятельным

человеком. Над озером поднимался бы скалистый холм, соединенный с берегом узким перешейком, который пересекал бы широкий канал с деревянным мостом, ведущим к воротам с башнями по бокам. За воротами открывался бы маленький средневековый город с домами, разбросанными на склонах холма. На скале возвышался бы хорошо укрепленный замок с высокой сторожевой башней — это мой дом. Он не блистал роскошью — этот небольшой дом с маленькими, обшитыми деревом комнатами, с библиотекой, где любой мог найти все, что стоит знать. В замке хранилась коллекция оружия, а на бастионах стояли тяжелые пушки: его охранял гарнизон из пятидесяти тяжеловооруженных воинов. В маленьком городе жили несколько сотен жителей, им управляли мэр и совет старейшин. Сам я был мировым судьей, посредником и советником и появлялся лишь время от времени, чтобы собрать суд. В порту, расположенном с материковой стороны, стояла моя двухмачтовая шхуна с несколькими пушками на борту.

*Nervus regum* и *raison d'être* (сутью и смыслом. — *лат., фр.*) всего творения был секрет главной башни, известный мне одному. Последняя мысль показалась мне удивительной: я представил себе тянущийся от зубчатых стен в подземелье тяжелый медный кабель из проволоки, толщиной в человеческую руку, наверху разветвленный, как крона дерева, или — еще лучше — как главный корень, перевернутый кверху и развернувшийся в воздухе. Он втягивал нечто непостижимое, нечто, идущее по медному кабелю в подземелье. Там у меня была установлена необыкновенная аппаратура, оборудована своего рода лаборатория, где я добывал золото из таинственной субстанции, которую медные «щупальца» вытягивали из воздуха. Это была тайна, о природе которой я не имел и не хотел иметь никакого представления, да и сам процесс превращения был мне совершенно безразличен. Смущенно и не без некоторого страха мое воображение обходило все, что происходило в этой лаборатории. Существовал своего рода внутренний запрет: считалось, что к этому нельзя проявлять слишком пристальное внимание и нельзя спрашивать, что же, собственно, извлекалось из воздуха. Как сказано у Гёте о Матерях: «Предмет глубок, я трудностью стеснен...».

«Дух» безусловно понимался мной как нечто неизъяснимое, но в глубине души я не считал, что он существенно отличается от



воздуха. То, что корни поглощали и передавали по медному стволу, было некоторой эссенцией, превращающейся внизу, в подвале, в золотые слитки. Я считал это не каким-то хитроумным трюком, а тайной самой природы. К ней я относился с благоговением и должен был скрывать ее не только от совета старейшин, но в определенном смысле и от самого себя.

Долгая и утомительная дорога в школу и из школы чудесным образом сократилась. Теперь, выходя из нее, я сразу же оказывался в замке, где постоянно что-то перестраивалось, где проходили заседания совета, судили злодеев, разрешали споры, где стреляли пушки. На шхуне драили палубу, поднимали паруса. Она медленно, подгоняемая слабым бризом, выходила из гавани, огибая скалистый холм, и брала курс на северо-запад. Затем я неожиданно обнаруживал себя на крыльце своего дома — так, будто прошло только несколько минут. Я выходил из моих фантазий словно из кареты, которая мгновенно доставляла меня домой. Это в высшей степени приятное состояние длилось несколько месяцев, но в конце концов надоело. Теперь моя фантазия казалась смешной и глупой: я стал строить замки и вовсе не воображаемые крепости из камешков, используя грязь вместо извести (наподобие крепости Хенингена, в то время еще не разрушенной). Я изучил все доступные мне фортификационные планы Вобана и всю техническую терминологию. После Вобана я обратился к современным методам создания укреплений и пытался при ограниченных средствах выстроить всевозможные модели. Более двух лет это занимало весь мой досуг, за это время моя склонность к естественным наукам и конкретным вещам значительно укрепилась за счет ослабления позиций «номера 2».

Пока мне так мало известно о реальных вещах, нет смысла, решил я, о них задумываться. Одно дело — фантазии, и совсем другое — настоящие знания. Родители позволили мне выписать научный журнал, и я читал его с увлечением. Я отыскивал и собирал юрские окаменелости, различные минералы, а кроме того — насекомых, кости людей и мамонтов: первые — из общей могилы под Хенингеном (1811), вторые — на раскопках в рейнской долине. Растения меня тоже интересовали, но с научной точки зрения. Я был убежден — не знаю, почему, — что их не следует срывать и засушивать. Для меня они, пока росли и

цвели, были живыми существами, в них таился некий скрытый смысл, некая Божья мысль. За ними следовало наблюдать с трепетом и философской любознательностью. Биолог мог бы рассказать о них много интересного, но для меня это существенного значения не имело. Что же на самом деле существенно — мне было не вполне ясно. Как они, растения, связаны с христианской верой или с отрицанием мировой воли, для меня было непостижимо. Они, очевидно, находились в Божественном неведении, которое лучше не нарушать. Насекомые, по контрасту, были «нестественными» растениями: цветами и плодами, которые позволили себе ползать в разные стороны на лапках-ходулях, летать на крыльях, похожих на листья, и грабить растения. За эту незаконную деятельность они были приговорены к массовому уничтожению вроде карательных экспедиций по истреблению майских жуков и гусениц. Мое «сострадание ко всем Божьим тварям» распространялось исключительно на теплокровных животных. Только к лягушкам и жабам я питал некоторую слабость из-за их сходства с людьми.

## | Студенческие годы

Растущее с каждым днем увлечение естественнонаучными занятиями не заставило меня окончательно забыть о моих философах. Временами я возвращался к ним. Выбор профессии был пугающе близок. Я с нетерпением ждал окончания школы. Конечно, я поступлю в университет и буду изучать естественные науки — мне хотелось каких-то реальных знаний. Но как только я склонялся к такому решению, меня начинали одолевать сомнения: может, все же имеет смысл обратиться к истории и философии? — В те дни я вновь с головой ушел во все египетское и вавилонское и больше всего на свете хотел стать археологом. Но у нас не было денег, и учиться где-нибудь кроме Базеля я не мог. В Базеле же некому было учить меня археологии. Так что от этого плана очень скоро пришлось отказаться. Я слишком долго колебался, и отец уже начал беспокоиться. Однажды он сказал: «Мальчик интересуется всем, чем только можно, и не знает, чего хочет». Пришлось признать, что он прав. Близились вступительные экзамены, и нужно было определиться, на какой факультет поступать. Недолго думая, я объявил: «Естественные науки», предпочитая оставить моих школьных товарищей в сомнениях относительно моих намерений.

Мое внезапное, на первый взгляд, решение имело свою предысторию. За несколько недель до этого, как раз в то время, когда, раздираемый противоречиями, я не мог сделать выбор, мне приснился сон: Я увидел себя в темном лесу, недалеко от Рейна. Подойдя к небольшому холму (это был могильный холм), я начал копать и с изумлением обнаружил останки какого-то доисторического животного. Это меня необычайно заинтересовало, и тог-

да мне стало ясно: я должен изучать природу, должен изучать мир, в котором мы живем, и все, что нас окружает.

Позже приснился еще один сон. Я снова оказался в лесу, расщепленном руслами рек, и в самом темном месте, в зарослях кустарника, увидел большую лужу, а в ней странное существо: круглое, с разноцветными щупальцами, состоящее из бесчисленных маленьких клеточек. Это был гигантский радиолярий, около трех метров в диаметре. И вот такое великолепное животное лежит в этом всеми забытом месте в глубокой, прозрачной воде, — это меня потрясло.

Проснулся я охваченный необычайным волнением: эти два сновидения, устранив последние сомнения, однозначно заставили меня обратиться к естественным наукам.

В эти дни я вдруг окончательно осознал, где и как мне предстоит жить и что на эту жизнь мне придется зарабатывать самому. А чтобы достичь своей цели, я должен стать кем-то или чем-то. Но все мои товарищи воспринимали это как нечто естественное, само собой разумеющееся. Почему же я никак не могу определиться окончательно? Даже невыносимо скучный Д., которого наш учитель немецкого превозносил как образец прилежания и добросовестности, даже он был уверен, что будет изучать теологию. Я понимал, что следует взять себя в руки и в последний раз все обдумать. Как зоолог, я мог бы стать только школьным учителем или, в лучшем случае, служителем зоологического сада. Даже при отсутствии всяческих амбиций такая перспектива не вдохновляла. Но уж если бы пришлось выбирать между школой и зоосадам, я выбрал бы последнее.

Казалось, снова тупик, но меня вдруг осенило: я же могу изучать медицину. Странно, но раньше мне это не приходило в голову, хотя мой дед по отцовской линии, о котором я так много слышал, тоже был врачом. Похоже, именно поэтому я относился к профессии врача с предубеждением: «только не подражать» — таков был мой тогдашний девиз. Теперь же я втолковывал себе, что занятия медициной в любом случае начинаются с естественных дисциплин, и это меня вполне устраивало. Кроме того, медицина сама по себе настолько обширна и разнообразна, что всегда остается возможность заниматься какой-нибудь естественнонаучной проблемой. Итак — наука, сказал я себе. Но оставался лишь один вопрос: как? У меня не было денег: поступить в любой другой, кроме

Базельского, университет и всерьез готовить себя к научной карьере я не мог. В лучшем случае, я стал бы дилетантом. К тому же, по мнению большинства моих знакомых, а также людей знающих (читай — учителей), у меня был тяжелый характер, к сожалению, я не умел вызвать к себе расположение, и у меня не было ни малейшей надежды найти покровителя, который был бы в состоянии поддержать мой интерес к науке. В конце концов, хотя и не без неприятного чувства, что начинаю жизнь с компромисса, я остановился на медицине. Решение было окончательным и бесповоротным, и мне стало значительно легче.

Но теперь встал щепетильный вопрос: где взять деньги на учебу? Мой отец смог раздобыть лишь небольшую часть необходимых средств. Но он решил добиться для меня стипендии, которую я, к своему большому стыду, потом и получил. Менее всего меня волновало то, что о нашей нищете стало известно всем. Мне было стыдно оттого, что я не ожидал такой доброты от «сильных мира сего», будучи убежденным в их враждебности. Получалось так, будто я извлек выгоду из репутации моего отца, который и в самом деле был простым и добрым человеком. Я же чувствовал себя в высшей степени от него отличным. Собственно говоря, мое представление о себе было двойственным: «номер 1» считал меня малосимпатичным и довольно посредственным молодым человеком с честолюбивыми претензиями, неподконтрольным темпераментом и сомнительными манерами: то наивно восторженным, то по-детски разочарованным, но в существе своем — оторванным от жизни невеждой. «Номер 2» видел в «номере 1» тяжелую и неблагодарную моральную проблему, особь, отягощенную множеством дефектов, как то: спорадическая лень, безволие, депрессивность, глупое благоговение перед тем, в чем не видит смысла никто, неразборчивость в дружбе, ограниченность, предубежденность, тупость (математика!), неспособность понимать других и определить свои отношения с миром. «Номер 2» вообще не был характером, он был своего рода *vita peracta* (прожитой жизнью. — *лат.*), рожденный, живущий, умерший — все едино, этакое тотальное обозрение человеческой природы, притом довольно безжалостное, ни к чему не способный и ничего не желающий, существующий исключительно при темном посредничестве «номера 1». В тот момент, когда верх

брал «номер 2», «номер 1» растворялся в нем, и наоборот, «номер 1» рассматривал «номер 2» как мрачное царство своего подсознания. «Номер 2» сам себе казался камнем, однажды брошенным на край света и бесшумно упавшим в ночную бездну. Но в нем самом царил свет, как в просторных залах королевского дворца, высокие окна которого обращены к залитому солнцем миру. Здесь присутствуют смысл и связь, в противоположность бессвязной случайности жизни «номера 1», который никак не соприкасается даже с тем, что его непосредственно окружает. «Номер 2» же, напротив, чувствует свое тайное соответствие средневековой — эпохе, дух которой, Фауст, так преследовал Гёте. Значит, он тоже знал о «номере 2», и это служило мне утешением. Фауст — и об этом я догадывался даже с некоторым испугом — значил для меня больше, нежели мое любимое Евангелие от Иоанна. В нем была та жизнь, которой я сочувствовал. А Христос «от Иоанна» был мне чужд, хотя и не в той мере, как чудесный Исцелитель из Синописа. Фауст является живым соответствием «номера 2», я видел в нем ответ Гёте на вопросы своего времени. И это знание о Фаусте укрепило мою уверенность в собственной принадлежности человеческому обществу. Теперь я казался себе одиноким чудачком или злой шуткой жестокой природы, ведь моим крестным отцом и поручителем был сам Гёте.

Надо заметить, однако, что мои мысли о Фаусте этим и ограничивались. Несмотря на все свое сочувствие Фаусту, я не принимал гётевскую развязку, а его легкомысленное отношение к Мефистофелю лично задевало меня, равно как и гнусная заносчивость Фауста. Но тяжелее всего мне было примириться с убийством Филемона и Бавкиды.

Именно тогда я увидел незабываемый сон, который одновременно и испугал меня, и ободрил. В нем я оказался в незнакомом месте и медленно шел вперед в густом тумане навстречу сильному, почти ураганному ветру. В руках я держал маленький огонек, который в любую минуту мог погаснуть. И все зависело от того, сохранию ли я его жизнь. Вдруг я почувствовал, что кто-то идет за мной и, оглянувшись, увидел огромную черную фигуру. Она следовала за мной по пятам. И в тот же миг, несмотря на охвативший меня ужас, я понял, что должен идти и вопреки всем опасностям

пронести, спасти мой маленький огонек. Проснувшись, я сообщил, что этот «брокенский призрак» — всего лишь моя собственная тень на облаке, созданная игрой света того огонька. Еще я осознал, что этот огонек — единственный свет, которым я обладал, — был моим сознанием, моим единственным сокровищем. И хоть в сравнении с силами тьмы огонь мал и слаб, все же это — свет, мой единственный свет.

Этот сон явился для меня озарением: теперь я знал, что «номер 1» был носителем света, а «номер 2» следовал за ним как тень. И моей задачей было сохранить свет, не оглядываясь на *vita regata* — на то, что закрыто для света. Я должен идти вперед, пробиваться сквозь отбрасывающий меня назад ветер, идти в неизмеримую тьму мира, где нет ничего, где мне видны лишь внешние очертания, зримые и обманчивые, того, что невидимо и скрыто. Я, мой «номер 1», должен учиться, зарабатывать деньги, должен жить, побеждая трудности, заблуждаться и терпеть поражения. Буря, обрушившаяся на меня, — это время, непрестанно уходящее и непрестанно настигающее меня. Это мощный водоворот, который втягивает все сущее, избежать его, да и то лишь на миг, сможет лишь тот, кто неудержимо стремится вперед. Прошлое чудовищно реально, и оно пожирает каждого, кто не сумеет откупиться правильным ответом.

Итак, в моих представлениях о мире произошел поворот на 90 градусов: я узнал, что мой путь проходит вовне, а, вырываясь наружу, он попадает в ограниченность и потемки трехмерности. Наверное, таким же образом Адам когда-то покинул рай, который стал для него фантомом, а свет открылся там, где в поте лица своего он будет распахивать каменистое поле.

В то время я спрашивал себя: откуда берутся такие сны? Раньше мне казалось, что их посылает Бог — *somnia a Deo missa*. Но теперь, когда я приобщился ко всякого рода научным построениям, у меня появились сомнения. Если предположить, что, например, мое понимание развивалось и формировалось медленно, а во сне неожиданно наступил прорыв? Похоже, это было именно так. Вопрос лишь в том, почему это произошло и почему проникло в сознание? Ведь я же ничего не предпринимал сознательно, дабы навязать такой порядок вещей, напротив, мои симпатии были всецело на другой стороне. Выходит, в самом деле существует

нечто — за кулисами — некий разум, т.е., нечто более разумное, чем я сам. Я и помыслить не мог, что в свете сознания внутренний мир будет выглядеть как гигантская тень. И еще я понял многое, чего не понимал раньше, — почему на лицах людей при упоминании мной о явлениях внутреннего мира появляется холодная тень замешательства и отчужденности.

Итак, следует забыть о «номере 2», но ни в коем случае не отказываться от него и не считать, что он не существует. Это исказило бы мое «я» и, более того, лишило бы меня возможности объяснить происхождение сновидений. «Номер 2», несомненно, был каким-то образом связан с возникновением сновидений, я был готов даже принять его за тот самый Высший разум, который внушал их. Но я чувствовал, что все более становлюсь «номером 1», т.е. лишь частью — подвижной частью — более широкого, всеобъемлющего «номера 2», который на деле был призраком, названным мной «духом тьмы».

Конечно, я тогда ничего подобного не думал, хотя все-таки смутно осознавал это (оглядываясь назад, я ныне в этом уверен), несмотря на то, что чувства подсказывали обратное.

Таким образом я «порвал» со вторым «я», отделив его от себя и предоставив ему вести совершенно автономное существование. Я не связывал его с какой-то определенной личностью, как это делают, когда речь заходит о привидениях, хотя при моем деревенском происхождении это было бы естественно. Как бы там ни было, но в деревне люди верят в подобные вещи.

Единственная выделяющаяся черта моего «духа» — его связь с прошлым, его протяженность во времени или, вернее, его временная безграничность. Я не отдавал себе в этом отчета, точно так же, как не имел никакого представления о его местонахождении в пространстве. Он играл роль крайне не четкую, всегда находясь как бы на задворках моего существования.

Человек и в психическом, и в духовном отношении приходит в этот мир с определенной ориентацией, заложенной в нем изначально, в соответствии с привычной для него средой и окружением, — как правило, это некий родительский мир, своего рода «дух семьи». Тем не менее такой «дух семьи» по большей части несет на себе неосознанную печать *«духа времени»*. Если «дух



семьи» являет собой *consensus omnium* (общее согласие. — *лат.*), это означает стабильность и спокойствие, но чаще всего мы наблюдаем обратные случаи, что порождает ощущение нестабильности и неуверенности.

Дети в основном реагируют не на то, что взрослые говорят, но на нечто неуловимое в окружающей их духовной атмосфере. Ребенок бессознательно подстраивается под нее, и у него возникают обусловленные этой атмосферой черты характера. Особого рода религиозные переживания, которые появлялись у меня уже в раннем детстве, были естественной реакцией на общий дух родительского дома. Религиозные сомнения, которые позднее овладели моим отцом, не могли возникнуть вдруг и внезапно. Такого рода революционные изменения во внутреннем мире человека, как и в мире вообще, в течение долгого времени бросают тень на все вокруг, и тень эта увеличивается по мере того, как наше сознание противится этому. И чем больше усилий тратил отец на борьбу со своими сомнениями и внутренней тревогой, тем сильнее это отражалось на мне.

Я никогда не думал, что здесь сказалось влияние матери, она была слишком прочно соединена с некими иными основами бытия, что вряд ли основывалось на твердости ее христианской веры. Для меня это было как-то связано с животными, деревьями, горами, лугами и водяными потоками — со всем тем, что самым странным образом контрастировало с внешней традиционной религиозностью матери. Эта скрытая сторона ее натуры настолько отвечала моим собственным настроениям, что я чувствовал себя с ней удивительно легко и уверенно. Она давала мне ощущение твердой почвы под ногами. Хотя я и предположить не мог, насколько «языческой» была эта почва. Но именно она поддерживала меня в начавшем тогда уже оформляться конфликте между отцовской традицией и влиянием сил прямо противоположных, бессознательно волновавших меня.

Оглядываясь назад, я вижу, сколь мощно мой детский опыт повлиял на будущие события, он помог мне приспособиться к новым обстоятельствам, связанным с религиозным кризисом отца, с утратой многих иллюзий. Этот опыт помог мне принять мир таким, каков он есть и каким я его знаю сейчас, но не знал вчера. Хотя каждый из нас живет своей собственной жизнью, но

все мы в первую очередь являемся представителями, жертвами и противниками того коллективного бессознательного, чьи истоки теряются в глубине веков. Можно всю жизнь думать, что следуешь собственным желанием, так никогда и не осознав, что в большинстве своем люди лишь статисты в этом мире, на этой сцене. Существуют вещи, которые, хотим мы того или нет, знаем о них или не знаем, мощно воздействуют на нашу жизнь, — и тем сильнее, чем меньше мы это осознаем.

Так по крайней мере часть нашего существа живет в некоем безграничном времени — именно та часть, которую я сам, для себя, обозначил как «номер 2». Речь не идет о моем личном случае, это присуще всем, что подтверждается существованием религии, которая обращена именно к этому внутреннему человеку и уже две тысячи лет всерьез пытается вывести его на поверхность нашего сознания, провозгласив своим девизом: *Noli foras ire, in interiore homine habitat veritas!* (Не стремись вовне, истина внутри нас! — лат.)

С 1892 по 1894 год у меня произошло несколько тяжелых объяснений с отцом. Он в свое время изучал восточные языки в Гёттингене и посвятил свою диссертацию арабской версии Песни Песней. Это «доблестное» время закончилось вместе с выпускными экзаменами, с тех пор он забросил филологию. Сделавшись деревенским священником, отец с воодушевлением погружался в студенческие воспоминания и, раскуривая длинную студенческую трубку, с грустью думал о том, что его брак складывался совсем не так, как он себе его представлял до женитьбы. Он делал много добра людям — слишком много — и, как следствие, сделался раздражительным и желчным. Оба моих родителя прилагали большие усилия, чтобы жить благочестивой жизнью, а в результате между ними все чаще возникали тягостные сцены. Все это не способствовало укреплению веры.

Состояние, в котором находился отец, вызывало у меня тревогу. Мать избегала всего, что могло его разволновать, уклоняясь от споров. Но понимая, что она права и что нужно стараться вести себя именно так, я часто не мог сдержаться. Обычно я никак не реагировал на раздражительные выходы отца, но, когда у него улучшалось настроение, я пытался завязать беседу, надеясь понять, что с ним происходит и что он сам обо всем этом думает. Его явно что-то мучи-

ло, и я подозревал, что это имеет отношение к его вере. По каким-то намекам, я заключил, что его одолевают сомнения. На мой взгляд, это было неизбежно — ведь отец не пережил опыта, подобного моему. Мои безуспешные попытки поговорить с ним утверждали меня в этой мысли. На мои вопросы отец или давал одни и те же догматические ответы, или равнодушно пожимал плечами, что вконец выводило меня из себя. Трудно было понять, почему он не желает воспользоваться ситуацией и начать бороться. Мои вопросы, несомненно, огорчали его, но я все же надеялся на конструктивный разговор. Вообразить, что его знание о Боге нуждается в каких-то доказательствах, я не мог. В эпистемологии я ориентировался неплохо, понимая, что знания подобного рода не могут быть доказаны, но мне было в равной степени ясно, что в доказательстве существования Бога не больше нужды, чем в доказательстве красоты солнечного заката или загадочной способности ночи будить наше воображение. Я пытался, наверное неловко, поделиться с отцом этими очевидными истинами, надеясь помочь ему примириться с судьбой. Но отцу нужно было другое — с кем-то ссориться, и он ссорился со своей семьей и с самим собой. Почему он не переносил свои обиды на Бога, этого таинственного *auctor regum creatorum* (творца всего. — *лат.*), Единственного, Кто действительно отвечал за все страдания мира? Отец, конечно же, получил бы ответ — одно из тех магических, безгранично глубоких и способных изменить судьбу сновидений, подобных тем, какие Бог посылал мне (хоть я и не просил Его). Я не знаю — почему, но это так. Бог даже позволил мне взглянуть на то, что было частью Его мира. И это последнее было тайной, которую я не смел или не мог открыть отцу. Может быть, я смог бы это сделать, будь он способен открыть для себя непосредственное знание о Боге. Но в наших беседах я никогда не заговаривал об этом, делая акцент на интеллектуальном, как бы нарочно избегая всего психологического, эмоционального. Я боялся задеть его чувства. Но даже такого рода приближение к опасной теме всякий раз действовало на отца как красная тряпка на быка, вызывая раздражение, совершенно для меня непонятное. Непостижимо, как может совершенно рассудочный аргумент вызывать столь эмоциональное сопротивление.

В конце концов мы вынуждены были прекратить эти бесплодные споры, разойдясь недовольные друг другом и сами собою.

Теология сделала нас чужими. Снова роковое поражение, думал я, с той лишь разницей, что теперь не чувствовал себя одиноким. Мне не давала покоя смутная догадка, что отец тоже повержен своей судьбой. Он был одинок. У него не было друга, с которым он мог бы поговорить: я, по крайней мере, не знал никого в нашем кругу, к кому отец мог бы обратиться за советом. Однажды мне довелось услышать как отец молится: он отчаянно боролся за свою веру. Я был потрясен и возмущен одновременно, когда увидел, как безнадежно он обречен на свое богословие и на свою церковь. А они вероломно покинули его, лишили возможности познать Бога. В моем детском опыте Бог Сам разрушил в моем сне богословие и основанную на нем церковь. Но с другой стороны, Он Сам же и допустил все это, равно как и многое другое. Это я начал понимать только теперь. Ведь смешно думать, что это в людской власти. Что такое люди? Они родились глупыми и слепыми как щенята, как все Божьи твари; одарены скудным светом, не могущим разогнать тьму, в которой они блуждают. Я был убежден, что никто из известных мне богословов не видел своими глазами тот «свет, что во тьме светит», иначе ни один из них не смог бы учить других своему богословию. Мне нечего было делать с богословием, оно ничего не говорило моему опыту и знанию Бога. Не надеясь на знание, оно требовало слепой веры. Это стоило моему отцу колоссального напряжения всех его сил и закончилось провалом. Но столь же беззащитен он был и перед психиатрией. В смехотворном материализме психиатров, так же как и в богословии, было нечто, во что должно было верить. По моему глубокому убеждению, и первому, и второму недостает гносеологической критики и опытных данных.

Отец, видимо, был буквально потрясен тем, что при исследовании мозга психиатры будто бы обнаружили в той части мозга, где должен был быть дух, — одну лишь «материю» и ничего «духовенного». Это укрепило его опасения, что, начав изучать медицину, я стану материалистом.

Я же во всем этом видел доказательство того, что ничего не следует принимать на веру, ведь я уже знал: материалисты, как и богословы, попросту верят в свои собственные определения. Тогда стало понятно, что отец попал из огня да в полымя. Столь высокопревозносимая вера сыграла с ним роковую шутку, и не только с

ним одним, но и с большинством серьезных и образованных людей, которых я знал. Первородный грех веры заключается, на мой взгляд, в том, что она предвосхищает опыт. Откуда, например, богослову известно, что Бог преднамеренно одни вещи устраивает, а другие — «допускает», или же откуда известно психиатру, что материя обладает свойствами человеческого духа? Я знал, что опасность впасть с материализм мне не грозит, но отец, очевидно, был убежден в обратном. Похоже, что кто-то рассказал ему о гипнозе, поскольку он тогда читал книгу Бернгайма о гипнозе, переведенную З. Фрейдом. До сих пор я ничего подобного за ним не замечал, обычно он читал лишь романы и путевые заметки, считая все «умные» книги предосудительными. Но обращение к науке не сделало отца счастливее, его депрессия усилилась, а приступы ипохондрии стали повторяться все чаще. В последние годы он жаловался на боли в области кишечника, хотя врач не находил ничего серьезного. Теперь же он стал говорить, будто чувствует «камень в животе». Долгое время мы не придавали этому значения, но наконец заволновался и врач. Это было в конце лета 1895 года.

Весной я начал учиться в Базельском университете. Единственный период в моей жизни, когда я откровенно скучал (школьные годы), закончился, и передо мной распахнулись золотые ворота в *universitas litterarum* (университетскую ученость. — *лат.*), в академическую свободу. Наконец-то я услышу правду о природе, узнаю все о человеке, о его анатомии и физиологии, о неких исключительных биологических состояниях, то есть о болезнях. Наконец, я смогу вступить в «Zofingia» — студенческое братство, к которому в свое время принадлежал мой отец. Когда я был еще «желторотым» юнцом, он даже брал меня на организованную братством экскурсию в одну знаменитую своими виноделами маркграфскую деревню. Там же на пирушке отец произнес веселую речь, в которой, к моему восхищению, обнаружился беззаботный дух его студенческого прошлого. Тогда стало понятно, что с окончанием университета его жизнь как бы остановилась и застыла, и мне припомнилась студенческая песня:

*Опустив глаза, они бредут назад,  
В страну филистеров,  
Увы, все меняется!*

Ее слова оставили во мне тяжелый осадок. Ведь когда-то отец тоже был юным студентом, ему тоже открывался целый мир — неисчислимые сокровища знаний. Что же случилось? Что надломило его, и почему все ему опротивело? Я не находил ответа. Речь, произнесенная отцом в тот летний вечер, была последним его воспоминанием о времени, когда он был тем, кем хотел. Вскоре его состояние ухудшилось. Поздней осенью 1895 года он уже был прикован к постели, а в начале 1896 года — умер.

После лекций я пришел домой и спросил, как он. «Ах, как всегда. Очень плохо», — ответила мать. Отец что-то прошептал ей, и она, намекая взглядом на его лихорадочное состояние, сказала: «Он хочет знать, сдал ли ты государственный экзамен?» Я понял, что должен солгать: «Да, все хорошо». Отец вздохнул с облегчением и закрыл глаза. Немного погодя, я подошел к нему снова. Он был один, мать чем-то занималась в соседней комнате. Его тяжелое и хриплое дыхание не оставляло надежды — началась агония. Я стоял у его постели, оцепенев, мне еще никогда не приходилось видеть, как умирают люди. Вдруг он перестал дышать. Я все ждал и ждал следующего вдоха, но его не было. Тут я вспомнил о матери и вышел в соседнюю комнату, она вязала там у окна. «Он умер», — сказал я. Мать подошла вместе со мной к постели, отец был мертв. «Как быстро все-таки это случилось», — произнесла она как будто с удивлением.

За этим последовали мрачные и тягостные дни, и в моей памяти мало что от них осталось. Однажды мать сказала своим «вторым» голосом, обращаясь то ли ко мне, то ли в пространство: «Для тебя он умер как раз вовремя», — что, как мне казалось, означало: «Вы не понимали друг друга, и он мог бы стать тебе помехой». Это, должно быть, соответствовало ее «номеру 2».

Но это «для тебя» было ужасно, вдруг я ощутил, что некая часть моей жизни безвозвратно уходит в прошлое. С другой стороны, я сразу повзрослел, я стал мужчиной, стал свободным. После смерти отца я переселился в его комнату, а в семье занял его место. Теперь моей обязанностью было каждую неделю давать матери деньги на хозяйство, сама она не умела экономить, да и вообще не умела их считать.

Спустя шесть недель, отец мне приснился. Он появился передо мной внезапно и сказал, что приехал с каникул, что хорошо

отдохнул и теперь возвращается домой. Я ожидал от него упреков, зачем занял его комнату, но об этом речь не зашла. И мне стало стыдно, что я считал его мертвым. Через несколько дней сновидение повторилось: мой отец выздоровел и вернулся домой. И опять я винил себя за то, что думал о нем, как о мертвом. Я спрашивал себя снова и снова: «Что означает это его постоянное возвращение? Почему во сне он кажется таким реальным?» Мое ощущение было настолько сильным, что я впервые в жизни задумался о жизни после смерти.

Со смертью отца возникло множество проблем, связанных с продолжением моей учебы. Некоторые родственники матери считали, что мне следует подыскать себе место продавца в одном из торговых домов и как можно быстрее начать зарабатывать. Матери обещал помочь ее младший брат, так как денег на жизнь не хватало, а дядя с отцовской стороны предложил помощь мне. Под конец учебы мой долг ему составлял 3000 франков. Остальные деньги я заработал сам, устроившись младшим ассистентом, кроме того я занимался распродажей небольшой коллекции антиквариата, которую унаследовал от одной из теток.

Я не жалею о тех днях бедности — они научили меня ценить простые вещи. Помнится, как однажды я получил роскошный подарок — коробку сигар. Их мне хватило на целый год: я позволял себе только одну по воскресеньям.

Оглядываясь назад, могу сказать лишь одно: студенческие годы были прекрасным временем. Все было одухотворено, и все было живо. У меня появились друзья. Я иногда выступал с докладами по психологии и богословию на собраниях «Zofingia». Помню наши горячие споры, и не только о медицине. Мы говорили о Шопенгауэре и Канте, разбирались в стилистике Цицерона, мы занимались, наконец, философией и теологией. Короче говоря, мы пользовались всем, что могли дать нам классическое образование и культурная традиция.

Самым близким моим другом сделался Альберт Оэри. Наша дружба прекратилась лишь с его смертью, в 1950 году. Наши отношения были на двадцать лет старше нас самих, они начались задолго до нашего знакомства, в конце 60-х годов прошлого столетия, когда познакомились и подружились наши отцы. Но

их судьба разлучила довольно рано, тогда как мы с Оэри держались вместе всю жизнь.

Я познакомился с Оэри в «Zofingia». Веселый и дружелюбный, он имел репутацию великолепного рассказчика. На меня произвело огромное впечатление то, что он приходился внучатым племянником Якобу Буркхардту, которого мы, юные базельские студенты, считали великим человеком; нам казалось невероятным, что этот почти легендарный человек жил и работал где-то рядом. Оэри даже внешне чем-то напоминал его: чертами лица, походкой, манерой говорить. Во многом благодаря моему другу я узнал и Бахофена, которого, как и Буркхардта, встречал иногда на улице. Но более, нежели эта, внешняя сторона нашего знакомства, меня привлекала вдумчивость Альберта, его образ мыслей, его знание истории и неожиданная зрелость политических суждений, меткость его оценок и характеристик — зачастую убийственная. Он как никто умел разглядеть тщеславие и пустоту за пышной риторикой.

Третьим в нашей компании был, увы, рано умерший Андреас Вишер, долгое время он возглавлял госпиталь в Урфе (Малайзия). До хрипоты мы спорили обо всем на свете, прихлебывая пиво. Эти беседы, наверное, лучшее, что осталось в моей памяти от студенческих лет.

Профессия и место жительства послужили причиной тому, что в последующие десять лет мы виделись не часто. Но мы с Оэри были безмерно обрадованы, когда уже в зрелые годы параллельные прямые вдруг пересеклись, и судьба снова свела нас вместе.

Когда нам было по тридцать пять, мы решили совершить «морское» путешествие на моей яхте; морем для нас стало Цюрихское озеро. В нашу команду вошли три молодых врача, работавшие со мной в то время. Мы доплыли до Валенштадта и вернулись обратно, подгоняемые свежим ветром. Оэри взял с собой «Одиссею» в переводе Фосса и читал нам о волшебнице Цирцее и ее острове. Блестела под солнцем прозрачная гладь озера, и берега были окутаны серебристой дымкой.

*Был нам по темным волнам провожатым надежный  
попутный  
Ветер, пловцам благовеющий друг, парусов надуватель  
Послан приветоречивою, светлокудрявой богиней...*



Неподвижным видением представляли перед нами зыбкие гомеровские образы, как мысли о будущем, о великом путешествии в *pelagus mundi* (мирское море. — *лат.*), которое нам еще предстояло. Оэри, который долго медлил и колебался, вскоре после этого женился, мне же судьба подарила — как и Одиссею — путешествие в царство мертвых<sup>1</sup>.

Потом началась война. Мы виделись редко и говорили только о том, что волновало всех, что было «на переднем плане». Но в то же время не прерывалась другая наша беседа, «без слов», когда я угадывал, о чем он хотел меня спросить. Мудрый друг, он хорошо меня знал, его молчаливое понимание и неизменная верность значили для меня очень много. В последние десять лет его жизни мы вновь стали встречаться как можно чаще, поскольку оба знали, что тени становятся все длиннее.

Студенческие годы дали мне возможность безбоязненно обсуждать столь волновавшие меня религиозные вопросы. В нашем доме часто бывал один богослов, бывший викарий моего отца. Наряду с феноменальным аппетитом (я казался себе тенью рядом с ним) он обладал еще весьма разносторонними знаниями. От него я узнал многие вещи, и не только из области патристики и христианской догматики, но и некоторые новые течения протестантской теологии. В те дни у всех на устах была теология Ричля. Его исторические аналогии раздражали меня, особенно пресловутое сравнение Христа с поездом. Студентов-теологов, которых я знал по «*Zofingia*», кажется, вполне устраивала его теория об историческом влиянии Христова подвижничества. Мне же это представлялось не просто бессмыслицей, но мертвечиной, к тому же мне вообще не нравилась тенденция придавать Христу слишком большое значение и делать из него единственного посредника между людьми и Богом. Это, на мой взгляд, противоречило собственным словам Христа о Святом Духе, «Которого пошлет Отец во имя Мое» (Ин 14, 26).

---

<sup>1</sup> Этот гомеровский образ имел для Юнга то же значение, что и аналогичный сюжет в «Божественной комедии» или Вальпургиева ночь в «Фаусте». Странствие в царство мертвых, погружение в Аид, было для Юнга тем же обращением к темному миру бессознательного. Этот же образ он использует в главе «Встреча с бессознательным». — А. Я.

В Святом Духе я видел проявление непостижимого Божества. Деяния его представлялись мне не только возвышенными, они обладали странными и сомнительными свойствами, как и поступки Яхве, Которого я наивно идентифицировал с христианским Богом, как меня учили перед конфирмацией. (Я еще не осознавал тогда, что «дьявол», строго говоря, был рожден вместе с христианством.) «*Her Jesus*» безусловно был человеком, причем сомнительным для меня, являясь всего лишь рупором Святого Духа. Это моя в высшей степени неортодоксальная точка зрения, на 90° (если не на все 180°) расходившаяся с традиционным богословием, естественно, натолкнулась на полное непонимание. Разочарование, которое я тогда испытал, постепенно сделало меня странно равнодушным, укрепив мою веру в собственный опыт. Вслед за Кандидом я мог теперь повторить: «*Tout cela est bien dit — mais il faut cultiver notre jardin*» (Все это верно, но нужно возделывать свой сад. — *фр.*), — подразумевая под этим собственные занятия.

В первые годы, проведенные в университете, я открыл, что присущие науке широчайшие возможности познания так или иначе ограничены и касаются главным образом вещей специальных. Из прочитанных мной философских сочинений, следовало все очевиднее, что все дело в существовании души: без нее невозможно никакое глубокое проникновение в сущность явлений. Но об этом нигде не говорилось, подразумевалось, что это нечто, само собой разумеющееся. Даже если кто-то и упоминал о душе, как К.Г. Карус, то это были не более чем философские спекуляции, одинаково легко принимающие ту или иную форму, чего я никак не мог для себя уяснить.

К концу второго семестра я сделал еще одно открытие. В библиотеке одного моего однокурсника, отец которого занимался историей искусств, я наткнулся на маленькую книжку о спиритизме, изданную в 70-х годах. Речь в ней шла о спиритизме и его истоках, автор был теологом. Мои прежние сомнения быстро рассеялись, когда я обнаружил, что эти явления очень напоминают мне истории, которые я слышал в своем деревенском детстве. Материал был, конечно, подлинный, но возникал другой важный вопрос: были ли эти явления правдивы с точки зрения естественных законов, — ответить на него с уверенностью я не

мог. Но все же мне удалось установить, что в разное время в разных концах земли появлялись одни и те же истории. Следовательно, должна была существовать какая-то причина, которая не могла быть связана с общими религиозными предпосылками, — случай был явно не тот. Скорее всего, следовало предположить, что здесь не обошлось без определенных объективных свойств человеческой психики. Но вот на этом — на том, что касалось объективных свойств психики, — я и споткнулся, не найдя абсолютно ничего, кроме разве что всякого рода измышлений философов о душе.

Наблюдения спиритов, какими бы странными и сомнительными они ни казались мне поначалу, были тем не менее первым объективным свидетельством о психических явлениях. Мне запомнились имена Крукса и Целльнера, и я прочел всю доступную на тот момент литературу по спиритизму. Разумеется, я пытался обсудить это с друзьями, но к моему удивлению они реагировали отчасти насмешливо, отчасти недоверчиво, а иногда и с некоторой настороженностью. Они с поразительной уверенностью утверждали, что это принципиально невозможно и видели трюкачество во всем, что связано с привидениями и столоверчением. Но, с другой стороны, я чувствовал очевидную напряженность в их тоне. Я тоже не был уверен в совершенной правдивости подобного рода явлений, но почему, в конце концов, привидений не должно быть? Как мы узнаем, что нечто такое «невозможно»? А главное, почему это вызывает страх? Я находил здесь для себя множество интересных возможностей, вносящих разнообразие и некую скрытую глубину в мое существование. Могли ли, например, сновидения иметь какое-то отношение к призракам? Кантовские «Сновидения духовидца» пришлись здесь очень кстати. А вскоре я открыл для себя такого писателя, как Карл Дюпрель, который рассматривал эти явления с точки зрения философии и психологии. Я раскопал Эшенмайера, Пассавана, Юстинуса Кернера и Герреса и одолел семь томов Сведенборга.

«Номер 2» моей матери полностью разделял мой энтузиазм, но все остальные явно меня не одобряли. До сих пор я наталкивался на каменную стену общепринятых традиций, но только теперь в полной мере ощутил всю твердость человеческих предрассудков

и очевидную неспособность людей признать существование сверхъестественных явлений; причем я столкнулся с такого рода неприятием даже среди близких друзей. Для них это все выглядело куда хуже, чем мое увлечение теологией. Мне показалось, будто весь мир выступил против меня: все, что вызывало у меня жгучий интерес, другим казалось туманным, несущественным и, как правило, настораживало.

Но чего же они боялись? Этому я не находил объяснения. В конце концов, в том, что существуют вещи, которые не укладываются в ограниченные категории пространства, времени и причинности, не было ничего невозможного и предосудительного. Известно ведь, что животные заранее чувствуют приближение шторма или землетрясения, что бывают сновидения, предвещающие смерть других людей, что часы иногда останавливаются в момент смерти, а стаканы разбиваются на мелкие кусочки. В мире моего детства подобные явления воспринимались как совершенно естественные. А сейчас я, похоже, оказывался единственным человеком, который когда-либо о них слышал. Совершенно серьезно я спрашивал себя: что же это за мир, куда я попал? Городской мир явно ничего не знал о деревенском мире, о мире гор, лесов и рек, животных и «не отделившихся от Бога» (читай: растений и кристаллов). С таким объяснением я был полностью согласен. Оно прибавляло мне самоуважения, я понял, что, позволяя осознать, несмотря на всю свою ученость, городской мир довольно ограничен. Эта моя убежденность была отнюдь не безопасной: я стал важничать, стал скептическим и агрессивным, что меня безусловно не украшало. Наконец, ко мне снова вернулись старые сомнения и депрессии, чувство собственной неполноценности — тот порочный круг, из которого я решил вырваться любой ценой. Мне больше не хотелось быть изгоем и пользоваться сомнительной репутацией чудака.

После первого вводного курса я стал младшим ассистентом на кафедре анатомии, и в следующем семестре профессор назначил меня ответственным по курсу гистологии, что меня вполне устраивало. Более всего меня интересовали, причем с чисто морфологической точки зрения, эволюционная теория и сравнительная анатомия, я также был знаком и с неовитализмом. Иначе обстояло дело с физиологией: мне были глубоко неприятны все

эти вивисекции, которые производились, по-моему, исключительно в целях наглядной демонстрации. Меня не покидала мысль, что животные сродни нам, что они не просто автоматы, используемые для демонстрации экспериментов. Поэтому я пропускал лабораторные занятия, так часто, как только мог. Я понимал, что опыты на животных бесполезны, но их демонстрация казалась мне жуткой и варварской, а главное, я не видел в ней необходимости. Мое чересчур развитое воображение вполне позволяло представить всю процедуру по одному лишь скупому описанию. Мое сочувствие к животным было основано вовсе не на аллюзиях шопенгауэровой философии, а имело более глубокие истоки — на восходящее к давним временам бессознательное отождествление себя с животными. В то время, конечно, я ничего не знал об этом психологическом факторе. Мое отвращение к физиологии было настолько велико, что экзамен я сдал с большим трудом. Но все-таки сдал.

В последующие клинические семестры я был так загружен, что у меня совершенно не оставалось времени ни на что другое. Я мог читать Канта лишь по воскресеньям, тогда же моим увлечением стал и Гартман. Включив в свою программу также и Ницше, я так и не решился приступить к нему, чувствуя себя недостаточно подготовленным. О Ницше тогда говорили всюду, причем большинство воспринимало его враждебно, особенно «компетентные» студенты-философы. Из этого я заключил, что он вызывает неприязнь в академических философских кругах. Высшим авторитетом там считался, разумеется, Якоб Буркхардт, чьи критические замечания о Ницше передавались из уст в уста. Более того, в университете были люди, лично знававшие Ницше, которые могли порассказать о нем много нелестного. В большинстве своем они Ницше не читали, а говорили в основном о его слабостях и чудачествах: о его желании изображать «денди», о его манере играть на фортепиано, о его стилистических несуразностях — о всех тех странностях, которые вызывали такое раздражение у добропорядочных жителей Базеля. Это, конечно, не могло заставить меня отказаться от чтения Ницше, скорее наоборот, было лишь толчком, подогревая интерес к нему и, порождая тайный страх, что я, быть может, похож на него, хотя бы в том, что касалось моей «тайны» и отверженности. Может

быть, — кто знает? — у него были тайные мысли, чувства и прозрения, которые он так неосторожно открыл людям. А те не поняли его. Очевидно, он был исключением из правил или по крайней мере считался таковым, являясь своего рода *lusus naturae* (игра природы. — *лат.*), чем я не желал быть ни при каких обстоятельствах. Я боялся, что и обо мне скажут, как о Ницше, «это тот самый...». Конечно, *si parva comperere magnis licet* (если позволено сравнить великое с малым. — *лат.*), — он уже профессор, написал массу книг и достиг недостижимых высот. Он родился в великой стране — Германии, в то время как я был только швейцарцем и сыном деревенского священника. Он изъяснялся на изысканном *Hochdeutsch*, знал латынь и греческий, а может быть, и французский, итальянский и испанский, тогда как единственный язык, на котором с уверенностью говорил я, был *Waggis-Baseldeutsch*. Он, обладая всем этим великолепием, мог себе позволить быть эксцентричным. Но я не мог себе позволить узнать в его странностях себя.

Опасения подобного рода не остановили меня. Мучимый непреодолимым любопытством, и я наконец решился. «Несвоевременные мысли» были первой книгой, попавшей мне в руки. Увлечшись, я вскоре прочел «Так говорил Заратустра». Как и гётевский «Фауст», эта книга стала настоящим событием в моей жизни, Заратустра был Фаустом Ницше, и мой «номер 2» стал теперь очень походить на Заратустру, хотя разница между ними была как между кротовой норой и Монбланом. В Заратустре, несомненно, было что-то болезненное. А был ли болезненным мой «номер 2»? Мысль об этом переполняла меня ужасом, и я долгое время отказывался признать это; но она появлялась снова и снова в самые неожиданные моменты, и каждый раз я ощущал физический страх. Это заставило меня задуматься всерьез. Ницше обнаружил свой «номер 2» достаточно поздно, когда ему было за тридцать, тогда как мне он был знаком с детства. Ницше говорил наивно и неосторожно о том, о чем говорить не должно, говорил так, будто это было вполне обычной вещью. Я же очень скоро заметил, что такие разговоры ни к чему хорошему не приводят. Как он мог, при всей своей гениальности, будучи еще молодым человеком, но уже профессором, — как он мог приехать в Базель, не предполагая, что его здесь ждет? Как человек гениаль-

ный, он должен был сразу почувствовать, насколько чужд ему этот город. Я видел какое-то болезненное недопонимание в том, что Ницше, беспечно и ни о чем не подозревая, позволил «номеру 2» заговорить с миром, который о таких вещах не знал и не хотел знать. Ницше, как мне казалось, двигала детская надежда найти людей, способных разделить его экстазы и принять его «переоценку ценностей». Но он нашел только образованных филлистеров и оказался в трагикомическом одиночестве, как всякий, кто сам себя не понимает и кто свое сокровенное обнаруживает перед темной, убогой толпой. Отсюда его напыщенный, восторженный язык, нагромождение метафор и сравнений — словом, все, чем он тщетно стремился привлечь внимание мира, сделаться внятным для него. И он упал — сорвался как тот акробат, который пытался выпрыгнуть из себя. Он не ориентировался в этом мире — «dans ce meilleur des mondes possibles» (лучшем из возможных миров. — *фр.*) — и был похож на одержимого, к которому окружающие относятся предупредительно, но с опаской. Среди моих друзей и знакомых нашлись двое, кто открыто объявил себя последователями Ницше, — оба были гомосексуалистами. Один из них позже покончил с собой, второй постепенно опустился, считая себя непризнанным гением. Все остальные попросту не заметили «Заратустры», будучи в принципе далекими от подобных вещей.

Как «Фауст» в свое время приоткрыл для меня некую дверь, так «Заратустра» ее захлопнул, причем основательно и на долгое время. Я очутился в шкуре старого крестьянина, который, обнаружив, что две его коровы удавились в одном хомуте, на вопрос маленького сына, как это случилось, ответил: «Да что уж об этом говорить».

Я понимал, что, рассуждая о никому неизвестных вещах, ничего не добьешься. Простодушный человек не замечает, какое оскорбление он наносит людям, говоря с ними о том, чего они не знают. Подобное пренебрежение прощают лишь писателям, поэтам или журналистам. Новые идеи, или даже старые, но в каком-то необычном ракурсе, по моему мнению можно было излагать только на основе фактов: факты долговечны, от них не уйдешь, рано или поздно кто-нибудь обратит на них внимание и вынужден будет их признать. Я же за неимением лучшего лишь рас-

суждал вместо того, чтобы приводить факты. Теперь я понял, что именно этого мне и недостает. Ничего, что можно было бы «взять в руки», я не имел более, чем когда-либо нуждаясь в чистой эмпирии. Я отнес это к недостаткам философов — их многословие, превышающее опыт, их умолчание там, где опыт необходим. Я представлялся себе человеком, который, оказавшись неведомо как в алмазной долине, не может убедить в этом никого, даже самого себя, поскольку камни, что он захватил с собой, при ближайшем рассмотрении оказались горстью песка.

В 1898 году я начал всерьез задумываться о своем будущем. Нужно было выбирать специальность, и выбор лежал между хирургией и терапией. Я больше склонялся к хирургии, так как получил специальное образование по анатомии и отдавал предпочтение анатомической патологии, и, вероятно, стал бы хирургом, если бы располагал необходимыми финансовыми средствами. Меня постоянно тяготило то, что ради учебы придется залезать в долги. После выпускного экзамена я должен был как можно скорее начать зарабатывать себе на хлеб. Поэтому самой предпочтительной мне казалась хорошо оплачиваемая должность ассистента в какой-нибудь провинциальной больнице, а не в клинике. Более того, получить место в клинике возможно было лишь по протекции или при особом расположении заведующего. Зная свои сомнительные способности по части общительности и привлечения всеобщих симпатий, я не рассчитывал на подобную удачу и тешил себя скромной перспективой устроиться в какую-нибудь скромную больницу. Все остальное зависело только от моего трудолюбия и моих способностей.

Но во время летних каникулах произошло событие, которое буквально потрясло меня. Однажды днем я занимался в своей комнате, в соседней сидела с вязанием мать. Это была наша столовая, где стоял старый круглый обеденный стол орехового дерева еще из приданого моей бабушки по отцовской линии. Мать устроилась у окна, примерно за метр от стола, сестра была в школе, а служанка на кухне. Внезапно раздался треск. Я вскочил и бросился в столовую. Мать в замешательстве застыла в кресле, вязание выпало у нее из рук. Наконец она выговорила, заикаясь: «Что случилось? Это было прямо возле меня», — и показала на стол. Тут мы увидели, что произошло: столешница расколо-



лась до середины, причем трещина, не задев ни одного места склейки, прошла по сплошному куску дерева. Я лишился речи. Как такое могло случиться? Стол из прочного орехового дерева, который сох в течение семидесяти лет, — как мог он расколоться в летний день при более чем достаточной влажности? Если бы он стоял рядом с горячей плитой в холодный, сухой зимний день, тогда это было бы объяснимо. Что же такого необычайного должно было произойти, чтобы вызвать взрыв? «Странные вещи случаются», — подумал я. Мать покачала головой и сказала своим «вторым» голосом: «Да, да, это что-то да значит». Я же, находясь под сильным впечатлением от случившегося, злился на себя более всего за то, что мне нечего сказать.

Каких-нибудь две недели спустя, придя домой в шесть вечера, я нашел всех обитателей нашего дома — мою мать, четырнадцатилетнюю сестру и служанку — в сильном волнении. Примерно час назад снова раздался грохот; на этот раз причиной был не стол, звук послышался со стороны буфета, тяжелого и старого, ему было без малого сто лет. Они оглядели его, но не нашли ни единой трещины.

Я тут же снова обследовал буфет и все, что было поблизости, но безуспешно. Тогда я открыл его и стал перебирать содержимое. На полке для посуды я нашел хлебницу, а в ней буханку хлеба и нож с разломанным лезвием. Рукоять ножа лежала в одном из углов хлебницы, в остальных я обнаружил осколки лезвия. Ножом пользовались, когда пили кофе, и затем спрятали сюда. С тех пор к буфету никто не подходил.

На следующий день я отнес разломанный нож к одному из лучших литейщиков города. Он осмотрел изломы в лупу и покачал головой: «Этот нож в полном порядке, в стали нет никаких дефектов. Кто-то умышленно отламывал от него кусок за куском. Это можно сделать, если зажать лезвие в щели выдвижного ящика или сбросить его с большой высоты на камень. Хорошая сталь не может просто так расколоться. Кто-то подшутил над вами».

Мать и сестра были в тот момент в комнате, внезапный треск их напугал, «номер 2» моей матери с напряжением всматривался в меня, а мне снова нечего было сказать. Совершенно растерянный, я не находил никакого объяснения случившемуся, и злился на себя, тем более что был буквально потрясен всем этим.

Почему и каким образом раскололся стол и разломалось лезвие ножа? Предположить здесь обыкновенную случайность было бы слишком легкомысленно. Это казалось столь же невероятным, как если бы вдруг Рейн потек вспять — просто так, по прихоти случая. Все остальные возможности исключались *eo ipso* (в силу этого. — *лат.*). Так что же это было?

Через несколько недель я узнал, что кое-кто из наших родственников увлекается столоверчением, у них есть медиум — пятнадцатилетняя девушка. По слухам, она впадает в транс и якобы общается с духами. Услышав об этом, я вспомнил о последних событиях в нашем доме и подумал, что это может иметь какое-то отношение к «медиуму». Так я стал регулярно — каждую субботу — бывать на спиритических сеансах. Духи общались с нами посредством «постукивания» по столу и стенам. То, что стол двигался независимо от медиума, показалось мне сомнительным. Вскоре я обнаружил, что условия эксперимента слишком ограничены, поэтому принял как очевидность лишь самовозникновение звуков и сосредоточился на содержании сообщений медиума. (Результаты наблюдений были представлены в моей докторской диссертации.) Сеансы наши продолжались года два, мы все устали. И однажды я заметил, как медиум пытается имитировать спиритический феномен, т. е. попросту мошенничает. После этого я перестал ходить туда, о чем сейчас сожалею, потому что на этом примере понял, как формируется «номер 2», как входит в детское сознание *alter ego* и как оно растворяется в нем. Девушка-медиум была «акселераткой». Я видел ее еще раз, когда ей было 24, и мне она показалась человеком чрезвычайно независимым и зрелым. В 26 лет она умерла от туберкулеза. После ее смерти ее родные рассказали мне, что в последние месяцы жизни характер ее стал быстро меняться: перед концом она впадала в состояние, аналогичное состоянию двухлетнего ребенка. Тогда она и заснула в последний раз.

В целом все это явилось для меня важным опытом, благодаря которому от юношеского своего философствования я перешел к психологическому объяснению духовных феноменов, обнаружив нечто объективное в области человеческой психики. И все же эти опыты были такого свойства, что я не представлял, кому бы мог рассказать все обстоятельства дела. Поэтому мне снова при-

шлось забыть на время о предмете моих размышлений. Диссертация моя появилась лишь спустя два года.

В клинике, где я работал, место старого Иммермана занял Фридрих фон Мюллер. В нем я нашел человека, близкого мне по складу ума. Мюллер умел с необыкновенной проницательностью ухватить суть проблемы и формулировать вопросы так, что они уже наполовину содержали в себе решение. Он, со своей стороны, похоже, симпатизировал мне, потому что после окончания университета предложил переехать с ним в Мюнхен в качестве его ассистента. Я уже готов был принять его предложение и стал бы терапевтом, если бы не произошло событие, не оставившее у меня никаких сомнений относительно выбора будущей специальности.

Я, конечно, слушал лекции по психиатрии и практиковался в клинике, но тогдашний наш преподаватель ничего из себя не представлял. А воспоминания о том, как подействовало на моего отца пребывание в психиатрической лечебнице, менее всего располагали специализироваться в данной области. Поэтому, готовясь к государственному экзамену, учебник по психиатрии я раскрыл в последнюю очередь. Я ничего от него не ожидал и до сих пор помню, как, открывая пособие Краффта-Эбинга, я подумал: «Ну-ну, посмотрим, что ценного скажут нам психиатры». Лекции и клинические занятия не произвели на меня ни малейшего впечатления, а от демонстрации клинических случаев у меня не осталось ничего, кроме скуки и отвращения.

Я начал с предисловия, рассчитывая узнать, на что опираются психиатры, чем они вообще оправдывают существование своего предмета. Чтобы мое высокомерное отношение к психиатрии не вызвало упреков, я должен пояснить, что медики в то время, как правило, относились к психиатрии с пренебрежением. Никто не имел о ней реального представления, и не существовало такой психологии, которая бы рассматривала человека как единое целое, не было еще описаний разного рода болезненных отклонений, так что нельзя было судить о патологии вообще. Директор клиники был обычно заперт в одном помещении со своими больными, сама же лечебница, отрезанная от внешнего мира, размещалась где-нибудь на окраине города, как своего рода

лепрозорий. Никому не было до этих людей дела. Врачи — как правило, дилетанты — знали мало и испытывали по отношению к своим больным те же чувства, что простые смертные. Душевное заболевание считалось безнадежным и фатальным, и это обстоятельство бросало тень на психиатрию в целом. На психиатров в те дни смотрели косо, в чем я вскоре убедился лично.

Итак, я начал с предисловия, в котором сразу же натолкнулся на следующую фразу: «Вероятно, в силу специфики предмета и его недостаточной научной разработки учебники по психиатрии в той или иной степени страдают субъективностью». Несколько ниже автор называл психоз «болезнью личности». Внезапно мое сердце сильно забилось, в волнении я вскочил из-за стола и глубоко вздохнул. Меня будто озарило на мгновение, и я понял: вот она, моя единственная цель, — психиатрия. Только здесь могли соединиться два направления моих интересов. Именно в психиатрии я увидел поле для практических исследований, как в области биологии, так и в области человеческого сознания, — такое сочетание я искал повсюду и не находил нигде. Наконец, я нашел область, где взаимодействие природы и духа становилось реальностью.

Мысль моя мгновенно отозвалась на фразу о «субъективности» учебников по психиатрии. Итак, думал я, этот учебник — своего рода субъективный опыт автора, со всеми присущими ему предрассудками, со всем его «собственным», что в книге выступает как объективное знание, со всеми «болезнями личности» — читай: его собственной личности. Наш университетский преподаватель никогда не говорил ничего подобного. И, хотя этот учебник ничем существенно не отличался от других подобных пособий, он прояснил для меня многое в психиатрии, и я безвозвратно попал под ее обаяние.

Выбор состоялся: Когда я сообщил о своем решении преподавателю терапии, он был ошарашен и огорчен. Мои старые раны, мое проклятое «отличие», снова дали о себе знать, но теперь я понимал, в чем дело. Никто из близких мне людей, и даже я сам, и предположить не могли, что однажды я рискну ступить на этот окольный путь. Друзья были неприятно удивлены и смотрели на меня как на глупца, который отказался от счастливого шанса — сделать карьеру в терапии, что было более чем реально и не ме-

нее заманчиво. И ради чего — ради какой-то психиатрической несуразицы.

Стало ясно, что я вновь попал на боковую дорогу и вряд ли у кого-нибудь возникнет желание последовать за мной. Но я твердо знал, что никто и ничто не заставит меня изменить мое решение и мою судьбу. Получилось так, будто два потока слились воедино и неумолимо несли меня к далекой цели. Уверенное ощущение себя как «цельной натуры» словно на магической волне перенесло меня через экзамен, который я сдал одним из лучших. Дела шли великолепно, когда я вдруг неожиданно споткнулся, причем на том самом предмете, который на самом деле знал блестяще, — на патологической анатомии. Из-за нелепой ошибки я не заметил на предметном стекле микроскопа, где, казалось, находились лишь разрозненные клетки эпителия, клеток, пораженных плесенью. В других дисциплинах я даже интуитивно угадывал вопросы, которые мне станут задавать, благодаря чему успешно избежал нескольких опасных подводных камней и шел вперед «под гром фанфар». Похоже, все дело в моей излишней самоуверенности. Не случись этого, я получил бы высший балл.

Теперь же выяснилось, что еще у одного студента оказался такой же балл, как у меня. Это была «темная лошадка», какой-то одиночка, выглядевший подозрительно заурядным. Он мог говорить исключительно «по предмету» и отвечал на все вопросы с таинственной улыбкой античной статуи. Он старался казаться уверенным, но за этим крылось смущение и неумение себя вести. Я не мог его понять. Одно можно было сказать совершенно точно — он производил впечатление почти маниакального карьериста, которого, казалось, ничто не интересовало, кроме его медицинской специальности. Спустя несколько лет он заболел шизофренией. Я вспомнил этот случай по ассоциации. Моя первая книга, как известно, была посвящена психологии dementia praecox (шизофрении), и в ней я, вооружась «своими собственными предрассудками», пытался определить эту «болезнь личности». Психиатрия в широком смысле — это диалог между больной психикой и психикой «нормальной» (причем под «нормальной» принято понимать психику самого врача), это взаимодействие больного с тем, кто его лечит, — существом в извест-

ной мере субъективным. Я поставил перед собой задачу доказать, что ложные идеи и галлюцинации являются не столько специфическими симптомами умственного заболевания, сколько присущи человеческому сознанию вообще.

Вечером после экзамена я впервые в жизни позволил себе роскошь сходить в театр. До этого состояние моих финансов не располагало к подобной экстравагантности. У меня еще остались деньги от продажи антиквариата, так что я смог позволить себе не только билет в оперу, но и путешествие: я съездил в Мюнхен и Штутгарт.

Бизе подействовал на меня совершенно опьяняюще, я будто плыл по волнам безбрежного моря. На следующий день, когда поезд нес меня через границу навстречу широкому миру, мелодии «Кармен» все еще звучали во мне. В Мюнхене я впервые увидел настоящую античность, и в соединении с музыкой Бизе это погрузило меня в особую атмосферу, о глубине и значении которой я лишь смутно догадывался. Ощущение весны и влюбленности — так бы я охарактеризовал тогдашнее состояние. Погода между тем стояла унылая — была первая неделя декабря 1900 года. В Штутгарте я последний раз встретился с фрау Раймер-Юнг, моей теткой, дочерью моего дедушки, профессора К. Г. Юнга, от его первого брака с Вирджинией де Лассоль. Это была очаровательная пожилая дама с блестящими голубыми глазами, очень живая и стремительная. Ее муж был психиатром. Сама она казалась погруженной в мир неясных мимолетных фантазий и таинственных воспоминаний. На меня в последний раз повеяло прошлым, безвозвратно исчезающим, уходящим в небытие. Я окончательно прощался с ностальгическими тревогами моего детства.

С 10 декабря 1900 года началась моя работа ассистентом в клинике Бургхёльцли в должности ассистента. Я был рад, что поселился в Цюрихе, Базель казался мне уже тесным. Для жителей Базеля не существовало другого города, кроме Базеля, только в Базеле все было «настоящее», а на противоположном берегу реки Бирс начиналась земля варваров. Мои друзья не могли понять, зачем я уезжаю, и надеялись на мое скорое возвращение. Но это было абсолютно исключено — в Базеле меня знали не

иначе как сына пастора Юнга и внука профессора Карла Густава Юнга. Я принадлежал к местной элите, был, так сказать, заключен в своего рода «рамки». Во мне это рождало внутренний протест, я не мог и не хотел быть прикованным к чему бы то ни было.

В интеллектуальном отношении атмосфера Базеля была вполне космополитична, однако на всем лежала печать традиции, и это было нестерпимо. Приехав же в Цюрих, я мгновенно почувствовал огромную разницу. Связи Цюриха с миром строились не на культуре, а на торговле, но здесь я дышал воздухом свободы и очень этим дорожил. Здесь люди не ощущали духоты тяжелого коричневого тумана многовековой традиции, хотя культурной памяти Цюриху, безусловно, недоставало. И все же по Базелю я до сих пор скучаю, хотя знаю, что он уже не тот, что был. Я все еще помню дни, когда по улицам его неспешно прогуливались Бахофен и Буркхардт, что позади кафедрального собора стоял дом настоятеля, мост через Рейн был наполовину деревянный.

Мать тяжело переживала мой отъезд. Но я не мог поступить иначе, и она перенесла это с присущим ей мужеством. Она осталась с моей младшей сестрой, созданием хрупким и болезненным, ни в чем на меня не похожим. Сестра словно родилась для того, чтобы прожить жизнь старой девой, она так и не вышла замуж. Но у нее был удивительный характер, и я всегда поражался ее выдержке. Она была прирожденная «леди» и такой умерла — не пережила операции, исход которой не предвещал никакой опасности. Я был потрясен, когда обнаружил, что сестра заранее привела в порядок все свои дела, позаботилась обо всем до последней мелочи. Мы никогда не были близки, но я всегда испытывал к ней глубокое уважение. Я был слишком эмоциональным, она же — всегда спокойной, хотя обладала очень чувствительной натурой. Мне всегда казалось, что сестра проведет остаток дней в приюте для благородных девиц, как это было с младшей сестрой моего дедушки.

Работа в клинике Бургхельцли наполнила мою жизнь новым содержанием, появились новые замыслы, заботы, укреплялось чувство долга и ответственности. Это был как бы постриг в миру, я словно дал обет верить лишь в возможное, обычное, заурядное; все невозможное исключалось, все необыкновенное сводилось к обыкновенному. С этого времени передо мной было лишь то, что

на поверхности, только начала без продолжений, события без их внутренней связи, знания, ограничиваемые все более узким кругом специальных вопросов. Мелкие неудачи вытеснили серьезные проблемы, горизонты сужались, духовная пустота и рутина казались непреодолимыми. На полгода я сознательно заключил себя в этот монастырь. Познавая жизнь и дух психиатрической лечебницы, я от корки до корки прочел все пятьдесят томов «Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie», чтобы ориентироваться в существовавшей на тот момент научной ситуации. Я хотел выяснить, как человеческий дух реагирует на собственные расстройства и разрушения, поскольку психиатрия казалась мне ярким выражением той биологической реакции, которая завладевала так называемым здоровым сознанием при контакте с сознанием расстроенным. Коллеги по работе казались мне не менее интересными, чем пациенты. Впоследствии я втайне обработал сводную статистику моих швейцарских коллег по наследственности, что способствовало моему пониманию психических реакций.

Моя крайняя сосредоточенность и добровольное заточение отдалили меня от коллег. Они не представляли, какой странной казалась мне психиатрия и как настойчиво я стремился проникнуть в ее суть. В тот период я еще не интересовался терапией, увлекшись патологией так называемой нормальности — это позволяло мне глубже проникнуть в человеческую психику.

Именно так начиналась моя карьера в психиатрии — мой субъективный эксперимент, из которого и складывалась моя жизнь.

У меня нет ни желания, ни способности отстраниться от себя и взглянуть на собственную судьбу со стороны. Поступая так, я совершил бы ошибку (известную мне по другим автобиографиям), либо погружаясь в иллюзию того, как должно было быть, либо создавая некую апологию pro vita. В конечном счете, это тот самый случай, когда мы не в состоянии судить себя, право судить нас дано другим — for better or worse (плохо или хорошо. — *англ.*) — и этого достаточно.



## | Психиатрическая практика

Годы работы в Бургхёльцли, психиатрической клинике при Цюрихском университете, были годами ученичества, когда главным для меня вопросом был один-единственный: что же происходит с душевнобольным человеком? Тогда я не мог на него ответить, а никого из моих коллег, похоже, эта проблема не занимала. Работа психиатра заключалась в следующем: абстрагировавшись в возможно большей степени от того, что говорит пациент, врач должен был поставить диагноз, описать симптомы и составить статистику. С так называемой клинической точки зрения, которая тогда господствовала, врач занимался больным не как отдельным человеком, обладающим индивидуальностью, а как пациентом Икс с соответствующей клинической картиной. Пациент получал ярлык, ему приписывался диагноз, чем обычно все и заканчивалось. Психология душевнобольного никого не интересовала.

В этом отношении велика роль Фрейда, и прежде всего его фундаментальных исследований по психологии истерии и сновидений. Его концепции указали мне путь и помогли как в моих последующих исследованиях, так и в понимании каждого конкретного случая. Фрейд подошел к психиатрии именно как психолог, хотя сам был вовсе не психологом, а невропатологом.

Я до сих пор отлично помню случай, который тогда произвел на меня сильное впечатление. В клинику привезли молодую женщину, страдающую меланхолией, она поступила в мое отделение. Исследование проводилось с обычной тщательностью: анамнез, исследование, анализ физического состояния и т. д. Диагноз:

шизофрения (или, как тогда говорили, dementia praecox). Прогноз: негативный.

Поначалу я не осмеливался усомниться в диагнозе, молодому человеку, и тем более новичку, не пристало высказывать свою точку зрения. Но случай показался мне странным. У меня возникло подозрение, что это не шизофрения, а обыкновенная депрессия, и я решил применить собственный метод. В то время моим увлечением был ассоциативный метод в диагностике, и я попытался провести ассоциативный эксперимент с этой пациенткой. Мы много говорили о и ее снах, что позволило мне узнать нечто существенное о ее прошлом, нечто такое, чего анамнез прояснить не мог. Таким образом я получил информацию непосредственно из бессознательного, и мне открылась история мрачная и трагическая.

До замужества у этой женщины был знакомый, сын богатого промышленника. В него были влюблены все девушки в округе, но моя пациентка была очень привлекательной и считала, что у нее есть шанс. Он же, казалось, ею не интересовался, и она вышла замуж за другого.

Пять лет спустя к ней зашел давний приятель. Они вспоминали прошлое, когда вдруг тот сказал: «Когда ты вышла замуж, кое-кто был в шоке — этот ваш NN». С этого момента и началась ее депрессия, а спустя несколько недель это привело к несчастью.

Она купала своих детей, четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына. Семья жила в деревне, где вода не отвечала гигиеническим стандартам: чистую родниковую воду пили, речную использовали для купания и стирки. Заметив, что дочь сосет мочалку, она не придавала этому значения, сыну же разрешила выпить стакан речной воды. Естественно, она не вполне отдавала себе отчет в том, что делает, ее сознание уже было омрачено тенью надвигающейся депрессии.

Когда прошел инкубационный период, девочка заболела брюшным тифом и умерла. Она была любимицей матери. Мальчик не пострадал. В состоянии острой стадии депрессии женщина попала в клинику.

Проведя ассоциативный тест, я выяснил, что пациентка считала себя убийцей. Таким образом, у ее депрессии была серьезная причина. По сути это было психогенное расстройство.

Встал вопрос, как ее лечить. Прежде ей давали снотворное и наркотики, чтобы предотвратить попытки самоубийства. Ничего другого не делалось. Физическое ее состояние было вполне удовлетворительным.

Я долго размышлял над проблемой, возможно ли и стоит ли мне поговорить с ней откровенно? Должен ли я вмешаться, имею ли на это право? Это было вопросом моей совести, и решить его мог только я. Обратись я к коллегам, они, вероятно, предупредили бы меня: «Ради Бога, не говорите женщине ничего подобного. Она окончательно сойдет с ума». Но на мой взгляд, эффект мог быть и противоположным. В психологии вообще нет однозначных истин — ответы на любой вопрос могут быть самыми различными. Все зависит от того, принимаем ли мы во внимание фактор бессознательного. Конечно, я знал, что рискую и что если пациентка сорвется, то я последую за ней.

Тем не менее я решился, хотя уверенности в благополучном исходе у меня не было. Я рассказал ей все, что выяснил благодаря ассоциативному эксперименту. Можно себе представить, как это было тяжело. Это не пустяк — взвалить на человека убийство. И каково было больной выслушать и принять все это. Но эффект был поразительный: через две недели она выписалась из клиники и никогда больше туда не возвращалась.

Коллегам я ничего не рассказал, и на то были причины. Я опасался, что, обсудив этот случай, они сделают его достоянием общественности, что может привести к осложнениям. Конечно, доказать что-либо вряд ли возможно, но для пациентки все эти разбирательства могли оказаться фатальными. Куда важнее было, чтобы она вернулась к нормальной жизни. Судьба и так достаточно наказала ее! Выписавшись из клиники, она уехала домой с тяжелым сердцем. Ей предстояло пережить все это. Ее наказание уже началось ее болезнью, а потеря ребенка причинила ей глубокие страдания.

В психиатрии пациент нередко скрывает свою историю. Для меня же собственно терапия начинается с изучения этой — очень личной — истории. Ибо в ней заключена самая тайна, которая явилась причиной болезни и разрушила психику. Если я открою ее, то получу ключ к лечению. Иными словами, задача врача заключается в том, чтобы узнать историю пациента, причем он

может задавать вопросы, касающиеся личности пациента в целом, а не только симптомов его болезни. Нередко того, что лежит на поверхности сознания, оказывается мало. А ассоциативный тест может открыть какой-нибудь ход. Иногда помогает толкование сновидений или длительный и терпеливый человеческий контакт с пациентом.

В 1905 году я читал курс психиатрии в Цюрихском университете и в том же году стал главврачом университетской клиники. Я занимал эту должность четыре года, но в 1909 году подал в отставку — у меня просто не хватало времени. Из-за обширной частной практики я уже не справлялся со своими обязанностями в клинике, но в должности приват-доцента оставался до 1913 года. Я читал курс психопатологии и основы фрейдовского психоанализа и, кроме того, психологию примитивов. Таковы были мои основные предметы. Первые семестры я отводил в основном лекциям по гипнозу, а также теориям Жана и Флурнуа, затем на первый план вышли проблемы фрейдовского психоанализа.

В лекциях по гипнозу я приводил истории моих пациентов, которых обычно представлял студентам. Один такой случай очень хорошо мне запомнился.

Как-то раз ко мне обратилась очень религиозная пожилая женщина (ей было 58 лет). Она пришла на костылях, с трудом передвигалась на них с помощью служанки. Уже семнадцать лет она страдала от паралича. Я усадил женщину в удобное кресло и попросил рассказать о себе. Она со слезами начала говорить, и вся история ее болезни разворачивалась передо мной в мельчайших подробностях. Не выдержав, я остановил ее: «Достаточно, у нас мало времени. Сейчас мы проведем сеанс гипноза». Едва я успел произнести эти слова, она закрыла глаза и впала в глубокий транс — без всякого гипноза! Я был крайне изумлен, но не стал прерывать больную, которая говорила, не умолкая, о своих снах, весьма выразительных. Значение их стало мне ясно лишь через несколько лет. Тогда же я решил, что это своего рода бред. Ситуация становилась все более неловкой, — ведь передо мной были студенты.

Попытка разбудить пациентку через полчаса не удалась — она не просыпалась. Я не на шутку испугался, что своими рас-

спросами спровоцировал у больной скрытый психоз. Лишь через 10 минут мне удалось разбудить ее. Мне стоило огромных усилий скрыть от студентов свое волнение. Когда женщина пришла в себя, у нее кружилась голова, она была растеряна. Я бросился успокаивать ее: «Я ваш доктор, все в порядке». В ответ она воскликнула: «И я теперь здорова!» Отбросив костыли, она без посторонней помощи встала на ноги. Я постарался как можно спокойнее обратиться к студентам: «Теперь вы видите, на что способен гипноз!» Хотя на самом деле я и понятия не имел, что же произошло.

Это был один из опытов, заставивших меня отказаться от гипноза. Ничего еще не понимая, я увидел, что женщина действительно исцелилась и была совершенно счастлива. Ожидая наступления рецидива самое позднее через 24 часа, я попросил ее связаться со мной. Но боли больше не повторялись. И мне пришлось признать, что она вылечилась.

На первую лекцию летнего семестра следующего года она пришла опять, на этот раз с жалобами на сильные боли в спине, которые, по ее словам, начались совсем недавно. Естественно, что мне пришла мысль, не связано ли это с началом моих занятий. Похоже, она прочла в газете объявление о лекциях. Я поинтересовался, когда начались боли и чем они были вызваны. Она не вспомнила ничего определенного, и ничего не могла объяснить. Наконец мне удалось все-таки выяснить, что боли фактически начались в тот самый день и час, когда газета с объявлением попала ей на глаза. Это подтверждало мои подозрения, однако мне по-прежнему была неизвестна причина ее неожиданного исцеления. Я загипнотизировал ее снова — то есть она снова, как и тогда, спонтанно впала в транс — и после этого боли исчезли.

После лекции я остался, чтобы подробнее побеседовать с ней. Выяснилось, что сын ее страдал слабоумием и содержался в этой клинике, в моем отделении. Я об этом не догадывался, поскольку она носила фамилию второго мужа, сын же был ребенком от первого брака. Других детей у нее не было, и она, естественно, надеялась, что ее сын талантлив и добьется успеха в жизни. Для нее было ужасным ударом, когда в раннем детстве у него обнаружилось душевное заболевание. Я тогда был совсем еще молодым врачом и воплощал в себе, как ей казалось, все то, что она мечта-

ла найти в сыне. Ее неумное желание быть матерью выдающегося человека сфокусировалось на мне — она мысленно сделала меня своим сыном, рассказывая о своем чудесном исцелении *urbi et orbi* (городу и миру. — лат.).

И получилось так, что я благодаря ей приобрел популярность как врач и обзавелся первыми частными пациентами, поскольку история передавалась из уст в уста. Итак, моя психотерапевтическая практика началась с того, что в воображении любящей матери я занял место ее сумасшедшего сына! Все эти механизмы я попытался объяснить ей, и она отнеслась к этому с большим пониманием. Рецидивы у нее больше не повторялись.

Таким был мой первый настоящий терапевтический опыт и, можно сказать, мой первый психоанализ. Я отлично помню эту женщину и нашу беседу, она была довольно умна и испытывала чрезвычайную благодарность за участие в ее судьбе и судьбе ее сына. В конечном счете это помогло ей.

Поначалу я применял гипноз и в частной практике, но вскоре отказался от него, потому что не хотел больше действовать вслепую, наугад. Никогда нельзя было сказать, как долго продлится улучшение, и внутренне я противился этой неопределенности. Кроме того, мне не нравилось решать самому, что должен делать пациент, я предпочитал узнавать от него самого, куда ведут его собственные склонности. Но для этого был необходим тщательный анализ сновидений и других проявлений бессознательного.

В 1904—1905 годах я создал при клинике лабораторию экспериментальной психопатологии. С группой студентов я изучал психические реакции (как то: ассоциации и т. д.). Со мной работал и Франц Риклин-старший. Людвиг Биневангер готовил тогда докторскую диссертацию о связи ассоциативных экспериментов с психогальваническими эффектами, а я — работу «О сущности психологической диагностики». С нами сотрудничали и американцы, среди них Карл Петерсен и Чарльз Рикшер, публиковавшиеся в американских научных журналах.

Именно исследованиям ассоциативных механизмов я обязан приглашением в один из американских университетов (университет Кларка, 1909), где прочел доклад о своей работе. В то же время туда независимо от меня пригласили Фрейда. Нам обоим присвоили степень доктора *honoris causa*.

Благодаря ассоциативным и психогальваническим экспериментам я стал известен в Америке, и вскоре оттуда ко мне стали обращаться пациенты. Один из первых случаев хорошо сохранился в моей памяти.

Один из американских психиатров направил ко мне больного с диагнозом: «алкоголическая неврастения». В прогнозе значилось: «неизлечим». Из предосторожности мой коллега порекомендовал больному обратиться еще к одному авторитетному невропатологу в Берлине, опасаясь, видимо, что мои попытки ни к чему не приведут. Больной пришел ко мне на консультацию. Из беседы с ним я понял, что он страдает обычным неврозом, не имея никакого представления о психологических предпосылках своей болезни. Ассоциативный тест показал, что он страдает материнским комплексом в весьма тяжелой форме. Выходец из семьи богатой и почтенной, он был женат на прекрасной женщине и не имел никаких проблем — вот то, что лежало на поверхности. Но его что-то угнетало, и он слишком много пил, отчаянно пытаясь одурманить себя, чтобы это забыть, естественно, безуспешно.

Его мать владела крупной компанией, и он занимал в ней один из важных постов. Собственно, он уже давно мог освободиться от этой тягостной подчиненности. Но, не решаясь оставить высокий пост, он оставался в зависимости от матери, которой был обязан положением. Находясь рядом с ней и будучи вынужденным терпеть ее вмешательство в свои дела, он начинал пить, чтобы как-то забыться или скрыть свое раздражение. В глубине души он вовсе не желал оставлять тепленькое местечко, отказаться от комфорта и стабильности. Он предпочитал поддерживать этот status quo, даже вопреки собственному внутреннему дискомфорту.

После короткого курса лечения больной бросил пить и считал себя вполне здоровым. Но, я предупредил его: «Нет гарантии, что вы не вернетесь к прежнему состоянию, если окажетесь в привычной ситуации». Он не поверил мне, поскольку чувствовал себя хорошо, и уехал в Америку.

Но стоило ему вновь ощутить материнскую опеку, все вернулось на свои места. Теперь в Швейцарию прибыла его мать и обратилась ко мне за консультацией. В этой неглупой женщине я сразу ощутил какую-то прямо-таки дьявольскую силу. Понял, с чем приходилось бороться ее сыну, осознал, что у него нет шан-

сов. Он был хрупкого сложения и даже физически не выдерживал сравнения с матерью. Я решился на насильственный шаг: сказал матери, что алкоголизм ее сына напрямую связан с тем постом, который он занимает, и порекомендовал его уволить. Мать приняла мой совет — сын, естественно, был вне себя.

Подобный поступок в нормальной ситуации считается неэтичным — врач не должен позволять себе такое. Но я знал, что вынужден был пойти на это ради самого пациента.

Как сложилась его дальнейшая жизнь? Расставание с матерью позволило его собственной индивидуальности раскрыться в полной мере. Он сделал блестящую карьеру — вопреки, а может быть, благодаря моему «лечению». Чувство благодарности его жены ко мне невозможно передать: ее муж не только справился с алкоголизмом, но и нашел себя, свою собственную дорогу, причем сделал это чрезвычайно успешно.

Тем не менее некоторое время меня мучило чувство вины перед этим человеком — диагноз был поставлен за его спиной. Но я был твердо убежден, что только так — насильственным образом — возможно помочь ему. И он действительно излечился от невроза.

У меня был еще один аналогичный случай, который я вряд ли когда-нибудь забуду. Ко мне обратилась дама, отказавшись назвать себя. Он заявила, что хочет только проконсультироваться. Похоже, она принадлежала к высшим кругам общества. По ее словам, она тоже была врачом. То, что я услышал от нее, было признанием: около 20 лет назад она совершила убийство — отравила свою лучшую подругу, потому что была влюблена в ее мужа. Ей казалось, что раз убийство не раскрыто, то оно не имеет никакого значения. Она мечтала выйти замуж за мужа подруги и нашла, как ей думалось, простейший путь — убийство. Таков был мотив, а моральная сторона дела ее не волновала.

И что же? Она действительно вышла замуж за этого молодого человека, но он вскоре умер. Но позже с ней стали происходить странные вещи. Дочь от этого брака оставила ее, едва повзрослев. Она рано вышла замуж и старалась не встречаться с матерью. Наконец она вовсе исчезла из поля зрения матери — утратила с ней всякий контакт.



Эта дама владела несколькими скаковыми лошадьми. Увлечение верховой ездой поглощало ее полностью. И вот в какой-то момент она обнаружила, что лошади под ней начинают нервничать, даже ее любимец однажды сбросил ее. В итоге ей пришлось отказаться от верховой езды. Привязанность к собакам не принесла ей облегчения. У нее был замечательный волкодав, которого она просто обожала. И снова удар судьбы: именно эту собаку разбил паралич. Это стало последней каплей: она почувствовала, что «морально разбита»; ей нужно было кому-то исповедаться, и она пришла ко мне. Она была убийцей, но не только: она стала и самоубийцей, потому что тот, кто совершил преступление, разрушает и свою душу. Убийца судит себя сам. Когда преступление, раскрыто, преступник несет наказание согласно закону. Если преступление осталось тайной и человек совершил его без нравственных колебаний, наказание все равно настигнет его, о чем и свидетельствует этот случай, — просто оно придет днем позже. Нередко бывает, что животные и растения знают о преступлении.

Из-за убийства от этой женщины отвернулись даже ее животные. Не в силах вынести одиночества, в котором она оказалась, эта женщина, чтобы как-то справиться с ним, сделала меня своим исповедником. Она искала человека нейтрального, без предрассудков, который не был бы убийцей, кому она могла бы признаться и тем самым восстановить утраченную связь с людьми. Она нуждалась во враче больше, нежели в священнике, испытывая страх, что последний выслушает ее из чувства долга, но в душе вынесет моральный приговор. Она видела, что люди и животные отвернулись от нее, и была настолько подавлена, что не могла более выносить это проклятие.

Я так и не узнал, кто она, и даже не знаю, правдива ли ее история. Временами вспоминая об этом, я размышлял, что с ней стало, ведь на нашей встрече история не закончилась. Возможно, она покончила с собой. Не могу себе представить, что можно жить дальше в таком предельном одиночестве.

Клинические диагнозы важны, поскольку каким-то образом ориентируют врача, но помочь пациенту они не могут. Все зависит от «истории» последнего, ибо только она способна выявить внутренние причины человеческого поведения и человеческих

страданий и только она открывает возможность эффективного лечения. Вот еще один случай, который служит достаточно убедительным доказательством.

Речь идет об одной 75-летней пациентке, которая с 40 лет находилась в клинике. Не осталось уже никого, кто бы мог вспомнить, при каких обстоятельствах она сюда попала. Все, кто был при этом, умерли, лишь старшая сестра, которая работала здесь 35 лет, что-то смутно припоминала. Старушка не могла говорить и ела исключительно полужидкую и протертую пищу, причем ела руками — из ладони. Иногда она тратила почти два часа на то, чтобы выпить чашку молока. Во время еды ее руки как-то странно и ритмично двигались, смысл этих движений был абсолютно неясен. Я был поражен тем, насколько разрушительно сказалась на ней болезнь, но объяснить этого не мог. На лекциях в клинике ее обычно представляли как пример кататонической формы *dementia praecox*, но мне это ничего не говорило. Этот диагноз никоим образом не проливал свет на смысл и происхождение ее странных жестов.

Мои впечатления от этого случая характеризуют мой взгляд на тогдашнюю психиатрию. Став ассистентом, я совершенно не представлял, зачем вообще нужна психиатрия. Мне было крайне неловко рядом с моим научным руководителем и коллегами, которые, казалось, ни в чем не сомневались, тогда как я блуждал в потемках. Главную задачу психиатрии я видел в объяснении явлений, происходивших в сознании больного, явлений, о которых я еще ничего не знал. Выходило, что я занимаюсь делом, смысла которого мне не дано постичь.

Однажды, во время вечернего обхода, я вновь обратил внимание на старушку с загадочными жестами и вновь спросил себя: «Что бы это значило?» Я зашел к старшей сестре и постарался выяснить, всегда ли пациентка так вела себя. «Да, — отвечала та, — но моя предшественница рассказывала, что когда-то эта старушка воображала себя сапожником». Я вновь перелистал пожелтевшую историю ее болезни и действительно нашел там подтверждающую запись. Раньше сапожники зажимали обувь между коленями и тянули дратву через кожу именно такими движениями. (Даже сегодня можно увидеть, как это делают деревенские сапожники.) Вскоре старушка умерла и на похоронах я

увидел ее старшего брата. «Как заболела ваша сестра?» — спросил я его. Он рассказал, что в молодости она была влюблена в сапожника, и когда тот по какой-то причине не захотел на ней жениться, она «свихнулась». И до конца своих дней она повторяла движения сапожника, чтобы продлить свою связь с возлюбленным.

Именно тогда у меня появились первые подозрения о психологических предпосылках так называемой *dementia praecox*, и я все свое внимание направил на выяснение смысловой обусловленности психозов.

Мне вспоминается другая пациентка, история которой прояснила для меня значение психологических причин психоза и прежде всего «бессмысленных» галлюцинаций. Тогда же я впервые стал понимать «бессмысленный» язык шизофреников. Речь идет о Бабетте З., историю которой я уже однажды описывал. В 1908 году в Цюрихе я делал доклад об этом.

Больная жила раньше в старой части города, в узком и грязном переулке. Она росла в нищете. Ее сестра была проституткой, отец — алкоголиком. В 39 лет Бабетта заболела параноидной формой *dementia praecox* с характерной манией величия. Она находилась в клинике уже 20 лет, когда я впервые увидел ее. Сотни студентов изучали на ее примере тяжелые последствия психического расстройства, она представляла собой классический случай. Бабетта была абсолютно сумасшедшая и, как правило, несла всякую околесицу. Любая попытка понять ее изначально казалась бессмысленной. Я приложил немало усилий, чтобы прояснить для себя смысл ее безумных построений. Например, она говорила: «Я — Лорелея», и когда врач спрашивал у нее, что это значит, обычно отвечала: «Я не знаю». Или она могла пожаловаться: «Я как Сократ». Это, насколько я понял, должно было значить: «Меня, как Сократа, несправедливо обвиняют». Совершенно абсурдные высказывания, вроде: «Я — двойной незаменимый политехникум», или «Я — сливовый пирог, приготовленный из гречневой муки и кукурузных зерен», или «Я — Германия и Швейцария исключительно на нежном масле», «Неаполь и я — мы должны обеспечить всех макаронами» — все это означало ее высокую самооценку,

то есть компенсацию определенного чувства собственной неполноценности.

Занимаясь Бабеттой и другими сходными случаями, я убедился, что многое из того, что говорили больные и что до сих пор считалось бессмысленным, вовсе не так «безумно», как кажется на первый взгляд. Не раз я замечал, что даже у таких пациентов всегда как бы в тени прячется их эго, которое можно считать относительно нормальным. Эго в какой-то мере наблюдает со стороны. Временами — вслух или про себя — оно делает вполне разумные замечания или оговорки, более того, иногда, например при серьезных физических поражениях, оно может снова выдвинуться на передний план, тогда пациент производит впечатление почти нормального.

У меня была пациентка — старая женщина, страдавшая шизофренией, у которой нормальное эго проявлялось довольно отчетливо. Ей требовалось не столько лечение, сколько уход. Как у любого врача, у меня были безнадежные больные, которым можно было лишь облегчить путь к смерти. Эта женщина слышала голоса, они звучали во всем ее теле, и голос в ее груди был «Божьим гласом». «Мы должны полагаться на этот голос», — сказал ей, и сам удивился своей дерзости. Этот голос был относительно разумен, и с его помощью мне как-то удавалось справляться с пациенткой. Однажды голос предложил: «Пусть он почитает с тобой Библию!» Больная принесла старую, зачитанную Библию, я каждый раз поручал ей прочитать одну главу. При следующей встрече я экзаменовал ее по заданной главе. Эти библейские чтения продолжались почти 7 лет, раз в 2 недели. Вначале я чувствовал себя неловко в этой роли, но спустя некоторое время понял, что означают наши уроки. Они помогали держать внимание больной в постоянном напряжении, не позволяя ему погружаться в разрушительный хаос бессознательного. В результате через 6 лет голоса, которые прежде звучали повсюду, остались лишь в левой половине ее тела, в то время как правая — совершенно освободилась от них. При этом интенсивность явлений в левой части не удвоилась, а осталась прежней. Можно сказать, что пациентка по крайней мере наполовину вылечилась. Я не ожидал такого успеха и даже представить себе не мог, что наши чтения могли иметь какой-то терапевтический эффект.

Моя практика работы с больными позволила мне понять, что бред и галлюцинации, как правило, содержат некоторое разумное зерно. За ними стоит личность, ее история, ее надежды и желания. И если мы не находим в этом смысла, то, видимо, дело в нас — нашем нежелании понять и неумении объяснить. За психозом, я считаю, стоит общая психология личности. Мы находим здесь все те же вечные человеческие проблемы. Больной может казаться тупым, апатичным, вялым или совершенно слабоумным, но это лишь видимость. При детальном изучении в основе умственных расстройств мы не обнаружим ничего нового и неожиданного, а столкнемся с теми же вещами, которые лежат в основе нашего собственного существования. И это открытие имело для меня огромное значение.

Я всегда поражался, почему психиатрии потребовалось столько времени, чтобы проникнуть в содержание психозов. Причем никто почему-то и вопроса себе не задавал, что означают фантазии больных, почему фантазия одного совершенно отлична от фантазии другого: один, например, воображает, что его преследуют иезуиты, другой убежден, что его хотят отравить евреи, а третий — что его разыскивает полиция. Игру больного воображения не принимали всерьез, все это называя «манией преследования». Точно так же меня удивляет, что мои тогдашние исследования почти забыты в наши дни. Уже в начале века я использовал психотерапевтические методы при лечении шизофрении, — это не сегодняшнее открытие. На самом же деле потребовалось много времени, прежде чем медики осознали необходимость применять психологию при лечении душевных заболеваний.

Работая в клинике, я был очень осторожен с пациентами-шизофрениками, иначе меня непременно обвинили бы в заведомой фальсификации. Шизофрения, или, как ее тогда называли, *dementia graecox*, считалась неизлечимой. Если же кто-то добивался успеха в лечении таких больных, считалось, что это была не шизофрения.

Когда Фрейд в 1908 году посетил меня в Цюрихе, я продемонстрировал ему случай Бабетты. После он сказал: «Знаете, Юнг, то, что вы узнали об этой пациентке, безусловно, очень интересно. Но как вы могли убить столько времени на общение с такой

феноменально безобразной женщиной?» Я растерялся, подобная мысль ни разу не приходила мне в голову. Я считал ее милой старушкой с необыкновенно богатыми галлюцинациями, и она говорила такие интересные вещи. Я радовался, когда сквозь туман гротесковой нелепицы проглядывало человеческое существо. Вылечить Бабетту было невозможно — слишком давно она болела. Но ведь были у меня и другие случаи, когда подобным образом, вникая во все подробности, удавалось добиваться существенного улучшения.

Если наблюдать душевное расстройство со стороны, то мы увидим лишь трагедию разрушения личности, нам редко удастся рассмотреть жизнь той стороны души, которая отвернулась от нас. Внешность зачастую обманчива, в чем я не без удивления убедился на случае с одной молодой пациенткой, страдающей кататонией. Это была восемнадцатилетняя девушка из интеллигентной семьи. В 15 лет ее совратил брат, потом изнасиловал одноклассник. С 16 лет она совершенно замкнулась. Девушка отвернулась от людей, единственным живым существом, к которому она привязалась, была соседская сторожевая собака. Она вела себя все более странно, и в 17 лет была помещена в психиатрическую клинику, где провела полтора года. Ее беспокоили голоса, она отказывалась от пищи, ни с кем не разговаривала и в конце концов впала в характерное кататоническое состояние. Такой я впервые ее увидел.

Только спустя несколько недель мне удалось ее разговорить. Не без внутреннего сопротивления она призналась, что жила на Луне. Луна, в ее воображении, была обитаема, но сначала ей встречались там только мужчины. Они увели ее с собой, переместив в некую «подлунную» обитель, где находились их жены и дети. Причиной «подлунного» их существования был вампир, поселившийся высоко в горах. Он похищал женщин и детей и убивал их.

Моя пациентка решила помочь обитателям Луны и придумала, как ей уничтожить вампира. После долгих приготовлений она стала стеречь его на площадке башни, построенной специально для этой цели. В одну из ночей над ней появилась огромная черная птица. Девушка схватила длинный жертвенный нож, спря-

тала его в складках платья и стала ждать. И вот вампир предстал перед ней. У него было несколько пар крыльев, закрывавших лицо и фигуру так, что кроме перьев она не видела ничего. Пораженная — ей нестерпимо захотелось увидеть его, — она двинулась к нему, сжимая рукоять ножа. В этот момент крылья распахнулись и перед ней предстал юноша неземной красоты. Своими крылатыми руками он стиснул ее так, что нож выпал из рук, взгляд вампира буквально зачаровал девушку, и она не могла нанести удара. Он легко поднял ее над землей и взмыл вверх.

После этой «исповеди» пациентка вновь смогла свободно общаться. Но чуть позже опять возникли трудности. Возвратиться на Луну я ей, кажется, помешал, но земной мир показался ей уродливым и неприятным. Зато на Луне все прекрасно, и жизнь там полна смысла. Несколько позже у больной произошел рецидив кататонии, на какое-то время она даже впала в буйство.

Через несколько месяцев она выписалась. С ней уже можно было разговаривать, и она постепенно привыкала к мысли о неизбежности земного существования. Но преодолеть отчаянное внутреннее сопротивление она не смогла, и ее снова пришлось поместить в клинику. Однажды я зашел к ней в палату и сказал: «Помочь вам невозможно, боюсь, на Луну вы уже не вернетесь!» Она приняла это молча и безучастно. Вскоре она выписалась и, казалось, примирилась со своей судьбой, устроившись работать няней в каком-то санатории. Тамшний ассистент довольно неосторожно попытался сблизиться с ней, и она чуть не застрелила его из револьвера. К счастью, рана оказалась легкой. При этом выяснилось, что револьвер у нее был всегда при себе. Перед самой выпиской она сказала мне об этом и на мой удивленный вопрос ответила: «А я застрелила бы вас, если бы вы подвели меня!»

Когда улеглись неприятности, связанные с ее выстрелом, пациентка вернулась в свой город. Она вышла замуж, родила нескольких детей, пережила две мировые войны. Болезнь ее больше не возвращалась.

Как и чем были вызваны ее фантазии? Из-за инцеста она ощущала себя униженной и только в мире фантазий обретала чувство собственного достоинства. Она переживала своего рода миф, а инцест в мифологии традиционно считается прерогативой ко-

ролей и богов. Следствием стал психоз и совершенное отчуждение от мира. Девушка создала своего рода *extramunde* (отдельный мир. — *лат.*) и утратила всякую связь с людьми, пребывая где-то в космических далях, где встретила крылатого демона. В период, когда я её лечил, этот образ, как обычно бывает в подобных случаях, у нее идентифицировался со мной. На меня была автоматически перенесена угроза смерти, как, впрочем, и на любого другого, кто стал бы уговаривать ее вернуться к нормальной человеческой жизни. Раскрыв мне тайну о демоне, она как бы предала его и тем самым установила связь с земным человеком. Потому она смогла вернуться к жизни и даже выйти замуж.

С тех пор я стал смотреть на душевнобольных людей по-другому. Теперь я понимал, сколь насыщена их внутренняя жизнь.

Меня часто спрашивают о моем психотерапевтическом или психоаналитическом методе. Здесь трудно ответить однозначно, каждый случай диктует свою терапию. Когда я слышу от какого-нибудь врача, что он «строго придерживается» того или иного метода, у меня возникают сомнения в успехе его лечения. В литературе тогда так много говорилось о внутреннем сопротивлении больного, что можно подумать, будто врач силой пытается ему нечто навязать, тогда как лечение и выздоровление должно происходить естественно, само собой. Психотерапия и психоанализ предполагают индивидуальный подход к каждому. Каждого пациента я лечил единственно возможным для него образом, потому что решение проблемы всегда индивидуально. Общее правило можно принять только *cum grano salis* (с известной оговоркой. — *лат.*). Истина в психологии лишь тогда имеет ценность, когда ей возможно найти применение. Поэтому неприемлемое для меня решение вполне может подойти для кого-то другого.

Конечно, врач должен владеть так называемыми «методами», но ему следует быть чрезвычайно осмотрительным, чтобы не пойти по привычному, рутинному пути. Вообще нужно с некоторой опаской относиться к теоретическим спекуляциям — сегодня они кажутся удовлетворительными, а завтра их сменят другие. Для моего психоанализа подобные вещи ничего на значат, я намеренно избегаю педантизма в этих вопросах. Для меня прежде всего существует индивидуум и индивидуальный подход. И для



каждого пациента я стараюсь найти особый язык. Поэтому одни говорят, что я следую Адлеру, другие — что Фрейдю.

А принципиально лишь то, что я обращаюсь к больному как человек к другому человеку. Психоанализ — это диалог, и он требует партнерства. Психоаналитик и пациент сидят друг против друга, глаза в глаза. И врачу есть что сказать, и больному — в той же степени.

Поскольку суть психотерапии не в применении какого-то определенного «метода», то одних специальных психиатрических знаний здесь явно недостаточно. Я очень долго работал, прежде чем смог набрать необходимый багаж. Уже в 1909 году мне стало ясно, что лечить скрытые психозы я не смогу, если не пойму их символики. Так я начал изучать мифологию.

В работе с интеллектуально развитыми и образованными пациентами психиатру мало одних профессиональных знаний. Кроме всякого рода теоретических положений он должен выяснить, чем на самом деле руководствуется пациент, иначе преодолеть его внутреннее сопротивление невозможно. В конце концов, главное не в том, подтвердилась ли та или иная теория, а в том, что представляет собой больной, каков его внутренний мир. Последнее не поддается пониманию без знания привычной для него среды со всеми ее установлениями и предрассудками. Одной лишь медицинской подготовки недостаточно еще и потому, что пространство человеческого сознания безгранично и вмещает оно гораздо больше, нежели кабинет психиатра.

Человеческая душа безусловно более сложна и менее доступна для исследования, нежели человеческое тело. Она, скажем так, начинает существовать в тот момент, когда мы начинаем осознавать ее. Поэтому здесь сталкиваешься с проблемой не только индивидуального, но и общечеловеческого порядка, и психиатру приходится иметь дело со всем многообразием мира.

Сегодня, как никогда прежде, становится очевидным, что опасность, всем нам угрожающая, исходит не от природы, а от человека, она коренится в психологии личности и психологии массы. Психическое расстройство представляет собой грозную опасность. От того, правильно или нет функционирует наше сознание, зависит все. Если определенные люди сегодня потеряют голову, завтра будет взорвана водородная бомба!

Но психотерапевт должен понимать не только своего пациента, в такой же степени он должен понимать и себя. Поэтому — *conditio sine qua non* (необходимое условие. — *лат.*) — не менее важным является обучение собственно анализу, или так называемому тренировочному психоанализу, тому, что можно назвать «Врачу, исцелися сам». Только в том случае, если врач способен справиться с собственными проблемами, он может научить этому пациента. И только так! В ходе тренировочного анализа аналитик должен постичь свою собственную психику и проделать это со всей серьезностью. Если сам он с этим не справится, пациенту он ничего не даст. Не сумев объяснить себе какую-то часть своего сознания, психотерапевт точно так же теряет часть сознания пациента. Поэтому в тренировочном психоанализе недостаточно руководствоваться некоей системой понятий. Психоаналитик должен уяснить прежде всего для себя, что анализ имеет самое прямое отношение к нему самому, что этот анализ — часть реальной жизни, а никакой не метод, и его нельзя (в буквальном смысле!) заучить наизусть. Врача, терапевта, который не осознал этого в процессе собственного тренировочного анализа, в будущем ждут неудачи.

При том что существует так называемая «малая психотерапия», собственно психоанализ требует всего человека, без каких бы то ни было ограничений, будь то врач или пациент. Бывают случаи, когда врач не в состоянии помочь больному, пока не ощутит себя соучастником его драмы, пока не избавится от груза собственной авторитарности. При серьезных кризисах, в экстремальных ситуациях, когда решается вопрос «быть или не быть», не помогают всякие там гипнотические фокусы, здесь испытанию подвергаются внутренние духовные ресурсы врача.

Терапевт должен ежеминутно отслеживать то противостояние, которое возникает у него с пациентом. Ведь наши реакции обусловлены не только сознанием. Мы постоянно должны задаваться вопросом: «А каким образом переживает эту ситуацию мое бессознательное?» Нужно стараться понять собственные сны и самым пристальным образом изучать себя — с тем же вниманием, с каким мы изучаем пациента, иначе мы рискуем пойти по ложному пути. Я попытаюсь показать это на примере.

У меня была пациентка, очень развитая в умственном отношении женщина, но по ряду причин мне не удавалось устано-

вить с ней тесный контакт. Сперва все шло хорошо, но через какое-то время у меня возникло впечатление, что я не совсем верно толкую ее сны, что наши беседы принимают все более расплывчатый характер. Я решил обсудить это с ней, тем более что и она не могла не почувствовать что-то неладное.

Ночью, накануне очередного сеанса, мне приснился сон. Я шел по проселку через залитую предвечерним солнцем долину. Справа от меня возвышался крутой обрывистый холм. Наверху был замок, на самой высокой башне которого, на чем-то вроде балюстрады, сидела женщина. Чтобы хорошенько разглядеть ее, мне пришлось запрокинуть голову. Проснулся я от судорожной боли в затылке. Еще во сне я узнал в этой женщине свою пациентку.

И сразу все стало на свои места: если во сне мне пришлось смотреть на пациентку снизу вверх, то в действительности я, похоже, смотрел на нее свысока. Ведь сны — это компенсация сознательной установки. Я рассказал ей этот сон, объяснив его смысл. Ситуация мгновенно переменялась, и процесс лечения опять вошел в свое нормальное русло.

Как врач, я все время задавал себе вопрос, какую «весть» несет мой пациент? Что она означает? Коль для меня это ничего не значит, то я не смогу найти точку приложения своих сил и, естественно, ничем не смогу помочь больному. Лечение дает эффект лишь тогда, когда сам врач чувствует себя задетым. Лишь «уязвленный» исцеляет. Если же врач — «человек в панцире», он бессилен. Так было и в случае, который я привел. Возможно, я был поставлен перед такой же проблемой, что заставило меня серьезно отнестись к пациентке. Нередко бывает, что больной чувствует уязвимые места самого врача, и он способен ему помочь. Так возникают щекотливые ситуации — и для врача тоже, или, точнее, — именно для врача.

Каждый терапевт должен находиться под контролем некоего «третьего», тем самым он обретает еще одну, иную точку зрения. Даже Папа имеет своего духовника. Я всегда советую психоаналитикам: «Ищите себе исповедника или исповедницу!» Для этой роли лучше подходят именно женщины, они часто обладают особой интуицией, им ведомы все слабые стороны мужчины и все происки его анимы. Они проницательны, как гадалки на картах,

и видят то, о чем мужчины даже не догадываются. Вероятно, поэтому еще ни одной женщине не приходило в голову считать собственного мужа сверхчеловеком!

Если у кого-либо развивается невроз, то его обращение к психоаналитику вполне понятно и обоснованно, но для «нормального» человека в этом вроде бы нет никакой необходимости. Однако я должен отметить, что с так называемой «нормальностью» мне приходилось проделывать удивительнейшие опыты. Таким совершенно «нормальным» человеком был один из моих учеников. Сам он был врачом и пришел ко мне с отличными рекомендациями от моего давнишнего коллеги, у которого работал ассистентом и практика которого позже перешла к нему. У этого человека была нормальная карьера, нормальная практика, нормальная жена, нормальные дети, жил он в нормальном доме и в нормальном небольшом городе, он получал нормальные деньги и, вероятно, нормально питался! Но ему захотелось стать психоаналитиком. Я тогда сказал ему: «Знаете ли вы, что это значит? А значит это-вот что: прежде всего вы должны понять самого себя. Если же с вами не все в порядке, что же говорить о вашем пациенте? Если вы не убеждены сами, как вы сможете убедить пациента? Вы сами — свой инструмент. И вы сами — свой материал. В противном же случае — сохрани вас Бог! Вы просто обманете пациента. Итак, вы должны начать с себя!» Он не возражал, но тотчас же заявил: «У меня нет проблем, мне нечего рассказать вам!» Меня это насторожило. Я сказал ему: «Ну что ж, давайте тогда займемся вашими сновидениями». Он ответил: «Я не вижу снов». Я: «Ничего, скоро увидите». Другому на его месте, вероятно, уже на следующую ночь что-нибудь да приснилось бы, он же не мог вспомнить ничего. Так продолжалось недели две, и мне даже стало как-то не по себе.

Наконец ему приснился примечательный сон. Он ехал по железной дороге. Поезд на два часа остановился в каком-то неизвестном ему городе. Он захотел посмотреть его и направился к центру. Там он увидел средневековое здание — похоже, это была ратуша — и зашел внутрь. Он бродил по длинным коридорам, заходил в прекрасные залы, где на стенах висели старинные картины и гобелены. Повсюду стояли дорогие антикварные вещи.

Внезапно он заметил, что уже стемнело. «Нужно возвращаться на вокзал», — подумал он и вдруг сообразил, что заблудился и не знает, где выход. В панике он бросался в разные стороны, но не встретил ни единого человека. Это было и странно, и страшно. Он пошел быстрее, надеясь хоть кого-нибудь встретить. Но никого не было. Затем он набрел на большую дверь и с облегчением подумал: вот выход. Но открыв ее, он попал в огромный зал, где было так темно, что нельзя было разглядеть стены напротив. Перепуганный, он побежал через этот зал, решив, что на противоположной стороне есть дверь и он сможет выйти. Вдруг он увидел прямо в центре зала на полу что-то белое. Он подошел ближе и обнаружил ребенка лет двух с признаками идиотизма на лице. Ребенок сидел на горшке и обмазывал себя фекалиями. В этот момент он закричал и в ужасе проснулся.

Итак, все необходимое я узнал, — это был скрытый психоз! Должен заметить, что я сам вспотел, пытаюсь как-то отвлечь его от этих болезненных образов. Я старался говорить бодрым голосом и представить все как можно более благополучным образом, не вдаваясь в детали.

Сон означал приблизительно следующее: путешествие, в которое он отправился, — его поездка в Цюрих. Но он пробыл там недолго. Ребенок, обмазывающий себя фекалиями, — он сам. Такие вещи с маленькими детьми не часто, но иногда случаются. Фекалии, их цвет и запах вызывают у них определенный интерес. Городской ребенок, да еще воспитанный в строгих правилах, легко может вспомнить такую свою провинность.

Но сновидец не был ребенком, он — взрослый человек. Потому главный образ его сновидения показался мне зловещим знаком. Когда он пересказал мне свой сон, я понял, что его «нормальность» имела компенсаторную природу. Это всплыло как раз вовремя — его скрытый психоз мог вот-вот проявиться. Это нужно было предотвратить. Я попытался перевести разговор на какой-то другой сон и тем самым неловко замял этот неудачный опыт тренировочного анализа. Мы оба были рады покончить с этим. Я не стал говорить с ним о своем диагнозе, но он вероятно ощутил приближение панического страха, ему снилось, что его преследует опасный маньяк. Вскоре он уехал домой и больше никогда не делал попыток заглянуть в свое подсознание. Его

демонстративная «нормальность» находилась в конфронтации с его подсознанием, обратная тенденция привела бы не столько к развитию, сколько к разрушению его личности. Такие скрытые психозы — «*bêtes noires*» (кошмар. — *фр.*) психотерапевтов, зачастую их очень трудно распознать. И в этих случаях многое зависит от толкования сновидений.

Итак, мы остановились на проблеме «любительского» психоанализа. Тот факт, что люди, далекие от медицины, изучают психотерапию и занимаются ею, можно только приветствовать, но в случаях со скрытыми психозами им очень легко ошибиться. Ничего не имею и против того, чтобы дилетанты занимались психоанализом, но при условии, что они это делают под контролем специалиста. В каждом сомнительном случае совет последнего им просто необходим. Даже врачу трудно бывает распознать скрытую шизофрению и подобрать соответствующее лечение, а тем более сложно это для непрофессионала. И тем не менее мой опыт свидетельствует: непрофессионалы, которые годами занимаются психотерапией и сами проходили курс психоанализа, кое-что знают и кое-что могут. Кроме того, практикующих психотерапевтов-медиков не так уж много. Это требует длительной и основательной подготовки, достаточно широких, а не только специальных, знаний — таким багажом обладают немногие.

Отношения между врачом и пациентом, особенно когда они строятся по направлению от пациента к врачу или когда пациент бессознательно отождествляет себя с врачом, такие отношения иногда порождают явления парапсихологического характера. Я сам часто сталкивался с подобным. В моей памяти остался случай с пациентом, которого я вывел из состояния психогенной депрессии. Он вернулся домой и женился. Однако жена его мне не понравилась, после нашего знакомства мне стало как-то не по себе. Я заметил, что мое влияние на ее мужа и то чувство благодарности, которое он ко мне испытывал, — для нее как кость в горле. Так бывает, когда женщина на самом деле не любит мужа — она ревнует его к друзьям и старается разрушить его дружбу с кем бы то ни было. Такая женщина хочет, чтобы муж принадлежал ей всецело, и именно потому, что сама она мужу не принадлежит. В основе любой ревности я вижу недостаток любви.

Отношение жены было невыносимо тягостным для моего пациента. Через год после женитьбы, скорее всего, из-за этого, он снова впал в депрессию. Я предполагал, что такое может случиться, и условился с ним, что он сразу же свяжется со мной, как только заметит в своем состоянии что-то неладное. Но он не сделал этого, отчасти из-за насмешек жены, не известил меня.

В то время я был в Б., выступал там с лекцией. Вернувшись в гостиницу около полуночи, я посидел немного с друзьями и пошел спать, но заснуть никак не мог. Часа в два ночи, едва начав засыпать, я пробудился от страха: мне показалось, будто кто-то зашел в комнату, резко открыв дверь. Я тотчас зажег свет, но все было в порядке. Решив, что кто-то перепутал двери, я выглянул в коридор. Но там стояла мертвая тишина. «Странно, — подумал я, — ведь кто-то же заходил в комнату!» Я лег, стараясь припомнить, что же случилось, и понял, что проснулся от боли, — как если бы что-то, ударив меня по лбу, затем отозвалось тупой болью в затылке. Назавтра мне принесли телеграмму: мой пациент покончил с собой. Он застрелился. Позже я узнал, что пуля застряла у него в затылке.

Этот опыт — настоящий феномен синхронности, подобная связь нередко возникает в архетипических ситуациях, здесь такой ситуацией была смерть. Время и пространство относительны, и вполне возможно, что бессознательно я ощутил то, что в действительности случилось совсем в другом месте. Коллективное бессознательное присуще всем, оно лежит в основе того, что древние называли «связью всего со всем». В этом случае мое бессознательное знало о состоянии моего пациента. В тот вечер я испытывал странное беспокойство и нервозность, что мне обычно несвойственно.

Я никогда не пытался склонить или принудить к чему-либо своих пациентов. Важнее всего было, чтобы пациент сам определился в своих установках. Пусть язычник остается язычником, христианин — христианином, иудей — иудеем, как определила ему судьба.

Мне запомнился случай с одной еврейкой, которая отошла от своей религии. А началось все с моего сна, в котором ко мне обратилась неизвестная девушка и стала рассказывать мне о своих проблемах. И пока она говорила, я думал: «Я ее совсем не пони-

маю. Я совершенно не понимаю, в чем дело». Но внезапно мне пришло в голову, что у нее особого рода отцовский комплекс. Так-то был мой сон.

На следующий день в моей регистрационной книге я нашел запись: консультация на 4 часа. Пришла девушка. Она была дочерью богатого еврейского банкира, хорошенькая, элегантная и неглупая. Она уже обращалась к психоаналитику, но тот влюбился в нее и попросил больше не приходить — это могло разрушить его семью.

Девушка не один год переживала невротические страхи, а после неудачного опыта с психоаналитиком ее состояние ухудшилось. Я начал с анамнеза, но не обнаружил ничего особенного. Она была вполне ассимилированной еврейкой, европеизированной и утонченной. Поначалу я ничего не понимал, пока мне не вспомнился мой сон. «Бог мой, — подумал я, — да это же та самая девушка». Однако мне не удалось обнаружить у нее ни малейших признаков отцовского комплекса, и я попросил ее, как всегда делаю в подобных случаях, рассказать про своего деда. В какой-то момент она закрыла глаза, и я тотчас понял, что попал в точку. С ее слов выяснилось, что дед ее был раввином и принадлежал к какой-то секте. «Вы полагаете, он был хасидом?» — спросил я. Она кивнула. Я продолжал: «Он был раввином, а не был ли он цадиком?» — «Да, — ответила она, — говорили, что он был в своем роде святой и еще ясновидящий. Но это же совершенная чушь. Такого быть не может!»

Итак, с историей ее невроза уже все было понятно. Я сказал ей: «Теперь я сообщу вам нечто такое, с чем вы, возможно, не согласитесь. Ваш дед был цадиком. А ваш отец отказался от своей религии, он выдал тайну и забыл Бога. И ваш невроз — это страх перед Богом». Она была потрясена.

В следующую ночь я снова увидел сон. У меня в доме собрались гости и среди них моя маленькая пациентка. Она подходит ко мне и спрашивает: «Нет ли у вас зонтика? Идет такой сильный дождь». Я нахожу зонт, неуклюже пытаюсь открыть его и уже собираюсь отдать ей. Но что это? Я опускаюсь перед ней на колени, словно перед божеством.

Я рассказал ей об этом сне, и через неделю ее невроз исчез. Сон объяснил мне, что за внешними проявлениями, за легким



покровом, скрыта некая сакральность. Но сознание девушки не было мифологическим, и потому ее глубинная сущность не могла себя выразить. Вся ее сознательная жизнь уходила на флирт, секс и наряды, но лишь потому, что она не знала ничего другого. Ей хватало здравого смысла, и жизнь ее была бессмысленна. Но в действительности она была Божье дитя, и ей предстояло исполнить Его тайную волю. Я видел свою задачу в том, чтобы пробудить в ней религиозное и мифологическое сознание, поскольку она принадлежала к тому типу людей, которым необходима некая духовная работа. Таким образом, в ее жизни появился смысл, и от невроза не осталось следа.

В этом случае я не прибегал к какому-либо определенному «методу», поскольку чувствовал присутствие нумена. Я вылечил пациентку, объяснив ей это. Дело здесь было не в «методе», а в «страхе Божьем».

Мне часто приходилось видеть, как люди становились невротиками, оттого что довольствовались неполными или неправильными ответами на те вопросы, которые ставила им жизнь. Они искали успеха, положения, удачного брака, славы, а оставались несчастными и мучались от неврозов, даже достигнув всего, к чему так стремились. Этим людям не хватает духовности, жизнь их обычно бедна содержанием и лишена смысла. Как только они находят путь к духовному развитию и самовыражению, невроз, как правило, исчезает. Поэтому я всегда придавал столько значения самой идее развития личности.

Мои пациенты, как правило, люди, утратившие веру. Ко мне приходят «заблудшие овцы». Церковь и сегодня живет символической. Вспомним хотя бы причастие и крещение, разного рода обозначения Христа и т. д. Но такое переживание символа предполагает воодушевленное соучастие верующего, то, чего сегодня так часто не хватает людям. А невротикам этого не хватает практически всегда. В итоге приходится ждать, не появятся ли бессознательно спонтанные символы взамен отсутствующих. Но и тогда остается вопрос: способен ли человек воспринимать соответствующие сны и видения, понять их смысл и отвечать за последствия?

Похожий случай я описал в работе «Об архетипах коллективного бессознательного». Некий человек, он был теологом, часто видел один и тот же сон. Ему снилось, что он стоит на склоне,

а далеко внизу открывается прекрасная долина. Во сне он знал, что там есть озеро, но что-то всегда удерживало его, мешало спуститься. Тем не менее однажды он решился. По мере приближения к озеру ему все больше становилось не по себе. Вдруг легкий порыв ветра прошел по поверхности воды, подняв темную рябь. Он проснулся от ужаса и собственного крика.

Поначалу этот сон казался неясным. Но как теолог он должен был вспомнить это озеро, воды которого покрылись рябью от западного ветра, воды которого исцеляли страждущих, — это купальня у Вифсаиды. Ангел спустился на воды, и они обрели целительную силу. Легкий ветер был Духом, что веет, где хочет. Отсюда смертельный страх сновидца — он происходил от неясного присутствия Духа, что живет Своей жизнью, и это ощущение чего-то невидимого рядом способно напугать человека до дрожи. Но мой пациент не пожелал признать, что видел во сне купальню у Вифсаиды. Он предпочел бы, чтобы вещи, которые существуют в Библии, оставались там или, по крайней мере, были предметом воскресной проповеди. О Духе Святом следует говорить, лишь когда подобает, но он не может быть чем-то, что можно пережить.

Я знал, что моему пациенту необходимо преодолеть страх, избавиться от панического состояния. Но я никогда не позволяю себе спорить с тем, кто хочет идти своей собственной дорогой и принимает на себя всю ответственность за это. Однако было бы легкомысленным полагать, что в подобных случаях речь идет об обычном сопротивлении больного и ни о чем другом. Внутреннее сопротивление, тем более упорное, заслуживает внимания, оно зачастую предупреждает о вещах, которыми опасно пренебрегать. Лекарство, если оно противопоказано, может стать ядом, операция — смертельной.

Когда дело доходит до глубоких внутренних переживаний, до самой сути человеческой личности, люди в большинстве своем начинают испытывать страх, и многие не выдерживают — уходят. Так было и с этим теологом. Понятно, что теологам, безусловно, труднее, чем другим, — с одной стороны, они ближе к религии, с другой же — в большей степени ограничены церковью и догмой. Риск внутреннего переживания, своего рода духовный авантюризм, как правило, людям не свойственен; возможность психической реализации невыносима для них. Такие вещи могут иметь

место в «сверхъестественном» или, по крайней мере, в «историческом» проявлении, но к собственной психике люди почему-то относятся с удивительным пренебрежением.

Современная психотерапия, как правило, не рекомендует пребывать пациента в его так называемом «эмоциональном потоке». Не думаю, что это всегда правильно. Активное вмешательство врача в ряде случаев не просто возможно, но и крайне необходимо.

Однажды ко мне на прием записалась дама, у которой была болезненная привычка раздавать пощечины слугам, и врачам в том числе. Она страдала навязчивым неврозом и уже проходила курс лечения в какой-то клинике. Разумеется, она немедленно отвесила оплеуху главврачу, в ее глазах он был чем-то вроде старшего камердинера. Так она считала! Этот врач направил ее к другому, и сцена повторилась. На самом деле эта дама не была сумасшедшей, хотя обращаться с ней следовало чрезвычайно осторожно. В конце концов не без некоторого смущения последний врач направил ее ко мне.

Это была очень крупная статная женщина, под два метра ростом, — думаю, она могла и прибить. Итак, она явилась, и мы с ней отлично поладили. Но наступил момент, когда я сказал ей что-то неприятное. В бешенстве она вскочила и замахнулась. Вскочил и я, заявив ей: «Ладно, вы — дама, у вас право первого удара. Но потом бить буду я». Я сказал это вполне серьезно. И дама тут же опустилась на стул, успокоилась — прямо на глазах. «Со мной так никогда не разговаривали!» — пожаловалась она. С того момента лечение стало приносить плоды.

Ей явно не хватало мужской реакции, и в этом случае было бы ошибкой «не пребывать» ее, идти у нее на поводу, что ей не только не помогло бы, но повредило. Невроз у нее развился потому, что ей не удавалось установить для себя определенные этические границы. Такие люди по природе своей требуют ограничения — если не внутреннего, то насильственного.

Я как-то поднял статистику результатов моего лечения. Уже не припомню точные цифры, но с некоторой долей осторожности могу сказать, что треть случаев закончилась полным излечени-

ем, в еще одной трети удалось добиться серьезного улучшения, но в остальных случаях никаких существенных изменений не было. Но именно последние оценивать труднее всего, потому что многое осознается лишь спустя годы и только тогда оказывает действие. Как часто мои бывшие пациенты писали мне: «Только сейчас, через 10 лет после нашей встречи, я понял, что же собственно произошло».

У меня было не так много случаев, когда я испытывал непреодолимые затруднения и вынужден был отказаться от пациента. Но и тогда бывало, что я получал известия о положительных результатах. Поэтому трудно делать заключения об успешности лечения.

В жизни врача присутствует некая обязательная закономерность, суть которой заключается в том, что люди, обращающиеся к нему за помощью, становятся частью его собственной жизни. Люди, которые приходят к нему, — к счастью или нет, — никогда не находились в центре всеобщего внимания, но это люди по разным причинам необыкновенные, с неординарной судьбой, — пережившие ни с чем не сравнимые внутренние катастрофы. Часто они обладают выдающимися способностями, такими, за которые не жаль отдать жизнь, — но эти таланты развиваются на такой странной и психологически неблагоприятной почве, что мы зачастую не можем сказать, гений перед нами или это лишь какие-то крупинки одаренности. Нередко в самых невероятных обстоятельствах вдруг сталкиваешься с таким душевным богатством, которое менее всего ожидаешь встретить среди людей невыдающихся, социально приниженных. Психотерапия лишь в том случае приведет к успеху, если врач не позволит себе отстраниться от человеческих страданий. Врач обязан вести постоянный диалог с пациентом, постоянно сравнивать себя с ним, свое душевное состояние — с его состоянием. Если по какой-то причине этого не происходит, психотерапевтический процесс становится неэффективным, и состояние пациента не меняется. Если один из этих двоих не станет проблемой для другого, решения они не найдут.

Среди так называемых невротиков есть много людей, которые, если бы родились раньше, не были бы невротиками, то есть

не ощущали бы внутреннюю раздвоенность. Живи они тогда, когда человек был связан с природой и миром своих предков посредством мифа, когда природа являлась для него источником духовного опыта, а не только окружающей средой, у этих людей не было бы внутренних разладов. Я говорю о тех, для кого утрата мифа явилась тяжелым испытанием и кто не может обрести свой путь в этом мире, довольствуясь естественнонаучными представлениями о нем, причудливыми словесными спекуляциями, не имеющими ничего общего с мудростью.

Наши страдающие от внутренних разладов современники — только лишь «ситуативные невротики», их болезненное состояние исчезает, как только исчезает пропасть между эго и бессознательным. Кто сам ощутил внутреннюю раздвоенность и побывал в подобном положении, сможет лучше понять бессознательные процессы психики и будет застрахован от опасности преувеличивать размеры невроза, чем часто грешат психологи. Кто на собственном опыте не испытал нуменозное действие архетипов, вряд ли сможет избежать путаницы, когда столкнется с этим на практике. И переоценки, и недооценки этого приведут к одному: его критерии будут иметь исключительно рациональный, а не эмпирический характер. Именно отсюда берут начало губительные заблуждения (и этим страдают не только врачи), первое из них — предпочтение рационального пути остальным. За такого рода попытками прячется тайная цель — по возможности отгородиться от собственного подсознания, от архетипических состояний, от реального психологического опыта и заменить его с виду надежной, но искусственной и ограниченной, двухмерной идеологической действительностью, где настоящая жизнь со всеми ее сложностями заслонена так называемыми «отчетливыми понятиями» — идеологемами. Таким образом, значение приобретает не реальный опыт, а пустые имена, которые замещают его. Это ни к чему не обязывает и весьма удобно, поскольку защищает нас от испытания опытом и осознания последнего. Но ведь дух обитает не в концепциях, а в поступках и реальных вещах. Слова никого не согревают, тем не менее эту бесплодную процедуру повторяют бесконечно.

Подводя итог, скажу, что самыми трудными, как и самыми неблагодарными для меня пациентами (за исключением «патоло-

гических фантазеров»), являются так называемые интеллектуалы. У них, как правило, правая рука не знает, что делает левая. Они исповедуют своего рода *psychologie à compartiments* (психологию «в футляре». — *фр.*), не позволяя себе ни единого чувства, не контролируемого интеллектом, то есть пытаются все уладить и причесать, но в результате больше, чем остальные, подвержены разнообразным неврозам.

Благодаря моим пациентам и той ни с чем не сравнимой череде психологических явлений, что прошли передо мной, я прежде всего очень много узнал о самом себе, и зачастую шел к этому через ошибки и поражения. В основном моими пациентами были женщины, в большинстве своем, они были умны, впечатлительны и проницательны. И если мне посчастливилось найти какие-то новые пути в терапии, то в этом, безусловно, и их заслуга.

Некоторые из пациентов стали в буквальном смысле слова моими учениками, они распространили мои идеи по всему миру. Среди них были люди, с которыми я десятилетиями поддерживал дружеские отношения. Пациенты заставили меня вплотную столкнуться с реалиями человеческой жизни, мне удалось испытать и понять очень многое. Встречи с людьми, такими разными, с таким различным психологическим опытом, значили для меня несравненно больше, чем эпизодические беседы со знаменитостями. Самый волнующий и памятный след в моей душе оставило общение именно с безвестными людьми.

## | Зигмунд Фрейд

Наиболее плодотворный период моей внутренней жизни наступил после того, как я стал психиатром. Я начал исследовать душевные болезни, их внешние проявления без какой бы то ни было предвзятости. В результате мне удалось столкнуться с такими психическими процессами, природа которых меня поразила: я понял, что в суть их никто никогда не пытался вникнуть, их просто классифицировали как «патологические». Со временем я сосредоточил свое внимание на случаях, в которых, как полагал, был способен разобраться; это были паранойя, маниакально-депрессивный психоз и психогенные расстройства. С работами Брейера и Фрейда я познакомился уже в самом начале моей психиатрической деятельности, и наряду с работами Пьера Жане они оказались для меня чрезвычайно полезными. Прежде всего я обнаружил, что основные принципы и методы фрейдовского толкования сновидений исключительно плодотворны и способны объяснить шизофренические формы поведения. «Толкование сновидений» Фрейда я прочел еще в 1900 году. Тогда я отложил книгу в сторону, поскольку не понял ее. Мне было 25 лет, и мне еще не хватало опыта, чтобы оценить значение теории Фрейда. Это случилось позже. В 1903 году я снова взялся за «Толкование сновидений» и осознал, насколько идеи Фрейда близки моим собственным. Главным образом меня заинтересовал так называемый «механизм вытеснения», заимствованный Фрейдом из психологии неврозов и используемый им в толковании сновидений. Всю важность его я оценил сразу. Ведь в своих ассоциативных тестах я часто встречался с реакциями подобного рода: пациент не мог найти ответ на то или иное стимулирующее слово

или медлил более обычного. Затем было установлено, что такие аномалии имеют место всякий раз, когда стимулирующие слова затрагивают некие болезненные или конфликтные психические зоны. Пациенты, как правило, не осознавали этого и на мой вопрос о причине затруднений обычно давали весьма странные, а то и неестественные ответы. Из «Толкования сновидений» я выяснил, что здесь срабатывает механизм вытеснения и что наблюдаемые мной явления вполне согласуются с теорией Фрейда. Таким образом, я как бы подкреплял фрейдовскую аргументацию.

Иначе было с тем, что же именно «вытеснялось», здесь я не соглашался с Фрейдом. Он видел причины вытеснения только в сексуальных травмах. Однако в моей практике я нередко наблюдал невроты, в которых вопросы секса играли далеко не главную роль, а на передний план выдвигались совсем другие факторы: трудности социальной адаптации, угнетенность из-за трагических обстоятельств, понятия престижа и т. д. Впоследствии я не раз приводил Фрейду в пример подобные случаи, но он предпочитал не замечать никаких иных причин, кроме сексуальных. Я же был в корне несогласен с этим.

Поначалу я не мог четко определить, какое же место занимает Фрейд в моей жизни, и найти верный тон в отношениях с ним. Открывая для себя его труды впервые, я только начинал заниматься наукой и дописывал работу, которая должна была способствовать моему продвижению в университете. Фрейд же был, вне всякого сомнения, *persona non grata* в тогдашнем академическом мире, и всякое упоминание о нем носило скандальный характер. «Великие мира сего» говорили о нем украдкой, на конференциях о нем спорили только в кулуарах и никогда — публично. Так что совпадение моих результатов с выводами Фрейда не сулило мне ничего хорошего.

Однажды, когда я работал, не иначе как дьявол шепнул мне, что можно опубликовать результаты моих экспериментов и мои выводы, не упоминая имени Фрейда. В конце концов, я получил эти результаты задолго до того, как понял значение его теории. Но тут заговорило мое второе «я». «Если ты сделаешь вид, что не знаешь о Фрейде, это будет заведомый обман. Нельзя строить жизнь на лжи». С этого момента я открыто принял сторону Фрейда.



Впервые я выступил в его защиту на конгрессе в Мюнхене, где обсуждался обсессивный невроз, и где имя Фрейда упорно избегали даже упоминать. В 1906 году я написал статью для мюнхенского медицинского еженедельника о фрейдовской теории неврозов, которая существенно углубляла понимание обсессивных неврозов. После этого я получил предостерегающие письма от двух немецких профессоров. «Если Вы, — писали они, — будете продолжать заступаться за Фрейда, вряд ли Вы сможете рассчитывать на академическую карьеру». Я ответил: «Если то, что утверждает Фрейд, правда — я с ним. Чего стоит карьера, которую нужно строить, ограничивая исследования и замалчивая факты», — и продолжал выступать на стороне Фрейда. Но мои результаты по-прежнему противоречили утверждениям Фрейда, что все неврозы обусловлены исключительно подавленной сексуальностью или связанными с ней эмоциональными травмами. Иногда это так, но не всегда. Однако Фрейд открыл новые пути для исследований, и отрицать это, на мой взгляд, было абсурдом<sup>1</sup>.

Идеи, содержащиеся в моей работе «Психология dementia praecox», не встретили понимания — коллеги посмеивались надо мной. Но благодаря этой работе я познакомился с Фрейдом, он пригласил меня к себе. Наша первая встреча состоялась в Вене, в феврале 1907 года. Мы начали беседу в час пополудни и поговорили практически без перерыва тринадцать часов. Фрейд был первым действительно выдающимся человеком, встретившимся мне. Никого из моих тогдашних знакомых я не мог сравнить с ним. В нем не было ничего тривиального. Это был необыкновенно умный, проницательный и во всех отношениях замечательный человек. И тем не менее мое первое впечатление от него было довольно расплывчатым, что-то от меня ускользало.

Изложенная им сексуальная теория меня поразила. Правда, он не сумел окончательно рассеять мои сомнения. Я пытался, и

---

<sup>1</sup> В 1906 году, после того как Юнг послал Фрейдю письмо о результатах своих ассоциативных экспериментов, между ними завязалась оживленная переписка, продолжавшаяся до 1913 года. В 1907 году Юнг послал Фрейдю свою работу «Психология dementia praecox». — А. Я.

не единожды, изложить ему эти сомнения, но всякий раз Фрейд не воспринимал их серьезно, считая что они вызваны отсутствием у меня необходимого опыта. И он был прав: тогда мне действительно не хватало опыта для обоснованных возражений. Я видел, что его сексуальная теория чрезвычайно важна для него и в личном, и в общепсихологическом смысле. Но я не мог решить, насколько это было связано с переоценкой его собственных утверждений, а насколько — опиралось на результаты экспериментов.

Более всего меня настораживало отношение Фрейда к духовным проблемам. Там, где находила свое выражение духовность — будь то человек или произведение искусства — Фрейд видел подавленную сексуальность. А для того, что нельзя было объяснить собственно сексуальностью, он придумал термины «психосексуальность». Я пытался возражать ему, что если эту гипотезу довести до логического конца, то вся человеческая культура окажется не более чем фарсом, патологическим результатом подавленной сексуальности. «Да, — соглашался он, — именно так, это какое-то роковое проклятие, против которого мы бессильны». Я не был готов согласиться с этим и еще менее готов был с этим смириться. Но я пока не чувствовал себя достойным оппонентом Фрейда.

В этой нашей первой встрече было и еще что-то, что обрело для меня смысл позже, что я сумел продумать и понять только тогда, когда нашей дружбе пришел конец. Несомненно, Фрейд необычайно близко к сердцу принимал все, что касалось его сексуальной теории. Когда речь заходила о ней, тон его, обычно довольно скептический, становился вдруг нервным и жестким, а на лице появлялось странное, взволнованное выражение. Я поначалу не мог понять, в чем же причина этого. Но у меня возникло предположение, что сексуальность для него была своего рода *numinosum* (божественное. — *лат.*). Это впечатление подтвердилось позже при нашей встрече в Вене спустя три года (в 1910 году).

Я до сих пор помню, как Фрейд сказал мне: «Мой дорогой Юнг, обещайте мне, что вы никогда не откажетесь от сексуальной теории. Это превыше всего. Понимаете, мы должны сделать из нее догму, неприступный бастион». Он произнес это со стра-

стью, тоном отца, наставляющего сына: «Мой дорогой сын, ты должен пообещать мне, что будешь каждое воскресенье ходить в церковь». Скрывая удивление, я спросил его: «Бастион — против кого?» — «Против потока черной грязи, — на мгновение Фрейд запнулся и добавил, — оккультизма». Я был не на шутку встревожен — эти слова «бастион» и «догма», ведь догма — неоспоримое знание, такое, которое устанавливается раз и навсегда и не допускает сомнений. Но о какой науке тогда может идти речь, ведь это не более чем личный диктат.

И тогда мне стало понятно, что наша дружба обречена; я знал, что никогда не смогу примириться с подобными вещами. К «оккультизму» Фрейд, по-видимому, относил абсолютно все, что философия, религия и возникающая уже в наши дни парапсихология знали о человеческой душе. Для меня же и сексуальная теория была таким же «оккультизмом», то есть не более чем недоказанной гипотезой, как всякое умозрительное построение. Научная истина, в моем понимании, — это тоже гипотеза, которая соответствует сегодняшнему дню и которая не может остаться неизменной на все времена.

Многое еще не было доступно моему пониманию, но я отметил у Фрейда нечто похожее на вмешательство неких подсознательных религиозных факторов. По-видимому, он пытался защититься от этой подсознательной угрозы и вербовал меня в помощники.

После нашего разговора я чувствовал себя совершенно растерянным: мне и в голову не приходило рассматривать теорию сексуальности как некое рискованное предприятие, которому, однако, следует хранить верность. Очевидно, что для Фрейда сексуальность значила больше, чем для других людей, она была для него своего рода *res religiose observanda* (вещью, достойной религиозного благоговения. — *лат.*). Столкнувшись с подобными идеями, обычно теряешься. Поэтому все мои робкие попытки выглядели довольно неуверенно, и наши беседы вскоре прекратились.

Я был ошеломлен, смущен и озадачен, будто передо мной открылась новая, неведомая страна, а я ведь мечтал о новых идеях. Однако выяснилось и другое: Фрейд, который всегда так высоко ценил толерантность, свободу от догматизма, теперь создал свою догму. Более того, на место утраченного им грозного бога он по-

ставил другой кумир — сексуальность. И этот кумир оказался не менее капризным, придирчивым, жестоким и безнравственным. Так же как необычайную духовную силу в страхе наделяют атрибутами «божественного» или «демонического», так и «сексуальное либидо» стало играть роль *deus absconditus*, некоего тайного бога. Такая «замена» дала Фрейду очевидное преимущество: он получил возможность рассматривать новый нуминозный принцип как научно безупречный и свободный от груза религиозной традиции. Но в основе-то все равно лежала нуминозность — общее психологическое свойство двух противоположных и несводимых рационально полюсов — Яхве и сексуальности. Переменилось только название, а с ним, соответственно, и точка зрения: теперь утраченного бога следовало искать внизу, а не наверху. Но если некая сила все же существует, то есть ли разница в том, как ее называть? Если бы психологии не существовало вовсе, а были лишь конкретные вещи, ничего не стоило бы разрушить одну из них и заменить другой. Но в реальности, то есть в психологическом опыте, остаются все те же настойчивость, робость и принуждение — ничто бесследно не исчезает. Никуда не денутся и вечные проблемы: как преодолеть страх или избавиться от совести, чувства долга, принуждения или подсознательных желаний. И раз мы не в состоянии их решить, опираясь на нечто светлое и идеальное, то, не следует ли обратиться к силам темным, биологическим?

Эта мысль пришла ко мне неожиданно. Но ее смысл и значение я понял гораздо позже, когда анализировал в своей памяти характер Фрейда. У него была одна отличительная черта, которая более всего меня занимала: в нем ощущалась какая-то горечь. Она поразила меня еще в первый мой приезд в Вену. И я не находил этому объяснения, пока не увидел здесь связь с его представлением о сексуальности. Хотя для Фрейда сексуальность, безусловно, означала своего рода *putinosum*, тем не менее и в терминологии, и в самой теории он, казалось, описывал ее исключительно как биологическую функцию. И только волнение, с которым он говорил о сексуальности, показывало, насколько глубоко это его затрагивало. Суть его теории состояла в том — как мне, во всяком случае, казалось, — что сексуальность содержит в себе духовную силу или имеет тот же смысл. Но слишком конкретная терминология

логия оказалась слишком ограниченной для этой идеи. Мне подумалось, что Фрейд на самом деле двигался в направлении прямо противоположном собственной цели, действуя, таким образом, против самого себя, — а нет ничего горше, нежели сознание, что ты сам свой злейший враг. По его же словам, Фрейд постоянно испытывал ощущение, что на него вот-вот обрушится некий «поток черной грязи», — на него, который более, чем кто-либо, погружался в самые темные его глубины.

Фрейд никогда не задавался вопросом, почему ему постоянно хочется говорить именно о сексе, почему в мыслях он все время возвращается к одному и тому же предмету. Он так и не понял, что подобная однообразность толкования означает бегство от самого себя или, может быть, от иной, возможно мистической, стороны своего «я». Не признавая ее существования, он не мог достичь душевного равновесия. Его слепота во всем, что касалось парадоксов бессознательного и возможностей двойного толкования его содержимого, не позволяла ему осознать, что все содержимое бессознательного имеет свой верх и низ, свою внешнюю и внутреннюю стороны. И если мы говорим о внешней его стороне — а именно это делал Фрейд, — мы имеем в виду лишь половину проблемы, что вызывает нормальное в такой ситуации бессознательное противодействие.

С этой фрейдовской односторонностью ничего нельзя было поделаться. Возможно, его мог бы «просветить» какой-нибудь внутренний опыт, как мне думается, и тогда его разум счел бы любой подобный опыт проявлением исключительно «сексуальности» или, на худой конец, «психосексуальности». В каком-то смысле он потерпел поражение. Фрейд представляется мне фигурой трагической. Он, вне всякого сомнения, был великим человеком, и еще — трогательно беззащитным.

После той второй встречи в Вене я начал понимать концепцию власти Альфреда Адлера, которую и прежде считал заслуживающей внимания. Адлер как всякий «сын» перенял от своего «отца» не то, что тот *говорил*, а то, что тот *делал*. Теперь же я открыл для себя проблему любви — эроса и проблему власти — власти как свинцового груза, камня на душе. Сам Фрейд, в чем он признался мне, никогда не читал Ницше. Теперь же я увидел

фрейдовскую психологию в культурно-исторической последовательности, как некую компенсацию ницшеанского обожествления власти. Проблема явно заключалась не в противостоянии Фрейда и Адлера, а в противостоянии Фрейда и Ницше. Поэтому я полагаю, что это не просто «семейная ссора» психопатологов. Мое мнение таково, что эрос и влечение к власти — все равно что двойня, сыновья *одного* отца, производное от одной духовной силы, которая, как положительные и отрицательные электрические заряды, проявляет себя в противоположных ипостасях: одна, эрос, — как некий *patiens*, другая, жажда власти, — как *agens*, и наоборот. Эросу так же необходима власть, как власти — эрос, одна страсть влечет за собой другую. Человек находится во власти своих страстей, но вместе с тем он пытается овладеть собой. Фрейд рассматривает человека как игрушку, которой управляют ее собственные страсти и желания, Адлер же показывает, как человек использует свою страсть для того, чтобы подчинить себе других. Беспомощность перед неумолимым роком вынудила Ницше выдумать для себя «сверхчеловека», Фрейд же, как я понимаю, настолько подчинил себя Эросу, что считал его *aere regentius* (прочнее бронзы. — *лат.*), сделал из него догму, подобно религиозному нумену. Не секрет, что «Заратустра» выдает себя за Евангелие, и Фрейд на свой лад пытался превзойти церковь и канонизировать свое учение. Он, конечно, старался избежать огласки, но подозревал во мне намерение сделаться его пророком. Его попытка была трагичной, и он сам ее обесценивал. Так всегда происходит с нуменом, и это справедливо, ибо то, что в одном случае представляется верным, в другом оказывается ложным, то, что мы мыслим как свою защиту, таит в себе вместе с тем и угрозу. Нуминозный опыт и возвышает и унижает одновременно. Если бы Фрейду хоть раз пришло в голову представить себе, что сексуальность несет в себе *punitosum*, что она — и Бог и дьявол в одном лице, что с точки зрения психологии это не вызывает сомнения, он не смог бы ограничиться узкими рамками биологической концепции. И Ницше, может быть, не воспарил бы в своих спекуляциях и не утратил бы почвы под ногами, держись он более твердо основных условий человеческого существования.

Всякий нуминозный опыт таит в себе угрозу для человеческой психики, он как бы раскачивает ее так, что в любую минуту эта

тонкая нить может оборваться, и человек потеряет спасительное равновесие. Для одних этот опыт означает безусловное «Да», для других — безусловное «Нет». С Востока к нам пришло понятие нирваны (*nirvāṇa* — отсутствие двойственности). Я никогда не забываю об этом. Но маятник нашего сознания совершает свои колебания между смыслом и бессмыслицей, а не между справедливостью и несправедливостью. Опасность нуминозных состояний таится в соблазне экстремальности, в том, что маленькую правду принимают за *истину*, а мелкую ошибку расценивают как фатальную. *Tout passé* (прошлое. — *фр.*), что было истиной вчера, сегодня может показаться заблуждением, но то, что считалось ошибочным позавчера, явится откровением завтра. Именно это является одной из тех психологических закономерностей, о которых в действительности мы еще очень мало знаем. Мы по-прежнему далеки от понимания того, что *ничто* не существует до тех пор, пока какое-нибудь бесконечно малое и, увы, столь краткое и преходящее сознание не отметит его как *что-то*.

Беседуя с Фрейдом, я узнал о его страхе: он боялся, что нуминозное «сияние» его теории может померкнуть, если его захлестнет некий «поток черной грязи». Таким образом, возникла совершенно мифологическая ситуация: *борьба между светом и тьмой*. Это объясняет нуминозные комплексы Фрейда и то, почему в момент опасности он обращался к чисто религиозным средствам защиты — к догме. В моей книге «Метаморфозы и символы либидо» (1912), в которой говорилось о психологии аскетизма, я попытался объяснить причины его странного поведения, мифологические связи. Сексуальные толкования, с одной стороны, и властные притязания догматиков — с другой, натолкнули меня на проблему типологии. Предметом моего научного интереса стали полярные характеристики психики, а также исследование «потока черной грязи — оккультизма», чему я посвятил несколько десятилетий. Я попытался понять сознательные и бессознательные исторические предпосылки этого с точки зрения современной психологии.

Не меньшее любопытство вызывали у меня взгляды Фрейда на экстрасенсорное восприятие и парапсихологию в целом. В 1909 году, во время нашей встречи в Вене, я поинтересовался его мнением об этих явлениях. По причине своих материалисти-

ческих предрассудков он заявил, что все мои вопросы бессмысленны и проявил при этом столь поверхностный позитивизм, что мне стоило большого труда не ответить ему резкостью. Это случилось за несколько лет до того, как сам Фрейд признал серьезность парапсихологии и фактическую достоверность «окультурных» феноменов.

Но в тот момент, когда я выслушивал его аргументы, у меня возникло странное ощущение, будто моя диафрагма вдруг сделалась железной и раскалилась докрасна, она, как мне показалось, даже стала светиться. И в этот миг из находившегося рядом книжного шкафа раздался страшный грохот. Мы оба в испуге отскочили — показалось, что шкаф вот-вот опрокинется на нас. Я, опомнившись, сказал Фрейду: «Вот вам пример так называемой каталитической экстериоризации». «Оставьте, — разозлился он, — это совершеннейшая чушь». «Нет, профессор, — воскликнул я, — вы ошибаетесь! И я это вам докажу: сейчас вы услышите точно такой же грохот!» И действительно, как только я произнес эти слова, из шкафа снова раздался грохот.

До сих пор не понимаю, откуда взялась моя уверенность. Но я был убежден, что это произойдет. Фрейд ошеломленно посмотрел на меня. Не знаю, что он подумал и что увидел. Знаю одно — этот случай спровоцировал его подозрительность, а у меня появилось ощущение, будто я причинил ему боль. Мы никогда больше не обсуждали с ним это.

Год 1909 стал для нас переломным. Меня пригласили прочесть курс лекций об ассоциативных экспериментах в университет Кларка (Вустер, штат Массачусетс). Независимо от меня Фрейд также получил туда приглашение. Решено было отправиться вместе. Мы встретились в Бремене, где к нам присоединился Ференци. Там же произошел инцидент, о котором потом много говорили: у Фрейда случился обморок. И поводом, похоже, послужил мой интерес к «болотным трупам». Мне было известно, что в некоторых районах северной Германии находили так называемые «болотные трупы» — сохранившиеся с доисторических времен останки людей, которые или утонули в болоте, или были в нем похоронены. В болотной воде содержится сапрогенинная кислота, которая растворяет кости, но выдубливает кожу,



которая, как и волосы, превосходно сохраняется. По сути это естественное мумифицирование, когда трупы расплющиваются под давлением торфа. Время от времени они обнаруживаются на торфяных разработках в Дании, Швеции и Голландии.

Именно эти «болотные трупы», и вспомнились мне в Бремене. (Я был настолько поглощен собственными делами, что спутал их с мумиями из бременских «свинцовых подвалов».) Мое любопытство раздражало Фрейда. «Что вы нашли в этих трупах?» — постоянно спрашивал он, находясь в чрезвычайно нервном состоянии. И как-то за столом, когда опять заговорили о трупах, Фрейд упал в обморок. Позже он признался мне в своей тогдашней уверенности в том, что вся эта болтовня о трупах была затеяна мной, поскольку я будто бы желал его смерти. Я был ошарашен. Меня испугала мощь его фантазий, которая, на мой взгляд, и послужила причиной обморока.

Я был свидетелем еще одного его обморока в подобной ситуации. Это случилось на съезде психоаналитиков в Мюнхене в 1912 году. Кто-то вспомнил о фараоне Аменхотепе IV, о том, что из ненависти к отцу он уничтожил картуши на стелах и что за всеми его великими религиозными сооружениями стоял отцовский комплекс. Я возмутился и начал спорить, доказывая, что Аменхотеп был творческой и глубоко религиозной личностью, чьи действия нельзя объяснять только личной неприязнью к отцу. Напротив, он чтит имя своего отца, а его страсть к разрушению была нацелена лишь на то, что было связано с именем бога Амона. Это имя он стремился уничтожить везде, и не его вина, что оно было высечено на могильной плите его отца, почитавшего Амона. Более того, многие другие фараоны тоже заменяли имена своих фактических или божественных предков на монументах и статуях своими собственными, так как считали себя законным олицетворением соответствующего божества. Но они не были основоположниками ни нового стиля в архитектуре, ни основателями новой религии.

В этот момент Фрейд потерял сознание и упал со стула. Все растерянно засуетились вокруг него. Я взял его на руки, отнес в соседнюю комнату и положил на диван. Пока я нес его, он стал приходить в себя, и я никогда не забуду его взгляда. Слабый и беспомощный, он смотрел на меня так, будто я его отец. Каковы

бы ни были другие причины его обморока (атмосфера на конгрессе была более чем напряженной), в обоих случаях его навязчивой идеей было отцеубийство.

Фрейд и раньше намекал, что видит во мне своего преемника. Меня это крайне смущало, я уже осознавал, что никогда не смогу должным образом отстаивать его взгляды, хотя в то время опровергнуть их достойным образом я не мог. Мое уважение к нему было слишком велико, чтобы желать окончательного размежевания наших позиций. Меня вовсе не привлекала перспектива стать во главе некой партии, чтобы возглавить целое направление в психоанализе. Душа моя противилась подобной деятельности: жертвовать своей интеллектуальной независимостью — это было не для меня. Кроме того, все эти «игры» уводили бы меня от моих настоящих целей — я стремился найти истину, а не достичь личного престижа.

Наше путешествие в США заняло несколько недель. Все это время мы были вместе и пересказывали друг другу свои сновидения. Несколько моих сновидений я считал важными для себя, но Фрейд не сумел их объяснить. Упрекнуть его в этом я не смею — подчас лучшие аналитики не способны уловить скрытый смысл сна. Иногда такое просто невозможно, но это не значит, что нужно перестать этим заниматься. Напротив, беседы с Фрейдом дали мне очень много, и я дорожил нашими отношениями. Я внимал Фрейду, как внимают человеку старшему и опытному, я испытывал к нему сыновнее чувство. Но случилось нечто, что нанесло нашей дружбе тяжелый удар.

Фрейд увидел сон: о чем он был — рассказывать не буду. Я объяснил его, как сумел, но добавил, что сказал бы много больше, если бы Фрейд поведал мне о некоторых обстоятельствах своей личной жизни. Фрейд бросил на меня странный подозрительный взгляд и сказал: «Но я ведь не могу рисковать своим авторитетом!» В этот момент его авторитет рухнул. Эта фраза осталась на дне моей памяти, она явилась концом наших отношений. Фрейд поставил личный авторитет выше истины.

Как уже упоминалось, Фрейд лишь частично мог объяснить мои тогдашние сновидения или не мог объяснить их вообще. Эти сны были наполнены неким коллективным содержанием и символикой. Один из них я считаю особенно важным: он привел меня

к понятию «коллективного бессознательного» и положил начало моей книге «Метаморфозы и символы либидо».

Вот содержание этого сна. Я находился один в незнакомом двухэтажном доме, и это был «мой дом». На верхнем этаже было что-то вроде гостиной с прекрасной старинной мебелью в стиле рококо. На стенах висели старинные картины в дорогих рамах. Я удивился, что этот дом — мой, и подумал: «Ничего себе!». Затем, вспомнив, что еще не был внизу, я спустился по ступенькам и оказался на первом этаже. Здесь все выглядело гораздо старше, похоже, что эта часть дома существовала с XV или XVI века. Средневековая обстановка, пол, выложенный красным кирпичом, — все казалось тусклым, покрытым патиной. Я переходил из комнаты в комнату и думал: «Нужно осмотреть весь дом». Очутившись перед массивной дверью, я открыл ее и увидел каменную лестницу, ведущую в подвал. Спустившись, я оказался в красивом старинном сводчатом зале. В кладке стен я обнаружил слой кирпича, в строительном растворе тоже были кусочки кирпича. Так я догадался, что стены были возведены еще при римлянах. Мое любопытство возросло. Я стал внимательно осматривать каменные плиты пола: в одной из них оказалось кольцо. Я потянул за него — плита приподнялась, открывая узкую каменную лестницу, ступени которой вели в глубину. Я спустился вниз и попал в пещеру с низким сводом. Среди толстого слоя пыли на полу лежали кости и черепки, словно останки какой-то примитивной культуры. Я нашел там два очень древних полуистлевших человеческих черепа — и в этот момент проснулся.

Фрейд больше всего заинтересовался двумя черепами. Он постоянно возвращался к ним, уверяя, что я должен обнаружить связанное с ними *желание*. Что я о них думаю? Чьи они? Я, разумеется, отлично понимал, к чему он клонит, — он и здесь подразумевал тайное желание смерти. «Чего он, собственно, хочет? — спрашивал я себя. — Кому я должен желать смерти?» Такое объяснение меня не устраивало. Я и сам пытался разгадать, что бы это значило на самом деле. Но в то время я еще не доверял себе и хотел услышать мнение Фрейда. Мне хотелось у него учиться, поэтому, приняв его установку, я ответил: «Моя жена и свояченица». Нужно же было назвать кого-нибудь, кому можно было бы пожелать смерти и главное придать этому какой-то смысл!

Женат я был недавно и точно знал, что никаких подобных желаний у меня не возникало. Но предложить Фрейдю мое толкование я не мог, он бы меня по меньшей мере не понял, а сил спорить с ним еще не доставало. Более того, если бы я стал настаивать на своей точке зрения, то потерял бы его дружбу, а этого я тогда очень боялся. Но с другой стороны, мне очень хотелось узнать, какой смысл увидит он в моем ответе, как это впишется в его доктрину. Таким образом, я обманул его.

Я сознавал, что мое поведение небезупречно с точки зрения морали, но не мог позволить ему проникнуть в мой внутренний мир. Пропась между нами была слишком велика. А так, после моего ответа, Фрейд вроде бы успокоился. Стало понятно, что перед такими снами он бессилен, почему и пытается спрятаться за свою теорию. Мне же нужно было найти истинное объяснение моему сну.

Я понял, что дом — это в каком-то смысле образ души, то есть образ тогдашнего состояния моего сознания, которое выглядело как жилое пространство, вполне обустроенное, хотя и несколько архаичное.

На нижнем этаже начиналось бессознательное. И чем глубже я спускался, тем более чуждым и мрачным оно представлялось. В пещере я обнаружил остатки примитивной культуры, то есть то, что оставалось во мне от дикаря и что вряд ли когда-нибудь могло быть постигнуто или освещено сознанием. Душа примитивного человека и души животных пограничны, ведь в пещерах в древности, прежде чем их заняли люди, жили животные.

Именно тогда мне стало совершенно ясно, насколько велика разница между нашими с Фрейдом духовными установками. Я рос в исторической атмосфере Базеля конца прошлого века и благодаря моему интересу к философии кое-что знал из истории психологии. Размышляя над сновидениями и содержанием бессознательного, я неизбежно обращался к историческим аналогиям, а в студенческие годы часто заглядывал в старый философский словарь Круга. Мне были лучше знакомы философы XVIII века и частично XIX. Их мир и сформировал атмосферу верхнего этажа. Для Фрейда же, как я считал, история развития мысли начиналась с Бюхнера, Молешотта, Дюбуа-Реймона и Дарвина.

Если судить по моему сну, то, помимо собственно сознания, существовало еще несколько нижних уровней: необитаемый «средневековый» первый этаж, затем «римский» подвал и, наконец, доисторическая пещера. Это были вехи сознательной истории человечества и вехи в истории развития человеческого сознания.

В дни, предшествовавшие сну, я о многом размышлял, мучительно пытаюсь понять, каковы предпосылки фрейдовской психологии и каким образом она соотносится с другими категориями мышления. Как теория Фрейда, при своем крайнем персонализме, выглядит в свете универсальных понятий? Ответ содержался в моем сне. Основные положения культурной истории представлены в нем в виде уровней сознания: снизу вверх. Мой сон, таким образом, представлял собой структурную диаграмму человеческого сознания, выстроенную на обратных Фрейду *безличных* основаниях. Эта идея стала в каком-то смысле «it clicked» (наиболее подходящей. — *англ.*), как говорят англичане. Образы сна не оставляли меня и в дальнейшем. Я не понимал как, но они утвердились в моем сознании. Здесь впервые четко высветилась идея «коллективного бессознательного» (то, что я принял за останки примитивной культуры), составляющая а priori основу индивидуальной психики. Много позже, имея уже немалый опыт и более глубокие знания, я увидел здесь инстинктивные формы — архетипы.

Я никогда не соглашался с Фрейдом в том, что сон — это некий заслоняющий смысл «фасад» — когда смысл существует, но он будто бы нарочно скрыт от сознания. Мне кажется, что природа сна не таит в себе намеренного обмана, в ней нечто выражается возможным и наиболее удобным для нее образом — так же как растение растет или животное ищет пищу. В этом нет желания обмануть нас, но мы сами можем обмануться, если будем слепы. Можно слушать и не слышать, если заткнуть уши, но это не значит, что наши уши намеренно обманывают нас. Задолго до того, как я узнал Фрейда, бессознательное и сны, непосредственно его выражающие, казались мне естественными процессами, в которых нет ничего произвольного и тем более намеренно вводящего в заблуждение. Нет причин предполагать, что существует некое бессознательное природное коварство, по аналогии с

коварством сознательным. Напротив, житейский опыт свидетельствует, насколько бессознательное противится этим сознательным влечениям.

Сновидение о доме имело необычные последствия: я вновь увлекся археологией. По возвращении в Цюрих я прочел несколько книг по мифологии и вавилонским раскопкам. Тогда мне попала на глаза книга Фридриха Крейцера «Мифы и символы древности», она сыграла роль искры попавшей в сухую солому! Я с лихорадочным интересом перелопатил горы мифологического и научного материала и в конце концов совершенно запутался. Моя беспомощность была сродни той, которую я в свое время испытывал в клинике, когда стремился проникнуть в смысл психического расстройства. Я чувствовал себя так, будто находился в воображаемом сумасшедшем доме, пытаюсь «лечить» всех кентавров, нимф, богов и богинь из книги Крейцера. Тем не менее я не мог не уловить связи между античной мифологией и психологией примитивных народов, которой позже и стал заниматься. Работы Фрейда в этой же области несколько меня озадачили, поскольку я уже знал, до какой степени его теория подавляет собственно факты.

Тогда же я наткнулся на работу, описывающую фантазии молодой американки, некой мисс Миллер. Материал был опубликован в «Архивах психологии» (Женева) моим уважаемым другом Теодором Флурнуа. Меня поразил мифологический характер этих фантазий, которые стали своего рода катализатором для моих беспорядочных умозаключений. Так постепенно начала складываться книга «Метаморфозы и символы либидо». Пока шла работа над ней, я увидел сон, предрекавший будущий разрыв с Фрейдом. События в нем происходили в горной местности на границе Австрии и Швейцарии. В сумерках я увидел пожилого человека в форме австрийских имперских таможенников. Он, немного сутулясь, миновал меня молча, даже не взглянув в мою сторону. В нем было что-то гнетущее, он казался расстроенным и раздраженным. Тут были и другие люди, и кто-то сказал мне, что этот старик — лишь призрак таможенного чиновника, сам же он умер много лет назад. — «Он из тех, кто не может умереть».

Так выглядела первая часть сна.

Я стал его анализировать, уловив в слове «таможня» ассоциацию с «цензурой». «Граница» могла означать, с одной стороны, границу между сознанием и бессознательным, с другой же — наши с Фрейдом расхождения. Таможенный досмотр, необыкновенно тщательный, можно было сравнить с психоанализом — на границе чемоданы открывают, проверяя их содержимое. Анализ так же раскрывает содержимое бессознательного. Что же касается старого таможенника, то его работа приносила ему, похоже, больше горечи, нежели удовлетворения — отсюда и раздраженное выражение лица. Трудно было здесь не провести аналогию с Фрейдом.

В то время (в 1911 году) Фрейд уже не был для меня непрекращаемым авторитетом, но по-прежнему оставался человеком, на которого я взирал снизу вверх, проецируя на него образ отца, — тогда это было именно так. Подобное проецирование исключает объективность, двойственность в оценках в данном случае неизбежна. С одной стороны, мы ощущаем свою независимость, с другой — внутреннее сопротивление. Когда мне приснился этот сон, я все еще глубоко читил Фрейда, хотя уже начал оценивать его критически. Вероятно, я просто еще не мог осознавать сложившуюся ситуацию и пытался каким-то образом найти решение — это характерно для ситуаций проецирования. Сон же поставил меня перед необходимостью сделать выбор.

Находясь под влиянием личности Фрейда, я, насколько это удавалось, старался не навязывать ему собственных оценок и подавлял в себе критицизм. Это было необходимым условием нашего сотрудничества. Я убеждал себя: «Фрейд гораздо проницательнее и опытнее. Тебе же пока следует слушать и учиться». И представьте себе, мне снится Фрейд — раздраженный австрийский чиновник, призрак покойного таможенного инспектора. Действительно ли я желал его смерти, как думал Фрейд? Ничего подобного! Ведь я старался использовать любую возможность, чтобы работать с ним, причем с целью откровенно эгоистичной — пользоваться его богатым опытом. Наша дружба значила для меня очень много, и причин желать его смерти, естественно, не было. Но сновидение могло быть своего рода коррекцией, компенсацией моей сознательной оценки, моего восхищения — невольного и в дальнейшем, видимо, нежелательного.

Сон как бы представлял критическую установку моего подсознания. Это смутило меня, хотя последняя фраза сна показалась мне намеком на потенциальное бессмертие Фрейда.

За эпизодом с таможенным чиновником последовало довольно примечательное продолжение сна. Я находился в каком-то итальянском городе, время было обеденное — где-то между двенадцатью и часом дня. Жаркое полуденное солнце заливало светом узкие улицы. Город, возвышавшийся на холме, напомнил мне одно из предместий Базеля — Коленберг. Переулки здесь террасами спускались к долине, один из них выходил на Барфюцер-платц. Это был и Базель, и одновременно итальянский город, что-то вроде Бергамо. Летнее солнце стояло в зените. Навстречу мне двигалась толпа. Было понятно, что в эти часы закрываются магазины и люди идут обедать. И неожиданно в людском потоке показался рыцарь в полном облачении, который поднимался ко мне по ступенькам. На нем были шлем и кольчуга, а поверх — белая туника с вышитыми по обеим сторонам большими красными крестами.

Можно представить, что я испытал, увидев в современном городе в полдень, в час пик, идущего мне навстречу крестоносца. И самое удивительное, что никто вокруг, похоже, не замечал его. Никто не обернулся, не глянул ему вслед, казалось, вижу его только я. Я задумался, что бы это значило, и вдруг кто-то сказал мне (хотя поблизости никого не было): «А это наше привидение! Рыцарь всегда проходит здесь между двенадцатью и часом, его все знают».

Этот сон озадачил меня, но я тогда не смог его понять. Я был и удивлен, и смущен, чувствуя себя совершенно беспомощным.

Рыцарь и таможенник в моем сне были антиподами: призрачный таможенник, некто такой «кто не мог умереть», безмолвное видение, и полный жизни, совершенно реальный рыцарь. Вторая часть сновидения носила в высшей степени нуминозный характер, тогда как эпизод на границе выглядел приземленным и невыразительным. Гораздо большее впечатление на меня производили мои собственные размышления о нем.

Загадочный образ рыцаря в течение нескольких дней стоял у меня перед глазами. Объяснить себе его значение я не мог. Все прояснилось много позже, но уже во сне я понял, что ры-



царь этот из XII века — из эпохи зарождения алхимии и поисков чаши святого Грааля. Легенда о Граале очень много значила для меня. Впервые я услышал о ней, когда мне было лет 15. От незабываемого чувства, которое я тогда испытал, я до сих пор не могу освободиться. Мне кажется, она таит в себе что-то, что невозможно объяснить. Встречу во сне с рыцарем из того мира я считал вполне естественной, ведь это был мой собственный внутренний мир, вряд ли имевший что-то общее с миром Фрейда. Все мое существо жаждало чего-то доселе неизвестного — того, что могло бы придать какой-то смысл житейской обыденности.

Меня раздражало, что все усилия разума проникнуть вглубь сознания наталкивались всего лишь на тривиальные, само собой разумеющиеся истины. Я вырос в деревне, среди крестьян, и если чего-то не мог увидеть в конюшне, то узнавал это из Рабле и фривольной фантазии крестьянского фольклора. Инцест и сексуальные извращения не были для меня тайной и какого-то особого толкования не требовали. Вместе с преступлениями они являлись темным дном человеческого бытия, обнажая все его безобразие и бессмысленность, отравляя вкус жизни. То, что капуста хорошо растет на навозе, для меня всегда было самоочевидным. Но, несмотря на все мои усилия, я не мог понять, что же здесь сверхъестественного. «Все потому, что эти люди выросли в городе и ничего не знают о природе», — думал я с усталостью и брезгливостью.

Естественно, что среди невротиков чаще встречаются люди, далекие от природы, а посему и менее приспособленные к жизни. Они во многом наивны как дети, им даже приходится объяснять, что они ничем не отличаются от всех остальных. Избавиться от неврозов и вновь обрести психическое здоровье можно, лишь выкарабкавшись из обыденной житейской грязи. Они же предпочитают погружаться в те ощущения, которые прежде подавляли. Да и вообще могут ли они выбраться из этого, психоаналитик отнимает у них возможность узнать что-то другое, лучшее, если сама теория не предлагает ничего взамен инфантильности, кроме банального «здорового смысла»? Они, утратив твердую почву под ногами, на это неспособны. Человек не может так просто отказаться от привычного образа жизни, он может лишь изменить

его. И некий единый «здравый смысл» тоже, как правило, невозможен, особенно если человек не обладает им с детства, что обычно характерно для невротиков.

Теперь я начал осознавать, почему психология самого Фрейда вызывала у меня такой интерес. Мне хотелось выяснить, каковы его собственные предпосылки, как он сам приходит к пресловутому «разумному решению». Для меня это стало своего рода вопросом жизни и смерти, и я готов был пожертвовать многим ради того, чтобы найти ответ. И теперь я почти уяснил, в чем дело: Фрейд, оказывается, сам страдал от невроза, что установить было совсем несложно, и симптомы его болезни были крайне неприятны, что и проявилось во время нашего путешествия в Америку. Конечно, он убеждал меня, что весь мир в какой-то степени болен и что мы должны быть более терпимыми. Но такое объяснение меня уже не удовлетворяло, я хотел знать, как избежать неврозов. Ни Фрейд, ни его ученики не поняли, к сожалению, что означает для теории и практики психоанализа тот факт, что сам учитель не сумел справиться с собственным неврозом. И, когда Фрейд объявил о намерении объединить теорию и метод, создавая из них своего рода догму, я более уже не мог сотрудничать с ним. Для меня не было иного выбора, как выйти из игры.

Работая над книгой «Метаморфозы и символы либидо» и заканчивая главу «Жертва», я понимал, что публикация ее положит конец моей дружбе с Фрейдом. Я намеревался сформулировать в ней собственную концепцию инцеста, рассмотреть различные трансформации понятия либидо и многое другое, в чем полностью расходился с Фрейдом. Инцест, на мой взгляд, лишь в отдельных случаях можно считать собственно отклонением. В целом же в инцесте основополагающую роль играет религиозное содержание. Не удивительно, что этот мотив и занимал такое важное место во всех космогониях. Но Фрейд, цепляясь за буквальный смысл, не желал понять его символическую суть. И было совершенно ясно, что он никогда не принял бы такое толкование.

Я рассказал о своих опасениях жене. Она пыталась успокоить меня, полагая, что у Фрейда хватит великодушия, чтобы позволить мне иметь собственное мнение, даже если он сочтет его неприемлемым. Но сам я был убежден в обратном и два месяца

не решался взяться за перо. Меня мучил вопрос: стоит ли мое молчание нашей дружбы? Но наконец я все же приступил к работе, и это действительно привело к разрыву.

После нашего разрыва все друзья и знакомые отвернулись от меня. Мою книгу объявили бессодержательной, меня — мистиком, тем все и кончилось. Риклин и Мэдер были единственные, кто не покинул меня. Изоляция не стала для меня неожиданностью, никаких иллюзий относительно реакции моих так называемых друзей я не питал. Я все хорошо обдумал, понимая, что за свои убеждения придется расплачиваться, что глава «Жертва» потребует жертв и от меня самого. И хотя я не мог рассчитывать на понимание, работу над книгой все же не прекратил.

Возвращаясь в прошлое, могу сказать, что я исследовал две проблемы, которые в первую очередь интересовали Фрейда, и в определенном смысле отталкивался от его работ. Я имею в виду так называемые архаические «пережитки» и проблему сексуальности. Хочу заметить, что те, кто ставит мне в вину недооценку сексуальности, впадают в широко распространенную ошибку. Напротив, в моей психологии она играет значимую роль, как существенное, хотя и не единственное, выражение психической структуры. Но я ставил перед собой несколько иную задачу, она заключалась в том, чтобы от индивидуального значения и биологических функций этой структуры выйти на духовные аспекты и объяснить ее нуминозное содержание. Другими словами, дать объяснение тому, что так манило Фрейда и чего он не мог понять. В моих работах можно найти некоторые соображения на этот счет. В сексуальности я видел выражение некоего хтонического духа — того самого духа, который я называю злой личиной Бога. Проблема хтонического духа стала занимать меня с тех пор, как я соприкоснулся с духовным миром средневековой алхимии. Но первоначальный дали мне беседы с Фрейдом, когда я ощутил необъяснимую притягательность для него феномена сексуальности.

К величайшим достижениям Фрейда я отношу то, что он со всей серьезностью относился к страдающим неврозами пациентам и вникал в их индивидуальные психологические особенности. У него достало мужества отбросить казуистику и тем самым вскрыть истинную психологию душевной болезни. Не ошибусь, если скажу,

что он смотрел на болезнь глазами пациента, и это позволяло ему понять ее так глубоко, насколько было возможно. В этом смысле он был человеком мужественным и беспристрастным. Подобно библейскому пророку, он взвалил на себя эту ношу, свергая идолов, срывая завесу лжи и лицемерия. Он беспощадно указал миру на всю гниль современного сознания, что, конечно же, не принесло ему популярности. Впрочем, он к этому был готов. Открывая некие подступы к бессознательному, Фрейд тем самым дал нашей цивилизации новый толчок. Называя сновидения наиболее важным источником информации о бессознательных процессах, он вернул людям и науке инструмент, утерянный, казалось, безвозвратно. Он опытным путем продемонстрировал реальность бессознательной части души, существовавшей до этого лишь как философский постулат, главным образом у К. Г. Каруса и Э. фон Гартмана.

В заключение хочу отметить, что современная культура с ее бесконечной рефлексией еще не готова к восприятию идеи бессознательного и всего, что из нее следует, хотя уже почти полвека живет с нею бок о бок. Тот универсальный и основополагающий факт, что психика по сути двуполярна, еще ждет своего признания.

## Знакомство с бессознательным

После разрыва с Фрейдом для меня наступил период внутренних колебаний, будто я утратил всякие ориентиры и не мог наступать почву под ногами. Но прежде всего мне необходимо было по-новому подойти к работе с пациентами. Так пришло решение во всем опираться на то, что они сами говорят, не связывая себя каким-то изначальным предубеждением, — т.е. отдаться на волю случая. Наше общение сводилось теперь к следующему: пациенты спонтанно рассказывали мне о своих снах и фантазиях, а я лишь задавал им вопросы: «И что вы в связи с этим вспомнили?» или «Как вы сами это понимаете? Откуда это пришло к вам?» и т.п. Иными словами, объяснение давал сам пациент, оно рождалось из его собственных ответов и ассоциаций. Я старался не пользоваться какими бы то ни было теоретическими установками, а просто помогал пациентам понять самих себя, объяснить возникающие у них бессознательные образы.

Вскоре я убедился, что выбрал верный путь, что сновидения следует воспринимать именно таким образом — как исходный материал для интерпретации бессознательных процессов. Естественно, на этом пути меня подстерегало множество неожиданностей. Я все сильнее ощущал потребность в каком-то объективном критерии, а точнее, — в исходном ориентире.

В тот момент все, чего я достиг до сих пор, предстало передо мной с необычайной ясностью. Я был почти убежден, что нашел наконец ключ к мифу и могу теперь проникнуть в бессознательную область человеческой души. Впрочем, что-то мешало мне

утвердиться в собственном всемогуществе, и вот я уже спрашивал себя, каковы мои достижения? Мне удалось объяснить происхождение архаической мифологии, я написал книгу о героях, о тех мифах, в которых когда-то обретал себя человек. Но как выглядит миф современного человека? Можно было бы ответить, что это христианский миф. «А переживаешь ли ты сам этот миф?» — спросил я себя. — «По правде говоря, нет. Это не мой миф». — «Стало быть, у нас нет больше мифов?» — «Думаю, это не так». — «А каков твой миф? Миф, в котором ты сам живешь?» Но здесь я вынужден был прекратить этот диалог с самим собой — передо мной был тупик.

В канун Рождества 1912 года мне приснился сон. Я оказался в великолепном итальянском палаццо — с колоннами, мраморным полом и мраморной балюстрадой. Я сидел на золотом стуле эпохи Ренессанса за богато изукрашенным столом. Он был сделан из зеленого камня, похожего на изумруд. Я понял, что нахожусь в замковой башне. Мои дети сидели рядом со мной.

Вдруг сверху спланировала красивая белая птица, похоже, небольшая чайка или голубь. Она грациозно опустилась на стол, и я жестами попросил детей не двигаться, чтобы не спугнуть ее. Неожиданно птица превратилась в маленькую светловолосую девочку лет восьми и побежала вместе с детьми играть в галереях замка.

Я же остался сидеть, размышляя над увиденным. Но тут малышка вернулась и нежно обняла меня, затем внезапно исчезла, и снова появилась птица, которая медленно заговорила человеческим голосом: «Только в первые часы ночи, когда мой муж занят с двенадцатью мертвецами, я могу обрести человеческий облик». После этого она исчезла в синеве, а я проснулся.

Единственное, в чем я уверен, — этот сон был удивительным проявлением бессознательного. Но объяснить его я не мог, поскольку не владел техникой проникновения в бессознательные процессы. Что может быть общего у голубя с двенадцатью мертвецами? Изумрудный стол напомнил мне историю с *tabula smaragdina*. Я подумал и о двенадцати апостолах, о двенадцати месяцах, о двенадцати знаках Зодиака, но отгадки найти не мог. В конце концов я перестал ее искать. Оставалось одно — ждать, жить дальше, доверяясь своим фантазиям.

В их числе была одна — постоянная, пугающе навязчивая: мне являлось что-то мертвое и одновременно живое. Так я видел трупы в печах крематория, но после оказывалось, что это еще живые люди. Эти фантазии достигли пика и наконец разрешились в одном сновидении.

Я находился в месте, напоминавшем Елисейские поля (Elysamps) недалеко от Арля, где есть захоронение эпохи Меровингов. Во сне я отошел от города и увидел перед собой аллею, с длинными рядами могил. Это были каменные плиты, на которых лежали мертвецы в своих одеждах, со сложенными на груди руками, напоминая рыцарей в доспехах в старинных склепах. Разница состояла лишь в том, что мертвецы в моем сне были не из камня, а выглядели как особым образом изготовленные мумии. Остановившись перед первой могилой, я внимательно оглядел мертвеца, который похоже, был из 30-х годов прошлого века. Я изучал его одеяние, когда он вдруг зашевелился и разнял руки. Я понял, что это произошло только потому, что я посмотрел на него. Мне стало как-то не по себе; пройдя дальше, я остановился возле следующего, — он был из XVIII века и тоже ожил, как только я взглянул на него. Двигаясь вдоль всего ряда, я добрался до захоронений XII века — до крестоносца в кольчуге, который показался мне вырезанным из дерева. Я смотрел на него довольно долго, чтобы убедиться, что он действительно мертв, и вдруг заметил, как начинают шевелиться пальцы на его левой руке.

Этот сон долгое время не давал мне покоя. Разумеется, я сразу вспомнил идею Фрейда о следах архаического опыта, что таятся в бессознательном современного человека. Но такие сны и мой собственный опыт убеждали меня, что это вовсе не реликвии утраченных форм, но живая составляющая нашего существа. Мои более поздние исследования подтвердили это предположение, оно стало отправным пунктом учения об архетипах.

Однако потрясающее впечатление, которое произвели на меня эти сны, не помогло избавиться от неуверенности и обрести твердую почву под ногами. Напротив, я испытывал неослабное внутреннее напряжение. В какой-то момент его сила настолько возросла, что мне показалось, будто я схожу с ума. Я начал вспоминать всю свою жизнь, все подробности, особенно детские годы, надеясь в прошлом отыскать причину сегодняшней утра-

ты душевного равновесия. Но эта ретроспектива ни к чему не привела, и мне пришлось расписаться в собственном бессилии. Тогда я сказал себе: «Раз уж я ничего не знаю, все, что мне остается, — это просто наблюдать за происходящим со мной». Таким образом, я намеренно предоставил свободу бессознательным импульсам.

Первое, что всплыло в памяти, это мои ощущения, когда мне было лет десять или одиннадцать. В то время я увлеченно играл в кубики. Хорошо помню, как строил из них замки и домики с воротами и круглыми арками из бутылок. Несколько позже строительным материалом стали обычные камни, когда я использовал грязь вместо раствора. Это увлечение длилось достаточно долго. Странно, но воспоминания оказались очень живыми, эмоциональными и вызвали множество ассоциаций.

«Вот оно что, — подумал я, — стало быть, все это еще имеет для меня значение. Маленький мальчик созидает нечто, живет творческой жизнью, и сейчас мне недостает именно этого. Но я уже не могу оказаться вновь на его месте. Разве можно преодолеть расстояние между взрослым человеком и одиннадцатилетним мальчиком?» И все же, если я хотел восстановить эту связь, мне не оставалось ничего другого, как снова стать ребенком и безмятежно играть в свои детские игры.

Этот экскурс в прошлое во многом повлиял на мою дальнейшую судьбу. После длительного внутреннего сопротивления я в конце концов вернулся к играм, хотя и не без болезненного и унижительного чувства принуждения. Но ведь у меня действительно не было иного выбора.

Я принялся собирать подходящие камни: какие-то находил на берегу озера, какие-то — в воде. Я построил замок и несколько домиков — этакую маленькую деревню. Поняв, что в ней должна быть церковь, я сложил квадратное здание с куполом и колокольней. Оставалось лишь соорудить алтарь, но здесь я заколебался.

Это мучило меня как некая задача, которую необходимо было решить. Однажды я, как обычно, брел вдоль озера, подбирая камни, попадавшие в прибрежном песке, и вдруг увидел красный камень в форме пирамидки, высотой около четырех сантиметров. Камень был отшлифован волнами, его форма была как бы



задана самой природой. Я подумал: «Вот и алтарь!» Я поместил его в центре под куполом и, когда устанавливал, вспомнил подземный фаллос из моего детского сна. Такую ассоциацию я нашел вполне удовлетворительной.

Строительством я занимался ежедневно после обеда, если только позволяла погода. Быстро поев, я включался в игру и играл до прихода пациентов. Если удавалось закончить работу раньше, вечером я вновь возвращался к своим камням. Мысли мои при этом становились удивительными, позволяя предаваться фантазиям, которые прежде казались мне туманными, почти неощутимыми.

Естественно, я много размышлял, пытаюсь проникнуть в смысл того, что делал, задавая себе вопрос: «Чем же ты, собственно, занимаешься? Строишь маленькую деревню так, будто совершаешь некий ритуал!» Ответить на этот вопрос я не мог, но почему-то был уверен в том, что нахожусь на пути к своему мифу. Мое строительство послужило началом некоего нового этапа, когда фантазии хлынули нескончаемым потоком. Я старательно их записывал.

«Игры» стали для меня необходимостью. Когда мне приходилось сталкиваться с затруднениями, или с неразрешимой ситуацией, я начинал рисовать или играть с камнями. И всякий раз это было неким *rite d'entrée* (ритуальным действием. — *фр.*) — я находил спасительную мысль и возвращался к работе. Все, написанное в этом году, написано благодаря моей работе с камнем. Я целиком отдался этой работе после смерти жены. Последние дни ее жизни, ее смерть и все, что мне пришлось передумать за это время, совершенно выбили меня из колен. Мне стоило больших усилий вновь прийти в себя, и работа с камнем помогла мне.

Близилась осень 1913 года, и напряжение, которое я ощущал прежде, — нечто мрачное и гнетущее, теперь, казалось, вырвалось наружу, разлилось в самом воздухе. Причиной этого была уже не столько моя личная психологическая ситуация, сколько окружающая меня действительность. И это ощущение нарастало.

В октябре, когда я путешествовал в одиночестве, меня посетило неожиданное видение — чудовищный поток, накрывший все северные земли. Он простирался от Англии до России, от

Северного моря до подножий Альп. Когда же он приблизился к Швейцарии, я увидел, что горы растут, становятся все выше и выше, как бы защищая от него нашу страну. Передо мной развернулась картина ужасной катастрофы: я видел могучие желтые волны, несущие какие-то обломки и бесчисленные трупы, потом это море превратилось в кровь. Видение длилось около часа. Я был потрясен, мной овладели дурнота и стыд за мою слабость.

Спустя две недели видение — более кровавое и страшное — повторилось. Тогда же я услышал, как некий внутренний голос произнес: «Смотри, вот что произойдет!»

Помнится, что зимой кто-то поинтересовался, каков мой прогноз на ближайшее будущее. Я ответил, что у меня нет прогнозов, но что я видел потоки крови. Это видение не давало мне покоя.

Задавая себе вопрос, не является ли мое видение предвестником грядущих революционных событий, я все же не мог представить себе ничего подобного и решил, что это касается только меня, что мне угрожает психоз. Мысль о войне даже не приходила мне в голову.

Вскоре после этого, весной и ранним летом 1914 года, мне трижды снился один и тот же сон — что в разгар лета вдруг наступает арктический холод и вся земля покрывается льдом. Я видел замерзшую и совершенно обезлюдившую Лотарингию с ее каналами, заледеневшие реки и озера, заочневшие и погибшие растения. Этот сон я видел в апреле и мае, и в последний раз — в июне 1914 года.

Гибельный вселенский холод я увидел и в моем третьем сне, но заканчивался этот сон неожиданным образом. Перед моими глазами возникло дерево, цветущее, но бесплодное. («Мое древо жизни», — подумал я.) И вот на морозе его листья вдруг превратились в сладкий виноград, исполненный целительного сока. Я нарвал ягод и отдал их каким-то людям, которые, похоже, ожидали этого.

В конце июля 1914 года я получил приглашение от Британского медицинского общества приехать на конгресс в Абердин, там я должен был выступить с докладом «О значении бессознательного в психопатологии». Все это время меня преследовало ожидание надвигающейся катастрофы: я знал, что такого рода

сны и видения посланы судьбой. Мое тогдашнее состояние, мои страхи заставили увидеть нечто фатальное в том, что сейчас я должен говорить о значении бессознательного.

Первого августа разразилась мировая война. Передо мной возникла проблема: я просто обязан был разобраться, что же произошло и насколько мое состояние было обусловлено неким коллективным духом. Прежде всего нужно было понять самого себя. И я начал с того, что составил перечень всех фантазий, которые приходили мне в голову, пока я строил свои домики.

Поток фантазии был непрерывным, и я пытался делать все возможное, чтобы не заблудиться, чтобы каким-то образом разобраться во всем этом. Я чувствовал себя совершенно беспомощным, уже не веря, что смогу справиться с этим мощным потоком чужеродных образов. Постоянное напряжение не спадало, иногда казалось, будто на меня обрушивались каменные глыбы. Одна буря шла за другой. В состоянии ли я чисто физически вынести то, что погубило других, что надломило Ницше, а в свое время — и Гёльдерлина. Но во мне поселился некий демон, с самого начала внушавший, что я должен добраться до смысла своих фантазий. Я испытал ощущение, что некая высшая воля направляла и поддерживала меня в этом разрушительном потоке бессознательного. И она же в итоге дала мне силы выстоять<sup>1</sup>.

Возбуждение зачастую доходило до такой степени, что я вынужден был прибегать к йоге, дабы как-то обуздать свои чувства. Моей целью было узнать, что же со мной происходит. И как только мне удавалось успокоиться, я снова обращался к своему подсознанию. Вновь ощутив себя самим собой, я давал волю всем звучавшим во мне образам и голосам. Индус же занимается йогой с целью прямо противоположной, стремясь полностью освободиться от психической жизни во всем ее непредсказуемом многообразии.

Когда мне удавалось перевести чувства в образы, то есть найти в них какие-то скрытые картины, я достигал покоя и равнове-

---

<sup>1</sup> Рассказывая об этом, Юнг пришел в сильное волнение. «*Groh dem Tode entronnen zu sein*» (Счастлив избежавший смерти), — повторял он строки из «Одиссеи», которые выбрал в качестве эпиграфа к данной главе. — А. Я.

сия. Если бы я не сумел объяснить себе собственные чувства, они захлестнули бы меня и в конечном счете разрушили бы мою нервную систему. Возможно, на какое-то время мне и удалось бы отвлечься, но это лишь усугубило бы мой неизбежный невроз. По своему опыту я знал, как полезно, с терапевтической точки зрения, объяснять эмоции, находить скрытые за ними образы и картины.

Я старался записывать свои фантазии так подробно, насколько это было возможно, стараясь выявить их психологические источники. Но адекватного отображения не получалось: мой язык был слишком беспомощным. Поначалу я писал языком темным и архаическим, — архетипы выглядели патетичными и высокопарными, что меня раздражало. (Мне это действовало на нервы, как если бы кто-то скреб ногтем по штукатурке или ножом по тарелке.) Но я не знал, каким языком пользовалось мое бессознательное, и у меня не было выбора: я записывал то, что слышал. Создавалось впечатление, будто мои уши слышат его, мой язык произносит; наконец, я слышал собственный шепот — я повторял вслед за бессознательным.

С самого начала я расценивал свой диалог с бессознательным как научный эксперимент, который проводил сам и в результатах которого был жизненно заинтересован. Сегодня можно сказать, что это был эксперимент, который я поставил на себе. Одна из самых больших сложностей была связана с моими собственными негативными реакциями. Я позволил чувствам овладеть мной. Я — зачастую против воли — записывал фантазии, ошеломлявшие меня своей абсурдностью. Ведь когда не понимаешь их смысла, они кажутся чудовишной смесью высокого и смешного. Это дорого мне обошлось, но это, на мой взгляд, было предназначено мне судьбой. Ценой невероятных усилий мне удалось наконец выбраться из лабиринта моих фантазий.

К этим фантазиям, которые так волновали меня и, можно сказать, управляли мной, я испытывал не только непреодолимое отвращение, они вызывали у меня неопишуемый ужас. Больше всего я опасался потерять контроль над собой и сделаться добычей своего бессознательного. Как психиатру мне было слишком хорошо известно, что это значит. И все же я пошел на риск, позволяя этим образам завладеть мной, и главным образом потому, что,

не испытал все сам, я не решился бы поставить в подобную ситуацию пациента. Отговорки вроде той, что де рядом с пациентом кроме всего прочего находится еще некий помощник, были для меня неприемлемы. Я был убежден, что этим так называемым помощником являюсь я сам, что у меня нет собственного знания, а есть лишь сомнительной ценности теоретические предрассудки. Мысль о том, что весь риск от этих опасных экспериментов связан не столько со мной лично, сколько с моими пациентами, в критических ситуациях существенно поддерживала меня.

Это случилось в один из адвентов 1913 года (12 декабря). В этот день я решился на исключительный шаг. Сидя за письменным столом, я погрузился в привычные уже сомнения, когда вдруг все оборвалось, будто земля в буквальном смысле разверзлась у меня под ногами, будто я провалился в ее темные глубины. Меня охватил панический страх, но внезапно и на не такой уж большой глубине я ощутил под ногами какую-то вязкую массу. Мне сразу стало легче, хотя вокруг была кромешная тьма. Потом, когда глаза привыкли, я начал понимать, что это не тьма, а как бы сумерки. Передо мной у входа в темную пещеру стоял карлик, сухой и темный как мумия. Я протиснулся мимо него в узкий проход и побрел по колена в ледяной воде к другому концу пещеры, где на каменной стене светился красный кристалл. Я приподнял камень и увидел под ним щель. Сначала я ничего не мог различить, заглянув в нее, но, присмотревшись, обнаружил воду, а в ней — труп молодого белокурого человека с окровавленной головой. Он проплыл мимо меня, за ним следом плыл огромный черный скарабей. Затем из воды поднялось ослепительно красное солнце. Свет бил в глаза, и я хотел засунуть камень обратно в отверстие, но не успел — поток хлынул наружу. Это была кровь! Она была густой и упругой струей. К горлу у меня подступила тошнота. Поток крови казался нескончаемым. Потом все прекратилось так же внезапно, как и началось.

Это видение привело меня в глубокое смятение. Я догадался, конечно, что *riche de résistance* (основным блюдом. — *фр.*) был некий солярий героический миф, драма смерти и возрождения, которое символизировал египетский скарабей. Все должно было завершиться рассветом — наступлением нового дня, но вместо

этого хлынул кошмарный поток крови, очевидная аномалия. Вспомнив кровавый поток, виденный осенью, я отказался от попыток объяснить это.

Шесть дней спустя (18 декабря 1913 года) мне приснился сон.

Я оказался где-то в горах с незнакомым темнокожим юношей, по-видимому дикарем. Солнце еще не взошло, но на востоке уже посветлело и звезд не было видно. Внезапно раздался звук трубы — это был рог Зигфрида, и я знал, что мы должны убить его. У нас было оружие, мы затаились в засаде, в узкой расселине за скалой.

И вот на краю обрыва в первых лучах восходящего солнца появился Зигфрид. На колеснице из костей мертвецов он стремительно мчался вниз по крутому склону. Как только он появился из-за поворота, мы выстрелили — и он упал лицом вниз — навстречу смерти.

Мучимый раскаянием и отвращением к себе — ведь я погубил нечто столь величественное и прекрасное, — я бросился бежать. Мною двигал страх, что убийство раскроется. И тут обрушился ливень, и я понял, что он уничтожит следы преступления. Итак, я спасен, и жизнь продолжается. Но невыносимое чувство вины осталось.

Проснувшись, я стал раздумывать, что бы это значило, но понять не смог. Я попытался заснуть снова, но услышал некий голос: «Ты должен понять это, должен объяснить это прямо сейчас!» Волнение мое усиливалось, наконец наступил ужасный момент, когда голос произнес: «Если ты не разгадаешь сон, тебе придется застрелиться!» В ящике ночного столика я держал заряженный револьвер, и мне стало страшно. Лихорадочно перебирая в уме все детали сна, я вдруг понял его смысл. Он был о событиях, происходивших в мире. Зигфрид, думалось мне, является воплощением всего того, чего хотела достичь Германия, — навязать миру свою волю, свой героический идеал — «Воля пролагает путь». Таков был и мой идеал. Сейчас он рушился. Сон ясно показывал, что героическая установка более не допустима, — и Зигфрид должен быть убит.

Мое преступление причинило мне такую сильную боль, будто я убил не Зигфрида, а себя самого, фактически отождествляя себя с ним, героем. Я страдал, как страдают люди, жертвуя иде-

алами. Сон означал мой сознательный отказ от героической идеализации, потому что существует нечто такое, что выше моей воли, и моей власти, и моего «я».

Размышляя так, я успокоился и снова уснул.

Темнокожий дикарь, мой спутник, по сути толкнувший меня на преступление, был моей примитивной архаической тенью. А дождь в моем сновидении как бы «снял» напряжение между сознанием и бессознательным.

Тогда мои возможности объяснения этого сна исчерпывались теми немногими идеями, которые я здесь излагаю. Но это дало мне силы продолжить эксперимент с бессознательным.

Для того чтобы удержать фантазии, я часто воображал некий спуск и однажды даже попытался дойти до самого низа. Сначала я будто бы спустился метров на 300, но уже в следующий раз оказался на некоей космической глубине. Это напоминало путешествие на Луну или погружение в пропасть. Сначала возник образ кратера, и мне почудилось, будто я нахожусь в стране мертвых. Под скалой я увидел двоих — седобородого старика и прекрасную девушку. Я приблизился к ним, словно они были реальными людьми, и стал прислушиваться к их беседе. Старик ошеломил меня, заявив, что он Илья-пророк. Но ответом девушки я был просто возмущен — она назвала себя Саломеей! Девушка была слепой. Что за странная пара: Саломея и Илья-пророк. Но старик заверил, что они вместе уже целую вечность, и это меня окончательно сбilo с толку. С ними жила какая-то черная змея, которая, похоже, отнеслась ко мне благожелательно. Я старался держаться ближе к старику — он выглядел наиболее разумным и здравомыслящим из всей этой компании. К Саломее же я никакого доверия не испытывал. С Ильей мы вели долгие беседы, смысл которых, однако, ускользал от меня.

Разумеется, я старался найти правдоподобное объяснение появлению этих библейских персонажей в моей фантазии, помня и о том, что мой отец был священником. Но это ничего не объясняло. Что такое этот старик? Что такое — Саломея? Почему они вместе? Лишь много позже, когда мне стало известно многое, чего я не знал тогда, связь между стариком и девушкой перестала казаться странной и непонятной.

В подобных снах, равно как и в мифологических путешествиях, старец и девушка нередко появляются в паре. Например, Симон-волхв, по преданию, странствовал с молодой девушкой по имени Елена, взятой им из публичного дома (предполагалось, что в нее вселилась душа Елены Троянской). В этом же ряду — Клингсор и Кундри, Лао-Цзы и следовавшая за ним повсюду молодая танцовщица.

В моей фантазии был еще один образ — большая черная змея. И хотя в мифах змея чаще всего противостоит герою, тем не менее существуют многочисленные признаки их родства. Например, у героя могут быть змеиные глаза, или после смерти он превращается в змею и в этом качестве становится объектом поклонения, наконец, он мог быть рожден змеей и т. д. Присутствие змеи в фантазии свидетельствует о ее связи с героическим мифом.

Саломея — это анима. Она слепа, потому что не видит сути вещей. Илья, напротив, стар и мудр, он — носитель гностического начала, тогда как Саломея — эротического. Можно сказать, что эти образы составляют антитезу — эрос и логос. Но подобные определения выглядят чересчур интеллектуализированными, поэтому их, пожалуй, стоит оставить такими, какими они тогда мне представлялись — некими символами, объясняющими смысл бессознательных процессов.

Несколько позже мое бессознательное явило мне другой образ, он стал развитием и продолжением Ильи-пророка. Я назвал его Филемоном. Будучи язычником, Филеон привнес в мои фантазии некое египетско-эллинское настроение с оттенком гностицизма. Образ этот впервые явился мне во сне.

Я видел небо, но оно походило на море. Его покрывали не облака, а бурые комья земли, между которыми просвечивала голубизна морской воды, но эта вода была небом. Вдруг откуда-то справа ко мне подлетело крылатое существо — старик с рогами быка. В руках у него была связка ключей, один из них он держал так, будто собирался открывать замок. Окрас его крыльев напоминал крылья зимородка.

Я не понимал этого образа и нарисовал его, чтобы запомнить. И тогда же я наткнулся в своем саду у побережья на мертвого зимородка. Это было странно: зимородки не часто встречаются в окрестностях Цюриха, почему я и был потрясен этим; на первый



взгляд, случайным совпадением. Птица умерла незадолго до того, как я ее нашел, — дня за два или за три; никаких внешних повреждений у нее не обнаружилось.

Филемон и другие образы фантазий помогли мне осознать, что они, возникнув в моей психике, созданы тем не менее не мной, а появились сами по себе и живут своей собственной жизнью. Филемон представлял некую силу, не тождественную мне. Я вел с ним воображаемые беседы. Мой фантом говорил о вещах, которые мне никогда не пришли бы в голову. Я понимал, что это произносит он, а не я. Он объяснил, что мне не следует относиться к своим мыслям так, будто они порождены мной. «Мысли, — утверждал он, — живут своей жизнью, как звери в лесу, птицы в небе или люди в некой комнате. Увидев таких людей, ты же не заявляешь, что создал их или что отвечаешь за их поступки». Именно Филемон научил меня относиться к своей психике объективно, как к некой реальности.

Беседы с Филемоном сделали для меня очевидным различие между мной и объектом моей мысли. А поскольку он являлся именно таким объектом и спорил со мной, я понял, что есть во мне нечто, объясняющее вещи, для меня неожиданные, которые я не готов принять.

Психологически я воспринимал Филемона как некий высший разум. Он казался мне фигурой таинственной, временами совершенно реальной. Я гулял с ним по саду, чувствуя что он является для меня чем-то вроде того, что в Индии называют гуру.

Всякое новое порождение фантазии воспринималось мной как личное поражение. Оно означало еще что-то, до сих пор от меня скрытое, и меня охватывал страх: я боялся, что вереница этих образов окажется бесконечной, что я потеряю себя, свое «я», опускаясь все ниже и ниже в бездну бессознательного. Мое собственное «я» переживало унижение, хотя внешне я, похоже, преуспевал и, наверное, заслуживал лучшего.

Но меня окружала тьма. *Horrida nostrae mentis purga tenebras* (Наш суровый разум разгоняет тьму. — *лат.*), и лучшее, что я мог себе пожелать, это иметь настоящего гуру, — чтобы кто-то был рядом со мной — кто-то, превосходящий меня знаниями и опытом, способный разобраться в путанице произвольных созданий моей фантазии. Эту задачу и взял на себя Филемон, кото-

рого я polens-volens признал своим наставником. Он и в самом деле сумел облегчить мою жизнь.

Помню, как лет через пятнадцать меня посетил пожилой и очень интеллигентный индус, друг Ганди. Мы с ним беседовали о системе образования в Индии и, в частности, об отношениях между гуру и shelah (учениками). Я осторожно попросил гостя рассказать что-нибудь о личности и характере его собственного гуру. На это он мне совершенно серьезно ответил: «Это был Чанкарачара». «Не хотите ли вы сказать, что имеете в виду комментатора Вед? Но ведь он давно умер», — поразился я. «Да, речь именно о нем», — подтвердил индус. «Следовательно, это был дух?» — спросил я. «Разумеется», — сказал он. В этот момент мне вспомнился Филемон. «Такие гуру-призраки существуют, — добавил мой гость. — У большинства людей живые гуру, но всегда были люди, у которых наставниками были духи».

Меня это несколько успокоило. Значит, я не совсем утратил связь с миром, что меня постоянно мучило. Выходит, я переживал то же, что и другие, в моих проблемах не было ничего исключительного.

Затем на смену Филемону пришел другой образ, я назвал его Ка. В древнем Египте «царь Ка» был существом, относящимся к стихии земли, ее духом; в моей фантазии дух Ка явился из земли — из глубокой расщелины. Я нарисовал его, попытавшись передать эту его связь с землей; у меня получилось изображение, чем-то напоминающее бюст, с каменным основанием и верхней частью. Верх рисунка венчало крыло зимородка, а между ним и головой Ка находилось нечто вроде искрящейся дымки. В выражении лица Ка угадывалось что-то демоническое, я бы сказал — мефистофельское. В одной руке он держал какой-то предмет, похожий на пагоду или пеструю шкатулку, в другой — некое стило. Он заявил о себе так: «Я тот, кому боги наказали хранить золото».

Филемон был хромым, но крылатым духом, другой же — Ка — олицетворял собой стихии земли или металла. Филемон являлся духовным, осмысленным началом, Ка — духом природы, как Антропариион в греческой алхимии, о которой в то время я ничего не знал. Ка воплощал нечто реальное, но одновременно

он был тем, кто скрывает смысл (дух птицы) или подменяет его красотой (вечным отражением).

Со временем эти образы слились у меня в один — я стал изучать алхимию.

Записывая эти фантазии, я как-то спросил себя: «А чем я, собственно, занимаюсь?» Все это явно не имеет никакого отношения к науке. Но тогда что же это такое? Ответ мне дал некий голос: «Это искусство». Я удивился, мне и в голову не приходило, что мои фантазии имеют какое-то отношение к искусству. Но я сказал себе: «Возможно, бессознательное формирует личность, которая не является мной и которая пытается себя выразить, подбирая нужные слова». У меня была абсолютная уверенность, что этот внутренний голос принадлежал женщине, и более того — одной моей пациентке, весьма одаренной, но страдавшей психопатией. В наших с ней беседах всегда имелась изрядная доля *переноса*. В этот момент я представлял ее очень ясно.

Конечно, то, что я делал, не имело ничего общего с наукой. Выходит, что это не искусство? Третьего не дано. Но это же типично женский подход.

Я постарался как можно убедительнее втолковать голосу, что мои фантазии не связаны с искусством. Голос молчал, и я вернулся к своим записям. Но он снова двинулся в атаку; твердо заявляя «Это искусство». «Ничего подобного! И вообще, это — природа», — отрезал я, готовясь к спору. Однако возражений не последовало. Тогда мне пришло в голову, что эта «женщина во мне» лишена собственных речевых центров и пытается объясняться с моей помощью. Она говорила со мной не раз, причем довольно обстоятельно.

Меня крайне занимало то, что внутри меня существует какая-то женщина и вмешивается в мои мысли. «Возможно, — размышлял я, — она и есть «душа» в примитивном смысле слова? И почему душу называли «*анима*»? Почему ее представляют как нечто женственное?» Много позже я осознал, что «женщина во мне» — это некий типический, или архетипический, образ, существующий в бессознательном любого мужчины. Я назвал его «*анима*». Аналогичный образ в бессознательном женщины получил имя «*анимус*».

Поначалу меня заинтересовали негативные аспекты анимы. Я испытывал страх перед ней, как от присутствия чего-то незримого. Затем, взглянув на себя со стороны, я подумал, что все мои записи и наблюдения над собой есть не что иное, как письма, посылаемые ей, — т.е. той части моего «я», чей взгляд на вещи отличался от моего — сознательного — взгляда. Это самому мне казалось необычным и неожиданным. Разговоры с самим собой походили на беседы пациента с психоаналитиком, причем здесь в роли моего пациента выступал некий женственный призрак. Каждый вечер, записывая свои фантазии, я думал об одном: если не запишу, моя анима не запомнит их. Была и другая причина можно назвать и другую причину добросовестности: в записанном уже трудно что-либо исказить или перепутать. Между тем, что сказано, и тем, что записано, существует огромная разница. В «письмах» я, насколько это возможно, старался быть честным, следуя известному античному постулату: «Отдай все, что имеешь, и тогда обретешь то, что желаешь».

Постепенно я научился отличать свои собственные мысли от того, что говорила моя анима. Когда она пыталась приписать мне какую-нибудь банальность, я внушал себе: «Да, раньше я действительно так думал, но я вовсе не обязан думать так сейчас и думать так всегда. Это унижительно. Зачем мне это?»

В чем же заключается главное различие? — В умении отстраниться от бессознательных элементов и как-то их персонифицировать. Тогда наладить с ними сознательную связь будет сравнительно легко. Только так можно лишить бессознательное той власти, которую оно приобретает над нами. Это проще, чем кажется на первый взгляд, поскольку бессознательное по сути всегда в известной степени автономно и обладает некоторой внутренней целостностью. Хотим мы или не хотим, но присутствие некой самостоятельной единицы внутри нас приходится признавать. Но сам факт такой автономии позволяет нам управлять бессознательными процессами:

Пациентка, голос которой говорил во мне, действительно умела заставить мужчину подчиняться ей. Она, например, смогла убедить одного моего коллегу в том, что он непризнанный и непонятый художник. Он поверил, и ни к чему хорошему это не привело. Почему такое стало возможным? Потому, что коллега жаж-

дал признания — не в одном, так в другом. Здесь и крылась опасность: он оказался беззащитным перед лживыми заверениями собственной анимы, ведь ее слова зачастую звучат так завлекающе и убедительно.

Если бы только я согласился воспринимать мои бессознательные фантазии как искусство, я стал бы смотреть на них другими глазами — как смотрят, например, кинофильмы. Это, конечно, не сделало бы их более убедительными, не поставило бы меня перед некой моральной проблемой. Но анима могла внушить мне, что я — непризнанный художник и что моя так называемая «художественная» натура дает мне право уйти от реальности. Если бы я пошел за голосом, то однажды неизбежно услышал бы: «По-твоему, эта ерунда, которой ты занимаешься, — искусство? Ни в малейшей степени!» Эта двойственность анимы, это бессознательное внушение могут в конце концов привести к разрушению самих оснований человеческой личности. Но решающим в конечном итоге является все же сознание. Именно оно должно определиться по отношению ко всякого рода бессознательным проявлениям.

Тем не менее анима обладает и некоторыми положительными свойствами. Она является посредником между сознанием и бессознательным, и в этом мне видится ее преимущество. Я всегда призывал ее на помощь, когда чувствовал, что мое душевное равновесие нарушено, что в моем подсознании что-то происходит. В этот момент я задавал ей вопрос: «Что с тобой? Что ты видишь? Дай мне знать». После некоторого сопротивления анима, как правило, являла мне образ, вполне зримый, и тогда беспокойство и подавленность исчезали. Вся моя эмоциональная энергия обращалась в любопытство, сосредоточивалась на содержании образа. Потом, обсуждая с анимой эти образы, я понимал, что должен объяснить их себе, как в свое время сны.

Сегодня я уже не испытываю нужды в этих беседах, поскольку не переживаю ничего подобного. Но если бы все повторилось, я поступил бы именно так. Сегодня я способен воспринимать подобные идеи непосредственно, поскольку вижу бессознательное таким, как есть, и понимаю его. Я знаю, как следует обращаться с этими образами, и, когда они являются мне в сновидениях, могу сам, без анимы-посредника найти нужное объяснение.

Записи моих тогдашних фантазий я назвал «Черной книгой», которую позже переименовал в «Красную книгу» и сопровождал ее рисунками<sup>1</sup>. В нее вошла большая часть моих рисунков с изображением мандалы. В «Красной книге» я попытался облечь мои фантазии в определенную эстетическую форму, но до конца эту работу не довел. Я понял, что не нахожу пока нужных слов и должен выразить это как-то иначе. Поэтому в какой-то момент мне пришлось отказаться от эстетизации, обратившись лишь к смыслу. Я видел, что фантазиям требуется некоторое твердое основание, что мне самому необходимо спуститься на землю — вернуться в реальный мир. Но обрести основание в реальном мире я мог, только научно осмыслив его. Я поставил перед собой цель осмыслить данный мне бессознательным материал. И отныне это стало смыслом всей моей жизни.

Некоторую эстетизацию в «Красной книге» я допускал еще и потому, что бесконечная череда бессознательных видений и образов ужасно раздражала меня, — мне нужно было снять некоторые моральные установки. Все это существенно отразилось на моем образе жизни. Именно тогда я понял, что ничто так не влияет на нашу жизнь, как язык: ущербный язык делает ущербной и жизнь. Дав такое объяснение угнетавшим меня бессознательным фантазиям, я освободился от них, решая одновременно две проблемы — интеллектуальную и моральную.

По иронии судьбы я, психиатр, на каждом шагу обнаруживал в себе тот самый материал, который лежит в основе психозов и с которым можно столкнуться разве что в сумасшедшем доме. Это был мир бессознательных картин и образов, приводивший душевнобольных к роковому безумию. Но в нем же содержались некие мифологические формы, которые нашим рациональным веком уже утрачены. И хотя мифологические фантазии — сами по себе — не являются чем-то исключительным, они вызывают страх, они табуированы. Мы всегда рискуем или пускаемся в сомнительное приключение, ступив на опасный путь, который ве-

---

<sup>1</sup> «Черная книга» — это маленький томик в черном кожаном переплете. «Красная книга» — своего рода фолиант в сафьяновом переплете, напоминающий по форме средневековые рукописи; и шрифт, и язык стилизованы в нем под готику. — А. Я.

дет в глубины бессознательного. Он считается заведомо ложным, неоднозначным и чреватом всяческими недоразумениями. Гёте, помнится, говорил: «Набравшись духу, выломай руками врата, которых самый вид страшит». Ведь вторая часть «Фауста» — нечто гораздо большее, нежели литературный опыт, она является неким звеном в «aurea catena» (золотой цепи. — *лат.*), которая — от алхимиков и гностиков и вплоть до «Заратустры» — представляет собой сомнительный, непопулярный и опасный путь, путь исследований и великих открытий, лежащих по ту сторону обыденной жизни.

Подвергая себя этому рискованному эксперименту, я понимал, что нужна точка опоры, которая находилась бы в «этом мире», и такой опорой были моя семья и моя работа. Я как никогда нуждался в чем-то нормальном, самоочевидном, что составляло бы противоположность всему странному в моем внутреннем мире. Семья и работа оставались спокойной гаванью, куда я всегда мог вернуться, напоминали мне, что я реально присутствую в этом мире, что я такой же человек, как все. Погружаясь в бессознательное, я временами чувствовал, что могу сойти с круга. Но я знал, что у меня есть диплом врача и я должен помогать больным, что у меня жена и пятеро детей, что я живу в Кюснахте на Озерной улице 228, — все это было той очевидностью, от которой я не мог уйти. Ежедневно я убеждался в том, что на самом деле существую и что я не легкий лист, колеблемый порывами духовных бурь, как это случилось с Ницше. Ницше утратил почву под ногами, поскольку у него не было ничего, кроме собственных мыслей, и те имели над ним куда больше власти, нежели он над ними. У Ницше не было корней, он парил над землей и потому впадал в крайности. Такой неадекватности я страшился, стараясь представить себя в *этом* мире, и в этой жизни. Какой бы бездонной ни была глубина моего погружения в бессознательное, куда бы ни увлекали меня фантазии, я всегда знал: все мной переживаемое — реальная жизнь, и я должен наполнить ее смыслом. Я говорил себе: «Hic Rhodus, hic salta!» (Здесь Родос, здесь прыгай! — *лат.*)

Семья и работа всегда оставались надежной реальностью моей жизни, гарантией того, что я нормален и действительно существую.

Происходившие во мне внутренние изменения постепенно начали как-то проявлять себя, оформляться: возникла внутренняя потребность сформулировать и выразить то, что могло быть сказано Филемоном. Так появились в 1916 году «Septem Sermones ad Mortuos» с их необычным языком.

А началось все с непонятной мне самому неразберихи: я не имел представления, что все это значит и что я должен делать. Возникло ощущение, что атмосфера вокруг меня сгущается, ее заполняли какие-то диковинные призрачные существа. Так оно и было: в моем доме стали появляться привидения. В одну из ночей моя старшая дочь увидела пересекавшую комнату бледную фигуру, вторая дочь пожаловалась, что дважды за ночь у нее пропало одеяло, а моему девятилетнему сыну приснился страшный сон. Утром он взял у матери карандаш и, несмотря на то что прежде никогда не рисовал, на сей раз захотел изобразить увиденное. Так появился рисунок под названием «Портрет рыбака». В центре листа были изображены река и рыбак с удочкой на берегу. Он ловит рыбу. На голове его почему-то возвышается труба, из которой вырываются языки пламени и дым. С противоположного берега к нему летит дьявол, проклиная рыбака за то, что тот украл его рыбу. Но над рыбаком парит ангел со словами: «Ты не повредишь ему, он ловит только плохую рыбу!» Все это мой сын нарисовал в субботу утром.

В воскресенье, приблизительно в 5 часов пополудни, неистовой трелью залился дверной колокольчик. Стоял солнечный летний день, обе служанки были на кухне, откуда хорошо просматривалась открытая площадка перед входом. Услышав звонок, все сразу бросились к двери, но за ней никого не оказалось. Я видел даже, как колокольчик покачивался! Мы молча смотрели друг на друга. Поверьте, все это выглядело тогда очень странным и пугающим! Я знал: что-то должно случиться. Дом наводнили призраки, они бродили толпами. Их было так много, что я едва мог дышать и без конца спрашивал себя: «Бог мой, что же это такое?» Призраки отвечали мне: «Мы вернулись из Иерусалима, там мы не нашли того, что искали». Эти слова я сделал началом «Septem Sermones...».

Затем слова хлынули непрерывным потоком, и за три вечера вещь была написана. И едва я взялся за перо, как весь сонм при-



зраков мгновенно исчез. Наваждение рассеялось, в комнате стало тихо, и воздух очистился. К вечеру снова что-то стало сгущаться, но потом все прошло. Было это в 1916 году.

Это невероятное событие следовало принимать таким, каким оно было, или, по крайней мере, таким, каким я его себе представлял. Оно, вне всякого сомнения, было связано с моим эмоциональным состоянием, которое и спровоцировало парапсихологические феномены. Это скопище бессознательных образов натолкнуло меня на мысль о присутствии некоего архетипического нумена. «Все неспроста и все полно примет»<sup>1</sup>. Разум, конечно, мог подобрать естественнонаучное объяснение происшедшему, а мог, что куда проще, объявить его не соответствующим законам, следовательно — не существующим. Но если бы все в этом мире соответствовало законам, он, думаю, был бы слишком суров для нас.

Незадолго до названных событий я записал фантазию, в которой душа покидала меня. Смысл здесь просматривался четко: душа, анима, устанавливала связь с бессознательным, и *это* была связь с миром мертвых — бессознательное соответствует мифологической «стране мертвых», земле предков. И, если в моей фантазии душа отлетала, это означало, что она возвращается в бессознательное, в «страну мертвых». Подобное явление еще называют «потерей души» — оно нередко встречается у примитивных народов. В «стране мертвых» душе дана таинственная способность оживлять призраков и облекать в видимые формы древние инстинкты, т. е. коллективное бессознательное. Подобно медиуму, она дает мертвым возможность соприкоснуться с нашим миром. Поэтому вскоре после исчезновения моей души, явились «мертвые» — и так возникли «Septem Sermones...».

С тех пор мертвые стали для меня неким долженствованием, которое не дает ответа, не имеет решения, от которого не дано избавления. Однако судьбой мне предназначено было отвечать, и эти обязательства я давал своему внутреннему миру, а не миру, окружавшему меня. Общение с мертвыми явилось своего рода прелюдией к моим работам о бессознательном, адресованным

---

<sup>1</sup> Фауст, ч. II, акт V.

этому миру. Они обозначили смысл и определили порядок всему, что есть и было в бессознательном.

Когда я возвращаюсь к прошлому и перебираю в памяти все случившееся со мной тогда, мне кажется, что это было послание — род приказа. Эти образы содержали нечто, относившиеся не только ко мне. Именно тогда я начал сознавать, что отныне не принадлежу себе, что у меня больше нет на это права. Мои научные изыскания относились к областям, в ту пору наукой еще не освоенным. Я экспериментировал над самим собой, но задачу ставил шире — «пересадить» результаты моего субъективного опыта на реальную почву, иначе они останутся фактами моей личной биографии. Тогда же я заставил себя целиком подчиниться собственным психическим состояниям. Я их любил и одновременно с тем ненавидел, но они были моим единственным достоянием. Посвящая свою жизнь их изучению, я понимал, что лишь таким образом смогу переживать свое бытие как нечто всеобщее.

Сегодня уже можно сказать, что я никогда не забывал о своих первых фантазиях. Все мной передуманное и сделанное имело истоки в тех первых снах и видениях. Это началось в 1912 году, почти 50 лет назад. Все, что произошло в моей жизни после, там уже присутствовало — только поначалу в форме эмоций и образов.

Научные занятия для меня были единственным способом и единственной возможностью преодолеть тот хаос, иначе я потерял бы себя во всем этом нагромождении образов. Ценой огромных усилий я старался осмыслить каждый отдельный образ, каждый устойчивый элемент бессознательного, и настолько, насколько это удавалось, упорядочить их на каком-то рациональном основании, а главное, установить их связь с реальной жизнью. Этими вещами мы обычно пренебрегаем; мы размышляем над ними, конечно, иногда удивляемся — но не более. Мы не даем себе труда понять их, не говоря уже о том, чтобы делать из них моральные выводы. Для нас куда предпочтительнее придумывать пространные отговорки о негативном влиянии бессознательного.

Не менее серьезную ошибку допускают те, по мнению которых достаточно лишь как-то объяснить образ и это уже будет

знанием о нем. Если человек не рассматривает это знание как этическую заповедь, он впадает в иллюзию собственной власти над бессознательным, что может привести к опасным последствиям, губительным не только для других людей, но и для того, кто считает себя «посвященным». Образы из бессознательно налагают на человека огромную ответственность. Непонимание этого, равно как и уклонение от морального долга, лишает человека целостности и придает его жизни характер болезненной раздробленности.

Когда меня целиком захватил материал из моего бессознательного, я решил оставить работу в Цюрихском университете, где, будучи приват-доцентом, в продолжение восьми лет (с 1905 года) читал лекции. Мои опыты и уход в мир внутренний препятствовали внешней интеллектуальной деятельности. Закончив «Метаморфозы и символы либидо», я почти три года не мог открыть ни одну научную книгу. Заниматься наукой я больше не мог, рассказать о своих действительных занятиях не осмеливался. Меня угнетали беспомощность перед тем материалом, которым я в тот момент располагал. Я не был способен его понять и, тем более, каким-то образом оформить. В университете со мной считались, меня уважали, и поэтому я понимал, что вначале должен определиться сам. Было бы опасно продолжать учить студентов, обрушивая на них собственные сомнения и тем самым дезориентируя их.

Итак, я стоял перед выбором: или продолжать свою вполне успешную академическую карьеру, или, следуя логике своего внутреннего развития, целям высшего порядка, ценой невероятных усилий двигаться вперед, не прекращать удивительный опыт — диалог с бессознательным.

Таким образом я сознательно отказался от академической карьеры, поскольку знал, что, не закончив опыта, не смогу предстать перед публикой. Со мной происходило нечто важное: мне казалось, что *sub specie aeternitatis* (с точки зрения вечности. — *лат.*) это заполнит всю мою жизнь. Я был готов пойти на любой риск.

Так ли уж важно, в конце концов, сделаюсь я профессором или нет? Правда, я без особой радости принимал свою судьбу, пожалуй, отчасти я сожалел, что не могу жить как все, по общепринятым нормам. Но подобные эмоции проходящи и, по боль-

шому счету, мало что значат. То, другое во мне, было важнее. И когда, сосредоточиваясь, я внимал своему внутреннему голосу, досадное чувство отступало. Такое за мной водилось и раньше. Первые подобные опыты я испытал еще в детстве. И в юности мне случалось приходиться в бешенство, но как только эмоции достигали пика, они тут же спадали, наступало затишье. В такие моменты все, что еще недавно волновало меня, оставалось далеко позади и казалось давно пережитым.

Следствием моего решения и моих занятий, предмет которых не был понятен ни мне, ни другим, стало крайнее глубокое одиночество. Это проявилось очень скоро; мне не с кем было поделиться своими размышлениями — они могли быть превратно истолкованы. Я очень болезненно переживал противоречие между окружающим меня миром и тем, что находил в себе. Тогда я еще не знал, что два эти мира могут взаимодействовать, и видел лишь разлад между «внутренним» и «внешним».

Тем не менее главная цель не вызывала у меня никаких сомнений: я смогу вынести свои идеи на суд общества и добиться признания только в том случае, если ценой невероятных усилий сумею доказать реальность моих психологических опытов, суть которых касается не меня лично, и как некий «коллективный» опыт имеет отношение ко всем людям. Позднее я попытался это отразить в моей научной работе, но сперва сделал все возможное, чтобы ознакомить моих близких с новой *manière de voir* (точкой зрения. — *фр.*) Я знал, что, если это не удастся, меня ждет полная изоляция.

Только к концу первой мировой войны окружавший меня мрак стал постепенно рассеиваться. Причиной тому были две вещи: во-первых, я прекратил общение с женщиной, чей голос пытался внушить мне, будто мои фантазии имеют некую художественную ценность, во-вторых, — и это главное! — я начал понимать, зачем так настойчиво рисовал «мандалы». Это было в 1918 или 1919 году. Первую мандалу я изобразил в 1916, после того как написал «*Septem Sermones...*»; смысл ее тогда остался неясен.

В 1918—1919 годах я был комендантом зоны английских войск в Шато д'Эксе. Каждое утро я рисовал в записной книжке маленький кружок — мандалу, которая в тот момент отражала

некое мое внутреннее состояние. Эти рисунки демонстрировали мне, что происходило с моей психикой изо дня в день. Туда мне однажды пришло письмо от той самой эстетствующей особы. Она старалась снова убедить меня в том, что мои бессознательные фантазии имеют художественную ценность и что их следует понимать как искусство. Я занервничал. Письмо оказалось далеко не глупым и потому достаточно провокационным. Современный художник, в конце концов, творит, опираясь на бессознательное, — так считала моя корреспондентка. Тем не менее ее позиция, пусть утилитарная и поверхностная, возродила мои былые сомнения: действительно ли мои фантазии были спонтанными и естественными, или же я допускал некий произвол, принимая какие-то особые усилия? Нашему сознанию вообще присущ такой известный предрассудок как самообольщение, когда любую мало-мальски позитивную мысль мы спешим присвоить себе, а всякого рода низменные побуждения рассматриваем как случайные и посторонние. От этого не был свободен и я, что породило во мне раздражение и внутренний разлад, а на следующий день появилась измененная мандала: часть круга была разорвана и симметрия нарушена.

Лишь со временем я понял, чем же на самом деле является мандала: это самодостаточность, внутренняя целостность, что стремится к гармонии и не терпит самообмана. «Так вечный смысл стремится в вечной смене от воплощения к перевоплощению»<sup>1</sup>.

Мои мандалы были криптограммами, они объясняли состояние моей души и каждый день принимали новую форму. В них я видел себя, то есть все мое существо в его становлении. Вначале мое представление о них было смутным, хотя я уже тогда сознавал, как много они значат, и хранил их как драгоценные жемчужины. Я был убежден, что в них выражена самая суть предмета и что со временем они откроют мне все происходящее со мной. Мне это виделось так, как если бы я и мой внутренний мир — были монадой этого бесконечного мира и мандала составляет эту монаду, микрокосм моей души.

---

<sup>1</sup> Фауст, ч. II, акт I.

Уже не помню, сколько кругов мандалы я нарисовал тогда — очень много. Все это время я вновь и вновь задавал себе вопрос: «Куда ведет меня эта работа? Какова ее цель?» Я уже знал по опыту, что не имею права поставить перед собой цель, которой мог бы довериться безоговорочно. У меня была возможность убедиться, что мое «я» не имеет достаточных полномочий, я с этим уже сталкивался. Я охотно продолжил бы работу над мифами, начатую в «Метаморфозах и символах...» — такова была моя цель. Но об этом не стоило и думать: я был вынужден пропустить через себя нескончаемый поток бессознательного, который нес меня неизвестно куда. Но когда я начал рисовать мандалы, то заметил, что все пути, по которым я шел, все шаги, которые я совершал, вели назад, к некоему центру. Я понял, что мандала и есть этот центр, средоточие всех путей, т.е. главный путь, что составляет индивидуальность.

Тогда же, в период между 1918 и 1920 годами, ко мне пришло понимание того, что цель психического развития — самодостаточность. Не существует линейной эволюции, есть некая замкнутая «самость». Однонаправленное развитие возможно лишь вначале, затем все отчетливее проступает центр. Сознание этого вернуло мне уверенность в себе и внутреннее равновесие. Когда я выяснил, что выражает мандала, я достиг своего конечного знания. Может, кому-нибудь известно больше, но мне этого было достаточно.

Несколько лет спустя (в 1927 году) я увидел сон, в котором подтвердились мои идеи о центре и замкнутом, самодостаточном развитии. Я выразил содержание этого сна в одной мандале, которую назвал «Окно в вечность». Этот рисунок был воспроизведен в «Тайне Золотого цветка». Через год появился второй рисунок: это тоже была мандала, с золотым дворцом в центре. Закончив ее, я спросил себя: «Почему в ней столько китайского?» Меня самого удивила ее форма и выбор оттенков, они казались мне «китайскими», хотя объективно — ничего «китайского» в мандале не было. Но я воспринимал ее так. По странному совпадению незадолго до этого мне пришло письмо от Рихарда Вильгельма, в которое была вложена рукопись какого-то даосского алхимического трактата под названием «Тайна Золотого цветка» с просьбой его прокомментировать. Я сразу же взялся за рукопись и нашел там неожиданное подтверждение своим идеям о

мандале и о центростремительном движении. Стало быть, я не одинок, я обнаружил нечто родственное в этой китайской рукописи, — в любом случае она впрямую затрагивала мои идеи.

В память об этом совпадении я написал на рисунке: «Когда рисовал этот золотой дворец, получил от Рихарда Вильгельма из Франкфурта тысячелетней древности китайский текст о золотом дворце — центре всего сущего, начале всех начал».

А вот мой сон о мандале.

Я увидел себя в каком-то грязном и закопченном городе. Стояла темная зимняя ночь, шел дождь. Это был Ливерпуль. С полудюжиной швейцарцев я шагал по темным улицам. По моему, мы удалялись от моря и поднимались вверх — сам город стоял на скале. Он чем-то напомнил мне Базель: внизу находился рынок, от которого подымались крутые улочки к собору и площади св. Петра. Поднявшись, мы увидели перед собой широкую слабо освещенную площадь, с множеством выходящих на нее улиц. Город имел радиальную структуру, с площадью в центре. Посреди площади находился круглый пруд, а в центре пруда — маленький остров. В то время как все вокруг скрывала густая пелена дождя и тумана, островок сверкал в солнечных лучах. На нем росло единственное дерево — усыпанная розовыми цветами магнолия. Казалось, что дерево не просто залито светом, но само излучает свет. Мои спутники сетовали на погоду, совершенно не обращая внимания на дерево. Они говорили о каком-то другом швейцарце, жившем в Ливерпуле, и удивлялись, почему он выбрал именно этот город. Я же был так заворожен красотой цветущего дерева и солнечного острова, что подумал: «Я знаю зачем». И в этот момент я проснулся.

Следует упомянуть еще об одной немаловажной детали: часть городских кварталов тоже была выстроена радиально вокруг маленькой открытой площади, освещенной одним большим фонарем; эта площадь представляла собой маленькую копию острова. И я почему-то был уверен, что тот «другой швейцарец» жил рядом с этим вторым центром.

Сон был отражением моего тогдашнего состояния. Я и сейчас, будто наяву вижу свой серо-желтый дождевик, мокрый и скользкий; все вокруг мрачно, темно и мутно — именно так я себя

тогда чувствовал. И все же мне открылось нечто прекрасное, благодаря чему я вообще мог жить. Ливерпуль (Liverpool) — это «плюс жизни», «pool of life». «Liver» — печень, считавшаяся у древних средоточием жизни.

Это сновидение оставило у меня ощущение некой окончательности, завершенности. В нем выражалась цель — тот самый главный путь, которого мне не избежать. Сон объяснил мне, что самодостаточность, самость, — архетипический смысл и принцип определения себя в этом мире. В том сновидении была целительная сила, и тогда ко мне впервые пришло предчувствие моего мифа.

После этого я перестал рисовать мандалы. Сон открыл мне душевное состояние и стал таким образом высшей точкой моего сознательного развития, принес покой и уверенность в себе. Хотя я верил в полезность моих занятий, мне тогда не хватало собственного понимания происходящего, а среди знакомых не было никого, кто был бы способен мне помочь. Сновидение же позволило взглянуть на себя со стороны.

Без этого я, скорее всего, окончательно запутался бы и, возможно, отказался бы от дальнейших экспериментов с бессознательным. Но сновидение открыло мне смысл и значение происходящего. Расставаясь с Фрейдом, я знал, что вторгаюсь в неизведанную область, и все же решился шагнуть в темноту. И, когда этот сон явился мне, я принял его как *actus gratiae* (благодать. — *лат.*).

Мне понадобилось сорок пять лет, чтобы облечь в строгие научные формы все, что я тогда пережил и записал. В молодости я мечтал о научной карьере, но этот пламенный поток, эта страсть захватили меня, преобразив и переплавив в своем огне всю мою жизнь. Именно страсть оказалась первоэлементом, и все мои работы — лишь более или менее удачная попытка сделать ее достоянием современников, частью их мировидения. Первые впечатления и сны были как раскаленный поток базальта — из него выкристаллизовался камень, который я уже мог обрабатывать.

Годы, когда я следовал своим внутренним образам, я считаю самыми важными в моей жизни. Они определили ее смысл, ее основу, а последующие частности — это только дополнения и уточнения. Вся моя дальнейшая деятельность была посвящена последовательной разработке того, что в те годы прорвалось из бессознательного. Это стало первоосновой моей работы и моей жизни.



## Происхождение моих сочинений

Встреча с бессознательным была переломным событием в моей жизни. Лишь спустя двадцать лет после долгой и упорной работы я начал что-то понимать в содержании моих видений.

На первоначальном этапе необходимо было определить некий исторический ряд, предварявший мои внутренние опыты, то есть по сути ответить на вопрос: кто мои исторические предшественники? Иначе мне никогда не удалось бы найти ничего подтверждающего мои идеи. Встреча с алхимией в этом смысле была решающей, только благодаря ей я получил недостающие мне исторические основания.

Аналитическая психология по существу относится к естественным наукам, хотя она как никакая другая наука, зависит от субъективных предпосылок исследователя. Именно поэтому — чтобы исключить вероятность грубых ошибок в оценках и суждениях — она в гораздо большей степени, чем другие науки, нуждается в документально-исторических аналогиях.

С 1918 и по 1926 год я серьезно интересовался гностиками, которые тоже соприкоснулись с миром бессознательного, обращаясь к его сути, явно проистекавшей из природы инстинктов. Каким образом им удалось прийти к этому — сказать сложно, сохранившиеся свидетельства крайне скупы, к тому же исходят большей частью из противоположного лагеря — от отцов церкви. Сомневаюсь, чтобы у гностиков могли сложиться какие-либо психологические концепции. В своих установках они были слишком далеки от меня, чтобы можно было обнаружить какую-либо

мою связь с ними. Традиция, идущая от гностиков, казалась мне прерванной, мне долгое время не удавалось навести хоть какой-нибудь мостик, соединяющий гностиков или неоплатоников с современностью. Лишь приступив к изучению алхимии, я обнаружил, что она исторически связана с гностицизмом, что именно благодаря ей возникла определенная преемственность между прошлым и настоящим. Уходящая корнями в натурфилософию средневековая алхимия и послужила тем мостом, который, с одной стороны, был обращен в прошлое — к гностикам, с другой же — в будущее, к современной психологии бессознательного. Основоположителем последней являлся Фрейд, который обратился к классическим мотивам гностиков: сексуальности, с одной стороны, и жесткой отцовской авторитарности — с другой. Гностические мотивы Яхве и Бога Творца Фрейд возродил в мифе об отцовском начале и связанном с ним сверх-эго. Во фрейдовском мифе сверх-эго предстает как демон, породивший мир иллюзий, страстей и разочарований. Правда, материалистическое начало в алхимии, проникновение ее в тайны материи и т. д. заслонило для Фрейда другой важный аспект гностицизма — первичный образ духа как некоего другого, высшего божества. Согласно гностической традиции, это высшее божество послало людям в дар так называемый «кратер» — «сосуд духовной трансформации». «Кратер», чаша — женственный принцип, которому не нашлось места во фрейдовском патриархальном, мужском, мире<sup>1</sup>. И Фрейд был не одинок в своих предрассудках. В католическом мире Богоматерь и невест Христовых лишь недавно допустили в Телемскую обитель и тем самым, после многовековых колебаний, частично их узаконили. У протестантов и иудеев, как и прежде, во главе остается Бог Отец. В изотерической философии алхимиков, напротив, доминирует женское начало. Важнейшее место в «женской» символике алхимиков отводилось чаше, в которой происходило превращение и перерождение субстанций. В моих психологических концепциях централь-

---

<sup>1</sup> В гностическом трактате «Поймандр» «кратер» представляет собой чашу духа, ниспосланную на землю Создателем для того, чтобы жаждущие высшего знания приняли в ней крещение. Это была своего рода купель духовного обновления и перерождения. — А. Я.

ным также являлся процесс внутреннего перерождения — *индивидуации*.

До того как я открыл для себя алхимию, мне приснилось несколько снов с одинаковым сюжетом.

В снах я увидел рядом с моим домом другой — неизвестную мне пристройку или какой-то флигель. И каждый раз меня удивляло, почему этот дом мне не знаком, ведь я несомненно бывал там. Наконец мне приснился сон, в котором я зашел туда и обнаружил прекрасную библиотеку, в основном книги XVI и XVII веков. Толстые фолианты в переплетах из свиной кожи стояли вдоль стен, в некоторых из них я нашел странные гравюры с изображением диковинных символов, каких прежде не видал. Тогда они были для меня загадкой, и только много позже я узнал, что это были алхимические символы. Во сне я лишь ощутил таинственное очарование, исходящее от библиотеки в целом, представлявшей собой средневековое собрание инкунабул и рукописей.

Неизвестная часть дома была частью моей личности, моего «я», она являлась чем-то принадлежавшим мне, но мною не осознанным. Флигель и, в первую очередь, библиотека указывали на алхимию, о которой я ничего не знал и которую вскоре начал изучать. Лет через пятнадцать я сам собрал такую же библиотеку.

В 1926 году я увидел потрясающий сон, предвосхитивший мои занятия алхимией.

Дело происходило на юге Тироля. Шла война. Я находился на итальянском фронте и пробирался в тыл вместе с каким-то невысоким крестьянином в его телеге. Кругом рвались снаряды, и я понимал, что нужно ехать как можно быстрее, поскольку оставаться там опасно. Нам предстояло преодолеть мост через туннель со взорванными сводами. В конце туннеля неожиданно открылся освещенный солнцем пейзаж, и я узнал окрестности Вероны. Внизу раскинулся сияющий солнечный город. Мне сразу стало легко. Дальше мы двигались по зеленой, цветущей ломбардской равнине, через рисовые поля и виноградники. В конце дороги я увидел огромных размеров господский дом — по-видимому, замок какого-то итальянского аристократа. Он представлял собой типичное поместье с множеством хозяйственных строений. К замку через обширный двор вела аллея. Мой маленький

возница и я, въехали в одни ворота, а затем, наткнулись на другие: справа от нас был фасад господского дома, слева — хозяйственные пристройки, конюшня, амбар и т. п. Когда мы оказались посреди двора, прямо перед главным входом, все ворота вдруг с грохотом захлопнулись. Возница спрыгнул с телеги и крикнул мне: «Теперь мы заперты в XVII веке». «И вправду, — подумал я. — Но что мы будем здесь делать? Мы оказались в плену на целый год». И тут же явилась спасительная мысль: «Ничего, ведь через год мы отсюда выберемся».

Не теряя времени, я сразу кинулся перелистывать толстые тома по истории религии и философии, хотя и не надеялся прояснить что-либо. Но через некоторое время выяснилось, что и этот сон указывает на алхимию, ее расцвет как раз приходился на XVII век. Удивительно, но я совершенно забыл все, что написал об алхимии Герберт Зильберер. Когда вышла его книга, я воспринимал алхимию как нечто чуждое и курьезное, хотя самого автора чрезвычайно ценил, его взгляд на вещи я считал вполне конструктивным, о чем и написал ему. Но, как показала трагическая смерть Зильберера, конструктивность не обернулась для него благоразумием (он покончил с собой. — *ред.*). Он в основном использовал поздний материал, в котором я плохо ориентировался. Поздние алхимические тексты — барочные и фантастические, их следовало сперва расшифровать, и только после этого можно было определить их подлинную ценность.

Мало-мальски удовлетворительное представление о природе алхимии позволило мне получить знакомство с текстом «Золотого цветка», китайским трактатом, который прислал мне Рихард Вильгельм в 1928 году. Тогда у меня появилось желание узнать об алхимии как можно больше. Я попросил одного мюнхенского книготорговца сообщать мне обо всех книгах по алхимии, которые будут попадать к нему в руки. Вскоре я получил первую такую книгу «*Artis Auriferae Volumina Duo*» (1593), являющуюся собранием классических латинских текстов.

Книгу я продержал два года. Рассматривая рисунки в ней, я каждый раз удивлялся: «Боже правый, какая чушь! Понять это невозможно». И все-таки то и дело обращался к ней, решив в конце концов заняться ею более обстоятельно. Я посвятил книге целую зиму, и вскоре чтение увлекло меня. Причем текст по-пре-

жнему казался мне абракадаброй, но иногда попадались фразы и целые абзацы, вполне доступные и вразумительные, до меня дошло, что все дело в символах, что это именно те символы, смысл и значение которых служили основой моей работы все предыдущие годы. «Да это же фантастика, — думал я. — Я просто *обязан* научиться понимать это». Теперь я с головой ушел в алхимию, и сидел за книгу, едва только у меня появлялась свободная минута. Однажды, когда я сидел над текстами, мне внезапно вспомнился сон о «ловушке в XVII веке». Наконец-то его значение прояснилось. «Так и есть. Теперь я обречен штудировать алхимию».

Но прошло достаточно времени, прежде чем я отыскал путь в алхимическом лабиринте, у меня, увы, не было Ариадны, которая вручила бы мне клубок. Как-то, читая «Rosarium», я обратил внимание, что некоторые странные выражения и обороты встречаются гораздо чаще других, как-то: «*solve et coagule*», «*unum vas*», «*lapis*», «*prima materia*», «*Mercurius*» и т. д. («разлагать и соединять», «сосуд», «камень», «первичная материя», «Меркурий». — *лат.*). Я видел, что эти выражения повторялись вновь и вновь и с определенным смыслом. Но поскольку окончательной уверенности у меня не было, я решил составить своего рода глоссарий. Со временем в него вошли несколько тысяч ключевых слов, одними выдержками из текстов я исписал целые тома. Я работал как филолог, так, будто я расшифровывал неизвестный язык. Но таким образом мне стал постепенно открываться смысл алхимических текстов, я начал понимать эту специфическую манеру выражения. Правда, на это ушло 10 лет жизни.

Довольно скоро я обнаружил поразительное сходство аналитической психологии с алхимией. опыты алхимиков были в каком-то смысле моими опытами, их мир — моим миром. Открытие меня обрадовало: наконец-то я нашел исторический аналог своей психологии бессознательного и обрел твердую почву. Эта параллель, а также восстановление непрерывной духовной традиции, идущей от гностиков, давали мне некоторую опору. Когда я вчитался в средневековые тексты, все встало на свои места: мир образов и видений, опытные данные, собранные мной за прошедшее время, и выводы, к которым я пришел. Я стал понимать их в исто-

рической связи. Мои типологические исследования, начало которым положили занятия мифологией, получили новый толчок. Архетипы и природа их переместились в центр моей работы. Теперь я обрел уверенность, что без истории нет психологии — и в первую очередь это относится к психологии бессознательного. Когда речь заходит о сознательных процессах, вполне возможно, что индивидуального опыта будет достаточно для их объяснения, но уже невроты в своем анамнезе требуют более глубоких знаний; когда врач сталкивается с необходимостью принять нестандартное решение, одних его ассоциаций явно недостаточно.

Мои занятия алхимией имели непосредственное отношение к Гёте. Он каким-то непостижимым образом оказался вовлеченным в извечный процесс архетипических превращений. «Фауста» Гёте понимал как *opus magnum* или *opus divinum* (великое, или божественное, деяние. — *лат.*), не случайно называя его своим «главным делом», подчеркивая, что в этой драме заключена вся его жизнь. Его творческая субстанция была, в широком смысле, отражением объективных процессов, знаменательным сновидением *mundus archetypus* (мира архетипов. — *лат.*).

Мной самим овладели те же сны, и у меня есть «главное дело», которому я отдал себя с одиннадцати лет. Вся моя жизнь была подчинена одной идее и вела к одной цели: разгадать тайну человеческой личности. Это было главным, и все мои работы, все, что я сделал, связано с этим.

Всерьез мои научные исследования начались в 1903 году с ассоциативных экспериментов. Я отношусь к ним, как к первым опытам научной работы, как к своего рода, естественнонаучному предприятию. За «Ассоциативными экспериментами в диагностике» последовали две работы, о которых говорилось выше: «Психология *dementia praecox*» и «Содержание психозов». В 1912 году была опубликована книга «Метаморфозы и символы либидо», которая положила начало разрыву с Фрейдом. С тех пор я вступил на собственный путь, и *volens-volens* мне пришлось все начать сначала.

Я обратился к собственному подсознанию, что продолжалось с 1913 по 1917 год, затем поток фантазий постепенно иссяк. И только тогда, когда я успокоился и перестал ощущать себя плен-

ником этой «волшебной горы», мне удалось объективно взглянуть на свой опыт и приступить к его анализу. Вот первый вопрос, который я задал себе: «В чем, собственно, заключается проблема бессознательного?» Ответ: «Во взаимодействии между бессознательным и эго». В 1916 году я прочел об этом доклад в Париже, опубликован он был позже, в 1928. К тому времени я уже располагал более обширным материалом и написал книгу, где охарактеризовал некоторые типичные элементы бессознательного, показав, как они коррелируют с сознательными установками.

Параллельно я занимался сбором материала для книги о психологических типах. Целью ее было показать существенное отличие моей концепции от концепций Фрейда и Адлера. Собственно говоря, когда я стал над этим задумываться, передо мной встал вопрос о типах, потому что кругозор человека, его мировоззрение и предрассудки определяются и ограничиваются психологическим типом. Поэтому предметом обсуждения в моей книге стали отношения человека с миром — с людьми и с вещами. В ней освещаются различные стороны сознания, возможные мировоззренческие установки, при этом человеческое сознание рассматривается с так называемой клинической точки зрения. Я обработал массу литературных источников, в частности поэмы Шпиттелера, особенно поэму «Прометей и Эпиметей». Но не только. Огромную роль в моей работе сыграли книги Шиллера и Ницше, духовная история античности и средневековья. Я рискнул послать экземпляр своей книги Шпиттелеру. Он мне тогда не ответил, но вскоре в какой-то лекции заявил, что его книги не «означают» ничего и в «Олимпийской весне» смысла не больше, чем в песенке «Весна пришла. Тра-ля-ля-ля-ля».

В своей книге я утверждал, что всякий образ мыслей обусловлен определенным психологическим типом и что всякая точка зрения в некотором роде относительна. При этом возникал вопрос о единстве, необходимом для компенсации этого разнообразия. Иными словами, я пришел к даосизму. Выше уже упоминалось, какое впечатление произвел на меня присланный Рихардом Вильгельмом даосский текст. В 1929 году мы вместе работали над книгой «Тайна Золотого цветка». Именно тогда мои размышления и исследования стали сходиться к некоему центральному поня-

тию — к идее *самости*, самодостаточности. Это помогло мне вновь почувствовать вкус к нормальной жизни: я читал лекции, немного путешествовал. Множество моих статей и лекций явились как бы противовесом кризисным годам моего молчания и бездействия; в них я уже смог ответить на многие вопросы своих читателей и пациентов.

Любимым творением стала для меня теория либидо — центральная идея книги «Метаморфозы и символы либидо». «Либидо», в моем понимании, — это психическая аналогия физической энергии, оно требует описания в категориях количественных, а не качественных. В учении о либидо я старался избежать конкретизации. Предметом, на мой взгляд, здесь должны были стать не конкретные инстинкты — голод, секс или агрессия, а различные внешние проявления психической энергии.

В физике мы говорим об энергии, которая манифестируется различным образом, будь то электричество, свет, тепло и т. д. То же и в психологии, где мы прежде всего сталкиваемся с энергией (большей или меньшей интенсивности), причем проявляться она может в самых различных формах. Понимание либидо как энергии позволяет получить единое и цельное знание о ней. В этом случае всякого рода вопросы о природе либидо — сексуальность ли это, воля к власти, голод, или что-нибудь еще — отходят на задний план. Я ставил своей целью создать в психологии универсальную энергетическую теорию, такую, какая существует в естественных науках. Эта задача была основной при написании книги «О психической энергии» (1928). Я показал, например, что человеческие инстинкты представляют собой различные формы энергетических процессов, и, как силы, они аналогичны теплу, свету и т. д. Так же как современный физик не станет считать источником всех сил, скажем, тепло, так и психолог не должен сводить все к одному понятию, будь то жажда власти или сексуальность. Такова была исходная ошибка Фрейда. Позже он внес в свою теорию некоторые коррективы, используя термин «инстинктивное эго». Затем уточнил его, называя «сверх-эго», и поставил последнее во главу.

В книге «Отношение между эго и бессознательным» я пояснил, что имею в виду, говоря о бессознательном, но существенных выводов о его природе сделать еще не сумел. Записывая свои



фантазии, я не мог отделаться от ощущения, что с бессознательными образами происходят разного рода превращения. Но только благодаря алхимии я осознал, что бессознательное — это процесс и что отношения между эго и бессознательным есть, собственно, превращение — или психическое развитие.

В отдельных случаях этот процесс можно обнаружить в сновидениях и фантазиях. В коллективной жизни он проявляется в различных религиозных системах и в изменении их символики. Исследование этих индивидуальных и коллективных изменений позволило мне осмыслить суть алхимического символизма и прийти к центральному понятию моей психологии: к процессу *индивидуации*.

С самого начала важное место в моей работе занимали проблемы мировоззрения и взаимоотношений между психологией и религией. Я посвятил им книгу «Психология и религия» (1940), а позже достаточно обстоятельно изложил свою точку зрения в «Paracelsica» (1942), во второй ее главе «Парацельс как духовное явление». В трудах Парацельса много оригинальных идей, в них отчетливо видны философские установки алхимиков, но в позднем, барочном выражении. После знакомства с Парацельсом мне показалось, что я наконец понял сущность алхимии в ее связи с религией и психологией — иными словами, я стал рассматривать алхимию как форму религиозной философии. Этой проблеме посвящена моя работа «Психология и алхимия» (1944), в которой я смог обратиться к собственному опыту 1913—1917 годов. Процесс, переживаемый мной в те годы, соответствовал процессу алхимического превращения, о котором и шла речь в этой книге.

Естественно, что тогда не менее важным был для меня вопрос о связи символов бессознательного с христианскими символами, а также с символами других религий. Христианское наследие, как я считаю, занимает центральное место в духовной жизни западного человека. Оно требует некоторого пересмотра, соответственно духу времени, но оно существует вне времени, и духовный мир человека без него был бы не полон. Я старался показать это в своих работах. Я дал собственную, психологическую интерпретацию догмата о Троице, а также некоторых литературных текстов, в которых я нашел аналогии видениям Зосимы из

Панополиса. Попытка осмыслить христианство в свете аналитической психологии в конце концов привела меня к проблеме Христа как психологического феномена. Уже в 1944 году в «Психологии и алхимии» я попытался проследить сходство между образом Христа и центральным понятием алхимии — ляписом.

В 1939 году я организовал семинар по «*Exercitia Spiritualia*» Игнатия Лойолы. Тогда же у меня накапливался материал для «Психологии и алхимии». Однажды ночью я проснулся и увидел в изножье кровати ярко светившееся распятие; не совсем обычного размера, но очень отчетливое, причем тело Христа казалось как бы отлитым из зеленоватого золота. Видение потрясло меня своей изумительной красотой и в то же время испугало, хотя сами по себе видения для меня дело обычное: мне часто наяву видятся живые и яркие образы, как это бывает при гипнозе.

Я тогда размышлял над «*Anima Christi*», одной из медитаций «*Exercitia*». И видение послужило как бы напоминанием, о том что я забыл об аналогиях «*aurum non vulge*» (необычное золото) и «*viriditas*» (зеленое). Догадавшись, что оно связано с основными символами алхимии и что мне явился своего рода Христос алхимиков, я несколько успокоился.

Зеленое золото — это созидательное начало, которое алхимики обнаружили не только в человеке, но и в неорганической природе. Для них оно олицетворяло «*anima mundi*» — «мировую душу» или «*filius macrocosmi*» — антропоса, сотворившего весь мир. Этот дух присутствует даже в неживой материи, в металлах и камнях. Таким образом, в моем видении соединились образ Христа и его материальный аналог — «*filius macrocosmi*». Если бы не зеленое золото, потрясшее меня, я был бы готов предположить, что в моем представлении о христианстве недостает чего-то очень существенного. Или, иными словами, мой сформировавшийся образ Христа страдает некоторой неполнотой, а значит, мне предстоит восполнить этот недостаток. Однако присутствие металла в моем видении указывает на явную алхимическую природу образа Христа как некоего соединения живого и духовного с мертвой материей.

В следующий раз я затронул проблему Христа в «Айоне». Но здесь меня интересовали не исторические параллели, а только психологическое обоснование. Я постарался показать не внешние

его черты, а изменения, которые на протяжении веков произошли в религиозном содержании этого образа. Мне важно было выяснить, почему явление Христа могло быть предсказано астрологами и как, будучи духом своего времени, он воспринимался на протяжении двух тысячелетий христианской цивилизации. Именно это мне хотелось представить, включая все примечания и комментарии, скопившиеся вокруг священных текстов.

Я приступил к работе после долгих размышлений об исторической личности, конкретном человеке — Иисусе. Она, эта историческая личность, играет огромную роль, поскольку коллективное сознание того времени, иными словами архетип — идея антропоса, — воплотилось в нем, никому не ведомом иудейском пророке. Эта идея, корни которой уходят в иудейскую традицию, с одной стороны, и в египетский миф о Горе, сыне Изиды, — с другой, явилась знамением времени. Первоначально образ Сына Человеческого и Сына Божьего противостоял *divus Augustus* (божественному Августу. — *лат.*) — властителю мира. И вот этот образ, слившись с иудейской идеей мессианства, сделался общечеловеческим достоянием.

Было бы серьезной ошибкой полагать, что это всего лишь «случайность», что Иисус, сын плотника, объявленный евангелистами *salvator mundi*, сделался спасителем мира. Похоже, он был удивительно одаренной личностью, коль ему удалось во всей полноте выразить общие, пусть и бессознательные надежды своего времени, — именно ему — этому человеку, Иисусу, и никому другому.

Воплощенная в божественном цезаре власть Рима, сметавшая все на своем пути, лишала отдельных людей и целые народы их права на привычный образ жизни, на духовную независимость. Сегодня такой угрозой является массовая культура; в этом я вижу причины столь частых ныне слухов и надежд на новое пришествие, бесконечного ожидания мессии — спасителя. Но формы, в которые все это облакается, ни на что не похожи, они характерны для детей «технического века». Я имею в виду миф о «летающих тарелках».

Свою цель я видел в том, чтобы объяснить, как моя психология соотносится с алхимией. И наоборот, я искал в трудах алхи-

миков не только религиозные проблемы, но и специфические проблемы психотерапии. Вопрос вопросов, основная проблема медицинской психотерапии — *Übertragung* (трансфер, перенос. — нем.). Здесь у нас с Фрейдом не было никаких расхождений. Однако мне удалось найти некоторое соответствие этому понятию в алхимии, а именно *coniunctio* — *воссоединение*, о значении которого упоминал еще Зильберер. Я обратил внимание на это соответствие в книге «Психология и алхимия». Позже, два года спустя, я вернулся к этой проблеме в «Психологии переноса» (1946), и наконец, в 1955—1956 годах в «*Mysterium Coniunctionis*».

Почти всегда, когда что-либо занимало меня как человека или ученого, этому предшествовали сны — тоже своего рода перенос. На этот раз мои раздумья о Христе нашли выражение в образе неожиданном и примечательном.

Я снова увидел во сне мой дом с флигелем, в котором я никогда не был. Решившись наконец, я вошел внутрь. Передо мной оказалась какая-то большая дверь. Открыв ее, я увидел комнату, напоминавшую лабораторию. У окна стоял стол, на нем множество сосудов и прочих вещей, которые можно встретить где-нибудь в зоологической лаборатории. Это был рабочий кабинет моего отца, но сам он отсутствовал. На полках вдоль стен стояли сотни аквариумов со всевозможными видами рыб. Меня удивило: стало быть, теперь мой отец занимается ихтиологией!

Осматриваясь, я заметил, что штора время от времени натягивается, как от сильного ветра. Неожиданно передо мной возник Ганс, юноша из нашей деревни. Я попросил его проверить, открыто ли где-нибудь окно. Ганс вышел, но вернулся сильно напуганным — в глазах его стоял ужас. Он смог лишь сказать: «Да, там что-то есть. Там — привидение!»

Тогда я пошел туда сам и увидел дверь, ведущую в комнату моей матери. В ней никого не было. Мне стало не по себе: в этой очень большой комнате с потолка свисали два ряда сундуков — по пять в каждом, на два шага не доходя до пола. Они выглядели как маленькие беседки, площадью 2 м<sup>2</sup>, и в каждой было по две кровати. Я знал, что в этой комнате моя мать, которая на самом деле давно умерла, принимала гостей и что эти кровати предназначены для тех, кто останется ночевать. То были духи, которые

появляются парами, так называемые «обрученные духи», они могут оставаться на ночь, а иногда и на целый день<sup>1</sup>.

На противоположной стороне комнаты была дверь. Я открыл ее и очутился в огромном зале, напоминающем вестибюль роскошного отеля; среди колонн стояло множество кресел и маленьких столиков. Звучала музыка. Я слышал ее еще в комнате, но не мог понять, где ее источник. В зале никого не было, кроме музыкантов, которые оглушительно наяривали какие-то вальсы и марши.

Духовой оркестр в вестибюле отеля выглядел нарочито «здешним», посюсторонним. Никому бы в голову не пришло, что за нарочито реальным фасадом скрыт другой мир, который находится здесь же, в этом же доме. Этот вестибюль из моего сна являлся своего рода карикатурой на мою светскую жизнь. Но это был только внешний покров, за ним пряталось нечто совершенно иное, что никак не вязалось с бравурной музыкой, — лаборатория с рыбами и висячие «ловушки для духов». Там царила полная тайны ночная тишина, тогда как вестибюль представлял дневной мир, с его поверхностным светским существованием.

Самыми важными образами сновидения были «ловушки для духов» и лаборатория с рыбами. Первые — косвенным образом намекали на *coniunctio*, вторая же — на мои размышления, связанные с Христом и распятием; Христос и есть рыба (*ichtys*). И то и другое занимало меня не одно десятилетие.

Примечательно, что изучение рыб было во сне занятием моего отца. Там он был, если можно так выразиться, «хранителем» христианских душ: ведь согласно преданию, души — это рыбы, а апостол Петр — ловец — забрасывает сеть. Характерно и то, что мать моя выступала здесь как страж заблудших душ. Так, мои

---

<sup>1</sup> Подобные «ловушки для духов» я увидел позже в Кении. Это были маленькие домики, в которых люди ставили маленькие кровати и оставляли немного еды («пошо»). В кровать обыкновенно клали кусок глины — символ какой-нибудь болезни, от которой хотели избавиться. К домику вела искусно выложенная камешками дорога, чтобы духи шли туда, а не задерживались в селении, где жил больной. В «ловушке» духи проводили ночь, а на рассвете возвращались в бамбуковый лес, свое постоянное обиталище.

родители приснились мне обремененными проблемой «cura animarum» (лечение душ. — *лат.*), что на самом деле было моей задачей. Значит, что-то несовершенное еще оставалось во мне, и потому я по-прежнему был связан с родителями; что-то скрытое и бессознательное ожидало своего часа. Я еще не был захвачен основной проблемой «философской» алхимии — *coniunctio* и потому не умел ответить на вопросы, которые стояли передо мной, врачомателем христианских душ. Еще не окончена была большая работа над легендой о св. Граале, работа, которую моя жена считала главным делом всей своей жизни<sup>1</sup>. Помню, как часто вспоминались мне чаша св. Грааля и король-рыбак, когда я работал над символом «*ichtys*» в «Айоне». Я очень ценил работу моей жены, не желая вмешиваться в нее, иначе обязательно включил бы легенду о Граале в план моих исследований по алхимии.

Я помню нравственные мучения моего отца. Подобно Амфортасу, королю-рыбаку с неизлечимой раной, он испытывал христианское страдание, от которого алхимики искали панацею. Как безмолвный Парсифаль, я видел все это и, подобно Парсифалю, не знал, как это выразить. Мне оставалось лишь догадываться о них.

Отца на самом деле никогда не интересовал териоморфный символизм Христа. Но он до самой смерти переносил явленные и обещанные Христом страдания, не осознавая их как следствие «*imitatio Christi*». Считая свои страдания своим личным делом, он мог обратиться к врачу, но не воспринимал их как нечто, свойственное вообще христианину. Слова: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20), он никогда не сумел осмыслить до конца, потому что всякое свободное размышление о религии приводило его в ужас. Ему хотелось жить в полном согласии со своей верой, и это сломило его. Такова зачастую награда за *sacrificium intellectus* (жертвование интеллектом. — *лат.*). «Не все вмещают слово сие, но кому дано... и есть

---

<sup>1</sup> После смерти госпожи Юнг в 1955 году эту работу продолжила д-р Мария-Луиза фон Франц, завершившая ее в 1958 году. См.: *Jung E., Franz, von M. -L. Die Graalslegende in psychologischer Sicht. Studien aus dem C. G. Jung-Institut. B. XII. Zürich, 1960. — А. Я.*

скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит» (Мф. 19, 11). Никогда слепое примирение ничего не решало, приводя в лучшем случае к застою. А расплачиваться за него придется следующим поколениям.

Териоморфная атрибутика указывает, что боги, пребывая в высших сферах, присутствуют тем не менее и в области низшей жизни. Животные в какой-то степени являются их тенями, самой природой соединенными со светлыми божественными образами. Символика «*pisciculi Christianorum*» (христианских рыб. — *лат.*) означает, что идущие за Христом подобны рыбам, их души обитают в бессознательной природе, они нуждаются в *сига анимагум*. Итак, лаборатория с рыбами была в моем сне синонимом церкви с ее заботой о человеческой душе. Подобно тому как раненый ранит, исцеленный — исцеляет. Удивительно, почти все, что происходило в моем сне, мертвые проделывали над мертвыми, то есть само действие целиком происходило вне сознания, в бессознательном.

Тогда я многого еще не знал, не осознавал полностью своей задачи и не умел найти удовлетворительного объяснения своему сновидению. Все мои попытки понять его смысл были из области догадок. Мне еще предстояло преодолеть колоссальное внутреннее сопротивление, прежде чем я смог написать «Ответ Иову».

В своем внутреннем развитии эта книга явилась прелюдией к «Айону». Там я обращаюсь к психологии христианства, а Иов в некотором роде предтеча Христа, их связывает идея страдания. Христос — страдающий слуга Господа, таков же Иов. Христос пошел на крест за грехи мира, и этот ответ справедлив для всех страдающих во Христе. И отсюда неизбежен вопрос: на ком лежит вина за эти грехи? В конце концов, мир и его грехи создал Бог, и Он же явил себя во Христе, чтобы разделить страдания человечества.

В «Айоне» я затрагиваю сложную тему о светлой и темной сторонах образа Бога. Я ссылаюсь на «Божий гнев», на заповедь о «страхе Божьем», на «Не введи нас во искушение» (Мф. 6, 13). Именно двойственность Бога — главный мотив в «Книге Иова». Иов полагает, что Бог в какой-то момент станет на его

сторону — против Бога, и в этом состоит трагическое противоречие. Это и станет темой моего «*Ответа Иову*».

Были и внешние причины, подтолкнувшие меня к работе над этой книгой. Я уже не мог отмахнуться от многочисленных вопросов пациентов и публики, чувствуя необходимость объяснить свою точку зрения на религиозные проблемы современного человечества. Долгие годы я колебался, отлично понимая, какой взрыв за этим последует. Сама серьезность проблемы и ее безотлагательность тоже сыграли не последнюю роль — нужно было определиться. «*Объяснение*» состоялось в весьма эмоциональной форме — именно так, как я это переживал. Форма была выбрана мной намеренно, чтобы не сложилось впечатление, что я буду изрекать некие «вечные истины». Моя книга была лишь одним из вопросов и одним из ответов, я надеялся побудить читателя к самостоятельным размышлениям. Я не собирался объявлять себя метафизиком. Но теологи упрекали меня именно в этом, видимо потому, что теологические мыслители приучены исключительно к «вечным истинам». Физик, утверждая, что атом имеет следующее строение и рисуя его модель, менее всего намерен сообщить человечеству некую вечную истину. Но теологи не воспринимают естественнонаучного, и особенно, психологического, типа мышления. Материал аналитической психологии тоже по сути — только факты, т.е. сообщения разных людей, сделанные в разных местах и в разное время.

Проблема Иова и все, что с ней связано, явились мне во сне. Там я пришел к моему давно умершему отцу. Он жил в какой-то незнакомой мне деревне. Я увидел дом в стиле XVIII века, очень просторный, с большими пристройками, который раньше служил гостиницей для приезжающих на воды. Я узнал, что в течение многих лет здесь останавливались известные и знаменитые люди. А некоторые из них здесь умерли, и в крипте у дома находились их саркофаги. Мой отец служил здесь хранителем.

Но я вскоре обнаружил, что здесь отец, в отличие от своей земной жизни, был выдающимся ученым. Я нашел его в его кабинете, где кроме меня находились некий доктор Игрек приблизительно моего возраста и его сын — оба психиатры. Не помню, спрашивал ли я отца о чем-нибудь или он сам захотел мне что-то объяснить, в любом случае важно, что он достал из шкафа большую



Библию — тяжелый том, похожий на Библию Мериана из моей библиотеки. Библия моего отца была в переплете из сверкающей рыбной чешуи. Он открыл Ветхий Завет (думаю, это было Пятикнижие) и стал комментировать отдельные места из него. Он делал это столь быстро и глубоко, что я не поспевал за его мыслью, отметив лишь то, что в его комментариях содержалась бездна всевозможных знаний. Я понимал его лишь отчасти и не мог составить собственного мнения. Было видно, что доктор Игрек совершенно ничего не понял, а его сын начал смеяться, — они решили, что отец впал в старческий маразм и несет полнейшую чепуху. Но я был твердо убежден, что в его волнении нет ничего болезненного, а в его речи — ничего бессмысленного. Напротив, его доводы поражали своей утонченностью и глубиной, просто мы в своей глупости просто оказались не в состоянии следить за его мыслью. Он говорил о чем-то очень важном и увлекательном, он и сам увлекся, поэтому его речь звучала так эмоционально. Я испытывал досаду и жгучий стыд, что отец вынужден говорить для трех таких идиотов.

Оба врача олицетворяли ограниченную медицинскую точку зрения, которая и мне как врачу, безусловно, не была чуждой. Они были моей тенью, более ранней и более поздней версией меня самого — отцом и сыном.

И вдруг декорации переменились: отец и я оказались перед домом, прямо напротив нас стоял дровяной сарай. Оттуда доносился громкий стук, будто кто-то кидал большие поленья. Мне казалось, что в сарае находятся по крайней мере двое рабочих, но отец объяснил, что там лишь призраки. Это были своего рода полтергейсты — шумные духи.

Затем мы вошли в дом и я увидел, какие у него толстые стены. Мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж. Моим глазам открылось удивительное зрелище: зал, а вернее, точная копия зала, где заседал диван султана Акбара в Фатехпур-Сикри. Это была высокая круглая комната с галереей вдоль стен и четырьмя мостиками, которые вели к центру, подобному круглой чаше. Чаша размещалась в гигантской колонне и представляла собой трон султана, отсюда он обращался к совету и философам, которые обычно собирались в галерее. Все вместе это составляло огромную мандалу, она в точности соответствовала залу дивана, который я видел в Индии.

Неожиданно передо мной возникла крутая лестница, поднимающаяся от центра вверх, — и это уже не соответствовало действительности. Наверху виднелась маленькая дверь. Отец сказал: «Теперь я введу тебя в высочайшее присутствие». Похоже, он произнес «highest presence». Опустившись на колени, отец коснулся лбом пола, я с трепетом повторял его движения. По какой-то причине я не мог коснуться лбом пола, оставалось еще несколько миллиметров. Но я склонился вслед за отцом и в этот момент узнал (наверное, от отца), что маленькая дверь ведет в уединенные покои, где живет Урия, доблестный воин царя Давида, которого тот постыдно предал, помогаясь Вирсавии.

Здесь я должен кое-что пояснить. Первоначальная сцена указывает, что какою-то мою подсознательную задачу я предоставил отцу, то есть бессознательному. Он явно поглощен Библией (Бытием) и спешит объяснить свою точку зрения. Рыбья чешуя на переплете Библии — некое бессознательное содержание, поскольку рыбы бессознательны и немые. Попытка моего бедного отца передать свои знания не удалась, так как аудитория была отчасти не способна к пониманию, отчасти раздражительна и глупа.

После этой неудачи мы пересекли двор и вышли на «другую сторону», и там явились полтергейсты. Подобные вещи возникают обычно вблизи подростков. А это означало, что я еще не созрел и пока не в состоянии все осознать. Индийские аллюзии раскрывают понятие «другой стороны». Когда я был в Индии, стремление мандалной структуры того зала к центру поразило меня. Центр — место, где восседал Акбар Великий, правитель полумира, подобный царю Давиду. Но гораздо выше Давида находилась его невинная жертва, его верный слуга Урия, тот, кого царь отдал врагам. Урия — аналог Христа, Богочеловека, которого оставил Бог. Но Давид, кроме всего прочего, «взял себе» жену Урии. Гораздо позже я понял, что это значило: я был принужден открыто и в ущерб себе говорить о противоречивости ветхозаветного Бога, и моя жена была «взята» у меня смертью.

Эти события ожидали меня, будучи спрятанными в моем подсознании. Это судьба склоняла меня и требовала, чтоб я коснулся лбом пола, требовала полного подчинения. Но что-то во мне восстало, что-то говорило: «Склонись, но не до конца». Что-то во мне не повиновалось судьбе, не желая быть немой рыбой; и если бы этого не

было в свободном человеке, то и книга Иова не была бы написана за несколько сотен лет до рождения Христа. Человек никогда не принимал Божественное предписание безоговорочно. В противном случае, что же такое для человека свобода, в чем ее смысл, если человек не в состоянии противостоять тому, что ей угрожает.

Урия находится выше Акбара, его во сне даже называют «highest presence» — так, собственно, обращались к Богу везде, кроме Византии. Я не мог здесь не вспомнить о буддизме и его отношении к богам. Для благочестивого азиата Татхагата — некий абсолют, и по этой причине хинаяна-буддизм совершенно несправедливо заподозрили в атеизме. Власть богов наделяет человека способностью *знать* Творца, человеку даже дана возможность уничтожить какую-то часть творения, а именно — человеческую цивилизацию. Сегодня с помощью радиации человек в состоянии истребить все высшие формы жизни на земле. Идея уничтожения мира буддизму была известна: цепь сансары, цепь причинности, с неизбежностью ведущая к старости, болезни и смерти, может быть прервана, преодолена, — и тогда наступит конец иллюзии бытия, отрицание воли по Шопенгауэру лишь предвещало то, к чему сегодня мы так страшно приблизились. Сон выявляет некое скрытое предчувствие, которое уже долгое время тяготеет над людьми, — это идея о творении, превосходящем творца, превосходящем в малом, но эта малость решает все.

После пребывания в мире сновидений я вновь вернулся к моим книгам. В «Айоне» я вышел на проблемы, о которых следует упомянуть особо. Я попытался показать, почему появление Христа совпало с началом нового эона — эрой Рыб. Существует параллель между Христовым житием и объективным астрономическим событием, наступлением весеннего равноденствия в созвездии Рыб, поэтому Христа следует воспринимать синхронии с Рыбами (как Хаммурапи до него был Овном), он стоит во главе нового эона. Эта проблема освещается в моей работе «Синхронистичность: акаузальный связующий принцип».

От проблемы Христа, поднятой в «Айоне», я приблизился наконец к возникновению антропоса, собственно человека в плане психологическом, к вопросу «самости» и ее выражения в опыте индивида. Ответ я попытался дать в работе «О происхождении сознания» (1954). Здесь речь идет о взаимодействии между со-

знательным и бессознательным, о том, как сознательное развивается из бессознательного, какое влияние на человеческую жизнь оказывает индивидуальность, «внутренний человек».

Связь между моей психологией бессознательного и алхимией окончательно определилась в «*Mysterium Coniunctionis*». В этой книге я снова вернулся к проблемам переноса, но постарался в первую очередь представить алхимию во всем ее объеме как некий род психологии или основание для ее развития. В «*Mysterium Coniunctionis*» моя психология обрела наконец свою действительную историческую подоплеку. Итак, задача была выполнена, мой труд завершен — теперь я мог остановиться. В тот момент я достиг некоторой крайней точки, границы научного постижения, дошел до исходных понятий, до природы архетипа. Мне больше нечего сказать.

Не следует считать этот обзор моих работ исчерпывающим. Мне нужно было сказать гораздо больше или гораздо меньше. Эта глава — скорее, попытка экспромта, как и все, о чем я говорю здесь. Мои работы я рассматриваю как определенные этапы моей жизни, в них нашло выражение мое внутреннее развитие. Ведь обращение к бессознательному в значительной мере способствует формированию человека, меняет его личность.

Моя жизнь — это мой труд, моя духовная работа. Одно неотделимо от другого.

Все мои работы были своего рода предписаниями, они создавались по велению судьбы, по велению свыше. В меня вселялся некий дух, и он говорил за меня. Я никогда не рассчитывал, что мои работы получат такой мощный резонанс. В них было то, чего мне не доставало в современном мире, и я чувствовал, что должен сказать то, чего никто не хотел слышать. Поэтому вначале я и чувствовал себя таким потерянным, я ведь знал, что люди будут стараться всеми силами отгородиться от того, что сложно, что противоречит их сознательным установкам. Сегодня я могу признаться: мне в самом деле кажется удивительным выпавший на мою долю успех. Меньше всего я на это рассчитывал. Главным для меня было сказать то, что должно было быть сказано. Думается, я сделал все, мог. Наверное, можно было сделать больше и лучше, но это уже не в моих силах.

## | Башня

Благодаря научным занятиям мне удалось обнаружить истоки моих фантазий и разного рода проявлений бессознательного. Но я не мог отделаться от ощущения, что только слов и бумаги мне мало — необходимо было найти что-то более существенное. Я испытывал потребность перенести непосредственно — в камень — мои сокровенные мысли и мое знание. Иными словами, я должен был закрепить мою веру камне. Так возникла Башня, дом, который я построил для себя в Боллингене. Кому-то эта идея может показаться абсурдной, но я находил в этом не только глубокое удовлетворение, но и некий смысл<sup>1</sup>.

С самого начала я мечтал иметь дом, построенный у воды. Меня всегда необычайно влекли к себе берега Цюрихского озера, и в 1922 году я купил участок земли в Боллингене. Прежде это были церковные земли, принадлежавшие монастырю св. Галла.

Сперва я собирался строить не дом, а лишь какую-нибудь одноэтажную времянку, круглую, с очагом посередине и кроватями вдоль стен, — эдакое примитивное жилище. Мне виделось что-то вроде африканской хижины, в центре которой, обложенный камнями, горит огонь, и это — семейный очаг, средоточие всего, что происходит в доме. Примитивные хижины по сути своей воплощают идею общности, некоего целого — семьи, которая включает в себя и мелкий домашний скот. Нечто подобное — жилище, которое отвечало бы первобытному человеческому ощущению, — хотелось построить и мне. Оно должно было отвечать

---

<sup>1</sup> Башня в Боллингене была для Юнга не только летним домом, с возрастом он проводил там большую часть года, работая или отдыхая. — А. Я.

ощущению безопасности не только в психологическом, но и в физическом смысле. Но первоначальный план показался мне слишком примитивным, и я изменил его. Я понял, что лучше выстроить нормальный двухэтажный дом, а не вставшую в землю хижину. Так в 1923 году появился первый круглый дом. И когда он был закончен, я увидел, что у меня получилась настоящая жилая Башня.

Связанное с нею чувство покоя и обновления я ощутил почти сразу; Башня стала для меня своего рода материнским лоном. Но постепенно мне стало казаться, что ей чего-то не хватает, — какой-то завершенности, что ли. В 1927 году я пристроил к дому еще одну башенку.

Со временем чувство беспокойства вновь овладело мной. В таком виде постройка по-прежнему казалась мне слишком примитивной, и в 1931 году я из башенки сделал настоящую Башню. В ней я хотел иметь некое пространство, принадлежащее только мне. Мне вспоминались индийские хижины, где всегда есть место (это может быть всего лишь отделенный занавеской угол), в котором человек имеет возможность остаться наедине с собой. Это место отведено для медитаций или занятий йогой.

В моей комнате я был один. Ключ от нее всегда находился при мне, и никто не смел входить туда без моего разрешения. В течение нескольких лет я расписал стены, изобразив на них все то, что уводило меня от обыденности, от дня сегодняшнего. Здесь я предавался размышлениям, давал волю своему воображению, хотя это было довольно тяжело и не всегда приемлемо. И так, это было место духовного сосредоточения.

В 1935 году у меня появилось желание занять клочок собственной земли, обладать каким-то естественным пространством под открытым небом. Через четыре года я присоединил к Башне двор и лоджию на берегу озера. Они стали последним четвертым элементом, неотделимым от единой тройственности дома. Теперь сложилось нечто, связанное с числом «4», четыре части усадьбы, — и более того, за 12 лет.

После того как в 1955 году умерла моя жена, я ощутил некую внутреннюю потребность сделаться тем, кто я есть, стать самим собой. Если перевести это на язык домостроительства — я неожиданно осознал, что срединная часть, такая маленькая и неза-

метная между двумя башнями, выражает меня самого, мое «я». Тогда я пристроил еще один этаж. Прежде я не решался на такое — это казалось мне непозволительной самонадеянностью. На самом деле здесь проявилось превосходящее сознание своего эго, достигаемое лишь с возрастом. Через год после смерти жены все было закончено. Первая Башня была построена в 1923 году, спустя два месяца после смерти моей матери. Обе эти даты полны смысла, потому что Башня, как будет видно из дальнейшего, определенным образом связана с миром мертвых.

Башня сразу стала для меня местом зрелости, материнским лоном, где я мог сделаться тем, чем я был, есть и буду. Она давала мне ощущение, будто я переродился в камне, являлась олицетворением моих предчувствий, моей *индивидуации*, неким памятником аеге реггениус (прочнее меди. — *лат.*). С ее помощью я как бы утверждался в самом себе. Я строил дом по частям, следуя всегда лишь требованиям момента и не задумываясь о внутренней взаимозависимости того, что строится. Можно сказать, что я строил как бы во сне. Только потом, взглянув на то, что получилось, я увидел некий образ, преисполненный смысла: символ душевной целостности.

В Боллингене я живу естественной для себя жизнью. Здесь я словно «старый сын своей матери». Так называли это алхимики, это та самая «старость», которую я уже пережил, будучи ребенком, это мой «номер 2», который всегда был и будет. Он существует вне времени, и он — сын бессознательного, «старец», Филемон из моих фантазий обрел себя в Боллингене.

Порой я ощущаю, будто вбираю в себя пространство и окружающие меня предметы. Я живу в каждом дереве, в плеске волн, в облаках, в животных, которые приходят и уходят, — в каждом существе. В Башне нет ничего, что бы не менялось в течение десятилетий и с чем бы я не чувствовал связи. Здесь все имеет свою историю — и это моя история. Здесь проходит та грань, за которой открывается безграничное царство бессознательного.

Я отказался от электричества, сам топлю печь и плиту, а по вечерам зажигаю старинные лампы. У меня нет водопровода, я беру воду из колодца. Я рублю дрова и готовлю еду. В этих простых вещах заключается та простота, которая так нелегко дается человеку.

В Боллингене я окружен тишиной и живу «in modest harmony with nature» (в хрупкой гармонии с природой. — *англ.*)<sup>1</sup>. Мысли увлекают меня далеко назад, вглубь веков, или наоборот — в столь же отдаленное будущее. Здесь муки созидания не тревожат меня, сам творческий процесс больше напоминает игру.

В 1950 году я решил запечатлеть в каком-нибудь памятнике из камня все, что значила для меня Башня. История этого камня сама по себе весьма любопытна.

Когда мне потребовались для постройки стены вокруг так называемого сада, я заказал их на каменоломне, расположенной недалеко от Боллингена. В моем присутствии каменщик продиктовал все размеры владельцу каменоломни, и тот записал их в свою книжку. Когда же заказанное привезли и начали выгружать, выяснилось, что размеры углового камня абсолютно неверны: вместо треугольного камня прислали куб — идеальный куб значительно больших размеров, чем было заказано, около полуметра толщиной. Каменщик пришел в ярость и велел увезти камень обратно.

Но я, увидев камень, сказал: «Нет, этот камень — мой, пусть он останется у меня!» Я сразу же понял, что он мне нужен, что я должен с ним что-то сделать. Правда, я еще не знал, что именно.

Первое, что я тогда вспомнил, — это одно латинское стихотворение. Его автор — алхимик Арнальдо де Вилланова (ум. в 1313). Я высек его на камне. В переводе оно звучит так:

*Вот лежит камень, он невзрачен,  
Цена его до смешного мала.  
Но мудрый ценит то,  
Чем пренебрегают глупцы.*

Это стихи об алхимическом камне — ляписе, он действительно несколько не ценится людьми непосвященными.

Вскоре ко мне пришла одна идея. На поверхности камня я обнаружил созданный природой маленький круг, своего рода

---

<sup>1</sup> Юнг приводит название старинной китайской гравюры, изображающей старичка на фоне героического пейзажа. — А. Я.



глаз, смотрящий на меня. Я прорезал его на камне и в центр поместил маленького человечка. Это был «мальчик» — «мальчик в глазах», кабир или Телесфор Асклепия. В античности его изображали в плаще с капюшоном и с фонарем в руке: он был тем, кто указывает путь. Я набросал в его честь несколько строк, придуманных мной, во время работы. В переводе эта греческая надпись звучит так:

«Время — ребенок, играет ребенку подобно, играет подобно актерам; время — царство детей. Се Телесфор, что странствует во тьме вселенской и вспыхивает звездой из глубин. Ему ведом путь через врата Гелиосовы, через пределы, где обитают боги сна».

Приведенные слова рождались одно за другим, пока я работал с камнем.

Той стороной, что была обращена к озеру, камень «говорил» на латыни. Все стихи для этой надписи я взял у алхимиков. Вот ее перевод:

*Одинок я в сиротстве своем, но найти меня  
можно всюду.*

*Я един, но сам себе противопоставлен.  
Я и старец, и отрок.*

*Не знаю я ни отца, ни матери.  
Ибо извлекли меня подобно рыбе из глубин,  
Или же пал я на землю, будто камень небесный.  
По горам и лесам странствую я, но скрыт я  
во человеках.*

*Для каждого я смертен, но не подвластен времени  
переменам.*

И, наконец, под стихами Арнальдо де Виллановы я тоже сделал латинскую надпись: «В память о своем семидесятипятилетии и с благодарностью К. Г. Юнг: 1950».

Работа закончилась, я снова и снова с удивлением смотрел на камень и спрашивал себя: какой во всем этом смысл?

Камень находится вне Башни и некоторым образом объясняет ее. В определенном смысле он служит выражением обитателя Башни, но на языке не всем доступном. Знаете, что мне хотелось высечь на обратной стороне камня? — «Le cri de Merlin!» (Он

кричит о Мерлине. — *фр.*) Потому что смысл, заключающийся в камне, напоминает мне о Мерлине в лесу, уже после того, как он удалился от мира. По преданию, люди иногда еще слышат его крики, но не могут их ни понять, ни объяснить.

Мерлин является попыткой средневекового подсознания сотворить образ, подобный Парсифалю. Парсифаль — христианский герой, тогда как Мерлин — его тень, сын дьявола и девственницы. В XII веке, когда родилась легенда, еще не существовало предпосылок для такого ее понимания. Потому он уходит в лес, и потому «*le spi de Merlin*» — даже после смерти. Крик этот, непонятный никому, означает, что Мерлин продолжает жить в этой своей нереализованной и бессознательной форме. Его история не может закончиться, она совершается всегда. Тайну Мерлина, как мне представляется, алхимики воплотили в образе Меркурия. Я пытался дать объяснение в психологии бессознательного, но она и по сей день не понята! Ведь в большинстве своем люди даже не знают, что бессознательное существует. Мое собственное категорическое знание о нем, естественно, не становится их знанием.

Это случилось в Боллингене как раз тогда, когда была построена первая Башня, зимой 1923—1924 года. Помнится, снега на земле не было, возможно, это была ранняя весна. Я жил один, может, неделю, может, больше. Вокруг стояла поразительная тишина, прежде я никогда не ощущал ее так сильно.

Как-то вечером — отчетливо это помню — я расположился у огня, грея воду в большом чайнике, чтобы вымыть посуду. Вода начала кипеть, и чайник запел. Он звучал как многоголосый хор, как какой-нибудь струнный инструмент или как целый оркестр. Это напоминало стереофоническое звучание, которого на самом деле терпеть не могу. Но в этот момент оно производило потрясающее впечатление: будто один оркестр находился в Башне, а другой — снаружи. Сначала вступал один, потом другой, словно они отвечали друг другу.

Околдованный, я сидел и слушал — больше часа слушал этот концерт, эту волшебную мелодию природы. То была тихая музыка, но со всеми естественными диссонансами, что на самом деле верно, потому что в природе существует не только гармония, природа противоречива и хаотична. Так было и в музыке, звуки на-

плывали то как волны, то как ветер, и это было так удивительно, что передать словами невозможно.

Ранней весной 1924 года я снова оказался один в Боллингене. Я затопил печь. Вечер стоял такой же тихий. Ночью меня разбудил звук приглушенных шагов, будто кто-то ходил вокруг Башни. Издалека доносилась музыка, она звучала все ближе и ближе, наконец послышались голоса, чьи-то речи и смех. Кто может там ходить? Что происходит? Вдоль озера тянулась только одна маленькая тропинка, и по ней едва ли кто-нибудь стал бы ходить! Размышляя таким образом, я окончательно проснулся и, подойдя к окну, открыл ставни — все было тихо. Я никого не увидел и ничего не услышал — ни ветра, ничего.

«Это действительно странно», — подумалось мне. Я был уверен, что и шаги, и голоса, и смех мне не пригрезились, но, похоже, это был всего лишь сон. Я снова лег, думая, как я мог так обмануться и почему мне вообще приснился такой странный сон. С этими мыслями я заснул, и все началось сначала — шаги, голоса, смех и музыка. В тот же момент передо мной возникли сотни темных фигур, возможно, это были крестьянские мальчишки в воскресных костюмах. Они спустились с гор и заполонили пространство вокруг Башни, со смехом и топотом распевая песни и играя на гармониках. Меня это разозлило: «Черт знает что такое! Я думал — это сон, а это на самом деле, и это уж слишком!» С этим чувством я проснулся, вскочил, открыл окно, распахнул ставни и — все опять было тихо: лунная ночь и мертвая тишина. И тогда я подумал: «Может, здесь были привидения!»

Разумеется, меня интересовало, что это значит, отчего мой сон кажется мне настолько реальным, что я сразу просыпаюсь. Обычно такую реакцию вызывают привидения, и пробуждение означает действительное переживание. Сон таким образом выражал ту вполне реальную ситуацию, в которой я проснулся. Подобные сны, в противоположность обычным, говорят о намерении бессознательного передать спящему ощущение абсолютной реальности происходящего, причем при повторении это ощущение усиливается. Источником может быть, с одной стороны, физическое потрясение, с другой — архетипические образы.

В ту ночь все происходящее во сне было настолько реальным или, по крайней мере, казалось таковым, что я почти не отличал сна

от действительности. Смысла его я понять не смог. Что означала эта вереница поющих крестьянских мальчиков? Мне казалось, они явились сюда из любопытства, им хотелось посмотреть на Башню.

Никогда больше я не испытывал ничего подобного и не видел таких снов. Рассказывать о таких вещах не принято, я даже не припомню, чтобы когда-нибудь слышал о чем-то сходном. Объяснение пришло позже, когда я читал хронику Люцерна XVII века. Там есть такой сюжет: дело было в Альпах, на горе Пилат, известной своими привидениями. По преданию, Вотан и по сей день совершает там свои магические действия. Там одного человека однажды ночью потревожили люди, идущие длинной вереницей, они с песнями и музыкой окружили его хижину. Именно это я испытал тогда в Башне. На следующий день человек спросил пастуха, который у него ночевал, что бы это могло значить. Тот, не задумываясь, ответил: это, должно быть, «*salig Lüt*» (здесь: души умерших. — *швейц. диалект*), неприкаянные души, Вотаново войско. Блуждая, они имеют обыкновение показываться людям.

Возможно, на меня подействовало длительное одиночество, пустота и тишина вокруг, а это видение множества людей принадлежит к тому же типу явлений, что и галлюцинации отшельников, и носит компенсаторный характер. Однако почему же происходящее было настолько реальным? Может быть, из-за одиночества моя чувствительность обострилась настолько, что я оказался лицом к лицу с той самой вереницей «*salig Lüt*».

Но такое объяснение никогда до конца меня не удовлетворяло, я не стал бы утверждать, что это была галлюцинация. На мой взгляд, ощущение реальности происходящего, бесспорно, заслуживало специального внимания, особенно в связи с параллельным сюжетом средневековой хроники.

Вполне возможно, что я столкнулся с неким синхронным явлением, когда какие-либо происшествия, которые мы подразумеваем или предчувствуем, на деле вполне соответствуют реальности. У моего видения был ведь и конкретный исторический аналог: процессии молодых людей имели место в средние века — это были колонны наемников, которых обычно набирали весной из разных провинций, они направлялись в Локарно, там сливались в «*casa di feggio*» (железный отряд. — *итал.*) и дальше двигались маршем в Милан. В Италии они были солдатами, сражающимися под чу-

жими знаменами. И мое видение, похоже, представляло один из таких регулярных весенних наборов, сопровождаемых песнями и шумными гуляньями.

Этот странный сон долгое время занимал мои мысли.

Когда в 1923 году мы начали здесь строиться, моя старшая дочь неожиданно сказала: «Как можно здесь строить? Здесь же трупы!» Я подумал тогда: «Ерунда, ничего подобного!» Но, когда мы делали пристройку здесь действительно обнаружили человеческие кости. Они находились на двухметровой глубине. В локтевом суставе правой руки застряла пуля от винтовки старинного образца. Судя по положению костей, тело сбросили в могилу не сразу, а после того как оно разложилось. Это были останки одного из французских солдат, утонувших в Линте в 1799 году, их тела вынесло на берега Верхнего озера. Случилось это, когда австрийцы взорвали мост у Гринау, который штурмовали французы. Фотография разрытой могилы с датой ее обнаружения (22 августа 1927 года) хранится у меня в Башне.

Я устроил солдату официальные похороны: его опустили в могилу, и я трижды выстрелил в воздух. Позже я установил могильную плиту с надписью. Моя дочь интуитивно почувствовала присутствие мертвеца. Эту способность она унаследовала от моей бабушки по материнской линии.

Зимой 1955/56 года я высек имена моих предков на трех каменных плитах, установленных во дворе Башни. Потолок в ней был расписан геральдическими мотивами — моими, моей жены и зятьев.

Первоначально герб Юнгов украшал феникс — символ молодости и возрождения. Позже мой дед, желая, возможно насолить отцу, изменил герб. Он был масоном (вольным каменщиком), Великим мастером Швейцарской ложи, и это обстоятельство привело к изменениям, произведенным им в фамильном гербе Юнгов. Я привожу этот факт, который сам по себе может показаться несущественным, потому, что он исторически связан с моей жизнью и моими размышлениями.

После того как дед изменил наш герб, феникса на нем уже не было. Его заменили голубой крест в правом верхнем углу и голу-

бой виноград слева внизу на золотом поле, их разделяет голубая полоса с золотой звездой. Совершенно очевидно, что это масонская символика. Так же как крест и роза у розенкрейцеров являются собой борьбу противоположностей («per crucem ad rosam», «через крест к розе») — христианского и дионисийского элементов, так крест и виноград символизируют дух земной, хтонический, и дух высокий, небесный. Объединяющий символ — золотая звезда, «aurum philosophorum» (философское золото. — *лат.*).

Философия розенкрейцеров вышла из герметической, собственно алхимической, философии. Одним из основателей ордена был Михаэль Майер (1568—1622), известный алхимик и младший современник малоизвестного, но гораздо более крупного алхимика Герхарда Дорна (жившего в конце XVI столетия), чьи трактаты составляют первый том «Theatrum Chemicum» (1602). Франкфурт, где жили они оба, являлся тогда центром алхимической философии. Во всяком случае, Михаэль Майер — придворный учитель и врач Рудольфа II — был местной знаменитостью. В соседнем Майнце в то же время жил доктор медицины и юриспруденции Карл Юнг (ум. в 1654), о котором больше ничего не известно; моя родословная замыкается на моем прадеде Зигмунде Юнге, civis Moguntinus (гражданин Майнца. — *лат.*), родившемся в начале XVIII века. Это объясняется тем, что муниципальные архивы Майнца сгорели во время войны за испанское наследство. Вполне возможно, что этому ученому, д-ру Карлу Юнгу, были известны труды обоих алхимиков, поскольку тогдашняя фармакология все еще находилась под сильным влиянием Парацельса. Дорн, например, открыто поддерживал Парацельса и даже оставил обширные комментарии к его трактату «De vita Longa». Кроме того, он более других занимался процессами индивидуации. Не буду скрывать, все это меня занимало всерьез, поскольку значительную часть своей жизни я отдал работе над проблемами противоположностей, особенно в свете алхимической символики.

Высекая имена на каменных плитах, я чувствовал, что между мной и моими предками существует какая-то роковая связь. Я всегда ощущал свою зависимость от них, от того, что они недорешили, от вопросов, на которые они не ответили. Мне часто казалось, что существует некая безличная карма, которая передается от родителей к детям. Я был убежден, что просто обязан ответить

на вопросы, которые судьба поставила еще перед моими прадедами, что должен хотя бы продолжить то, что они не исполнили. Трудно сказать, сколько в этих вопросах личного, а сколько — общечеловеческого (коллективного). Мне кажется — верно второе. Ведь очень часто проблема, значимая для многих, не всегда признается таковой, в ней усматривают только личную заинтересованность, и такой болезненный интерес, как правило, расценивают как персональное психическое расстройство. Действительно, подобные нарушения встречаются, но они не всегда присутствуют изначально, а могут быть и производными — следствием непереносимых социальных условий. Причину болезни поэтому нужно искать не столько в ближайшем окружении человека, сколько в социальной ситуации. До сих пор эти обстоятельства психотерапии редко принимались в расчет.

Как любой человек, способный к некоторому самоанализу, я полагал, что раздвоение моей собственной личности — мое личное дело и касается только меня. Фауст поведал мне об этом, произнес спасительные слова: «Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом», хотя и ничего не объяснил. Мне казалось, что это сказано про меня. Когда я впервые прочел «Фауста», я не мог знать, насколько пророческим для Германии окажется странный героический миф Гёте. Я понял лишь одно: это касается меня лично. Осознав, что именно гордыня и непростительное легкомыслие Фауста явились причиной убийства Филемона и Бавкиды, я ощущал свою вину так, как если бы сам принимал в прошлом участие в их убийстве. Эта странная мысль пугала меня, необходимо было искупить этот грех или, по крайней мере, не позволить его повторения.

Мои ложные умозаключения получили неожиданное развитие. В юности, не помню от кого, я услышал поразивший меня рассказ, будто мой дед Юнг был родным сыном Гёте. Эта глупая история тем не менее произвела на меня впечатление, как мне казалось, она объясняла мою реакцию на «Фауста». Нет, я не верил в так называемую реинкарнацию, но мне было близко то, что индусы называют кармой. Тогда я и представить не мог, что бессознательное существует, и, естественно не находил никакого психологического объяснения своим реакциям. Просто я ничего не знал о том (а для большинства людей это и по сей день

остаётся неизвестным), что бессознательное подготавливает будущие события задолго до их свершения, что люди, обладающие даром ясновидения могут их предвидеть. Например, когда Якоб Буркхардт узнал о коронации кайзера в Версале, он воскликнул: «Это крах Германии!» Архетипы Вагнера уже стояли у ворот, а с ними пришел дионисийский опыт Ницше, происходящий, видимо, все же от буйного Вотана. Гордыня Вильгельма поразила Европу и стала причиной катастрофы 1914 года.

В юности (в 1890-х) я бессознательно следовал этому духу времени, не умея противостоять ему. «Фауст» пробудил во мне нечто такое, что в некотором смысле помогло мне понять самого себя. Он поднимал проблемы, которые более всего меня волновали: противостояние добра и зла, духа и материи, света и тьмы. Фауст, будучи сам неглубоким философом, сталкивается с темной стороной своего существа, своей зловещей тенью — Мефистофелем. Мефистофель, отрицая самую природу, воплощает подлинный дух жизни в противоположность сухой схоластике Фауста, поставившей его на грань самоубийства. Мои внутренние противоречия проявились здесь как драма. Именно Гёте странным образом обусловил основные линии и решения моих внутренних конфликтов. Дихотомия Фауст — Мефистофель воплотилась для меня в одном единственном человеке, и этим человеком был я. Это касалось меня лично, я узнавал себя. Это была моя судьба и все перипетии драмы — мои собственные; я принимал в них участие со всей пылкостью. Любое решение в данном случае имело для меня ценность. Позднее я сознательно во многих своих работах акцентировал внимание на проблемах, от которых уклонился Гёте в «Фаусте», — это уважение к извечным правам человека, почитание старости и древности, неразрывность духовной истории и культуры<sup>1</sup>.

Наши души, как и тела, состоят из тех же элементов, что тела и души наших предков. Качественная «новизна» индивидуаль-

---

<sup>1</sup> Эта установка Юнга нашла свое выражение в надписи, которую он сделал у въезда в Башню: «*Philemonis Sacrum — Fausti Poenitentia*» (Филемонова святыня — Фаустово раскаяние). Когда надпись была вмурована в стену, Юнг поместил те же слова над входом во вторую Башню. — А. Я.



ной души — результат бесконечной перетасовки составляющих. И тела и души исторически обусловлены имманентно: возникая вновь, они не становятся единственно возможной комбинацией, это лишь мимолетное пристанище неких исходных черт. Мы еще не успели усвоить опыт средневековья, античности и первобытной древности, а нас уже влечет неумолимый поток прогресса, стремительно рвущийся вперед, в будущее, и мы вслед за ним все больше и больше отрываемся от своих естественных корней. Мы отрываемся от прошлого, и оно умирает в нас, и удержать его невозможно. Но именно утрата этой преемственности, этой опоры, эта неукорененность нашей культуры и есть ее так называемая «болезнь»: мы в суматохе и спешке, но все более и более живем будущим, с его химерическими обещаниями «золотого века», забывая о настоящем, напрочь отвергая собственные исторические основания. В бездумной гонке за новизной нам не дает покоя все возрастающее чувство недостаточности, неудовлетворенности и неуверенности. Мы разучились жить тем, что имеем, но живем ожиданиями новых ощущений, живем не в свете настоящего дня, но в сумерках будущего, где в конце концов — по нашему убеждению — взойдет солнце. Зачем нам знать, что лучшее — враг хорошего и стоит слишком дорого, что наши надежды на большие свободы обернулись лишь большей зависимостью от государства, не говоря уже о той ужасной опасности, которую принесли с собой выдающиеся научные открытия. Чем менее мы понимаем смысл существования наших отцов и прадедов, тем менее мы понимаем самих себя. Таким образом отдельный человек теряет навсегда последние родовые корни и инстинкты, превращаясь лишь в частицу в общей массе и следуя лишь тому, что Ницше назвал «Geist der Schwere», духом тяжести.

Опережающий рост качества, связанный с техническим прогрессом, с так называемыми «gadgets» (приспособлениями. — *англ.*), естественно, производит впечатление, но лишь вначале, позже, по прошествии времени, они уже выглядят сомнительными, во всяком случае купленными слишком дорогой ценой. Они не дают счастья или благоденствия, но в большинстве своем создают иллюзорное облегчение; как всякого рода сберегающие мероприятия они на поверку до предела ускоряют темп жизни, оставляя нам все меньше и меньше времени. «Omnis

*fastinatio ex parte — diaboli est*» — «Всякая спешка — от дьявола», как говорили древние.

Изменения же обратного свойства, напротив, как правило, дешевле обходятся и дольше живут, поскольку возвращают нас к простому, проверенному пути, сокращая наши потребности в газетах, радио, телевидении и в прочих, якобы сберегающих наше время, нововведениях.

В этой книге я излагаю очень субъективные вещи, это мое миропонимание, которое ни в коем случае не следует расценивать как некое измышление разума. Это скорее видение, приходящее к человеку тогда, когда он старается уйти, отстраниться от внешних голосов и образов. Мы гораздо лучше слышим и гораздо лучше видим, если нас не зажимают в тисках настоящего, если нас не ограничивают и не преследуют нужды этого часа и этой минуты, заслоняя собственно саму минуту и образы, и голоса бессознательного. Так мы остаемся в неведении, даже не предполагая, насколько в нашей жизни присутствует мир наших предков с его элементарными благами, не задумываясь, отделены ли мы от него непреодолимой стеной. Наш душевный покой и благополучие прежде всего обусловлены тем, в какой мере исторически унаследованные фамильные черты согласуются с эфемерными нуждами настоящего момента.

В моей Башне в Боллингене я чувствую себя так, словно живу одновременно во множестве столетий. Башня переживет меня, хотя все в ней указывает на времена давно прошедшие. Здесь очень немного говорит о сегодняшнем дне.

Если бы человек XVI века оказался в моем доме, лишь спички и керосиновая лампа явились бы для него новинкой, в остальном он ориентировался бы без труда. В Башне нет ничего, что могло бы не понравиться душам предков, — ни телефона, ни электричества. Здесь я пытаюсь найти ответы на вопросы, которые занимали их при жизни и которые они не сумели решить; я пытаюсь — плохо ли, хорошо ли — просто как могу. Я даже изобразил их на стенах, и это похоже на то будто вокруг меня собралась большая молчаливая семья, живущая здесь на протяжении столетий. Здесь обитает мой «номер 2» и существует жизнь во всем ее величии; она проходит и является вновь.

# | Путешествия

## Северная Африка

В начале 1920 года один мой приятель собирался в Тунис по делам и предложил мне присоединиться. Я сразу же согласился. Мы отправились в марте, и ближайшей нашей целью был Алжир. Продвигаясь вдоль побережья, мы достигли Туниса и прибыли в Сузу, где я и оставил своего приятеля.

Наконец-то я оказался там, где так хотел побывать: в неевропейской стране, в которой не говорили ни на одном из европейских языков, не исповедовали христианства, где господствовали иные расовые и исторические традиции, иное мировоззрение, наложившее свой отпечаток на облик толпы. Мне часто хотелось хоть раз посмотреть на европейцев со стороны, чужими глазами. Правда, я совершенно не понимал по-арабски, но тем внимательнее я наблюдал людей, их нравы и привычки. Я многие часы просиживал в арабских кафе, прислушиваясь к беседам, в которых не понимал ни слова. Но меня чрезвычайно заинтересовали мимика беседующих, их способ выражения эмоций; я научился замечать даже незначительные изменения в жестике у арабов, особенно когда они говорили с европейцами. Так я пытался взглянуть на белого человека сквозь призму иной культурной традиции.

То, что европейцы называют восточной невозмутимостью и апатией, мне показалось маской, за которой скрывалось некое беспокойство, волнение, чего я не мог себе объяснить. Странно, но оказавшись на марокканской земле, я ощутил то самое непонятное беспокойство: земля здесь имела странный запах. Это был запах крови — словно почва пропиталась ею. Мне подумалось,

что эта земля пережила и перемолола в себе три цивилизации: карфагенскую, римскую и христианскую. Посмотрим, что принесет исламу технический век.

Покинув Сузу, я направился на юг, в Сфакс, а оттуда — в Сахару, в город-оазис Тоцер. Этот город стоит на небольшой возвышенности, на краю плато, снизу его омывают теплые и соленые источники. Их вода орошает оазис, разбегаясь тысячей маленьких каналов. Высокие старые пальмы создают своеобразную тенистую крышу, под которой цветут персики, абрикосы и инжир, а у самой земли расстилается ярко зеленая альфа. Среди зелени порхали несколько сверкающих, как драгоценные камни, зимородков. Под «крышей» было относительно прохладно, здесь прогуливались какие-то персонажи в белых одеждах, какие-то «нежные пары», не разжимающие объятий — похоже, гомосексуалисты. Я представил себя в Древней Греции, там, где эта склонность укрепляла мужские сообщества и лежала в основе греческого полиса. Было ясно, что мужчины разговаривают здесь с мужчинами, а женщины — с женщинами. Я увидел нескольких женщин в подобных монашеским одеяниях. Лишь некоторые ходили без покрывала, это были, как объяснил мой проводник, проститутки. На главных улицах можно встретить только мужчин и детей.

Проводник подтвердил мне, что гомосексуализм действительно распространен здесь и считается чем-то вполне обычным, в конце концов я тоже получил от него соответствующее предложение. В простоте своей он не догадывался о мысли, которая поразила меня как вспышка молнии, все вдруг объяснив. Я внезапно ощутил себя человеком, вернувшимся в прошлое, на много столетий назад, в мир бесконечно детский, бесконечно наивный, этим людям еще только предстояло с помощью скудного знания, что давал им Коран, из нынешнего состояния, из первобытной тьмы прийти к осознанному существованию, к необходимости защитить себя от угрозы, идущей с Севера.

Будучи все еще под впечатлением этой бесконечной временной протяженности, этого статичного бытия, я вдруг вспомнил о своих карманных часах — символе европейского, все ускоряющегося времени: оно и было той угрозой, той мрачной тучей, что нависла над головами этих наивных счастливых. Они вдруг по-

казались мне мирно пасущимися животными, которые не видят охотника, но в какой-то момент смутно улавливают его запах, его гнетущее присутствие. Этот запах и есть неумолимый бог времени, который неизбежно разделит их вечность на дни, часы и минуты, все дробя и все измельчая.

Из Тоцера я направился в оазис Нефта. Мы двинулись в путь рано утром, сразу после восхода солнца. Нас везли огромные быстроногие мулы, и прибыли мы на место довольно скоро. Недалеко от оазиса нас миновал одинокий всадник; весь в белом, он гордо сидел в седле и, проезжая мимо, никак не приветствовал нас. Под ним был черный мул с украшенными серебряными обручами рогами. Всадник был необыкновенно хорош и по-своему элегантен, он выглядел как человек, у которого никогда не было карманных часов, не говоря уже о наручных, — они были ему без надобности, он и так знал все, что ему нужно. В нем не было той суетности, которая так легко пристает к европейцу. Европейец всегда помнит, что он не таков, каким был прежде, но никогда не знает, чем же он стал. Он убежден, что время — синоним прогресса, но задумывается над тем, что оно же — синоним безвозвратности. С облегченным багажом, постоянно увеличивая скорость, европейец стремится к туманной цели. Все свои потери и вызванное ими «*sentiment d'incompletitude*» (чувство неудовлетворенности. — *фр.*) он восполняет иллюзорными победами — пароходами и железными дорогами, самолетами и ракетами. Он выигрывает в скорости и, сам того не ведая, теряет длительность; переносясь на огромной скорости в иное измерение, в реальность иного порядка.

Чем дальше мы углублялись в Сахару, тем медленнее текло время, угрожая вот-вот повернуть вспять. Вокруг неподвижный и раскаленный воздух, от которого у меня рябило в глазах. Я почти грезил, когда мы добрались до первых пальм и хижин оазиса: мне показалось, что так было всегда.

На следующее утро меня разбудили непривычный шум и крики на улице. Рядом раскинулась большая открытая площадь, которая вечером была пуста. Теперь же здесь толпились люди, верблюды, ослы и мулы. Верблюды ревели, разнообразными вариациями тона выражая свое хроническое недовольство, ослы соревновались с ними, издавая ужасные вопли. Люди бегали, крича

и жестикулируя, они казались чем-то взволнованными и взбудораженными. Проводник объяснил мне, что сегодня большой праздник. Ночью несколько кочевых племен появились в городе, чтобы отработать два дня на полях одного из влиятельных марабутов. Он занимался благотворительностью и владел огромными территориями пахотных земель. Этим людям предстояло расчистить земли для нового поля и подвести к нему каналы.

Неожиданно на дальнем краю площади поднялось облако пыли, затем взметнулось вверх зеленое знамя. Под барабанный бой по площади двинулась длинная процессия из нескольких сотен свирепых мужчин с корзинами и мотыгами. Возглавлял ее седобородый, почтенного вида старик. Он вел себя с неподражаемым достоинством и естественностью, на вид ему было лет сто, а может, и больше. Это и был марабут, сидящий верхом на белом муле, окруженный танцующими мужчинами. Вокруг царили возбуждение, шум, зной, раздавались дикие крики. С фанатичной целеустремленностью процессия прошествовала мимо и направилась в оазис так, будто направлялась на битву. Я последовал за этой ордой на благоразумном расстоянии. Мой проводник не предлагал мне приблизиться к ней до тех пор, пока мы не пришли туда, где «работали». Здесь царила еще большая суматоха. Барабанный бой и неистовые крики неслись со всех сторон, поле было похоже на растревоженный муравейник. Все делалось в крайней спешке. Одни, приплясывая, тащили тяжелые корзины с песком, другие с невероятной скоростью рыли землю, выкапывая ямы и насыпая дамбы. Посреди всего этого шума разъезжал марабут на белом муле, отдавая приказания жестами мягкими и усталыми, но полными благородства. Там, где он появлялся, шум, крики и толкотня сразу усиливались, создавая своего рода фон, на котором спокойная фигура марабута производила необычайное впечатление. К вечеру люди заметно поутихли, в их движениях чувствовалась крайняя усталость, они бессильно опускались на землю возле своих верблюдов и мгновенно засыпали. Ночью воцарилась абсолютная тишина, прерываемая лишь разноголосым лаем собак. А с первыми лучами солнца раздались протяжные вопли муэдзина, возвещавшего время утренней молитвы.

Увиденное кое-что прояснило для меня: эти люди, оказывается, жили в постоянном возбуждении, они были подвластны лишь

эмоциям. Сознание, с одной стороны, задает им некую ориентацию в пространстве посредством разного рода внешних впечатлений, но с другой — они руководствуются страстями и инстинктами. Они не рефлектируют, их мыслящее эго не существует само по себе, не имеет автономии. Во многом они мало чем отличаются от европейцев, разве что немного проще. Мы обладаем гораздо большей преднамеренностью и целенаправленностью, зато их жизнь более интенсивна. Менее всего я желал уподобиться аборигенам, но все-таки заразился, правда физически, — подхватил инфекционный энтерит, от которого, впрочем, через пару дней избавился, обходясь местными средствами: рисовой водой и каломелью.

Я вернулся в Тунис полный мыслей и впечатлений. В ночь перед отплытием в Марсель мне приснился сон, в котором, как я и предполагал, все обрело законченную форму. Ничего удивительного я в этом не нахожу, ведь я приучил себя к тому, что существую одновременно как бы на двух уровнях — сознательном, когда я хочу и не могу что-либо понять, и бессознательном, когда нечто мне ведомо, но не иначе как во сне.

Мне снилось, что я оказался в каком-то арабском городе, и там, как во многих арабских городах, есть некая крепость, а в ней — цитадель, касба. Город был расположен посреди поля и обнесен стеной, которая окружала его с четырех сторон, с каждой стороны были ворота.

Касбу внутреннего города окружал широкий ров (что здесь отнюдь не принято). Я стоял у деревянного моста, ведущего в темную арку: то были ворота, и они были открыты. Мне очень хотелось проникнуть внутрь, и я ступил на мост. Но едва я дошел до середины, как от ворот отделился красивый темнокожий араб — он был царственно хорош, этот юноша в белом бурнусе. Я знал, что это принц и что он живет здесь. Приблизившись, он вдруг набросился на меня, пытаюсь сбить с ног. Завязалась борьба. Мы с силой ударились о перила, они поддались, и мы оба полетели в ров, где араб попытался погрузить мою голову в воду. «Ну, это уж слишком», — подумал я и ухватил его за шею. Меня не оставляло чувство глубокого восхищения этим юношей, но я не мог позволить себя убить и его уби-

вать не собирался. Мне нужно было только, чтобы он потерял сознание и прекратил борьбу.

Вдруг декорации переменялись, и мы оказались в большом восьмиугольном зале со сводчатым потолком — белом зале, где все было просто и хорошо. Вдоль светлых мраморных стен стояли низкие кушетки, а передо мной на полу лежала открытая книга с черными буквами, которые на редкость красиво смотрелись на молочно-белом пергаменте. То была не арабская рукопись, она, скорее, походила на уйгурский текст, знакомый мне по манихейским фрагментам из Турфана. Я не знал, о чем она, но у меня возникло ощущение, будто это была *моя книга*, будто я сам написал ее. Юный принц, с которым мы еще недавно боролись, сидел на полу, справа от меня. Я попытался объяснить ему, что теперь, после того как я взял над ним верх, он должен прочесть эту книгу. Принц воспротивился. Тогда я обнял его за плечи и, так сказать, с отеческой настойчивостью заставил прочитать ее. Я был убежден, что это необходимо, и в конце концов он уступил.

В этом сне арабский юноша был как бы двойником того гордого араба, который проехал мимо нас, не склонив головы. Будучи обитателем касбы, этот персонаж воплощал самость, а точнее, был вестником и представителем самости. Касба, из которой он вышел, представляла собой безупречную мандалу (цитадель, окруженная с четырех сторон стеной и с воротами на каждой стороне). То, как мы с ним боролись, напоминало борьбу Иакова с ангелом; если провести параллель с Библией — он был как ангел Господень, посланник Бога, пожелавший наказать человека за незнание.

Ангел, собственно, должен был «вселиться» в меня, но он знал лишь ангелов и ничего не понимал в людях, поэтому он вначале напал на меня как враг, однако я выстоял. Во второй части сновидения я сам стал хозяином цитадели, и ангел сидел у моих ног, ему пришлось учиться понимать меня, постигать человеческую природу.

Знакомство с арабской культурой в буквальном смысле подавило меня. Эти люди, живущие во власти чувств и страстей, не склонные к долгим размышлениям, в главном для себя опирались на те исторические уровни бессознательного, которые мы в



себе преодолели или думаем, что преодолели. Это как тот детский рай, от которого мы отлучены, но который при любой возможности напоминает о себе. Воистину, наша вера в прогресс таит в себе глубочайшую опасность: предаваясь все более иллюзорным мечтаниям о будущем, наше сознание неотвратимо погружается в свое прошлое состояние.

Но правда и то, что детство — которое из-за своей наивности, мало осознает себя — способно создать совершенный образ целостного и самодостаточного человека во всей его неповторимости. Поэтому взгляд ребенка и первобытного человека может пробудить у взрослого и цивилизованного человека какую-то тоску, какие-то желания, стремления и потребности, ранее невосребованные, свойственные той части личности, которая была подавлена, затерта, загнана внутрь.

Я разъезжал по Африке, пытаюсь обнаружить нечто такое, что в каком-то смысле обретается по ту сторону европейского сознания. Подсознательно я хотел найти ту часть своей индивидуальности, которая затушевывалась под влиянием и под давлением европейского образа жизни. Она, эта часть, бессознательно противостоит моему стремлению подавить ее. В соответствии со своей природой она стремится погрузить меня в бессознательное (утянуть под воду) и тем самым погубить, но благодаря своему знанию я в состоянии ее осознать и обозначить, в состоянии отыскать взаимоприемлемый *modus vivendi*. Темный цвет кожи араба указывает на то, что он — «тьень», но не моего сознательного «я», а в большей степени этническая, то есть тень некой целостности, составляющей мою личность, моей самости. Как хозяин касбы, этот араб был тенью моей самости. Европейец живет в согласии со своим *ratio*, отмечая тем самым большинство человеческих проявлений, и почитает это за благо, не замечая, что достигается оно ценой жизни во всей ее полноте, ценой собственной личности — утратой ее целостности.

Сон объясняет, какое влияние оказало на меня знакомство с Северной Африкой. Прежде всего не исключено было, что мое европейское сознание подвергнется неожиданным и мощным атакам бессознательного. Но на самом деле я ничего подобного не испытал, наоборот, я всякий раз убеждался в своем превосходстве, и жизнь на каждом шагу напоминала мне, что я европейец. К этому я относился как к неизбежности, ведь между мной и

аборигенами всегда существовала некая дистанция, некое отчуждение. Но тот факт, что бессознательное столь явно принимает этот чуждый мне порядок вещей, явился для меня неожиданностью: я не был готов к подобному конфликту, который во сне возник в сюжете об убийстве.

Истинный характер этого расстройтва я понял лишь несколько лет спустя, оказавшись в тропической Африке. Здесь я впервые почувствовал, что значит «going black under the skin» (почернеть под кожей, т.е. в душе. — англ.), эта подстерегающая каждого европейца опасность потерять себя — опасность, еще не вполне осознаваемая нами. «Там, где опасность, там, однако, и спасение» — эти слова Гёльдерлина мне часто вспоминались в подобных ситуациях. «Спасение» заключается в нашей способности осознать, чего хочет темная сторона нашей личности, и в этом нам помогают предостерегающие сны. Они говорят, о присутствии в каждом из нас некоего «существа», которые не только пассивно принимают подсознательные импульсы, но и само переходит в наступление, рвется в бой, — это и есть тень нашего «я». Так же как детские воспоминания могут неожиданно завладеть сознанием, вызывая столь живое чувство, что мы вдруг ощущаем себя перенесенными в мир детства, так и этот, иной и чуждый нам, образ жизни будит архетипическую память о прошлом, которое мы, казалось, совершенно забыли. Это воспоминание о потенциальных возможностях, отринутых цивилизацией, но мы воспринимаем их как своего рода примитивный опыт, как некий варварский пережиток, и предпочитаем забыть о них. Но как только это напоминает о себе, провоцируя конфликт, мы как бы сознательно взвешиваем обе возможности: одну — реально проживаемую, другую — забытую. И тогда становится ясно: утраченное не всегда может найти слова в свою защиту. В структуре психики, так же как и в экономике, нет ничего, что совершалось бы механически, все связано со всем, все имеет цель и смысл. Но поскольку сознательный разум не может охватить и осветить всю структуру в целом, он, как правило, не может понять и этот смысл. Поэтому мы вынуждены опираться только на наши знания об этом и надеяться, что в будущем ученые сумеют объяснить, что же означает это столкновение с тенью самости. Во всяком случае, я в тот момент даже не догадывался о природе этого архетипического опыта и еще в меньшей

степени мог найти ему какие бы то ни было исторические параллели. Тем не менее мне надолго запомнился мой сон и мое желание снова при малейшей возможности посетить Африку. Желание это исполнилось лишь через пять лет.

### **Америка: индейцы пуэбло**

Каждый раз, когда возникает потребность взглянуть на вещи критически, нужно смотреть на них со стороны. Это особенно верно в отношении психологии, где материал по природе своей гораздо более субъективен, чем в любой другой области знаний. Как, например, возможно полностью осознать национальные особенности, если мы не можем взглянуть на свой народ со стороны? А это означает — смотреть на него с точки зрения другого народа. И чтобы опыт удался, необходимо получить более или менее удовлетворительное представление о другом коллективном сознании, причем в процессе ассимиляции нам придется столкнуться со многими необычными вещами, которые кажутся несовместимыми с нашими понятиями о норме, которые составляют так называемые национальные предрассудки и определяют национальное своеобразие. Все, что не устраивает нас в других, позволяет понять самих себя. Я начинаю понимать, что есть Англия, лишь тогда, когда я как швейцарец испытываю неудобства. Я начинаю понимать Европу (а это наша главная проблема), если вижу то, что раздражает меня как европейца. Среди моих знакомых много американцев. Именно поездка в Америку дала мне возможность критически подойти к европейскому характеру и образу жизни; мне всегда казалось, что нет ничего полезнее для европейца, чем взглянуть на Европу с крыши небоскреба. Впервые таким образом я воображал европейскую драму, будучи в Сахаре, когда меня окружала цивилизация, отдаленная от европейской приблизительно так же, как Древний Рим — от Нового Света. Тогда мне стало понятно, до какой степени — даже в Америке — я все еще стеснен и замкнут в рамках культурного сознания белого человека. И тогда у меня появилось желание углубить эту историческую аналогию, спустившись еще ниже по культурной лестнице.

Оказавшись в Америке в следующий раз, я вместе с американскими друзьями посетил в Нью-Мехико, город, основанный индейцами пуэбло. Впрочем, «город» — это слишком сильно сказано, на самом деле это просто деревня, но дома в ней, скученные, густозаселенные, выстроенные один над другим, позволяют говорить о «городе», тем более что так его название звучит на их языке. Так впервые мне удалось поговорить с неевропейцем, то есть не с белым. Это был вождь племени Тао, человек лет сорока или пятидесяти, умный и проницательный, по имени Охвия Биано (Горное Озеро). Я говорил с ним так, как мне редко удавалось поговорить с европейцем. Разумеется, и он жил в своем собственном мире, как европеец — в своем, но что это был за мир! В беседе с европейцем вы, словно песок сквозь пальцы, пропускаете общие места, всем известные, но тем более никому не понятные; здесь же — я словно плыл по глубокому неведомому морю. И неизвестно, что доставляет больше наслаждения — открывать для себя новые берега или находить новые пути в познании вещей давно известных, пути древние и практически забытые.

«Смотри, — говорил Охвия Биано, — какими жестокими кажутся белые люди. У них тонкие губы, острые носы, их лица в глубоких морщинах, а глаза все время чего-то ищут. Чего они ищут? Белые всегда чего-то хотят, они всегда беспокойны и нетерпеливы. Мы не знаем, чего они хотят. Мы не понимаем их. Нам кажется, что они сумасшедшие».

Я спросил его, почему он считает всех белых сумасшедшими? «Они говорят, что думают головой», — ответил вождь. «Ну, разумеется! А чем же ты думаешь?» — удивился я. «Наши мысли рождаются здесь», — сказал Охвия, указывая на сердце.

Я был ошеломлен услышанным. Первый раз в жизни (так мне казалось) мне нарисовали истинный портрет белого человека; у меня было такое чувство, будто до этого я не видел ничего, кроме размалеванных сентиментальных картинок. Этот индеец отыскал наше самое уязвимое место, увидел нечто, такое чего не видим мы. У меня возникло ощущение, будто то, чего я не замечал в себе раньше, нечто лишненное очертаний, поднимается во мне. И из этого тумана один за другим выплывают образы. Сначала возникли римские легионеры, разрушающие

галльские города, Цезарь с его резкими, словно высеченными из камня, чертами, Сципион Африканский и, наконец, Помпей. Я увидел римского орла над Северным морем и на берегах Белого Нила. Я увидел Блаженного Августина, принесшего на остриях римских пик христианское «*credo*» бриттам, и Карла Великого с его пресловутым крещением язычников. Я видел банды крестоносцев, грабящих и убивающих. Со всей беспощадностью передо мной обнажилась пустота романтической традиции с ее поэзией крестовых походов. Затем перед глазами появились Колумб, Кортес и прочие конквистадоры, огнем, мечом и пытками проложившие путь христианству, достигшему даже этих отдаленных пуэбло, мечтательных и мирных, почитающих солнце своим отцом. Я увидел, наконец, жителей Новой Зеландии, куда европейцы доставили морем «огненную воду», скарлатину и сифилис.

Этого было достаточно. Все, что у нас зовется колонизацией, миссионерством, распространением цивилизации и пр., имеет и другой облик — облик хищной птицы, которая с жестокостью и упорством находит добычу подальше от своего гнезда, что отроду свойственно пиратам и бандитам. Все эти орлы и прочие хищники, которые украшают наши гербы, дают психологически верное представление о нашей истинной природе.

Однако в том, что сказал Охвия Биано, меня поразило и другое. Его слова так точно передавали особое настроение нашего разговора, что мой рассказ выглядел бы неполным, если бы я не упомянул об этом. Мы беседовали на крыше самого большого (пятиэтажного) здания, откуда были видны и другие крыши и на них — фигуры индейцев, закутанных в шерстяные одеяла и созерцающих солнце, свершающее свой путь по небу каждый день, с утра до вечера. Вокруг нас, сгрудившись, стояли низкие квадратные дома, сложенные из высушенного на солнце кирпича (адоба), с характерными лестницами, которые поднимались от земли до крыши и от крыши — к крышам соседних строений. Прежде, в тревожные для индейцев времена, вход в дом обычно располагался на крыше. Перед нами до самого горизонта тянулось предгорье Тао (примерно 2300 м над уровнем моря), некоторые вершины с воронками потухших вулканов достигали 4000 м. Позади нас, за домами, текла прозрач-

ная река, на противоположном берегу которой виднелось еще одно селение пуэбло с такими же домами из красного кирпича, высота которых увеличивалась по направлению к центру, что странным образом напоминало американскую столицу с ее небоскребами в центре. Примерно в полудне езды вверх по реке возвышалась большая гора, просто Гора, Гора без имени. Говорят, что, когда она затянута облаками, мужчины уходят туда, чтобы совершать таинственные обряды.

Индейцы пуэбло чрезвычайно скрытны, особенно в том, что касается их религии. Свои обряды они совершают в глубокой тайне, которая охраняется настолько строго, что я воздержался от расспросов — это ни к чему не привело бы. Никогда раньше я не сталкивался с подобной таинственностью. Религии современных цивилизованных народов вполне доступны, их таинства уже давно перестали быть таковыми. Здесь же сам воздух был исполнен тайны, — тайны, известной всем, но недоступной для белых. Эта странная ситуация напомнила мне об Элевсинских мистериях, об их тайнах, которые всем известны, но никогда не разглашаются. Я понял, чувства какого-нибудь Павсания или Геродота, когда писал: «Мне не позволено называть имя этого бога». Здесь царил не мистификация, а мистерия, и нарушение тайны несло в себе опасность, одинаковую для всех и каждого. Хранение же ее наделяет индейца пуэбло некой гордостью и силой, позволяющей противостоять агрессивной экспансии белых. Эта тайна рождает у него чувство своего единства с племенем. Я убежден, что пуэбло как особая общность сохранятся до тех пор, пока будут храниться их тайны.

Поразительно, насколько меняется индеец, когда заходит речь о религии. Обычно он полностью владеет собой и ведет себя с достоинством, что порой граничит с равнодушием. Но когда он заговаривает о вещах, имеющих отношение к его священным тайнам, он становится необыкновенно эмоциональным, не в силах скрывать свои чувства. И это в какой-то степени позволяло мне удовлетворить свое любопытство. Выше я уже говорил, что от прямых расспросов мне пришлось отказаться. Поэтому, желая узнать что-то существенное, я старался делать это крайне осторожно; наблюдая за выражением лица собеседника. Если я касался чего-то важного, он замолкал или же отвечал уклончиво,

но на лице его появлялись следы глубокого волнения, глаза наполнялись слезами. Религия для индейцев — отнюдь не теория (можно ли создать теорию, способную вызвать слезы), это то, что имеет прямое и непосредственное отношение к действительности и значит столько же, если не больше.

Когда мы сидели на крыше с Охвией Биано, а слепящее солнце поднималось все выше и выше, он вдруг сказал, указывая на него: «Тот, кто движется там, в небе, не наш ли это Отец? Разве можно думать иначе? Разве может быть другой Бог? Без солнца ничто не может существовать!» Все сильнее волнуясь, он с трудом подбирая слова, и наконец воскликнул: «Что человек делал бы один в горах? Без солнца он не смог бы даже соорудить себе очаг!»

Я спросил, не допускает ли он, что солнце может быть огненным шаром, форму которого определил невидимый Бог. Мой вопрос не вызвал у него ни удивления, ни негодования. Вопрос показался ему настолько нелепым, что он даже не счел его глупым — а просто не обратил на него внимания. Я испытал, будто оказался перед неприступной стеной. Единственное, что я услышал в ответ: «Солнце — Бог! Это видно любому».

Хотя никто не станет отрицать огромного значения солнца, но то чувство и то волнение, с которым говорили о нем эти спокойные, скрытные люди, было для меня внове и глубоко меня трогало.

В другой раз, когда я стоял у реки и смотрел на гору, возвышавшуюся почти на 2000 м, мне пришла в голову мысль, что это и есть крыша всего американского континента и что люди, живущие здесь, подобны индейцам, которые, завернувшись в одеяла, стоят на самых высоких крышах Пуэбло, молчаливые и погруженные в созерцание — лицом к солнцу. Внезапно глубокий, дрожащий от тайного волнения голос произнес слева от меня: «Тебе не кажется, что вся жизнь идет от Горы?» Это старый индеец в мокасинах неслышно подошел ко мне и и задал свой — не знаю, как далеко идущий — вопрос. Взгляд на реку, струящуюся с горы, объяснил мне, что его подтолкнуло. По-видимому, вся жизнь идет от Горы потому, что там — вода, а где вода, там жизнь. Нет ничего более очевидного. В его вопросе слышалось глубокое волнение, и я вспомнил разговоры о таинственных ритуалах,

совершаемых на Горе. «Каждый может видеть, что ты сказал правду», — ответил я ему.

К сожалению, наша беседа вскоре прервалась, так что мне не удалось составить более глубокое понятие относительно символизма воды и горы.

Я обратил внимание, что индейцы пуэбло, с такой неохотой рассказывавшие о вещах религиозных, с большой готовностью и воодушевлением обсуждали свои отношения с американцами. «Почему американцы не оставят нас в покое? — вопрошал Горное Озеро. — Почему они хотят запретить наши танцы? Почему они не позволяют нашим юношам уходить из школы, когда мы хотим отвести их в Киву<sup>1</sup>. Мы ведь не делаем ничего, что приносило бы вред американцам!» После долгого молчания он продолжил: «Американцы хотят запретить нашу религию. Почему они не могут оставить нас в покое? То, что мы делаем, мы делаем не только для себя, но и для американцев тоже. Да, мы делаем это для всех. Это нужно всем».

По его волнению я понял, что вождь имеет в виду что-то очень важное в своей религии. «Выходит, то, что вы делаете, приносит пользу всем?» — спросил я. «Конечно! Если бы мы не делали этого, что бы случилось тогда?» — ответил он с необыкновенным воодушевлением и многозначительно указал на солнце.

Я ощутил, что мы приблизились к деликатной сфере, которая затрагивает священные тайны племени. «Ведь мы — народ, — сказал он, — который живет на крыше мира, мы — дети солнца, и, совершая свои обряды, мы помогаем нашему Отцу шествовать по небу. Если мы перестанем это делать, то через десять лет солнце не будет всходить и наступит вечная ночь».

Теперь я знал, откуда берется достоинство и невозмутимое спокойствие этого человека. Он — сын солнца, и его жизнь полна космологического смысла — он помогает своему Отцу, творцу и хранителю жизни на земле, — он помогает ему совершать это ежедневное восхождение. Если в свете такого самоопределения мы попытаемся объяснить назначение собственной жизни, то, как подсказывает здравый смысл, его убожество поразит нас. Мы покровительственно улыбаемся первобытной наивности индей-

---

<sup>1</sup> Место, где совершаются ритуалы.



ца, кичимся своей мудростью. Почему? Да потому, что нас гложет обыкновенная зависть. Ведь в противном случае на свет божий выйдут наша духовная нищета и никчемность. Знания не делают нас богаче, но все дальше уводят от мифологического миропонимания, которое свойственно было нам когда-то по праву рождения.

Если мы на минуту отрешимся от нашего европейского рационализма и окажемся вдруг на этих вершинах с их кристальным воздухом, где по одну сторону — полоса материковых прерий, по другую — Тихий океан, если мы пожертвуем своими сознательными представлениями о мире ради этой бескрайней линии горизонта, за которой скрыто, то, чего мы не знаем, что неподвластно сознанию, — только тогда мы увидим мир таким, каким его видят индейцы пуэбло. «Вся жизнь приходит с гор», — и в этом они могут убедиться непосредственно. Точно так же они убеждены, что живут на крыше безграничного мира, ближе всех к Богу. Бог слышит их лучше других, их поклонение их обряды достигают далекого солнца раньше, чем другие. Священная Гора, явление Яхве на горе Синай, вдохновение, испытанное Ницше на Энгадене, — все это явления одного порядка. Мысль о том, что исполнение обряда может магическим образом воздействовать на солнце, мы считаем абсурдной, но, если вдуматься, она не столь уж безумна, более того, она нам гораздо ближе, чем мы предполагаем. Наша христианская религия, как и всякая другая, проникнута идеей, что особого рода действия или поступки — ритуал, молитва или богоугодные дела — могут влиять на Бога.

Ритуальные действия всегда являют собой некий ответ, обратную реакцию, и предполагают не только прямое «воздействие», но зачастую преследуют и магическую цель. Но чувство, что ты сам в состоянии ответить на проявление Божественного могущества, что ты, сам, способен сделать для Бога что-то важное, преисполняет человека гордостью, дает ему возможность ощутить себя своего рода метафизическим фактором. «Бог и мы» — даже если это бессознательный *sous-entendu* (намека. — *фр.*) это все же ощущение равноправности, позволяющее человеку вести себя с завидным достоинством, и такой человек в полном смысле слова находится на своем месте.

## Кения и Уганда

Tout est bien sortant des mains  
de l'Auteur des choses.

*Rousseau*<sup>1</sup>

На Лондонской выставке в Уэмбли (1925) на меня произвела неизгладимое впечатление экспозиция, посвященная племенам и народностям, находившимся под британским протекторатом, и я решил, что в ближайшем будущем отправлюсь в тропическую Африку. Мне давно хотелось пусть недолго, но пожить в какой-нибудь неевропейской стране, среди людей, мало похожих на европейцев.

Осенью того же года с двумя друзьями, англичанином и американцем, я выехал в Момбаз. Кроме нас на пароходе было много молодых англичан, направляющихся в колонии, чтобы занять свои посты. Царившая на борту атмосфера ясно давала понять, что эти люди путешествуют не ради удовольствия, но в силу необходимости. Конечно, они выглядели веселыми, но общий серьезный тон был очевиден. О судьбе большинства попутчиков мне стало известно еще до того, как я вернулся домой. Некоторых из них постигла смерть буквально в течение ближайших двух месяцев, они умерли от тропической малярии, инфекционной дизентерии и воспаления легких. Среди умерших был молодой человек, сидевший за столом напротив меня. Другим был доктор Экли, работавший в обезьяньем питомнике, с которым я подружился в Нью-Йорке незадолго до этого путешествия. Он умер, когда я еще находился на Элгоне, и весть о его смерти дошла до меня уже после возвращения.

Момбаз остался в моей памяти как жарко-влажный город, упрятанный в лесу, среди пальм и манго, очень живописный, с природной гаванью и старинным португальским фортом, — город столь же европейский, сколь и негритянский и индийский. Мы пробыли там два дня и к вечеру третьего отправились по узкоколейке в Найроби.

---

<sup>1</sup> Все, что выходит из рук Творца, — благо. *Руссо*.

Наступала тропическая ночь. Мы ехали вдоль прибрежной полосы, мимо многочисленных негритянских селений, где люди сидели и беседовали, расположившись вокруг небольших костров. Вскоре поезд пошел на подъем, селения исчезли. Опустилась фиолетово-черная ночь. Жара немного спала, и я заснул. Меня разбудили первые лучи солнца; поезд, окутанный красным облаком пыли, как раз огибал оранжево-красный скалистый обрыв. На выступе скалы, опершись на длинное копьё и глядя вниз на поезд, неподвижно стояла тонкая черно-коричневая фигурка. Рядом возвышался гигантский кактус.

Я был околдован необычным зрелищем. Это была встреча с чем-то совершенно чуждым, никогда не виденным мной, но в то же время я ощущал некое сильное *sentiment du déj  vu* (чувство узнавания. — *фр.*). Мне казалось, что я всегда знал этот мир и лишь случайно оказался разделенным с ним во времени. Казалось, будто я возвратился в страну своей юности и знаю этого темнокожего человека — он ждет меня уже пять тысяч лет.

Это настроение не покидало меня все время, пока я путешествовал по Африке. Помню, что однажды мне доводилось переживать нечто подобное: в тот раз я вместе с моим прежним шефом, профессором Блейлером, впервые столкнулся с парапсихологическими явлениями. До этого я воображал, что буду потрясен, увидев нечто столь невероятное. Но когда это случилось, я даже не был удивлен, восприняв произошедшее как совершенно естественное, само собой разумеющееся, словно я и раньше знал об этом.

Трудно сказать, какую струну задел во мне одинокий темнокожий охотник. Просто я знаю, что этот мир был моим в течение тысячелетий.

Тем не менее я был несколько озадачен. Около полудня поезд прибыл в Найроби, расположенный на высоте 1800 м над уровнем моря. Ярко светило солнце, напомнив мне о сияющей вершине Энгадена, ошеломляющей своим блеском тех, кто поднимался наверх из мглистой долины. И что удивительно, на железнодорожной станции я встретил множество молодых людей в старомодных шерстяных лыжных шапочках, которые я привык видеть, да и сам носил на Энгадене. Они очень удобны потому, что завернутый вверх край можно опустить вниз как ко-

зырек, в Альпах это защита от ледяного ветра, здесь — от палящей жары.

Из Найроби мы на маленьком форде выехали к равнине Атхи, где раскинулся огромный заповедник. С невысокого холма открывался величественный вид на саванну, протянувшуюся до самого горизонта; все покрывали бесчисленные стада животных — зебр, антилоп, газелей и т. д. Жуя траву и медленно покачивая головами, они беззвучно текли вперед, как спокойные реки; это мерное течение лишь иногда прерывалось однотонным криком какой-нибудь хищной птицы. Здесь царил покой извечного начала, это был такой мир, каким он был всегда, до бытия, до человека, до кого-нибудь, кто мог сказать, что этот мир — «этот мир». Потеряв из виду своих попутчиков, я оказался в полном одиночестве и чувствовал себя первым человеком, который узнал этот мир и знанием своим сотворил его для себя.

В этот миг мне во всей полноте открылся космологический смысл сознания. «*Quod natura relinquit imperfectum, ars perficit*» (Что природа оставляет незавершенным, завершает искусство. — *лат.*), — говорили алхимики. Невидимым актом творения человек придает миру завершенность, делая его существование объективным. Мы считаем это заслугой одного лишь Создателя, даже не предполагая, что тем самым превращаем жизнь и собственное бытие в некий часовой механизм, а психологию человеческую — в нечто бессмысленное, развивающееся по заранее предопределенным и известным правилам. Эта утопия часового механизма — совершенно безнадежная — не знает драмы человека и мира, человека и Бога. Ей не ведомо, что есть «новый день» и «новая земля», она подвластна лишь монотонному раскачиванию маятника. Я подумал о своем приятеле, индейце пуэбло: он видел, что смысл его существования в том, чтобы каждый день помогать отцу — Солнцу совершать свой путь по небу. Я не мог избавиться от чувства зависти к нему — ведь его жизнь была полна смысла, а я все еще без всякой надежды искал свой собственный миф. Теперь я его нашел, и более того — осознал, что человек есть тот, кто завершает творение, что он — тот же создатель, что только он один вносит объективный смысл в существование этого мира; без него все это, неслышанное и неувиденное, молча поглощающее пищу, рождающее детенышей и умирающее, бессмысленной тенью сот-

ни миллионов лет пребывало в глубокой тьме небытия, двигаясь к своему неведомому концу. Только человеческое сознание придает всему этому смысл и значение, и в этом великом акте творения человек обрел свое неотъемлемое место.

Железная дорога в этих местах тогда только строилась, и поезд довез нас до конечной (на тот момент) станции «Шестьдесят четыре». Пока слуги выгружали наше объемистое снаряжение, я уселся на шоп-бокс (ящик для провизии, что-то вроде плетеной корзины) и закурил трубку, размышляя о том, что мы наконец достигли края нашей «ойкумены» — обитаемой земли, где начинаются бесконечные тропы, в разных направлениях пересекающие материк. Через какое-то время ко мне подошел немолодой англичанин, очевидно поселенец. Он поинтересовался, куда мы направляемся. Когда я описал ему наш маршрут, он спросил: «Вы первый раз в Африке? Я здесь уже сорок лет». «Да, — ответил я. — По крайней мере, в этой части Африки».

«В таком случае могли ли я вам кое-что посоветовать? Понимаете, сэр, здесь страна не человека, а Бога. И если что-нибудь случится, вы просто сядьте и постарайтесь не волноваться». С этими словами он поднялся и смешался с толпой негров, суетившихся вокруг.

Я долго сидел, пытаясь представить себе психологическое состояние человека, который мог сказать такое. В словах англичанина несомненно сконцентрировалась квинтэссенция его опыта; не человек, а Бог правил здесь, другими словами, не воля или намерение, а непостижимая судьба.

Я все еще продолжал обдумывать его слова, когда раздался сигнал к отъезду и подъехали два наших автомобиля. Мы, восемь человек, взгромоздились вместе с багажом в машины, стараясь устроиться по возможности удобно. Затем несколько часов ни о чем, кроме тряски, думать было невозможно. Ближайшее поселение Какамега, где размещались окружной комиссар, небольшой гарнизон африканцев, вооруженных винтовками, госпиталь и, хотите верьте — хотите нет, маленькая психиатрическая больница, оказалось гораздо дальше, чем я предполагал. Наступил вечер, и внезапно мы очутились в кромешной темноте. И в этот момент разразилась тропическая гроза: гром, молнии и

такой ливень, что через минуту мы вымокли с головы до пят, а каждый мелкий ручеек превратился в бурный поток.

В половине первого ночи, когда уже стало проясняться, мы в плачевном состоянии наконец добрались до Какамеги, где комиссар привел нас в чувство изрядной порцией виски и пригласил в свою гостиную. В камине пылал веселый и такой долгожданный огонь. Посреди комнаты стоял большой стол, заваленный английскими журналами. Впечатление складывалось такое, будто мы оказались в загородном доме где-нибудь в Сассексе. Я так устал, что не мог провести грань между сном и явью: снится мне все это или я, наоборот, проснулся. Но в конце концов нам все же пришлось разбить наш палаточный лагерь, — мы делали это впервые, — и, слава богу, все оказалось на месте.

На следующее утро я проснулся с легкими признаками ларингита: меня знобило, и целый день я вынужден был провести в постели. Этому обстоятельству я был обязан моим знакомством с так называемой *brainfever bird* (дословно: птица, вызывающая воспаление мозга. — *англ.*). Эта птица знаменита тем, что абсолютно точно допекает октаву до предпоследней ноты и тут же начинает все сначала. Из-за высокой температуры и подобного музыкального сопровождения я испытывал ощущение, что голова моя раскалывается на куски.

Другой пернатый обитатель банановых плантаций выводил мелодию, состоящую из двух сладчайших и приятнейших звуков, заканчивая ее третьим — резким и пугающим. *Quod natura relinquit imperfectum...* (То, что природа оставила незавершенным. — *лат.*) Лишь одна птица здесь издавала безупречно мелодичные звуки. Когда она пела, казалось, будто вдоль горизонта плывет колокольчик.

На следующий день с помощью комиссара мы увеличили число наших носильщиков и получили его военный эскорт из трех стрелков. В таком составе мы начали путь к вершине Элгон (4400 м). Тропа вилась по относительно сухой саванне, поросшей зонтичными акациями. Вся землю вокруг покрывали маленькие круглые холмики в два-три метра высотой, это были старые колонии термитов.

Для путешественников вдоль тропы были построены небольшие кирпичные домики, круглые, с соломенной крышей. Они

были открыты и совершенно пусты. По ночам у входа подвешивался зажженный фонарь, чтобы отпугнуть незваных гостей. У нашего повара фонаря не было, зато он поселился один в собственной маленькой хижине, чем был очень доволен. Но это чуть было не закончилось для него самым печальным образом. Накануне он заколол перед своей хижинной овцу, купленную нами за пять угандийских шиллингов, и приготовил на ужин превосходные отбивные. Когда же после ужина мы уселись у костра и закурили, до нас донеслись странные звуки, которые, приближаясь, напоминали то медвежий рев, то собачий лай, то пронзительный крик, то истерический смех. В первое мгновение мне показалось, что я нахожусь на комическом представлении у Барнума и Бэйли, но вскоре сцена стала уже не смешной, а угрожающей. Нас со всех сторон окружали голодные гиены, привлеченные, видимо, запахом овечьей крови. Это они устроили дьявольский концерт, и в отблесках огня можно было видеть, как в высокой траве горели их глаза.

Гиены, как известно, не нападают на человека, но абсолютной уверенности в безопасности у нас не было, тем более, что в этот момент раздался страшный вопль — он доносился со стороны хижин. Мы схватились за оружие (девятимиллиметровая винтовка Манлихера и охотничье ружье) и сделали несколько выстрелов по светящимся в траве огонькам, когда вдруг подбежал перепуганный повар. Выяснилось, что «физи» (гиена) забралась в хижину и чуть было не загрызла его. Весь лагерь был в панике. Гиены испугались и, шумно протестуя, удалились. Остаток ночи прошел спокойно и тихо, лишь из хижины, где жили носильщики, еще долго доносился смех. Утром следующего дня у нас появился местный вождь с дарами — корзиной яиц и двумя цыплятами. Он упрашивал нас задержаться еще на день и перестрелять гиен. Оказывается, за день до нашего происшествия, они напали на спавшего в хижине старика и растерзали его. *De Africa nihil certum!* (В Африке ни в чем нельзя быть уверенным. — *лат.*)

С рассветом в жилище опять началось веселье — оттуда слышались взрывы хохота. Похоже, они обыгрывали события минувшей ночи. Один изображал спящего повара, другой — подползающую к нему гиену. Эту маленькую пьесу они многократно повторяли, но публика каждый раз была в восторге.

С тех пор повара прозвали Физи. Мы, трое белых, уже получили свои «trademarks» (прозвища. — *англ.*). Моего друга, англичанина, называли Красношеим, как, впрочем, и всех здешних англичан. Американец, который щеголял в эффектном плаще, был известен как *Bwana meredadi* (Нарядный господин). Волосы тогда у меня уже были седыми (мне было пятьдесят), и меня называли *Mzee* — старик, считая столетним. Людей в преклонном возрасте здесь почти не встретишь, седых я видел очень мало. *Mzee* — еще и почетный титул, и он был присужден мне, поскольку я возглавлял «Психологическую экспедицию в Багишу» — название, которое «*lucus a non lucendo*»<sup>1</sup> присвоили этой экспедиции в министерстве иностранных дел в Лондоне. Мы действительно побывали в Багише, но гораздо больше времени провели на Элгоне.

Мои негры оказались превосходными знатоками человеческого характера. Такая интуитивная проницательность связана со свойственной им удивительной способностью к подражанию. Они потрясающе копируют походку, жесты, манеру речи, в буквальном смысле «влезая» в шкуру своего персонажа. Их способность к постижению эмоциональной природы показалась мне поразительной. Я использовал любую возможность, чтобы вступать с ними в длительные беседы, к которым они, судя по всему, питали пристрастие. Таким образом я многому научился.

То обстоятельство, что наше путешествие было как бы полуофициальным, давало нам определенные преимущества: нам было легче нанимать носильщиков, легче добиться военной охраны. Последнее не было излишней предосторожностью, мы передвигались по районам, которые белыми не контролируются. Так, при восхождении на Элгон нас сопровождали сержант и два солдата. От губернатора я получил письмо с просьбой взять под свою защиту некую англичанку, которая возвращалась в Египет через Судан. Поскольку мы следовали по тому же маршруту и уже успели познакомиться с этой дамой в Найроби, я не видел причин отклонить эту просьбу. К тому же мы были многим обязаны губернатору за самую разнообразную помощь.

---

<sup>1</sup> «*Lucus*» (роша) от «*non lucet*» (не светит) — пример анекдотичной этимологии; это означает нелепое, противоположное действительности название.



Я рассказываю об этом, чтобы показать, как неуловимо архетип может влиять на наши поступки. Нас по чистой случайности было трое. Я приглашал еще одного моего приятеля присоединиться к нам, но обстоятельства не позволили ему принять приглашение. Этого оказалось достаточно, чтобы бессознательно мы стали ощущать себя архетипической троицей. Но для полноты нам не хватало четвертого.

Поэтому я предпочел воспользоваться случаем и с удовольствием приветствовал присоединившуюся к нам даму. Она оказалась непритязательной и бесстрашной, внося приятное разнообразие в нашу мужскую компанию. Когда спустя какое-то время наш юный товарищ заболел тяжелой формой тропической малярии, нам очень пригодился ее опыт: в первую мировую войну она была медсестрой.

После происшествия с гиенами мы двинулись дальше, не успев выполнить просьбу вождя. Дорога шла под уклон, все чаще попадались следы третичной лавы. Мы прошли через заросли гигантских, покрытых огненно-красными цветами деревьев нанди. Огромные жуки и исполинские, ослепительно раскрашенные бабочки оживляли поляны и лесные лужайки, на ветвях раскачивались любопытные обезьяны. Вскоре мы почувствовали себя «miles from anywhere» (затерянными. — *англ.*) в джунглях; это был райский мир. Большею частью наш путь пролегал по краснозему саванны, мы предпочитали естественные тропы, узкие и извилистые.

Без особых приключений мы достигли подножья горы Элгон, которая по мере приближения к ней росла на глазах. Здесь начинался подъем: узкая тропа, ведущая вверх. Нас приветствовал местный вождь, он был сыном лекаря — «лайбона». Приехал он на пони, это была единственная лошадь, которую мы пока здесь встретили. Он сообщил, что его племя принадлежит к масаи, но ведет обособленное существование здесь, на склонах горы Элгон.

После нескольких часов подъема мы вышли на большую живописную поляну, где протекал чистый и холодный ручей, падающий с высоты примерно трех метров. Здесь мы выкупались, разбили лагерь на мягком и сухом склоне в тени зонтичных акаций. Неподалеку находилась негритянская деревушка, состояв-

шая из нескольких хижин и бомы — двора, огороженного забором из колючего кустарника.

С местным вождем я объяснялся на суахили. По его распоряжению нам носили воду, этим занималась женщина с двумя дочерьми-подростками. Всю их одежду составлял только пояс из раковин каури (раковины ходили здесь в обращении вместо денег). Девушки были поразительно милovidными и стройными, с шоколадно-коричневой кожей и аристократически медлительными движениями. Приятно было слышать по утрам тихий звон железных колец, когда они шли от ручья, видеть их силуэты, когда, слегка покачиваясь, они выплывали из высокой желтой травы, удерживая на голове сосуды с водой. Набор украшений, которые они носили был чрезвычайно разнообразен: кольца на лодыжках, медные браслеты, ожерелья и серьги из меди или дерева, по форме похожие на маленькие катушки. В нижнюю губу они втыкали костяной или железный гвоздик. У девушек были прекрасные манеры, встречая нас они застенчиво и очаровательно улыбались.

У меня никогда не было возможности поговорить с местными женщинами (за исключением одного случая, о котором я вскоре упомяну), здесь это не принято. Как и у нас на юге, мужчины здесь разговаривают с мужчинами, женщины — с женщинами.

Вести себя иначе означает *love-making* (заниматься любовью. — *англ.*). Белый при этом не только теряет свой авторитет, но и рискует «*going-black*» (почернеть. — *англ.*), в чем я не раз убеждался. Нередко доводилось слышать, как негры говорили о каком-нибудь белом: «Он — плохой человек». Когда я спрашивал почему, в ответ раздавалось: «Он спит с нашими женщинами».

Мужчины здесь занимались скотом и охотой, женщины — шамбой (плантациями бананов, сладкого картофеля, риса и маниока). Дети, козы и цыплята — все помещались вместе в одной круглой хижине. Достоинство и естественность местных женщин определялось их активной ролью в домашнем хозяйстве. Понятие равноправия женщин — это порождение нашего века, когда естественное деловое партнерство мужчины и женщины потеряло свой смысл. Примитивное же общество регулируется бессознательным эгоизмом и альтруизмом — в расчет принима-

ется и то, и другое. Этот бессознательно установленный порядок тотчас разрушается, если происходит нечто непредвиденное, восстановление же его — уже всегда некий сознательный акт.

Я с теплотой вспоминаю одного из своих «информантов», от которого получил немало интересных сведений о здешних семейных нравах. Это был удивительно красивый и вежливый юноша по имени Гиброат — сын вождя, чье доверие мне, похоже, удалось завоевать. Он охотно брал у меня сигареты, но никогда не выпрашивал подарки, в отличие от всех остальных. Время от времени он «наносил светские визиты» и рассказывал всякие любопытные вещи. Я видел, что ему хочется о чем-то меня попросить, но он все не решается. Через какое-то время, когда наше знакомство достаточно упрочилось, юноша обратился ко мне с неожиданной просьбой: он хотел, чтобы я познакомился с его семьей. Мне было известно, что жены у него нет, а родители его умерли. Речь шла о его старшей сестре, которая вышла замуж, став второй женой, у нее было четверо детей. Гиброат попросил меня навестить их — по-видимому, в его жизни сестра занимала место матери. Я согласился, полагая, что смогу получить некоторое представление о семейной жизни туземцев.

«*Madame était chez elle*» (мадам была у себя. — *фр.*), она вышла из хижины, когда мы прибыли, и непринужденно поздоровалась с нами. Она оказалась привлекательной женщиной среднего возраста, то есть ей было около тридцати; кроме обязательного пояса, она носила кольца на лодыжках и запястьях, какие-то медные украшения свисали с необыкновенно длинной мочки уха, грудь прикрыта шкурой какого-то дикого зверька. Своих четырех маленьких «мтотос» она заперла в хижине, и они выглядывали сквозь дверные щели, возбужденно хихикая. По моей просьбе она открыла дверь, но лишь через какое-то время они осмелели и вышли. Сестра Гиброата была так же любезна, как и он сам. А он светился от радости, видя успех своего предприятия.

Мы говорили стоя, потому что сидеть было негде, разве что на пыльной, покрытой пометом дороге. Беседа наша ограничивалась условными рамками полусемейной-полусветской тематики: семья, дети, дом, сад. Старшая жена жила рядом, у нее было шестеро детей. Бома этой «сестры» располагалась метрах в восьмидесяти от нас. Приблизительно на полпути между хижинами

жен, на вершине этого умозрительного треугольника стояла хижина мужа, а метрах в пятидесяти за ней — маленькая хижина, принадлежавшая его взрослому сыну от первой жены. Каждая из двух женщин имела собственную шамбу, и моя хозяйка, похоже, очень гордилась своей.

У меня сложилось впечатление, что ее уверенность и чувство собственного достоинства были основаны в значительной степени на адекватности ее своему маленькому миру, включающему детей, дом, скот, шамбу, и — *last but not least* (последнее, но немаловажное. — *англ.*) — не лишенную привлекательности внешность. О муже говорилось вскользь; казалось, он то есть, то — нет. В данный момент он находился в каком-то неизвестном месте. Моя хозяйка казалась воплощением стабильности, воистину она была «*pied-f-tegge*» (земная опора мужа. — *фр.*). Вопрос заключался не в том, есть он или нет его, но скорее — есть ли она, ибо она являлась центром этого домашнего мира, пока муж бродит где-то со своими стадами. То, что происходит внутри этих «простых» душ, не осознается и потому неизвестно, ведь собственные заключения о «прогрессивной» дифференциации мы делаем, исходя из своих представлений о европейских нравах — и только.

Я спрашивал себя: не является ли «мужественность» белой женщины следствием того, что она утратила этот естественный мир (шамба, дети, домашний скот, собственный дом и очаг); может быть, это своего рода компенсация за утрату естества, а отсюда причина «женственности» белого мужчины? Рациональная государственная структура стремится любыми способами затушевывать различия между полами. Роль гомосексуализма в современном обществе аномальна: отчасти, это следствие материнского комплекса, отчасти — феномен естественной целесообразности, призванный предотвратить дальнейшее воспроизведение.

Мне и моим товарищам по путешествию посчастливилось ощутить вкус африканской жизни в ее первобытной и ни с чем не сравнимой красоте и во всей глубине ее страдания. Дни, которые я там провел, — лучшее, что было у меня в этой жизни, — *grosci negotiis et integer vitae suleisque pugus* (вдали от дел, в первобытной жизни, чистой и несправедливой. — *лат.*), в «божественном

покое» первобытной земли. Никогда больше у меня не было возможности так свободно и открыто «наблюдать человека и других животных» (Геродот). За тысячи миль от Европы, этой матери всех демонов, которые не могли достать меня здесь, — ни телеграмм, ни телефонных звонков, ни писем, ни визитов, — это было частью и необходимым условием «Психологической экспедиции в Багишу». Все мои душевные силы в их свободном потоке обратились назад, в этот блаженный первобытный простор.

Нам удавалось легко заводить разговоры с любопытными туземцами, которые ежедневно приходили к лагерю, садились вокруг и с неизменным интересом наблюдали за всем, что мы делаем. Мой вождь, Ибрагим, посвятил меня в тонкости этикета беседы. Все мужчины (женщины никогда не приближались) должны были сесть на землю. Для меня Ибрагим поставил маленький стул из красного дерева — стул вождя, на который я должен был сесть. Затем я начинал свою речь с перечисления «шауры» — тех тем, которых мы будем касаться. Большинство моих собеседников объяснялись на сносном пиджин-суахили, я же, чтобы меня поняли, старался в основном пользоваться карманным разговорником. Эта маленькая книжка была предметом бесконечного восхищения. Мой скудный словарный запас вынуждал меня говорить просто, что и требовалось в этой ситуации. Зачастую наша беседа приобретала характер увлекательной игры в отгадывание загадок, и туземцы охотно принимали в ней участие. Но продолжалась она, как правило, не более часа, наши собеседники заметно уставали и драматически жаловались, объясняя жестами: «Увы, мы так устали».

Меня, разумеется, очень интересовали их сны, но завести разговор на эту тему никак не удавалось. Я предлагал маленькие поощрения: сигареты, спички, английские булавки — все, чем они так дорожили. Ничего не помогало. Я так и не смог до конца объяснить их испуг, когда речь заходила о сновидениях. Подозреваю, что все дело в страхе и недоверии. Известно ведь, что негры боятся фотографироваться, они подозревают, что при этом у них отнимают частицу души, — возможно, точно так же они боятся, что тот, кто знает их сны, может нанести им вред. Это, между прочим, не касалось наших слуг, они были сомалийцами,

жили на побережье и говорили на суахили. У них имелся арабский сонник, к которому они обращались ежедневно. Если у них возникали какие-то сомнения, они приходили ко мне за советом. За то, что я знал Коран, они называли меня «человеком-книгой» и считали переодетым мусульманином.

Однажды мне удалось побеседовать с лайбоном, старым знахарем. Он появился передо мной в великолепном плаще из шкурок голубых обезьян, явно очень дорогим. Когда я стал расспрашивать знахаря о снах, он ответил со слезами на глазах: «Прежде у лайбонов бывали сны, и они знали, ждуть ли войны и болезней, будет ли дождь и куда гнать стада». Еще его дед видел такие сны. Но с тех пор как в Африку пришли белые, никто уже не видит снов. Сны больше не нужны, теперь про все знают англичане!

Я понял, что этого человека лишили смысла его существования. То, в чем раньше наставлял его божественный голос, теперь «знают англичане». Прежде он, знахарь, беседовал с богами, ведающими судьбой племени, и обладал огромным влиянием. Его слово — как слово пифии в Древней Греции — было последней инстанцией. Теперь роль последней инстанцией перешла к окружному комиссару. Все жизненные ценности находились отныне в этом мире. Думается, что теперь это лишь вопрос времени и жизнестойкости черной расы — когда негры наконец осознают важность физических законов.

Наш лайбон вовсе не был похож на выдающегося человека, он был всего лишь слезливым старичком, живым воплощением распадающегося, отживающего и невозвратимого мира.

Не однажды я заводил с туземцами разговор о богах, ритуалах и церемониях. Но только единственный раз, в одной маленькой деревушке, мне представилась возможность наблюдать нечто в этом роде. Там, перед пустой хижинной посреди оживленной деревенской улицы, оставили тщательно выметенное место диаметром в несколько метров. Посередине положили пояс из раковин, кольца, серьги, черепки от горшков и какую-то лопатку. Нам лишь удалось узнать, что в этой хижине умерла женщина. О похоронах ничего не говорилось.

В беседах со мной местные жители настойчиво повторяли, что их западные соседи — «плохие» люди. Когда там кто-нибудь умирал, об этом уведомляли соседнюю деревню, а тело вечером

приносили к месту, находившемуся посередине — между этими деревнями. В свою очередь, с той стороны на это же место доставляли всякие подношения, а утром трупа уже не было. Мне со всей очевидностью дали понять, что в той, другой деревне, мертвеца съедали. Там, где мы жили, ничего подобного не происходило: мертвецов выносили в кусты, и гиены в одну ночь все улаживали. Фактически мы не обнаружили ничего похожего на похоронный обряд.

Тем не менее, мне стало известно, что, когда человек умирает, его тело кладут на пол посреди хижины. Лайбон, обходя его вокруг, льет молоко из чаши на пол, бормоча при этом: «Айик адхиста, адхиста айик!»

Значение этих слов мне было уже известно. В конце одной из моих бесед с туземцами какой-то старик внезапно воскликнул: «Утром, на заре, мы выходим из хижин, плюем на руки и протягиваем их к солнцу». Я попросил проделать эту церемонию и подробно ее описать. Несколько человек поднесли руки ко рту, поплевали на них, а вернее с силой подули, и повернули ладони к солнцу. Я спросил, что это означает, зачем они это делают, почему дуют или плюют на руки. Ответом была фраза: «Мы всегда так делаем». Получить хоть какое-то внятное объяснение было невозможно, и я понял, что в действительности они знали только, что они *делали* это, но не знали, *что* конкретно делали. Сами они не видели в этом смысла. Но ведь и мы исполняем обряды, не всегда понимая, зачем это делаем: зажигаем свечи на рождественской елке, храним пасхальные яйца и т. д.

Старик пояснил, что это и есть истинная религия всех людей, что все кевирондосы, все ваганда, все племена, которые можно увидеть с горы, и живущие так далеко, что их невозможно увидеть, — все почитают «адхисту», то есть восходящее солнце. Только в этот момент солнце было «мунгу» — то есть Богом. Первый слабый золотистый полумесяц новой луны, явившийся на востоке, — тоже Бог. Но только в этот момент и ни в какой другой.

По-видимому, смысл этого ритуала заключался в поднесении чего-то солнцу в момент его восхода. Слюна же — это субстанция, которая по понятиям примитивных народов содержит ману — целебную, магическую и жизненную силу. Дыхание —

это гоно, арабское guch, ивритское guach, греческое pneuma — ветер и дух. Само действие таким образом означает: «Я преподношу богу мою живую душу». Это была безмолвная рукотворная молитва, которую можно истолковать так: «Господи, в твои руки отдаю я дух мой».

Кроме адхисты элгонисы, как мы узнали позже, почитают «айик», дух, живущий в земле и являющийся шайтаном (дьяволом). Он вызывает страх и холодный ветер, подкарауливает ночных путников. Старик, чтобы усилить впечатление, стал насвистывать какой-то дьявольский мотив, давая понять, как айик ползет сквозь высокие заросли травы и кустарника.

По убеждению этих людей, Творец устроил все хорошо и красиво. Он живет по ту сторону добра и зла. Он — «мьзури», то есть прекрасен, и все, что он сделал, — тоже «мьзури».

Я задал им вопрос: «А как же дикие звери, которые губят ваш скот?», ответ гласил: «Лев хороший и красивый». — «А ваши ужасные болезни?» — Они сказали: «Ты лежишь на солнце, и это прекрасно». Их оптимизм поражал. Но, как я вскоре обнаружил, они были оптимистами до шести часов вечера. После заката они оказывались уже в другом мире — темном мире айика, мире, где царили зло, страх и опасности. Оптимистическая философия уступала место философии темной и иррациональной, страху перед призраками, магическими заклинаниями. С рассветом страхи забывались, и они вновь становились оптимистами.

Меня эти открытия глубоко потрясли: здесь, у истоков Нила, я обнаружил нечто сходное с древнеегипетским представлением о двух противоборствующих помощниках Озириса — Горе и Сете. Похоже, этот культ возник первоначально в первобытной Африке и по священным водам Нила достиг берегов Средиземного моря. Адхиста, восходящее солнце, подобно Гору, воплощает свет; айик — тьму.

В простом обряде, совершаемом над мертвым телом, лайбон, проливая молоко, называет оба этих имени, одновременно принося жертву двум божествам. Они имеют равную силу и значение, делят между собой день и ночь, и каждому из них отпущено по двенадцать часов. Но полным божественного смысла оказывается тот миг, когда с характерной для экваториальных широт



внезапностью первый луч солнца как стрела пронзает тьму и ночь уходит, уступая место свету, несущему жизнь.

Восход солнца в этих широтах всегда вызывал у меня волнение. Потрясало не столько великолепие являющегося на горизонте солнца, но то, что происходит после. У меня стало привычкой перед самым восходом брать походный стульчик и садиться под зонтом акации. Передо мной на дне маленькой долины тянулась темная, почти черная полоса джунглей, с нависающим над ней краем плато. Сперва контраст между светом и тьмой очень резок, затем мягкий свет постепенно проникает в долину и, становясь все ярче и ярче, заполняет ее всю. Горизонт превращается в пылающую белую линию. Создается впечатление, что свет проникает уже внутрь предметов и они начинают светиться изнутри, пока не становятся почти прозрачными, как блестящие разноцветные стеклышки. Все вокруг выглядит подобно огненным кристаллам. Издалека доносится крик птицы-колокольчика. В такие минуты мне казалось, будто я нахожусь в каком-то сказочном замке. Это был самый священный час дня, и я, забыв о времени, наслаждался этим великолепием, испытывая бесконечный восторг.

Рядом со мной находилась высокая скала, где жили огромные павианы. Обычно они с шумом и криками носились по лесу, но каждое утро они тихо застывали на краю скалы со стороны восходящего солнца, будто тоже ожидали рассвета. Они походили на павианов из храма Абу-Симбел в Египте, чьи застывшие движения напоминали молитвенные жесты. Здесь повторялся один и тот же сюжет: с давних пор люди поклонялись великому богу, избавляющему мир от тьмы, несущему в себе лучистый небесный свет.

Я тогда осознал, что в душе всегда живет стремление к свету, неудержимое желание вырваться из первобытной тьмы. Ночью все живое погружается в глубокое уныние и каждой душой овладевает неизъяснимая тоска по свету. Это тоскливое выражение мы видим в глазах туземцев и животных. В глазах животных прячется печаль, и никто никогда не узнает, порождение ли это их души или болезненное чувство — знак первобытного, первоначального состояния мира. Эта печаль — суть настроения Африки, постоянное ощущение ею своего одиночества. Первобытная

тьма сопричастна глубокой материнской тайне, потому так остро переживают негры рождение солнца — ведь в этот момент является свет, является избавление, освобождение от тьмы. Говорить, что солнце есть Бог, — значит утратить, забыть изначальное ощущение, переживание этого момента. «Мы рады, что кончилась ночь и духи ушли», — но это уже некоторое рассудочное осмысление. В действительности ночью над этой землей нависает такая тьма, что ночь становится не просто ночью, а тьмой души, вековечной ночью, которая сегодня та же, какой была миллионы лет. И желание увидеть свет — это желание обрести сознание.

Наше безмятежное пребывание на горе Элгон близилось к концу. Мы грустно сворачивали палатки, обещая себе, что вернемся. Трудно было смириться с мыслью, что я больше никогда не смогу увидеть и пережить это ни с чем не сравнимое великолепие. Позже близ Какамеги нашли золото, в ставшей мне родной, но далекой стране развернулось движение «мау-мау», и нам пришлось пробудиться от наших грез и мифов.

Мы продвигались по южному склону горы Элгон. Постепенно характер рельефа менялся: к равнине подступили высокие горы, покрытые густыми джунглями. Цвет кожи местных жителей становился чернее, тела — неуклюжими и массивными. Их движения уже не отличались той грациозностью, которая так восхищала нас у масаи. Мы приближались к Багише, где должны были задержаться на какое-то время в лагере на Бунамбале. Отсюда открывался потрясающий вид на широкую нильскую долину. Затем мы двинулись дальше, в Мбалу, там нас ожидали два грузовых форда, на которых мы наконец добрались до станции Джиния у озера Виктория-Нианца. Мы загрузили свой багаж в маленький поезд, который раз в две недели ходил до озера Киога. Там какой-то пароходик с дровяной топкой с небольшими приключениями довез нас до порта Масинди. Здесь мы пересели на грузовик и доехали до города Масинди, расположенного на плато, отделяющем озеро Киога от озера Альберт.

В одном селении на пути от озера Альберт в Реджаф (Судан) мы пережили незабываемое приключение. Местный вождь, очень высокий, молодой еще человек, нанес нам визит со своей свитой. Это были самые черные негры, которых я когда-либо

встречал. Визитеры не внушали доверия. Мамур (наместник) выделил нам в сопровождение трех стрелков, но я видел, что и они, и наши слуги чувствовали себя неуверенно. У них имелось только по три патрона на винтовку, их присутствие по сути было чисто символическим жестом со стороны правительства.

Когда вождь предложил нам вечером посмотреть на ньгома (танцы), я охотно согласился, рассчитывая поближе узнать этих людей. Наступила ночь. Мы уже собирались ложиться спать, когда раздались трубные звуки и грохот барабанов. Нашему взору явились человек шестьдесят, воинственно настроенных, со сверкающими пиками, дубинками и мечами. За ними, на некотором расстоянии, следовали женщины и дети, младенцы устроились на спинах своих матерей. Разворачивалось по всем признакам грандиозное празднество. Несмотря на жару, был разожжен большой костер, и женщины с детьми расположились вокруг него.

Мужчины образовали внешнее кольцо — таким образом (мне однажды пришлось увидеть такое) ведет себя потревоженное стадо слонов. Я уже не знал, радоваться мне или беспокоиться по поводу этого демарша. Оглядываясь, я поискал глазами наших слуг и вооруженную охрану — но их и след простыл! В качестве *captatio benevolentiae* (жеста доброй воли. — *лат.*) я одарил присутствующих сигаретами, спичками и английскими булавками. Хор мужчин начал распевать — довольно гармонично — энергичные, воинственные мелодии, одновременно они стали раскачиваться и притоптывать ногами. Женщины и дети столпились вокруг огня. Мужчины же, танцуя, то приближались к нам, размахивая своим оружием, то возвращались назад — к огню, то снова наступали. Все это сопровождалось диким пением, грохотом и завыванием. Сцена была дикой и впечатляющей, подсвеченной отблесками костра и магическим лунным светом. Мой приятель и я вскочили на ноги и смешались с танцующими. Я размахивал своей плеткой из кожи носорога — единственным моим оружием. Нас встретили с явным одобрением, усердие танцующих удвоилось. Все основательно вспотели, топя, крича и распевая. Ритм постепенно учащался.

От подобных танцев и музыки негры легко впадают в экстатическое состояние. Так случилось и здесь. По мере того как

время приближалось к одиннадцати, их возбуждение достигло крайней точки, и дело стало принимать чрезвычайно неприятный оборот. Танцоры уже представляли собой дикую орду, и я со страхом думал, чем же все это может кончиться. Я делал знаки вождю, что пора кончать, что ему и его людям пора спать. Но он хотел «еще раз».

Мне припомнилось, что мой земляк, один из братьев Заразин, будучи в исследовательской экспедиции в Замбези, был ранен копьем во время такой нгымы. Поэтому, уже не раздумывая, понравится это вождю или нет, я стал по очереди подзывать к себе танцующих, раздал им сигареты и жестами показал, что иду спать. Затем я полушутя, полуугрожающе стал размахивать носорожьей плеткой и за неимением лучшего варианта громко обругал «гостей» на швейцарском диалекте немецкого, давая понять, что пора разойтись, пора спать. Они, разумеется, сообразили, что гнев мой наигран, но, похоже, это было как раз то, что нужно. Разразившись хохотом и прыгая друг через друга, подобно детям, играющим в горелки, они рассыпались в разные стороны и растворились в ночи, хотя их вопли и барабанный бой доносились до нас еще довольно долго. Но наконец все стихло и, совершенно изнуренные, мы провалились в сон.

Наш поход завершился в Реджафе, на Ниле. Там мы погрузили наше снаряжение на небольшой пароходик, который с трудом смог подойти к Реджафе — уровень воды был слишком низок. К тому времени я чувствовал некоторую пресыщенность всеми приключениями. Мысли переполняли меня, и я со всей остротой ощутил, что мои способности к восприятию нового далеко не безграничны, что они на пределе. Все, что мне сейчас требовалось, — это привести в порядок все мои наблюдения, впечатления и переживания. То, что было достойно внимания, я записал.

На протяжении всего путешествия мои сны упорно игнорировали африканскую обстановку, ограничиваясь только домашними сюжетами. У меня возникло чувство, что бессознательное относит мое африканское путешествие к чему-то нереальному, воспринимает его как некий симптоматический или символический акт (если в принципе уместно персонифицировать бессоз-

нательные процессы). Это показалось мне чересчур нарочитым — ведь из моих снов исчезали наиболее яркие события путешествия. Только один раз там я увидел во сне негра, чье лицо показалось мне удивительно знакомым, но я долго не мог припомнить, где встречал его прежде. Наконец память сработала: это был мой парикмахер из Читтануги в Теннесси! Американский негр! Во сне он держал у моей головы огромные раскаленные щипцы, собираясь сделать мне прическу «kinky» — «под негра». Я уже начинал чувствовать жар от раскаленного железа и в ужасе проснулся.

Этот сон был воспринят мной как предупредительный сигнал из бессознательного: оно подсказывало, что я должен быть осторожным, что я подошел слишком близко к тому, чтобы «going black» (сделаться черным. — *англ.*). В тот момент у меня начался приступ тропической лихорадки и моя физическая сопротивляемость была ослаблена. Для того чтобы явить мне угрозу, исходящую от негра, мое бессознательное, избегая какого бы то ни было напоминания о настоящем, вызвало у меня воспоминание двенадцатилетней давности о негритянском парикмахере в Америке.

Кстати, это любопытное свойство моих снов заставляет вспомнить явление, отмеченное в годы первой мировой войны: солдаты на фронте видели гораздо меньше снов о войне, чем о доме, о мирной жизни. Военные психиатры называли это своего рода базовым принципом: если человеку слишком часто снится война, его нельзя оставлять на передовой — он лишен психологической защиты от внешних впечатлений.

В разгар африканских событий и впечатлений мои сны развивали собственный сюжет. Они касались исключительно моих личных проблем. Объяснить это я мог только так: мне при любых обстоятельствах следует сохранять свою европейскую индивидуальность.

Я даже начал подозревать, что затеял африканское путешествие с тайной целью покинуть Европу с ее неразрешимыми проблемами, пусть даже рискуя при этом вообще остаться в Африке. Так поступали многие до меня, так поступают и сейчас. Путешествие теперь представилось мне в другом свете: целью его в гораздо меньшей степени было изучение психологии примитив-

ных народов («Психологическая экспедиция в Багишу»), речь скорее шла о другом мучительном для меня вопросе: что же произошло с психологом Юнгом in the wilds of Africa (в джунглях Африки. — *англ.*)? От этого вопроса я уходил, несмотря на то, что в свое время поставил перед собой задачу исследовать реакции европейца на первобытные условия жизни. Но, к собственному моему удивлению, эта объективная научная проблема сделалась в конце концов для меня очень личной, и всякое решение болезненно затрагивало прежде всего меня самого. Я вынужден был признаться себе, что вряд ли упомянутая выставка в Уэмбли явилась поводом для моего путешествия, скорее европейский воздух стал для меня слишком душливым.

Размышляя об этом, я медленно плыл по тихим водам Нила на север — в Европу, навстречу своему будущему. Путешествие закончилось в Хартуме. Здесь начинался Египет. Итак, я достиг желаемого и осуществил свой план — открыл для себя это царство древней культуры не с запада, не на пути из Европы и Греции, но с юга, от истоков Нила. Меня больше интересовали не азиатские, а хамитские элементы египетской культуры. Избрав географическое направление и двигаясь по течению Нила путем развития цивилизации, я мог кое-что отыскать. В таком плане главной моей удачей оказалось открытие аналогии египетского мифа о Горе с верованиями элгонисов. И еще — этот молитвенный жест павианов, я снова вспомнил о нем в Абу-Симбеле, южных воротах Египта.

Миф о Горе — это история о возрождении божественного света. Миф должен был появиться после того, как культура, то есть сознание, впервые вырвала человека из первобытной тьмы. Именно поэтому путешествие из сердца Африки в Египет стало для меня некой драмой обретения света, что имело непосредственное отношение к моему собственному опыту, к моей психологии. Я чувствовал это, но не умел должным образом сформулировать. Я не мог предполагать, что даст мне Африка, но я получил ответ на многие вопросы и обрел некое знание. Это имело несравнимо большее значение, чем любой этнографический материал, чем оружие, черепки или украшения, чем какие бы то ни было охотничьи трофеи. Я хотел знать, что произойдет со мной в Африке. И я узнал это.

## Индия

Мое путешествие в Индию в 1938 году произошло не по моей инициативе. Этим я обязан британскому правительству Индии, которое пригласило меня принять участие в торжествах по случаю 25-летия университета в Калькутте.

Я много читал об индийской философии и религиозной истории и был убежден, что восточная мудрость — настоящая сокровищница знаний о человеке. Но я должен был увидеть все собственными глазами и остаться самим собой подобно некоему гомункулусу в колбе. Индия явилась мне как сон, ведь я всегда искал себя, свою правду. Путешествие оказалось своего рода прелюдией к напряженным занятиям алхимической философией, они целиком меня поглотили, я даже захватил с собой первый том «Theatrum Chemicum» с основными работами Герхарда Дорна. За время путешествия книга была проштудирована от корки до корки. Так идеи европейской философии соприкоснулись с впечатлениями от чуждой мне культуры и образа мышления. Но и та и другая основываются на изначальном духовном опыте бессознательного, — отсюда единство, подобие или, по крайней мере, возможность уподобления.

В Индии я впервые наблюдал вблизи совершенно иную, высокоразвитую культуру. Впечатления от Африки были совершенно иными, в Северной Африке мне ни разу не представился случай побеседовать с человеком, способным выразить свою культуру в словах. В Индии же я встретил людей, причастных к духовному наследию Востока, и имел возможность сравнить их с европейцами. Это значило для меня очень много. Я вел частные и обстоятельные беседы с С. Субраманья Джером, гуру Махараджи из Майсура, у которого некоторое время гостил. Мне доводилось встречаться и со многими другими учителями, чьи имена я, к сожалению, не помню. С другой стороны, я избегал встреч с так называемыми «святыми людьми», их я избегал, потому что должен был остаться при своей правде, не принимая от других того, чего не мог достичь сам. Это было бы ничем иным, как воровством, если бы я сделал хотя бы попытку научиться чему-то у «святых людей» и принять их правду как свою собственную. Это их правда, а я владел лишь тем, что объясняло именно меня. Точ-

но так же как, живя в Европе, я не могу просить подаяния на Востоке, я обязан жить так, как требует моя природа.

Это вовсе не говорит о том, что я недооценивал собственно феномен индийского «святого», мне просто не удалось увидеть его в истинном свете, как изолированное явление, то есть не было возможности оценить его. Так, например, я не знал, что скрывается за произнесенными им словами — действительно ли откровение, или нечто вроде пословицы, расхожей истины, что сотни лет разносят по площадям. Я помню характерный случай, свидетелем которого был на Цейлоне. Два крестьянина с тележками столкнулись на узкой улице. Вместо извинения они обменялись некими, ничего не значащими для постороннего словами: «*Adûkaṇ apâtman*», что означало: «Прошлые тревоги, вон из души!» Что за этим стояло — счастливая фраза, единственная в своем роде, или расхожая формула?

В Индии меня в основном интересовала проблема психологической природы зла. В сравнении с духовной жизнью Европы меня поразило здесь совершенное отсутствие противоречий, и эта проблема представилась мне в новом свете. В беседе с образованным китайцем я был снова потрясен способностью этих людей принимать так называемое «зло», не теряя лица. На Западе такое немыслимо. Но у восточного человека вопрос морали стоит вовсе не на первом месте, для него добро и зло — неотъемлемые составляющие природы и являются всего лишь различными степенями и качествами одного и того же.

Я видел, что индийская духовность в равной мере принимает и зло, и добро. Христианин стремится к добру, но уступает злу, индус ощущает себя вне добра и зла, достигая этого состояния с помощью медитации или йоги. Хотя здесь я должен заметить, что при подобном раскладе и добро, и зло размываются, теряя конкретные очертания, что в конце концов приводит к духовному застою. Нет более ни зла, ни добра. В лучшем случае есть мое добро или мое зло, как нечто, кажущееся мне добром или злом. Отсюда приходится признавать и тот парадокс, что индийская духовность одинаково не нуждается ни в зле, ни в добре, что она обременена противоречиями и что нирвана — необходимое условие освобождения от последних и еще от десяти тысяч вещей.



Цель индуса — не моральное совершенство, а только состояние нирваны. Желая отрешиться от собственной природы, медитацией он достигает состояния легкости и пустоты, освобождая себя таким образом. Я же, напротив, хочу остаться при своем — я не желаю отказываться ни от человеческого общения, ни от природы, ни от себя самого и собственных фантазий. Я убежден, что все это даровано мне как величайшее чудо. Природу, душу и жизнь я воспринимаю как некое развитие божества — к чему же большему стоит стремиться? Высший смысл бытия для меня заключается в том, что оно есть, а не в том, чтобы его *не было*.

Я не признаю освобождения *à tout prix* (любой ценой. — *фр.*) и не могу избавить себя от того, чем не владею, чего не делал или не испытывал.

Подлинное освобождение приходит лишь тогда, когда ты сделаешь для этого все возможное, пожертвуешь всем, что у тебя есть, и завершишь то, что определил для себя. А если я уйду от проблем, лишая себя сочувствия и соучастия, то уничтожаю соответствующую часть своей души. Конечно, вполне возможно, что моя доля сочувствия и соучастия достается мне слишком дорогой ценой и я имею все основания отказаться от нее. Но и в этом случае можно говорить лишь о собственной «*pop possimus*» (неспособности. — *лат.*) и смириться с потерей чего-то, быть может, существенного, со своим неумением, в конце концов, справиться с некой задачей. Именно так осознание собственной непригодности заменяет отсутствие реального действия.

Человек, не перегоревший в аду собственных страстей, не может их победить. И они прячутся рядом, в соседнем доме, чего он даже не предполагает. А пламя в любой момент может перекинуться и сжечь дом, который он считает своим. То, от чего мы уходим, уклоняемся, якобы забывая, находится в опасной близости от нас. И в конечном счете оно вернется, но с удвоенной силой.

В Кхаджурахе (Орисса) я встретился с одним индусом, который предложил проводить меня в храм и показать большую храмовую пещеру. Всю пагоду заполняли особого рода обшечные скульптуры. Мы долго обсуждали этот необычный факт, причем

мой провожатый видел в скульптурах средство духовного совершенствования. Я возражал, указывая на группу молодых крестьян, которые, открыв рты, уставились на это великолепие: вряд ли этих молодых людей интересует сейчас духовное совершенствование или что-либо подобное, куда более вероятно, что их мысли в этот момент заняты исключительно сексуальными фантазиями. На что индус ответил: «Вот это и есть главное. Разве смогут они когда-нибудь достигнуть духовного совершенства, если не исполнят свою карму? Эти обценные фигуры здесь именно для того, чтобы напомнить людям о дхарме (добродетели) ибо, не осознавая ее, они могут забыть о ней».

Мне подобное толкование показалось в высшей степени странным, хотя мой спутник действительно считал, что молодые люди могут забыть о своей сексуальности, и всерьез пытался убедить меня в том, что они бессознательны, как животные, и нуждаются в поучениях. Для этой цели, по его словам, и существует такого рода внешний декор, и, прежде чем ступить в пределы храма, они должны вспомнить о дхарме, иначе их сознание не пробудится и они не придут к духовному совершенству.

Когда мы вошли в ворота, индус указал на двух «искусительниц» — скульптурные изображения танцующих девушек с соблазнительным изгибом бедер, они улыбались, приветствуя входящих. «Вы видите этих танцующих девушек? — спросил он. — Смысл здесь тот же. Разумеется, я не имею в виду ни меня, ни вас, кто уже достиг определенного уровня сознания, мы — выше такого рода вещей. Но эти крестьянские парни нуждаются в напоминании и предостережении».

Когда мы, выйдя из храма, стали спускаться по аллее лингамов, он внезапно сказал мне: «Вы видите эти камни? Знаете ли, что они означают? Я открою вам великую тайну». Я был удивлен: мне казалось, что фаллическое содержание этих памятников ясно и ребенку. Но он прошептал мне на ухо с величайшей серьезностью: «Эти камни — интимная часть мужского тела». Я ожидал, что он сообщит мне что-либо о символах великого бога Шивы. Ошеломленный, я посмотрел на него, но он лишь важно кивнул головой, словно говоря: «Да-да, это правда. Вы же в своем европейском невежестве никогда бы об этом не догадались!»

Когда эту историю услышал Генрих Циммер, он восторженно воскликнул: «Наконец-то я узнаю что-то стоящее об Индии!»

Ступа Санчи вызвала во мне неожиданное и сильное чувство: так бывает, когда я вижу нечто — вещь, личность или идею, — что мне не вполне понятно. Ступа стоит на скалистом холме, к вершине которого ведет удобная тропа, выложенная большими каменными плитами. Этот храм — реликварий сферической формы, он напоминает две гигантские чаши для риса, поставленные одна на другую, как предписывал сам Будда в Маха-Париниббана-Сутре. Англичане очень бережно отреставрировали ее. Самое большое из этих строений окружено стеной с четырьмя искусно украшенными воротами. Вы входите — и тропа поворачивает налево, затем вкруговую — по часовой стрелке — ведет вдоль ступы. Четыре статуи Будды обращены к четырем сторонам света. Пройдя один круг, вы вступаете во второй — параллельный, но расположенный несколько выше. Широкая панорама долины, сами ступы, руины храма, покой и уединение, — все это растревожило и зачаровало меня. Я на время покинул своих спутников, погрузившись в атмосферу этого удивительного места.

Где-то вдали послышались ритмичные удары гонга, они медленно приближались. Это оказалась группа японских паломников. Они двигались один за другим, ударяя в маленькие гонги, и скандировали древнюю молитву: «Om mani padme hum» (О сокровище, восседающее на лотосе. — *санскр.*). Удар гонга приходился на «hum». Паломники низко склонились перед ступой и вошли в ворота. Там они склонились снова у статуи Будды, распевно произнося что-то вроде молитвы, затем дважды прошли по кругу, приветствуя гимном каждую статую Будды. Я проводил их глазами, но душой был с ними, что-то во мне посылало им безмолвную благодарность за то, что их появление чудесным образом помогло мне найти способ выразить охватившее меня чувство.

Мое волнение указывало на то, что холм Санчи явился для меня неким центром. Это был буддизм, который я увидел в новом свете. Жизнь Будды предстала передо мной как воплощение самости, именно идея самости, самодостаточности, была ее смыс-

лом; она, эта идея, стояла выше всех богов и была сутью бытия — человека и мира. Как *unus mundus* (единый мир. — *лат.*) она воплощает и бытие в себе, и знание о нем, — знание, без которого ничего существовать не может. Будда увидел и осознал космогонический смысл человеческого сознания, понимая, что, если человек позволит этому свету угаснуть, мир обратится в тьму, в ничто. Величайшая заслуга Шопенгауэра в том, что и он тоже — или и он вновь — признал это.

Христос, как и Будда, воплощает в себе самость, но в совершенно ином смысле. Оба они одержали победу над этим миром: Будда, так сказать, здравым смыслом, Христос — искупительной жертвой. Христианство учит страдать, буддизм — видеть и делать. Оба пути ведут к истине, но для индуса Будда — человек, пусть совершенный, но человек, тем более, что он личность историческая, и людям легче понять его. Христос — и человек, и *в то же время* Бог, понять это гораздо сложнее. Он и сам не осознавал всего, зная лишь то, что обречен пожертвовать собой, такова его судьба. Будда действовал, как считал нужным, он прожил свою жизнь до конца и умер в глубокой старости. Христос же был тем, чем ему должно было быть, — он прожил очень недолго<sup>1</sup>.

Со временем буддизм, как и христианство, претерпел многие изменения. Будда сделался, если можно так выразиться, воплощением саморазвития, образцом для подражания, хотя сам он учил, что, преодолев цепь сансары, каждый человек способен достичь просветления, стать буддой. Аналогично и в христианстве Христос представляется неким прообразом, который живет в каждом христианине и в своем роде являет собой идеальную модель личности. Но исторически христианство пришло к

---

<sup>1</sup> Позже в наших беседах Юнг сравнивал Христа и Будду в их отношении к страданию. Христос знал цену страданию, видел в нем положительный смысл, и, как мученик, он человечнее и реальнее Будды. Будда не принимал страдания; правда, он отказался и от радости. Он уничтожил в себе всякое чувство и, таким образом, отвергнул все человеческое. Христос в Евангелиях является как Богочеловек, хотя он, собственно, не переставал быть человеком, всегда им оставался, тогда как Будда еще при жизни поднялся выше человеческого в себе. — А. Я.

«*imitatio Christi*», когда человек не пытается искать свой, предназначенный ему духовный путь, но ищет подражания, следует за Христом. Так и Восток пришел в конце концов к своего рода *imitatio*, Будда стал образцом для подражания, что уже само по себе есть искажение его учения, равно как «*imitatio Christi*» привело к неизбежному застою в развитии христианства. Как Будда в своем знании далеко превзошел брахманов и их богов, так и Христос возвещал евреям: «Вы боги» (Ин. 10, 34), но люди так и не смогли принять это. И теперь мы видим, что так называемый «христианский» Запад, так и не создав нового мира, стремительно приближается к разрушению имеющегося.

В Индии я получил три докторских степени — в Аллахабаде, Бенаресе и Калькутте: первая представляет исламское, вторая — индусское, третья — британско-индийское научное и медицинское знание. Это было уже слишком, и мне срочно понадобилась хоть какая-нибудь разрядка. Так и случилось: в Калькутте я подхватил дизентерию, попал в госпиталь и пролежал там десять дней. Госпиталь стал для меня благословенным островком, спокойным местом, где я смог разобраться в безбрежном море впечатлений, поразмыслить о множестве вещей, переплетенных в безумной хаотичности: о величии, глубине и великолепии Индии, о ее непроходимой нужде и бедствиях, о ее совершенстве и несовершенствах.

Когда я выздоровел и вернулся в отель, мне приснился сон; он был столь примечателен, что я должен рассказать о нем.

В компании моих цюрихских друзей я оказался на незнакомом мне острове, похоже, недалеко от побережья южной Англии. Остров был небольшим и практически необитаемым — узкая полоса земли, километров на тридцать протянувшаяся с севера на юг. В южной части острова на скалистом побережье возвышался средневековый замок. Мы, туристы, стояли во дворе замка, перед башней. Через ворота мы видели широкую каменную лестницу, которая заканчивалась наверху, у входа в колонный зал. Горели свечи. Я знал, что это замок Грааля и что сегодня вечером здесь состоится празднество в его честь. Мало кому было известно: даже наш коллега немецкий профессор, поразительно похожий на Моммзена в старости, ничего об этом не

слышал. Мы с ним о многом говорили, он производил впечатление человека умного и образованного. Лишь одно показалось мне странным: для профессора все это было в прошлом, было мертвым; с большим знанием он рассказывал о схожести британских и французских источников легенды о Граале. Но он не понимал собственно смысла легенды — ее живого присутствия в настоящем, тогда как я ощущал это необыкновенно остро. Вдобавок он, похоже, не замечал того, что нас непосредственно окружало, и вел себя так, будто находился в аудитории и читал студентам лекцию. Моя попытка привлечь его внимание к особенностям обстановки оказалась тщетной. Он не видел ни лестницы, ни свечей, ни самого зала.

Растерянно озираясь, я вдруг обнаружил, что стою у высокой замковой стены, нижнюю часть которой покрывало что-то вроде шпалеры, только не деревянной, как обычно, а кованной — в форме виноградной лозы с листьями и гроздьями. Через каждые два метра на горизонтальных ветвях располагались на манер птичьих гнезд крошечные железные домики. Вдруг среди листьев что-то промелькнуло, сначала я подумал, что это мышь, но потом отчетливо разглядел крошечного железного гнома в колпаке, снующего от одного домика к другому. «Ну вот, — воскликнул я в изумлении, обращаясь к профессору, — Вы же видите это!»

Неожиданно все исчезло, и обстановка во сне изменилась. Мы, та же компания, но уже без профессора, оказались не в замке, а на каком-то голом скалистом берегу. Я понял: что-то должно случиться, поскольку Грааля все еще не было, а празднество должно было состояться именно сейчас, этим вечером. Кто-то сказал, что его прячут в северной части острова, в маленьком домике. Но я знал, что мы *обязаны* доставить Грааль в замок. Нас было человек шесть, и мы двинулись в путь.

Идти было тяжело, но через несколько часов мы достигли самой узкой части острова, где выяснилось, что остров фактически разделен на две части морским проливом. В самом узком месте ширина его была около 100 метров. Солнце зашло и наступила ночь. Уставшие, мы расположились на берегу. Местность выглядела безлюдной и пустынной — ни куста, ни дерева, — ничего, кроме травы и скал. Нигде поблизости мы не обнаружили

ни моста, ни лодки. Было очень холодно, и мои спутники один за другим стали засыпать. Я не спал, раздумывая, что же можно сделать, и наконец решил переплыть через пролив. Я начал раздеваться — и в этот момент проснулся.

Этот средневековый европейский сюжет явился мне тогда, когда меня захлестнула масса беспорядочных индийских впечатлений. Тем более, что лет десять назад я выяснил, что во многих областях Англии легенда о Граале все еще жива и актуальна, несмотря на все, что о ней написано поэтами и учеными. Это поразило меня еще больше, когда я нашел параллель между поэтическим мифом и свидетельствами алхимиков об «*unum vas*», «*una medicina*» и «*unus lapis*». Мифы, о которых не помнят днем, живут ночью, и могучие образы, которые сознание свело к ничтожной банальности, увлекают поэтов, обретая благодаря им новую жизнь, — и уже в другой форме, но вновь и вновь заставляют нас задумываться. Великие мертвецы все еще живы, они просто изменили имена. «Мал, да удал» — неузнанный кабир поселился в новом доме.

Сновидение своей властью освободило меня от каждодневных индийских впечатлений и вернуло назад, к тому, что я оставил на Западе, прежде всего к сюжетам о поисках философского камня и чаши святого Грааля. Все индийское будто отодвинули от меня, заставляя вспомнить, что Индия никогда не была моей целью, а лишь частью пути, хотя и безусловно важной, что она должна всего-нашего приблизить меня к настоящей цели. Сон как бы ставил передо мной вопрос: «Что ты делаешь в Индии? Тебе же необходимо найти святую чашу, «*salvator mundi*». Неужели тебе не понятно, что еще немного, и будет взорвано все, что создавалось веками?».

Конечным пунктом моего путешествия был Цейлон — уже не Индия, а юг, где ясно ощущалось присутствие чего-то от рая, где нельзя было оставаться слишком долго. Коломбо — шумный торговый порт, на него каждый день между пятью и шестью часами с ясного неба вдруг обрушивается страшный ливень. Вскоре мы покинули город, направляясь в глубь страны. Мы побывали в Канди, древней столице, всегда окутанной легким туманом, прохладная влага которого дает жизнь буйной зелени. Храм Далада-Малигава, где находится священная реликвия — зуб Будды, сам

по себе невелик, но в нем я нашел много интересного для себя. Я проводил в храмовой библиотеке долгие часы, беседуя с монахами и рассматривая серебряные листы с выгравированным на них текстом буддийского канона.

Здесь мне довелось стать очевидцем незабываемой вечерней церемонии. Юноши и девушки возлагали целые горы цветов жасмина к алтарю и тихо пели молитву — мантру. Я думал, что они молятся Будде, но сопровождающий меня монах объяснил: «Нет, Будды нет больше. Ему нельзя молиться, — он в нирване. Они поют: эта жизнь быстротечна как очарование этих цветов; Бог мой да разделит со мною плоды этого подношения». В том, что пели эти молодые люди, чувствовалось нечто подлинно индийское.

Перед церемонией был организован часовой концерт в мандапе (это нечто вроде зала ожидания в индийских храмах). В каждом углу зала стоял барабанщик, а еще один — очень красивый юноша — занял место в центре. Он солировал, демонстрируя настоящее искусство. На нем были красный пояс, белая шока (длинная юбка, доходящая до щиколоток) и белый тюрбан, руки украшали сверкающие браслеты, его темно-коричневая кожа блестела от пота, Юноша подошел к золотому Будде, держа в руках двойной барабан, чтобы «принести звук в жертву», и сыграл великолепную мелодию с потрясающим мастерством и артистизмом. Я наблюдал сзади, как он стоял перед маленькими светильниками у входа в мандапам. Барабан — это своего рода чревовещатель, и «молитва» — не совсем молитва, а «очистительная» мантра, медитация или самовыражение. Она не имеет никакого отношения к почитанию несуществующего Будды — это некая духовная акция, совершаемая человеком во имя спасения себя самого.

Приближалась весна, — время возвращения домой. Впечатления переполняли меня, я даже не испытывал желания сойти с корабля и осмотреть Бомбей. Вместо этого, засел за мой латинский трактат по алхимии. Но Индия оставила во мне неизгладимый след: она открыла некий путь без начала и конца, бесконечный мир — другой мир, несоизмеримый ни с чем, что я знал и к чему привык.



## Равенна и Рим

Когда я впервые посетил Равенну в 1914 году, гробница Галлы Плацидии уже тогда произвела на меня глубокое впечатление — казалось, она удивительным образом притягивала меня. 20 лет спустя я снова испытал это необыкновенное чувство. Я пошел туда с одной знакомой дамой, и по выходе мы сразу попали в баптистерий.

Первое, что меня потрясло, это мягкий голубой свет, который заливал все помещение. Но я не воспринимал его как некое чудо, не пытался понять, где его источник, почему-то это не имело для меня значения. Тем не менее я был удивлен, что на месте окон, которые я еще помнил, теперь располагались четыре огромные необычайно красивые мозаичные фрески. Но я решил, что просто забыл о них, и даже слегка огорчился, что память моя оказалась столь ненадежной. Мозаика на южной стене представляла крещение в Иордане, вторая — на северной — переход детей Израилевых через Красное море; третья, восточная, в моей памяти не сохранилась. Возможно, она изображала Неемана, очищающегося от проказы в Иордане — этот сюжет я хорошо знал по библейским гравюрам Мериана. Но самой необычной оказалась последняя, четвертая мозаика на западной стене баптистерия. На ней был Христос, протягивающий руку тонущему Пётру. Мы стояли перед ней минут двадцать и спорили о таинстве крещения, об изначальном обряде инициации, который таил в себе реальную возможность смерти. Инициация действительно представляла опасность для жизни, включая в себе архетипическую идею о смерти и возрождении. И крещение изначальное было реальным «утоплением», когда возможно было по меньшей мере захлебнуться.

Сюжет о тонущем Петре сохранился в моей памяти с поразительной отчетливостью. Я и сегодня представляю его до последних мелочи: синеву моря, отдельные мозаичные камни с надписями у губ Петра и Христа (я пытался их расшифровать). Покинув баптистерий, я сразу же заглянул в лавку, чтобы купить фотографии мозаики, но их не оказалось. Времени было мало, и я отложил покупку, полагая, что смогу заказать открытки в Цюрихе.

Уже будучи дома, я попросил одного знакомого, который собирался в Равенну, привезти мне эти открытки. Но ему не уда-

лось их найти, и не мудрено — он обнаружил, что описанной мной мозаики нет вообще. И не было.

Между тем я уже успел рассказать об исходных представлениях о крещении как инициации на одном из моих семинаров и, естественно, упомянул те мозаики из баптистерия. Я отлично помню их по сей день. Моя спутница еще долго отказывалась верить, что того, что она «видела своими глазами», не существует.

Мы знаем, как трудно определить, в какой степени два человека одновременно видят одно и то же. Но в этом случае я мог с уверенностью утверждать: мы видели мозаику, по крайней мере в главных чертах.

Случай в Равенне — одно из самых невероятных событий в моей жизни. Едва ли он поддается объяснению. По-видимому, некоторый свет в данном случае прольет один сюжет из средневековой хроники об императрице Галле Плацидии. Зимой, когда она плыла из Константинополя в Равенну, разразилась страшная буря. Тогда она дала обет, что, если спасется, построит церковь, на стенах которой будут изображены сюжеты об опасностях моря. Императрица исполнила обещание, выстроив базилику Сен-Джованни в Равенне и украсив ее мозаиками. Позже базилика вместе с мозаиками сгорела, но в Милане, в Амбросиане, все еще хранится рисунок, изображающий Галлу Плацидию в лодке.

Образ Галлы Плацидии необыкновенно взволновал меня, я часто спрашивал себя, как получилось, что такая утонченная и образованная женщина связала свою жизнь с каким-то царем варваров. Мне показалось, что ее гробница — единственная память о ней — поможет мне постигнуть ее характер и судьбу. Она в каком-то смысле сделалась частью моего существа — историческим воплощением моей анимы. При такой проекции появляется некий бессознательный элемент, который заставляет забыть о времени и испытать чудо видения. И в этот момент оно почти не отличается от действительности.

Аниме человека присущ исторический характер. Как персонификация бессознательного, она восходит к временам историческим и доисторическим, она включает в себя знание о прошлом, своего рода предысторию. Анима — это вся жизнь, все, что было

и будет. Рядом с ней я чувствую себя варваром, существом без истории — явившимся ниоткуда, лишенным «до» и «после».

В том своем диалоге с анимой я фактически уже переживал опасности, представленные в мозаике. В каком-то смысле я тонул. Подобно Петру, я звал на помощь и был спасен Иисусом. Я мог разделить участь фараонова войска. Как Петр и Нееман, я остался невредим, но все, что происходило в бессознательном, стало частью моей личности, частью меня самого.

Объяснить, что происходит с человеком, когда бессознательное интегрируется в его сознание, невероятно сложно. Это нужно пережить самому. Это нечто сугубо личное, не обсуждаемое и происходит с каждым по-своему: у меня — так, у другого — иначе, но происходит все время. Сомневаться в этом и невозможно и бессмысленно. Мы не обладаем знанием, способным примирить все несоответствия и противоречия. Возникли ли они как результат интеграции сознания и бессознательного, какова их природа — эти вопросы каждый решает для себя. Научная квалификация таких вещей невозможна, им нет места в так называемой «общепринятой картине мира». Но само по себе это чрезвычайно важно и может привести к самым серьезным последствиям. Во всяком случае, те психотерапевты и психологи, которые реально оценивают ситуацию, вряд ли могут себе позволить пройти мимо подобных явлений.

Случай в Равенне оставил во мне глубокий след. С тех пор мне известно, что нечто внешнее может неожиданно оказаться проявлением мира внутреннего, и наоборот — внутреннее может вдруг явиться внешним. Реальные стены того баптистерия, которые я должен был видеть физически, заслонило видение совершенно иного порядка, но это казалось мне столь же реальным, как неизменная чаша для крещения. Что же я тогда на самом деле видел?

Не следует относиться к случившемуся со мной как к единственному в своем роде явлению. Но когда подобные вещи происходят с нами, мы начинаем воспринимать их куда серьезнее, чем то, что услышали или прочитали о них. Вообще для такого рода историй люди, как правило, спешат придумать объяснения на скорую руку. Я пришел к заключению, что, когда речь идет о бессознательном, нашего знания и опыта всегда недостаточно для создания каких бы то ни было теорий.

Мне очень хотелось побывать в Риме, но всякий раз меня что-то останавливало — сумею ли я справиться с впечатлениями от увиденного. Мне было уже более чем достаточно впечатлений от Помпеи, я пресытился. Впервые я побывал в Помпее лишь после 1913 года, когда я уже познакомился с античной психологией. В 1917 году я оказался на корабле, направлявшемся из Генуи в Неаполь, мы приближались к Риму, я стоял у перил. Там вдалеке раскинулся Рим — этот дымившийся еще очаг древней культуры, это корневище западного — христианского — мира. Античность еще жила здесь во всем своем беспощадном великолепии.

Меня всегда удивляли люди, которые едут в Рим так, как если бы это был Париж или Лондон. Бесспорно, Рим, как и любой другой город, способен доставить эстетическое наслаждение, но если вы ощущаете рядом присутствие некоего властного духа, если на каждом шагу сталкиваетесь с чем-то близким и сокровенным, если здесь, у развалин стены, или там, у колонны, вам чудятся знакомые лица, — тогда это должно быть совсем другое переживание. Даже в Помпее я обнаружил неожиданные вещи и проблемы, разрешить которые был не в силах.

В 1949 году, когда мне было уже много лет, я решил исправить это упущение, но когда я покупал билеты, со мной случился обморок, к планам посетить Рим я больше никогда не возвращался, они были навсегда *ad acta* (сданы в архив. — *лат.*).

## | Видения

В начале 1944 года я сломал ногу, после чего со мной случился инфаркт. Когда я лежал без сознания, в бреду, у меня появились видения. Вероятно, это началось, когда я был на грани смерти: мне давали кислород и вводили камфару. Картины были столь ужасающими, что мне уже казалось — я умираю. Сиделка позже рассказывала мне: «Вы были как будто бы окружены светом». Подобные явления иногда наблюдают у умирающих. Видимо, я достиг какого-то предела. Не знаю, был ли это сон, или экстаз. Но со мной начали происходить очень странные вещи.

Мне привиделось, будто я оказался высоко в небе. Далеко внизу сиял, освещенный дивным голубым светом земной шар. Я узнавал материки, окруженные синим пространством океана, у ног моих лежал Цейлон, впереди — Индия. В поле зрения попадала не вся Земля, но ее шаровидная форма отчетливо вырисовывалась, а серебристые контуры блестели сквозь этот чудесный голубой свет. Во многих местах шар выглядел пестрым или темно-зеленым, как оксидированное серебро. Слева широкой полосой протянулась красно-желтая Аравийская пустыня, возникало впечатление, будто серебро приобретает там золотисто-красный оттенок. Еще дальше я видел Красное море, а далеко-далеко сзади, «в крайнем левом углу», смог различить краешек Средиземного моря. Мой взгляд был устремлен главным образом туда, остальное просматривалось неотчетливо. Я видел контуры снежных вершин Гималаев, но их скрывал туман. «Вправо» я почему-то не смотрел вовсе. Я знал, что собираюсь улететь куда-то далеко от земли.

Уже потом мне стало известно, как высоко нужно подняться, чтобы видеть такое огромное пространство, — на полуторатыся-

четметровую высоту! Вид земли оттуда — самое потрясающее и волшебное зрелище из всех, какие я когда-либо видел.

Но через некоторое время я отвернулся, оказавшись спиной к Индийскому океану и лицом к северу. Но потом выяснилось, что я повернулся к югу. В поле моего зрения появилось что-то новое. В некотором отдалении я увидел огромный темный камень, похожий, метеорит размером с дом, а может, и больше. Как и я, он парил в космосе.

Подобные камни мне доводилось видеть на побережье Бенгальского залива, это был темный гранит, который используется при строительстве храмов. Мой камень и представлял такой гранитный блок. В нем был вход, который вел в маленькую прихожую. Справа от входа на каменной скамье сидел в позе лотоса черный индус, одетый во все белое. Он сидел совершенно неподвижно и ожидал меня. К нему вели две ступеньки. Слева на внутренней стене виднелись храмовые ворота, окруженные множеством крошечных отверстий-углублений. Отверстия были заполнены кокосовым маслом, и в каждом стоял горящий фитиль. Такое я уже видел в действительности — в храме Святого зуба, в Канди (Цейлон), дверь в храм была окружена несколькими рядами масляных ламп.

Когда я подошел к ступенькам, то испытал странное чувство, что все происходившее со мной прежде — все это сброшено. Все, что я наметал сделать, чего желал и о чем думал, — вся эта фантазмагория земного существования вдруг спала или была сорвана, и это было очень больно. Но что-то все же осталось: все, что я когда-либо пережил или сделал, все, что со мною случилось, — это осталось при мне. Иными словами мое оставалось со мной. Оставалось то, что меня составляло, — моя история, и я чувствовал, что это и есть я. Этот опыт принес мне ощущение крайнего ничтожества и одновременно великой полноты. Не было более ни нужд, ни желаний — ведь я уже прожил все то, чем был. Поначалу мне показалось, будто во мне что-то уничтожили, что-то отняли. Но позже это ощущение исчезло, прошло бесследно. Я не жалел об отнятом, наоборот — со мною было все, что меня составляло, и ничего другого у меня быть не могло.

Но мне не давало покоя другое впечатление: когда я приблизился к храму, у меня появилась уверенность, что я сейчас войду в

освещенную комнату и увижу там всех людей, с которыми действительно связан. И тогда я наконец пойму, — в этом я тоже был убежден, — что собой представляю, каков мой исторический контекст. Я смогу узнать, что было до меня, зачем явился я и что это за общий поток, в который влилась и моя жизнь. Она мне часто казалась историей без начала и конца, я в ней был каким-то фрагментом, отрывком текста, которому ничего не предшествовало и за которым ничто не последует. Мою жизнь словно вырвали из единой цепи, и все мои вопросы остались без ответа. Почему это произошло? Почему у меня возникли именно эти мысли, а не другие? Что я сделал с ними? Что из всего этого следует? Мной овладела уверенность, что я все узнаю, как только войду в каменный храм, — узнаю, почему все сложилось так, а не иначе. Я найду там людей, которые знают ответ, — знают о том, что было прежде и что будет потом.

От моих размышлений меня отвлекло неожиданное видение. Снизу, оттуда, где была Европа, явился вдруг некий образ. Это был мой доктор, вернее, его лик в золотистом нимбе — словно в лавровом венке. Я его мгновенно узнал: «А, это же мой доктор, тот, что меня лечил. Только теперь принял облик василевса — царя Коса. Привычный мне образ был лишь временной оболочкой, теперь же предстал таким, каким был изначально».

Вероятно, я тоже пребывал в своем изначальном облике, — хотя и не мог видеть себя со стороны. Насчет того, что так оно и есть, у меня никаких сомнений не было. Когда он возник передо мной, между нами произошел безмолвный разговор. Мой доктор был послан с Земли с некой вестью: это был протест против моего ухода. Я не имел права покинуть землю и обязан был вернуться. Как только я осознал это, видение исчезло.

Мной овладело глубокое уныние: все мои усилия оказались бессмысленными. Ненужной была боль, которую я испытал, освобождаясь от своих иллюзий и привязанностей, путь в храм для меня закрыт, и я никогда не узнаю тех, с кем мне должно быть.

На самом деле минуло целых три недели, прежде чем я смог вернуться к жизни. На еду мне и смотреть не хотелось — организм не принимал пищу. Вид города и гор с больничной койки выглядел как размалеванный занавес с черными дырами или клочками газет с фотографиями, которые ничего мне не говорили. От-

чаянию моему не было границ и не давала покоя мысль, что «теперь мне опять придется вернуться в эти ящики», — из космоса мне казалось, будто за горизонтом находится искусственный трехмерный мир, где каждый человек сидит отдельно в своем ящике. Неужели мне придется заново убеждать себя, что такая жизнь за чем-то нужна? Эта жизнь и весь этот мир представлялись мне тюрьмой. Я никак не мог смириться с тем, что обязан воспринимать это, как нечто совершенно нормальное. Я так радовался освобождению, а теперь выходило, что я, как все остальные, буду жить в каком-то ящике. Паря в пространстве, я был невесомым, и ничто не связывало меня. Теперь же все это в прошлом!

Все во мне протестовало против врача, который вернул меня к жизни. И вместе с тем мысли мои были тревожными: «Видит Бог, его жизнь в опасности! Он предстал передо мной в своем изначальном облике! Тому, кто способен принять такой облик, грозит смерть, ибо он уже покинул «свой круг!»» Внезапно я осознал страшную вещь: он должен умереть вместо меня. Но все мои попытки объяснить ему это, были тщетными: он упорно не желал понимать меня. Тогда я разозлился. «Почему он все время делает вид, будто не знает, кто он такой! Он — василевс Коса! И уже являлся в этом облике. Он хочет вынудить меня поверить, что не знает об этом!» Жена выговаривала мне за то, что я веду себя с ним так недружелюбно. Она была права, но его притворство и невежество меня крайне раздражало. «Господи, ему же следует остерегаться! Ему нельзя быть таким безрассудным. Я ведь хочу ему втолковать, чтобы он позаботился о себе». Я был убежден, что ему угрожает опасность, — именно потому, что узнал его в облике царя Коса.

По сути я был последним его пациентом. 4 апреля 1944 года — я до сих пор помню эту дату — мне было позволено впервые сесть в постели, и в этот день мой доктор слег и больше уже не поднялся. Я узнал, что его мучили приступы лихорадки. Вскоре он умер от сепсиса. Он был хорошим врачом, даже в чем-то гениальным, иначе я не увидел бы в нем василевса Коса.

Тогда, в те несколько недель, я жил в странном ритме. Днем мной обычно овладевала депрессия, я был настолько слабым, что почти не мог пошевелиться. Меня переполняла жалость к себе, и я понимал, что снова вернулся в этот тоскливый серый



мир. Я знал, что к вечеру, конечно, засну, но едва ли просплю до полуночи, затем проснусь и буду бодрствовать до часу, но состояние мое будет иным — я бы назвал его своего рода экстазом: мне будет казаться, будто я парю в пространстве, будто я погружен в глубины вселенной, в совершенную пустоту и совершенное блаженство. «Это и есть вечное блаженство, — думал я. — И не выразить словами, как это прекрасно!»

Все окружающее тоже казалось мне зачарованным. Именно в это время сиделка готовила для меня какую-то еду, потому что только в эти минуты я мог есть и ел с аппетитом. Поначалу она казалась мне старой еврейкой — много старше, чем была на самом деле, и что она готовит мне ритуальные кошерные блюда, что голова ее повязана голубым платком. Сам же я находился — так мне чудилось — в *Пардес-Римоним*, в гранатовом саду, где происходила свадьба Тиферет и Мальхут. Еще я представлял себя Раби Шимоном бен Йохан, чей мистический брак праздновали сейчас. Это выглядело именно так, как изображали каббалисты. Невозможно передать, как это было удивительно. Я только твердил себе: «Это гранатовый сад! И здесь, сейчас празднуют соединение Мальхут и Тиферет!» Какова была моя роль, я точно не знаю, но я испытывал чувство, будто я сам и есть это празднество, и замирал от блаженства.

Постепенно отголоски происходящего в гранатовом саду затихли. Затем я увидел заклание пасхального агнца в празднично украшенном Иерусалиме. Описанию это не поддается, но это было прекрасно. Был свет, и были ангелы, и я сам был *Agnus Dei*.

Вдруг все это пропало и явился новый образ — последнее видение. Я пересек широкую долину и очутился перед грядой пологих холмов. Все вместе это представляло собой античный амфитеатр, который великолепно смотрелся на фоне зеленого пейзажа. И здесь, в этом театре, тоже свершался священный брак. На помост выходили танцовщики и танцовщицы и на убранном цветами ложе представляли священный брак Зевса и Геры, так как это описано в «Илиаде».

Все это было восхитительно, я блаженствовал всю ночь напролет и не одну, а вокруг меня толпились всевозможные образы. Но постепенно они смешались и растаяли. Обычно видения продолжались не больше часа, я снова засыпал, а утром откры-

вал глаза с единственной мыслью: «Ну вот, опять этот серый рассвет, опять этот серый мир с его ящиками! Боже, какой кошмар, какое безумие!» По сравнению с фантастичностью моей ночной жизни этот, дневной мир, казался до смешного нелепым. Так же постепенно, как жизнь возвращалась ко мне, блекли мои видения. Спустя три недели они прекратились вообще.

Но найти слова, чтобы передать их красоту, силу и яркость, я не мог ни тогда ни теперь. Ничего подобного я не испытывал ни до, ни после. И какой контраст между ночью и днем! Меня мучительно раздражало все вокруг — грубое, материальное тяжеловесное, повсюду заключенное в тесные рамки. Я не мог понять сути и назначения этих ограничений, но в них присутствовала какая-то гипнотическая сила, заставлявшая верить, что это и есть мир действительный — вот это ничтожество! И хоть в чем-то главном моя вера в мир была восстановлена, мне уже больше не удалось избавиться от ощущения, что эта «жизнь» — лишь некий фрагмент бытия, специально для меня определенный в трехмерной, словно наспех сколоченный ящик, вселенной.

Было и еще одно отчетливое воспоминание. Когда передо мной возник гранатовый сад, я попросил прощения у сиделки, думая, что причиняю ей вред. Пространство вокруг меня казалось мне сакральным, но для других это могло быть опасно. Она, конечно, же не поняла меня. Для меня здесь сам воздух был наполнен таинством, свершалось священнодействие, и я тревожился, что другие не смогут этого вынести. Поэтому я просил прощения — я ничего не мог поделать. Тогда я понял, почему с присутствием Святого Духа связывают некий «аромат». Это было именно так — ведь самый воздух был преисполнен неизъяснимой святости, и все указывало на то, что здесь свершается *mysterium coniunctionis*.

Никогда я и предположить не мог, что со мной произойдет нечто подобное, что вообще возможно вечное блаженство. Но мои видения и мой опыт были совершенно реальны, все в них абсолютно объективно.

Мы боимся и избегаем любого проникновения «вечности» в нашу обыденную жизнь, но я могу описать свой опыт лишь как блаженное ощущение собственного вневременного состояния, когда настоящее, прошлое и будущее сливаются воедино. Все.

что происходит во времени, все, что длится, явилось вдруг как нечто целое. Не было больше течения времени, и вообще ничего нельзя было измерить во временных понятиях. Если бы я и сумел описать этот опыт, то лишь как *состояние* — состояние, которое можно ощутить, но вообразить невозможно. Разве можно вообразить, что я существую одновременно вчера, сегодня и завтра? Тогда обязательно появится что-то еще не начавшееся, что-то происходящее сейчас и что-то уже завершённое. И все это — вместе, все — воедино. Я же ощущал лишь некую сумму времен, радужную оболочку, в которой было сразу и ожидание начала, и удивление от того, что происходит, и удовлетворение или разочарование исходом. Я сам был неотделим от всей этой целостности и все же наблюдал это совершенно объективно.

Подобное чувство объективности мне довелось испытать еще один раз. Это произошло после смерти жены. Она приснилась мне, и этот сон был как видение. Жена стояла вдалеке и пристально на меня смотрела. Ей было лет тридцать — лучший ее возраст, на ней было платье, которое много лет назад сшила для нее моя кузина-медиум. Пожалуй, это было самое красивое платье из всех, какие она когда-либо носила. Ее лицо не выражало ни веселья, ни печали, она все знала и все понимала, не проявляя ни малейшего чувства, — будто чувства — это некая пелена, которую сняли с нее. Я знал, что это не она сама, а портрет, который она для меня приготовила и передала. Здесь было все: начало наших отношений, 53 года нашей совместной жизни, ее конец. Оказавшись перед подобной целостностью, человек становится бессловесным, потому что едва ли в состоянии постичь это.

Ощущение объективности, которое присутствовало в этом сне и в моих видениях, — следствие свершившейся индивидуации. Оно означает отстраненность от всякого рода оценок и от того, что мы называем эмоциональными привязанностями. Для человека эти привязанности значат очень много, но в них всегда заключена проекция, некое субъективное смещение угла зрения, которое необходимо устранить, чтобы достичь объективности и самодостаточности. Эмоциональные связи — это наши желания, они несут с собой принуждение и несвободу. Ожидая чего-то от других, мы тем самым ставим себя в зависимость от кого-то. Суть в том что объективное знание в большинстве своем скрыто за

эмоциональным отношением. И только объективное знание открывает путь к истинному духовному единению.

После болезни у меня наступил период плодотворной работы. Множество принципиальных для меня работ я написал именно тогда. Знание, или новое видение вещей, — после того, как я пережил свое от них отделение, — потребовало иных формулировок. Не пытаюсь уже доказывать свое, я весь отдался во власть свободного потока мыслей. И проблемы приходили ко мне одна за другой, облакаясь в конкретную форму.

Но после болезни я приобрел и новое качество. Его я назвал бы утвердительным отношением к бытию, безусловным «да» по отношению ко всему, что есть, без каких бы то ни было субъективных протестов. Условия существования я принимал такими, какими видел и понимал их, себя самого я тоже принимал таким, каким мне суждено быть. В начале болезни мне казалось, что в моих отношениях с этим миром не все благополучно и что ответственность за это в некоторой степени лежит на мне. Но каждый, кто выбрал такой путь, живет, неизбежно делая ошибки. От ошибок и опасностей не застрахован никто. Можно полагаться на какой-то путь, посчитав его надежным, и этот путь окажется путем смерти. На нем не произойдет ничего. По-настоящему — ничего! Надежный и проверенный путь — это путь только к смерти.

Лишь после болезни я понял, как важно увериться в существовании собственной судьбы. Наше «я» проявляется как правило в ситуациях непредвиденных, непостижимых. Это «я», способное терпеть и принять правду, в состоянии справиться с миром и судьбой. Только в этом случае наши поражения превращаются в победы. И тогда ничто — ни извне, ни изнутри — не может противостоять нам. Тогда наше «я» способно выстоять в потоке жизни, в потоке времени. Но это верно лишь при условии, что мы не намерены и не пытаемся вмешиваться в ход своей судьбы.

Еще я понял, что некоторые собственные мысли следует принимать как должное, их значение в том, что они есть. Категории истинного и ложного, конечно, присутствуют всегда, но они не всегда обязательны и не всегда применимы. Существование таких мыслей само по себе более важно, чем то, что мы об этом думаем. Но и это — то есть то, что мы думаем — не следует подавлять, как не следует подавлять любое проявление своего «я».

## | Жизнь после смерти

Все, что я могу поведать о потустороннем, о жизни после смерти, все это — воспоминания. Это мысли и образы, с которыми я жил, которые не давали мне покоя. В определенном смысле они являются основой моих работ, ведь мои работы — не что иное, как неустанные попытки ответить на вопрос: какова связь между тем, что «здесь», и тем, что «там»? Однако я никогда не позволял себе говорить о жизни после смерти *expressis verbis* (вполне отчетливо. — *лат.*), в противном случае мне пришлось бы как-то обосновать мои соображения, чего я сделать не в состоянии. И все же я попробую рассказать об этом.

Впрочем, все равно это будет всего лишь «сказка», миф. Может быть, человеку нужно прикоснуться к смерти, чтобы он обрел необходимую для этого свободу и раскованность. Независимо от того, желаю ли я какой-нибудь жизни после смерти или нет, — я прежде всего не хотел бы культивировать в себе подобные мысли. Но должен отметить, что на самом деле, безотносительно моих желаний и поступков, я все равно об этом думаю. Что здесь правда, что ложь, я не знаю, но такие мысли есть и вполне могут оформиться, если только я, следуя рассудку, не стану подавлять их. Предвзятость обедняет психическую жизнь, нанося непоправимый ущерб всем ее проявлениям, но я знаю слишком мало, чтобы суметь каким-то образом откорректировать этот ущерб. Возможно, что критическое вмешательство рассудка смогло бы многое прояснить как в этом, так и в большинстве других мифологических представлений, но не исключено, что оно же редуцировало бы их вплоть до полного исчезновения. Дело в том, что в наши дни большинство людей идентифицируют себя

исключительно со своим сознанием и полагают, что они есть именно то, что о себе знают. Но всякий, кто мало-мальски знаком с психологией, скажет вам, сколь ограниченно это знание. Рационализм и доктринерство — это болезни нашего времени, предполагается, что им известны ответы на все вопросы. Но нам еще предстоит открыть все то, что наше нынешнее ограниченное знание пока исключает как невозможное. Наши понятия о пространстве и времени более чем приблизительны, и существует огромное поле для всякого рода отклонений и поправок. Понимая это, я не могу просто взять и отбросить странные мифы моей души и внимательно наблюдаю за всем происходящим вокруг, независимо от того, насколько это соответствует моим теоретическим предположениям.

Жаль, но мифологическая сторона человеческой природы сегодня изрядно упростилась. Человек более не порождает сюжеты. Он себя многого лишает, потому что это очень важно и полезно — говорить о вещах непостижимых. Это похоже на то, как если бы мы сидели у огня и, покуривая трубку, рассуждали о привидениях.

Что на самом деле означают мифы или истории о потусторонней жизни, какого рода реальность они отражают, — мы, безусловно, не знаем. Мы не можем сказать, имеют ли они какую-либо ценность помимо того, что представляют собой несомненную антропоморфическую проекцию извне. И нужно никогда не забывать о главном — о том, что нельзя и невозможно с уверенностью говорить о вещах, которые выше нашего понимания.

Мы не в состоянии вообразить себе другой мир, другие обстоятельства иначе, чем по образу и подобию того мира, в котором живем, который сформировал наш дух и определил основные предпосылки нашей психики. Мы существуем в жестких рамках своей внутренней структуры и всеми своими помыслами привязаны к этому нашему миру. Мифологическое сознание способно преодолеть это, но научное знание не может себе такого позволить. Для рассудка вся эта мифология — просто спекуляция; но для души она целебна, без нее наша жизнь стала бы плоской и серой. И нет никаких веских причин так себя обкрадывать.

Парапсихология считает вполне удовлетворительным доказательством потусторонней жизни некую манифестацию успешных: они заявляют о себе как призраки или через медиума, передавая живым то, о чем знать могут только они. Но даже когда это верифицируемо, остаются вопросы, идентичен ли этот призрак или голос покойнику или это некая проекция бессознательного, были ли вещи, о которых говорил голос, — ведомы мертвому или же опять таки проходили по ведомству бессознательного?

Даже если отбросить в сторону все рациональные аргументы, которые по сути запрещают нам с уверенностью говорить о подобных вещах, остаются еще люди, для которых очень важна уверенность в том, что жизнь их продолжится за пределами настоящего существования. Благодаря ей, они стараются жить более разумно и спокойно. Если человек знает, что перед ним целая вечность, нужна ли эта бессмысленная спешка?

Безусловно, так думает не каждый. Есть люди, которых сама мысль о бессмертии приводит в ужас — неужели им придется десятки тысяч лет восседать на облаке и перебирать струны арфы? Кроме того, есть люди, и их немало, с которыми жизнь обошлась так жестоко, которым так надоело собственное существование, что ужасный конец они предпочитают бесконечному кошмару. И тем не менее в большинстве случаев вопрос о бессмертии настолько важен и настолько в прямую связан с бытием, что мы должны попытаться составить об этом определенное представление. Но каким образом?

На мой взгляд, этого можно добиться с помощью тех неясных образов, которые бессознательное посылает, например, в наши сны. Обычно мы не придаем им значения, как вопросу, на который нет ответа. Подобный скептицизм понять несложно, но я попробую заинтересовать вас следующими соображениями: если существует нечто, чего мы не можем знать, мы не должны подходить к этому, как к интеллектуальной проблеме. Например, я не знаю, почему и как возникла Вселенная, и никогда этого не узнаю. Поэтому мне нет смысла делать из этого научную или интеллектуальную проблему. Но когда у меня есть представление об этом — из сновидения или мифологической традиции, — мимо я уже не пройду. Я буду стараться на их основе создать некую концепцию, даже если она так и останется гипотезой, которую мне никогда не удастся обосновать.

У человека должна быть возможность сказать, что он сделал все, чтобы иметь какое-то представление о жизни после смерти или некий образ такой жизни, — даже если это станет признанием его бессилия. Отказаться от такой попытки — значит лишить себя чего-то важного. Ведь в этом проявляется вековое наследие человечества, полный тайной жизни архетип, необходимая часть той целостности, которая и есть наша личность, мы сами. Границы разума слишком узки, он приемлет только известное, и то с ограничениями. И такое существование — в ограниченных рамках — выдает себя за жизнь действительную. Но наша каждодневная жизнь определяется не только сознанием, без нашего ведома в нас живет бессознательное. И чем сильнее крен в сторону критического разума, тем более убогой становится жизнь. Когда же мы осознаем свое бессознательное, свои мифы, какой богатой и разнообразной делается она. Абсолютная власть разума то же самое, что политический абсолютизм: она уничтожает личность.

Бессознательное дает нам некий шанс, что-то сообщая или на что-то намекая своими образами. Оно способно дать нам знание, неподвластное традиционной логике. Попробуйте припомнить феномены синхронизма, предчувствия или сны, которые сбылись!

Со мной это произошло во время второй мировой войны. Я возвращался домой из Боллингена, взяв в дорогу книгу. Но читать я не мог: с того момента, как поезд тронулся, передо мной возник образ утопленника. Это было воспоминание о несчастном случае, когда я служил в армии. Всю поездку я никак не мог избавиться от него. Я встревожился: «Что случилось? Не к добру это!»

В Эрленбахе я сошел с поезда и направился домой, все еще обеспокоенный этим воспоминанием. В саду играли дети моей второй дочери. Ее семья жила тогда с нами, они вернулись из Парижа в Швейцарию во время войны. Дети, похоже, были чем-то расстроены, и, когда я спросил: «Что случилось?», они рассказали, что Адриан (младший из мальчиков) упал в воду с лодочного причала. Там было довольно глубоко, а он толком не умел плавать и чуть не утонул. Его вытащил старший брат. Это случилось как раз тогда, когда я был в поезде и мое воспоминание пре-



следовало меня. Бессознательное подало мне некий знак. Почему же в таком случае оно не может сообщать мне и о чем-либо другом?

Нечто подобное я пережил накануне смерти одной из родственниц моей жены. Во сне я увидел глубокую яму с каменными стенами, которая якобы служила постелью моей жене. Это была могила, чем-то напоминающая античные могильники. Вдруг я услышал глубокий вздох — будто отлетела чья-то душа, и из ямы возник образ моей жены. Она была в белом платье, расшитом странными черными знаками. Я мгновенно проснулся, разбудил жену и глянул — который час. Было три часа утра. Необычность сна обеспокоила меня: я сразу подумал, что он предвещает чью-то смерть. В семь часов мы узнали, что в три часа утра скончалась двоюродная сестра моей жены.

Предупреждения мы получаем довольно часто, но не умеем их распознать. Так, однажды мне приснился сон, будто я нахожусь на какой-то garden party. Я встретил там мою сестру и очень удивился — она умерла несколько лет назад. Там же присутствовал мой покойный друг. Все прочие оказались моими ныне здравствующими знакомыми. Мою сестру, однако, сопровождала дама, которую я хорошо знал, и даже во сне понял, что она, видимо, скоро умрет. «Она уже отмечена», — подумал я. Во сне я хорошо знал, кто она и где живет, — она жила в Базеле. Но пробудившись, я уже не смог ее вспомнить, хотя все остальные фрагменты сна видел как наяву. Я перебрал всех своих базельских знакомых, надеясь, что припомню, кто же это был. Ничего не получилось!

Через несколько недель мне сообщили о смерти одной моей приятельницы. Я сразу же понял, что это была она — женщина, увиденная во сне, которую я не мог вспомнить. А ведь я отлично знал ее — она долгое время была моей пациенткой. Перебирая всех своих знакомых, я забыл о ней, хотя в первую очередь должен был подумать о ней.

Когда такое случается, нами овладевает страх перед разного рода возможностями и способностями бессознательного. В подобных ситуациях нужно быть очень осторожными, помня, что такого рода «сообщения» всегда субъективны: они могут иметь некоторое отношение к реальности, но могут и не иметь. Но я не

единожды убеждался, что те построения, которые возникали у меня на основании таких «подсказок» бессознательного, в основном себя оправдали. Речь, конечно, идет не о том, чтобы составить книгу из подобного рода откровений, но я должен признать, что у меня есть свой «миф», именно из-за него я снова и снова обращаюсь к проблемам бессознательного. Миф — самая ранняя форма знания. Когда я говорю о том, что бывает после смерти, я делаю это по внутреннему побуждению и не могу идти дальше снов и мифов.

Можно, наверное, с ходу заявить, что мифы и сновидения, связанные с происходящим после смерти, не что иное как компенсаторные фантазии, заложенные в самой природе: всякая жизнь желает продолжаться вечно. У меня есть лишь одно возражение: миф.

Кроме того, есть люди, убежденные в том, что на некую часть души не распространяются законы пространства и времени. Научное подтверждение тому — известные эксперименты Дж. Б. Райна<sup>1</sup>. Многочисленные случаи спонтанных предчувствий, внепространственных ощущений и т. п., а также те примеры, которые я приводил, — доказывают, что душа подчас функционирует по ту сторону пространства, времени и законов причинности. Это означает, что нашим представлениям о пространстве, времени, а следовательно и причинности, — явно не хватает полноты. Целостная картина мира требует как минимум еще одного измерения, в противном случае очень многое остается непонятным и необъяснимым. Вот почему рационалисты не устают повторять, что парапсихологических явлений в действительности не существует, ведь на этой зыбкой основе и держится их картина мира. Если же такого рода феномены вообще имеют место, рационалистический миропорядок явно перестает кого-либо удовлетворять: он не полон. Отсюда со всей неизбежностью вытекает другая проблема — возможность существования иной реальности. И нам приходится признать то, что наш мир, с его временем, пространством и причинностью, скрывает за собой (или под собой) иной порядок вещей, где нет «здесь» и «там», «раньше» и «поз-

---

<sup>1</sup> Дж. Б. Райн — американский психолог, который провел серию экспериментов по внепространственным ощущениям. — А. Я.

же». По моему убеждению, по меньшей мере части нашего психического существа присуща релятивность времени и пространства. Она представляется абсолютной, как только мы удаляемся от сознательных процессов.

Не только мои сны — иногда и сны других — помогали мне формировать, корректировать и подтверждать мои догадки о жизни после смерти. Особую роль я отвожу сну, который приснился моей ученице, шестидесятилетней женщине, за два месяца до ее смерти. Она увидела себя на том свете — в школьном классе, где за первыми партами сидели ее покойные уже подруги. Все чего-то ожидали. Она поискала глазами учителя или лектора, но никого не обнаружила. Наконец до нее дошло, что она и есть тот самый лектор, ведь все умершие должны дать после смерти отчет о своем жизненном опыте. Мертвым это было чрезвычайно интересно, словно события и впечатления земной жизни могли здесь на что-то повлиять.

Во всяком случае, в этом сне собралась самая странная аудитория, которую только можно себе вообразить: здесь проявился самый горячий интерес к последнему психологическому исходу человеческой жизни, жизни, в которой не было ничего замечательного — по крайней мере для нас. Но если предположить, что эта «аудитория» существует вне времени, тогда «завершение», «событие» и «развитие» превращаются в некие сомнительные понятия, в какие-то невозможные, недостающие состояния, и вполне понятно жгучее любопытство, к ним обращенное.

Женщина перед тем, как увидела этот сон, испытывала страх при мысли о смерти и старалась отогнать ее. Но смерть — предмет слишком значительный, особенно для стареющего человека, когда она перестает быть, скажем так, отдаленной возможностью, когда человек оказывается стоящим прямо перед ней и вынужден дать ответ. Но для этого ему нужен некий миф о смерти, потому что «здравый смысл» не подсказывает ничего, кроме ожидающей его черной ямы. Миф же способен предложить иные образы, — благодетельные и полные смысла картины жизни в стране мертвых. Если человек в них верит хотя бы немного, он так же прав или неправ, как тот, кто не верит в них. Отвергнувший миф, уходит в ничто, а тот, кто следует архетипу, идет по

дороге жизни и полон жизни даже в момент смерти. Оба, естественно, остаются в неведении, но один живет наперекор своему инстинкту, другой — в согласии с ним. Разница существенная, и преимущество последнего более чем очевидно.

Бессознательные образы сами по себе лишены какой бы то ни было формы, и, чтобы они, эти образы, сделались «знанием», необходим человек, необходим контакт с сознанием. Начиная свои исследования в области бессознательного, я выяснил, что в моих фантазиях часто возникают фигуры Саломеи и Ильи. Затем они отошли на задний план, но спустя примерно два года появились снова. Удивительно, но они совершенно не изменились, говорили и поступали так, будто за это время ничего не случилось. Это была одна из самых невероятных ситуаций, в которые я когда-либо попадал. Я как бы начал все с начала, я стал им все заново объяснять и рассказывать. Это было поразительно. Только много позже я понял суть происшедшего: все эти два года они были погружены в бессознательное — в безвременье, оставаясь там, не входя в контакт с сознанием, не ведая о том, что происходило в этом мире.

Я достаточно рано осознал, что пытаюсь, как бы поучать эти образы из бессознательного, или «души умерших», — подчас их трудно различить. Впервые я понял это в 1911 году, когда путешествовал на велосипеде по северной Италии. Мы с другом возвращались через Павию к Ароне и в долине Маджоре заночевали. Мы собирались проехать вдоль озера, а затем через Тессин в Файдо, где рассчитывали сесть на цюрихский поезд. Но в Ароне мне приснился сон, который перечеркнул все наши планы.

Во сне я оказался на каком-то собрании, где находились души умерших. Я испытывал к ним чувства, подобные тем, какие возникли у меня гораздо позже в храме из черного камня (в моем видении 1944 года). Они беседовали между собой на латыни. Господин в завитом парике обратился ко мне с каким-то сложным вопросом, суть которого я по пробуждении вспомнить не мог. Я понял, о чем он говорит, но не настолько хорошо владел латынью, чтобы ответить ему, — и мне стало так стыдно, что я проснулся с ощущением своего позора.

Первое, что пришло мне в голову, — это книга, над которой я тогда работал («Метаморфозы и символы либидо»). Чувство

унижения, охватившее меня из-за того, что не смог ответить, заставило меня немедленно сесть на поезд и отправиться домой, чтобы засесть за книгу. Я не мог потерять здесь еще три дня. Я должен был работать и найти ответ.

Лишь гораздо позже мне стал понятен смысл сна и моя реакция на него. Господин в парике был, скорее всего, духом предков, духом мертвых, он задавал мне вопросы — а я не сумел ответить! Видимо, тогда еще не пришло время, я не был готов, но смутно ощущал, что в своей книге отвечаю на тот же вопрос. Этот вопрос поставили мои — в прямом смысле — духовные праотцы, надеясь и ожидая, что узнают от меня то, что стало известно людям после их ухода. Если вопрос и ответ уже прозвучали в вечности и всегда оставались там, тогда мои усилия не требовались — ответ можно было бы получить в любом другом столетии. Кажется, что на самом деле в природе существует беспредельное знание, а оно существует всегда — но осознается оно только в свое время. Точно так же как человек, который может жить многие годы, имея самое поверхностное представление о каких-то вещах, вдруг в какой-то момент осознает их с необыкновенной ясностью.

Много позже, когда я писал «Septem sermones...», мертвые снова задавали мне свои вопросы. Они явились, по их словам, «из Иерусалима, где не нашли того, что искали». Тогда я удивился, ведь принято считать, что им известно много больше, чем нам, и христианская церковь учит, что в «той» жизни мы встретим Бога. Но в моем случае души мертвых «знали» только то, что им было известно на момент их смерти и ничего кроме этого. Отсюда их стремление проникнуть в человеческую жизнь и человеческое знание. Я часто ощущаю, как они становятся у нас за спиной и ждут разрешения своих вопросов и разрешения наших судеб. Мне казалось, что для них от этого зависит все — от того, какие ответы они получают на свои вопросы, то есть они были как бы подвластны тем, кто жил после них в этом меняющемся мире. Мертвые вопрошали так, как если бы все знание или, я бы сказал, всеобъемлющее сознание не находилось в их распоряжении, но принадлежало только живым, телесным душам. Поэтому дух живой (так я думаю) имеет преимущество перед духом отлетевшим по крайней мере в одном пункте, а именно — в спо-

способности получать ясное и завершенное представление о чем бы то ни было. Для меня трехмерный мир во времени и пространстве — это система координат: то, что здесь мы различаем как ось ординат и ось абсцисс, в вечности, может представлять собой некий первоначальный образ с «рассеянным фокусом», некое рассеянное «облако сознания» вокруг архетипа. Но система координат необходима для того, чтобы уметь различать дискретные элементы содержания. Любая подобная операция выглядит невыполнимой в состоянии «рассеянного всезнания» или некоего безличного сознания, в котором отсутствует пространственно-временная определенность. Познание же, как и размножение, предполагает наличие противоположностей: здесь — там, верх — низ, до — после.

Если бы после смерти было возможно существование сознательного, оно, на мой взгляд, развивалось бы в том же направлении, что и «коллективное сознание» человечества, которое всегда имеет некую верхнюю, хотя и плавающую границу. Бытие многих людей до самой их смерти находится ниже уровня их потенциальных возможностей и, что важнее, ниже уровня, на котором в тех же временных рамках находятся другие. Отсюда и потребность первых достигнуть после смерти той степени осознанного восприятия явлений, на которую не удалось подняться при жизни.

Этот вывод я сделал, изучая сны о мертвых. Однажды мне приснилось, будто я навестил друга, умершего две недели назад. При жизни он никогда не выходил за рамки общепринятых, традиционных представлений и всегда воздерживался от любой рефлексии. В моем сновидении он жил на холме, похожем на Туллингеров холм близ Базеля. Там возвышался старинный замок, стены которого образовывали кольцо вокруг площади, на которой стояли маленькая церквушка и какие-то одноэтажные постройки. Мне это напомнило площадь перед замком Рапперсвилль. Стояла осень, листья вековых деревьев уже окрасились в золотистые тона, и весь пейзаж был словно пронизан мягким солнечным светом. Мой друг сидел за столом со своей дочерью, которая изучала психологию в Цюрихе. Я знал, что они говорили о психологии. Он был так увлечен бесе-

дой, что едва поприветствовал меня легким движением руки, будто собирался сказать: «Не мешай мне!» Этот приветственный жест был и знаком прощания.

Сон таким странным образом дал мне понять, что друг мой реализует теперь истинную природу своего психического существа — то, чего не смог сделать при жизни. Потом образы этого сна напомнили мне финал второй части «Фауста» — святых отшельников, ютящихся на уступах горы, которые, по-видимому, являют собой различные взаимодополняющие и превосходящие друг друга ступени развития.

У меня был и другой опыт, связанный с развитием души после смерти. Это случилось примерно через год после смерти моей жены. Ночью я вдруг проснулся с ощущением того, что мы с женой находимся на юге Франции, в Провансе, где провели вместе целый день. Она собирала материалы о Граале. Видение показалось мне не лишенным смысла: моя жена умерла, не закончив эту работу.

В подобном субъективном объяснении для меня не было ничего нового: то, что жена не завершила свой труд, я и так знал. Но мысль о том, что жена и после смерти продолжала работать и совершенствоваться — как ни понимай это, — казалась преисполненной глубокого смысла, сновидение принесло мне долгожданное целительное успокоение.

Такого рода представления, конечно, неточны и вряд ли могут кого-либо удовлетворить. Они подобны плоской проекции, или же наоборот — четырехмерной модели трехмерного тела, где для наглядности используются определения трехмерного мира. Математика же не раздражает тот факт, что обозначаемые им отношения превосходят эмпирическое понимание. Таким же образом дисциплинированное воображение, монтируя модель непостижимого мира, использует принципы логики и базируется на эмпирических данных, то есть пересказах снов. Этот свой метод я называю методом «необходимых показаний». Он воспроизводит принцип амплификации в толковании сновидений; причем его несложно продемонстрировать на большом количестве такого рода «показаний».

Единица — первая цифра некоего единства, но она же и собственно «единство», она обозначает и «едино», и «всеедино», и

«единственность», и «недвойственность», единица — это не только число, но философская идея, некий архетип, божественный атрибут, монада. Для человеческого разума подобные заключения вполне естественны, но в то же время он детерминирован и ограничен собственными представлениями о единице и ее импликациях. Иными словами, наше определение не произвольно, а продиктовано самой природой единицы, и потому оно необходимо. Теоретически аналогичную операцию можно проделать с каждым из последующих чисел, но на практике очень легко оказаться в тупике, ведь с возрастанием количества усложняется содержание, которое в итоге уже просто невозможно исчислить и осознать.

Каждое последующее единство имеет иные свойства. Например, особенность числа «4» заключается в том, что оно позволяет решить уравнение четвертой степени, но уже уравнение пятой степени — нет. «Необходимым показанием» для числа «4», будет то, что помимо всего прочего оно венчает предыдущую последовательность чисел. Поскольку каждое очередное единство приобретает еще одно или несколько математических свойств, последующие показания все больше усложняются, и наконец они уже не поддаются формулировке.

Бесконечная последовательность натуральных чисел соответствует бесконечному разнообразию индивидуальных созданий. Это бесконечное количество состоит из индивидуумов, и уже свойства десяти первых показывают — если они вообще что-то показывают — некую абстрактную космогонию. Но свойства чисел одновременно являются качествами материи, и определенные уравнения способны прогнозировать ее поведение.

Я осмелюсь утверждать, что, кроме собственно математических выражений, существуют и другие, соотносимые с реальностью самым непостижимым образом. Взять хотя бы порождения нашей фантазии, их в силу большой частотности вполне возможно рассматривать как *consensus omnium* (общее мнение. — *лат.*), архетипические мотивы. Как существуют математические уравнения, о которых нельзя сказать, каким именно физическим реальностям они соответствуют, так существует и мифологическая реальность, о которой мы не можем сказать, с какой психической реальностью она соотносится. К примеру, уравне-



ния, позволяющие рассчитать турбулентность разогретых газов, были известны задолго до того, как эти процессы были досконально изучены. Подобным же образом с давних пор существуют мифологемы, определявшие течение некоторых скрытых от сознания процессов, названия которым мы смогли дать лишь сегодня.

Верхним пределом знания, доступного мертвым, является, на мой взгляд, тот уровень сознания, который уже был некогда достигнут. Возможно, поэтому земной жизни придается такое значение и так важно, что «уносит с собой человек» в момент смерти. Только в этой, земной и противоречивой жизни достигается высшая ступень сознания. В этом и заключается метафизическая задача человека, которая без «мифологизирования» решения не имеет. Миф — это необходимое связующее звено между бессознательным и сознательным знанием. Разумеется, бессознательному известно больше, но это особое знание, существующее в вечности, не разделенное на «здесь» и «сейчас», не переводимое на наш рациональный язык. Только при амплификации наших «показаний», как это было показано выше на примере числительных, оно становится доступно нашему пониманию, открывается под новым углом зрения. И каждое удачное толкование сна является повторением этого процесса, утверждая нас в этом знании. Отсюда очень важно, обращаясь к снам, освободиться от предвзятых, доктринерских установок. Но как только появится некая «одинаковость» толкований, нужно признать, что в наших интерпретациях есть некоторая предубежденность, и следовательно, они бесплодны.

Хотя удовлетворительных доказательств бессмертия души и продолжения жизни после смерти еще никто не представил, существуют явления, которые заставляют над этим задуматься. Я могу принять их как возможные отсылки, но не решусь, конечно, отнести их к области абсолютного знания.

Как-то ночью я лежал без сна и размышлял о внезапной смерти одного моего друга, которого похоронили накануне. Эта смерть потрясла меня. Вдруг у меня возникло ощущение, что он находится здесь, в этой комнате. Мне показалось, будто он стоит в изножье моей кровати и зовет идти за ним. Это был не призрак-

ный, а его зримый образ, созданный моим воображением. Но, если быть честным, я должен был спросить себя: имеются ли у меня какие-либо доказательства того, что это только фантазия? Допустим, что это не так и что мой друг действительно был здесь, но я решил, что он — плод моего воображения, — хорошо ли это с моей стороны? Тем не менее у меня не было никаких доказательств — ни того, что он стоял передо мной, ни того, что я его вообразил. Тогда я сказал себе: «Не доказано ни то, ни другое! Вместо того, чтобы называть это фантазией, я мог бы с тем же правом посчитать его призраком и попытаться отнестись к нему как к чему-то реальному». И только я об этом подумал, он шагнул к двери и сделал мне знак следовать за ним — как бы приглашая сыграть в некую игру. Я вовсе не собирался этого делать. В итоге пришлось повторить себе собственные аргументы еще раз. Только тогда я смог представить, что следую за ним.

Он вывел меня из дома и повел через сад, на улицу. Наконец мы пришли к его дому (он находился в сотне метров от моего). В доме он провел меня в свой кабинет, и встав на скамеечку, указал мне на вторую из пяти книг в красных переплетах, которые стояли на второй полке сверху. На этом видение оборвалось. Я не был знаком с его библиотекой и не знал, что там за книги. Разумеется, я не мог прочесть заглавие того тома, на который он указывал, — я стоял внизу, а вторая полка находилась слишком высоко.

Тем не менее это было так странно, что на следующее утро я отправился к его вдове и попросил разрешения взглянуть на библиотеку покойного. Там, как в моем видении, под книжным шкафом стояла маленькая скамеечка, но, не успев даже подойти к шкафу, я увидел пять книг в красных переплетах. Я встал на скамеечку и прочел заглавия. Это были переводы романов Золя. Второй том назывался «Завещание мертвеца». Сюжет его показался мне не заслуживающим внимания, но заглавие оказалось более чем значимым.

В другом случае поводом для размышлений послужили сны, увиденные мной перед смертью матери. Она умерла, когда я был в Тессине. Известие меня потрясло, эта смерть была для меня неожиданной. Накануне ночью мне приснился страшный сон. Я находился в дремучем, мрачном лесу; среди огромных

деревьев то там, то сям виднелись сказочные гигантские валуны. Настоящий героический первобытный пейзаж! И в тот же момент послышался пронзительный свист, эхо его, казалось, отозвалось во всей вселенной. От ужаса у меня подогнулись колени. Особенно, когда из кустарника с треском выпрыгнул огромный волкодав с оскаленной пастью. При взгляде на него у меня застыла кровь. Волкодав промчался мимо, и тут меня осенило: Дикий Охотник приказал ему унести человеческую душу. Я проснулся в смертельном ужасе, а утром получил известие о смерти матери.

Редко когда сны так пугали меня, ведь в первую минуту могло показаться, что мою мать унес дьявол. На самом деле же это был Дикий Охотник, «Грюнхютль» (Зеленая Шапка): во время январских метелей он по ночам охотился со своим волкодавом. Охотником, как я понял, был Вотан, бог древних германцев, он и «унес» мою мать к ее предкам. Можно в связи с этим вспомнить о «войске Дикого Охотника», не следует забывать и о «salig Lüt». Это христианские миссионеры позже превратили Вотана в дьявола, а поначалу он был богом, как Меркурий, или Гермес, именно так понимали его римляне, это был дух природы, Мерлин из легенды о Граале, «*Spiritus Mercurialis*», тайну которого пытались разгадать алхимики. Таким образом, сон сообщал, что душа моей матери была столь самодостаточна, что оказалась по ту сторону христианского мира — там, где царит единство природы и духа.

Я сразу же выехал домой. Всю ночь в поезде мне не давало покоя тяжелое чувство, но где-то в глубине души я не испытывал скорби по очень странной причине: в ушах у меня постоянно звучала танцевальная музыка, смех и крики, будто где-то праздновали свадьбу. Этот резкий контраст с тем тяжелым чувством, которое оставил сон, не давал мне целиком погрузиться в печаль. Причем всякий раз, стоило лишь мне забыться, как я вдруг обнаруживал, что вокруг меня звучит какая-то радостная мелодия. И эта череда контрастных состояний казалась мне бесконечной.

Такой парадокс можно объяснить, если предположить, что в одном случае смерть видится нам с точки зрения эго, в другом — с точки зрения души. В первом случае она выглядит катастрофой, некой жестокой и безжалостной силой, отнимающей у человека жизнь.

Смерть действительно страшно жестока, здесь не стоит себя обманывать, — она беспощадна не только физически, но и, прежде всего, в психической своей природе: человека вырывают из круга живых, и все, что остается, это ледяное молчание мертвеца. У нас нет надежды на какую бы то ни было связь с ним, все мосты разрушены. Люди, заслуживающие долгой жизни, умирают в расцвете лет, никчемные доживают до глубокой старости. Это жестокая реальность, и мы должны отдавать себе в этом отчет. Неумолимость и бессмысленность смерти может так ожесточить нас, что мы поверим в то, что не существует в мире ни милосердного бога, ни справедливости, ни добра.

Но на другой взгляд — *sub specie aeternitatis* (с точки зрения вечности. — *лат.*), смерть есть радостное событие, как некая свадьба, *misterium coniunctionis*. Душа словно обретает свою недостающую половину, достигая полноты. На греческих саркофагах изображали танцовщиц, на этрусских могилах — пир. Когда ушел из жизни набожный каббалист Раби Шимон бен Иохаи, его друзья говорили: он празднует свадьбу. И по сей день во многих местах в День поминовения по обычаю устраивают на могилах своего рода «пикник». Все это свидетельствует об ощущении смерти как некоего праздника.

За несколько месяцев до смерти матери, в сентябре 1922 года, мне приснился вещий сон. В сне я увидел отца, и это потрясло меня — отец не снился мне с 1896 года. И вот он вновь объявился, будто вернулся из далекого путешествия. Он показался мне помолодевшим, избавившимся от прежней родительской авторитарности. Я провел его в библиотеку, втайне радуясь, что наконец узнаю, зачем он пришел. Вдобавок я предвкушал особое удовольствие от того, что сейчас познакомлю его с женой и детьми, покажу мой дом, расскажу, что я сделал за свою жизнь и чем стал. Еще я хотел показать ему свою книгу «Психологические типы», которая недавно была опубликована. Однако вскоре я понял, что ему нужно совсем другое — отец казался чем-то озабоченным и явно чего-то хотел от меня. Почувствовав это, я воздержался от разговоров о себе. Наконец он сказал, что, раз уж я «психолог», он хотел бы проконсультироваться со мной по проблемам семейной психологии. Я уже был готов прочитать ему длинную лекцию о сложностях брака, но

в этот момент проснулся. Сразу я не сумел правильно понять и объяснить этот сон, поскольку мне даже в голову не приходило, что он может предвещать близкую смерть матери. Мне это стало понятно лишь тогда, когда она внезапно умерла в январе 1923 года.

Брак моих родителей был несчастливым, полным испытаний и горестей. И отец, и мать — оба — совершали множество ошибок, типичных в подобных ситуациях. Увидев этот сон, я мог предугадать смерть матери: отец появился после 26 лет отсутствия, желая узнать у психолога о новейших достижениях семейной психологии потому, что ему в скором времени предстояло вернуться к этой проблеме. Видимо, там, в вечности, он был лишен возможности получить новое знание и не стал лучше разбираться в этих вопросах, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к кому-то из живущих, чтобы в свете последних обстоятельств определить собственную точку зрения.

Таков был смысл сна. Безусловно, я мог узнать и гораздо больше, но меня прежде всего занимало, почему отец приснился мне перед смертью матери, смертью, которую я не смог предвидеть? Сон явно указывал мне на отца, к которому я со временем стал испытывать все более глубокую симпатию.

Бессознательное, по причине своей пространственно-временной относительности, владеет гораздо лучшими источниками информации, чем сознание — последнее лишь направляет наше смысловое восприятие, тогда как свои мифы о жизни после смерти мы умеем создавать благодаря немногим скупым намекам из наших сновидений и подобных спонтанных проявлений бессознательного. Как я уже отмечал, мифам не стоит придавать какую бы то ни было познавательную ценность, и уж совсем не следует считать их доказательствами. Тем не менее, они могут явиться основанием для мифологической амплификации, открывая перед исследователем возможности для живого творчества. Уберите этот промежуточный мифологический мир фантазий, и дух станет добычей закостеневших доктринерских предрассудков. С другой стороны, уделяя слишком много внимания этим мифологическим образованиям, мы рискуем посеять сомнение и соблазн в умах слабых и внушаемых, склонных к фантастическому гипостазированию.

Один из наиболее широко распространенных мифов о потустороннем мире возник благодаря идеям и представлениям о реинкарнации.

В одной стране, чья духовная культура очень сложна и гораздо древнее, чем наша (речь, разумеется, об Индии), мысль о переселении душ является столь же естественной, как наши представления о Творце, или *Spiritus rector*. Образованным индусам известно, что мы их точку зрения не разделяем, но их это нимало не волнует. Своеобразие восточной мудрости заключается в том, что последовательность рождений и смертей бесконечна и, подобно вечному круговращению, не имеет цели. Мы живем, достигаем какого-то знания, умираем, и все начинается сначала. Только с именем Будды связана идея славной цели — преодоления земного существования.

Мифологическая потребность западного человека обусловлена эволюционистским мировоззрением с обязательными понятиями *начала* и *цели*. Ему чужда идея пути, имеющего начало и конец, но не имеющего цели, точно так же он отвергает представление о статическом, замкнутом, вечном круговороте. Восточный человек, напротив, склонен примириться с этой идеей. Но, по-видимому, и на Востоке нет всеобщего консенсуса в представлениях об устройстве Вселенной, так же как до сих пор нет согласия по этому поводу и среди астрономов. Саму идею бессмысленной неподвижности западный человек отвергает с ходу, во всем он должен видеть какой-то смысл. Восточный человек не нуждается в подобном допущении, скорее он сам воплощает в себе этот смысл. Там, где западный человек стремится осмыслить этот мир, человек восточный находит смысл в себе самом, отрешаясь от иллюзий мирского существования.

Я думаю, что правы оба. Западный человек, похоже, в большей степени экстравертирован, восточный же, наоборот — скорее интроверт.

Первый видит смысл вне себя, проецируя его на объекты, второй ощущает его в себе самом. Но смысл существует как извне, так и внутри нас.

Идею перерождения невозможно отделить от того, что называют кармой. Здесь существо проблемы в том, есть ли у человека его собственная, индивидуальная карма? Если это так, тогда че-

ловек входит в жизнь с некоторой предопределенностью, воплощая в себе исход всех предыдущих жизней, он звено в какой-то бесконечно меняющейся непрерывной череде, в каком-то персональном континууме. В противном случае, если человеку с рождения дана некая безличная карма, его новые воплощения никак не связаны между собой.

Ученики дважды спрашивали Будду: безлична ли человеческая карма? Оба раза он уходил от ответа: ведь знание не дает возможности освободиться от иллюзии бытия. Будда видел гораздо больше пользы для своих учеников в медитациях о цепи нирваны: о рождении, жизни, старости и смерти, о причинах человеческих страданий.

У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю, что такое моя карма — или она следствие предыдущих моих жизней, или я только наследую своим предкам, воплощая их жизни. Жил ли я уже однажды и чего достиг в той жизни, если сейчас я только пытаюсь найти какие-то решения? Не знаю. Будда оставил вопрос открытым, и мне хочется думать, что он сам не был уверен в ответе.

Я вполне могу представить, что уже жил раньше и что тогда передо мной тоже возникали вопросы, на которые я не находил ответа. Возможно, мне следовало родиться снова для того, чтобы исполнить предназначенное мне. Мне кажется, что после смерти все, что я сделал, пребудет со мной. А пока мне нужна твердая уверенность, что к концу жизни я не останусь ни с чем. Похоже, и Будда думал об этом, когда пытался уберечь учеников от бесплодных спекуляций.

Смысл моего существования — это тот вопрос, который задает мне жизнь. Или наоборот, я сам и есть этот вопрос, обращенный к миру, не ответив на него, я останусь с чужими ответами, и это уже буду не я. Я прилагаю все усилия, чтобы исполнить эту титаническую задачу. Возможно, мои предки уже думали об этом и не сумели найти ответ. Может быть, именно поэтому на меня произвел такое сильное впечатление исход «Фауста», вернее его отсутствие? Или это проблема, с которой удалось справиться Ницше — дионисийская сторона жизни, понимание которой, видимо, было утрачено христианами? Или это беспокойный Водан-Гермес, бог моих предков, германцев и франков, поставил

меня перед неразрешимым вопросом? А может, правда на стороне Рихарда Вильгельма, который в шутку предположил, что в предыдущей жизни я был каким-нибудь мятежным китайцем и со своей восточной душой в наказание очутился в Европе.

Все, что я воспринимаю как наследие предков или как личную карму, приобретенную в прошлой жизни, вполне может оказаться неким безличным архетипом. Например, секуляризация Троицы, не допускавшей женского принципа, или вопрос, который занимал еще гностиков и ответ на который так и не найден, — вечный вопрос о происхождении зла, иными словами, вопрос о несовершенстве христианского видения Бога. Все это могут быть архетипические идеи, которые сегодня носятся в воздухе и которые особым образом привлекли мое внимание.

Мне думается, что судьба вопроса, сама возможность его постановки в этом мире находится в прямой зависимости от того, был ли найден ответ на него. К примеру, мой вопрос и мой ответ на него могут быть неудовлетворительными. Следовательно, кто-то, рожденный с моей кармой, или я сам — должен явиться вновь, чтобы наконец отыскать ответ. И я могу себе представить, что мое новое рождение не состоится, потому что мир уже не будет нуждаться в этом ответе, и еще несколько сотен лет я буду спокойно ждать, пока снова не возникнет потребность в ком-нибудь заинтересованном в решении такой задачи. Но полагаю, что должно пройти какое-то время, прежде чем это случится вновь.

Проблема кармы для меня также неясна, как и проблема индивидуального перерождения или переселения душ. *Libera et vasa mente* (без предубеждения. — *лат.*) я обратился к индийскому учению о переселении душ, пытаюсь найти в собственном опыте какое-либо подтверждение идеи реинкарнации. Естественно, что я весьма условно воспринимаю многочисленные свидетельства тех, кто безоговорочно верит в переселение душ. Вера сама по себе доказывает собственно феномен, но не предмет веры. Чтобы стать фактом, предмет этот должен быть обнаружен эмпирически. Еще несколько лет назад я не имел никаких убедительных или заслуживающих внимания данных, но, в последнее время мне снились сны, которые, как мне кажется, раскрывали процесс реинкарнации одного моего покойного приятеля. На мой взгляд, правильнее всего рассматривать подобные



вещи как нечто среднее между не вполне очевидным, правдоподобным и эмпирически реальным. Но я никогда не слышал о похожих снах у других, поэтому у меня нет возможности сравнивать. Так как мое наблюдение, а отсюда и субъективное, а могу себе позволить лишь упомянуть о нем, в своем роде единственное, но не более того. Но должен признать, что после этих сновидений, мое отношение к проблеме реинкарнации, изменилось, хотя не считаю себя вправе высказывать определенное мнение.

Допуская, что «там» жизнь продолжается, мы не можем представить себе иной формы существования, кроме психической, поскольку душа не нуждается ни в пространстве, ни во времени. И именно ею порожденные внутренние образы становятся затем материалом для мифологических спекуляций о потустороннем мире, мне видится исключительно как мир образов. Душу следует понимать как нечто, принадлежащее миру потустороннему, или «стране мертвых». А бессознательное и «страна мертвых» суть синонимы.

С психологической точки зрения «жизнь там» является логическим продолжением неких старческих размышлений, ибо все большую роль размышления о внутреннем мире, образы и видения начинают играть именно с наступлением старости. «... И старцы ваши сновиденьями вразумляемы будут...» (Деян. 2, 17). Это означает, что души старых людей не застывают и не дряхлеют, — *sero medicina paratur cum mala per longas convaluere moras* (но лекарство явилось слишком поздно. — *лат.*). В старости люди погружены в свои воспоминания, перебирая образы прошлого, узнавая в них себя, и это своего рода приготовление к потустороннему существованию, равно как философия, по Платону, есть приготовление к смерти.

Внутренние образы позволяют мне уйти от этой постоянной обращенности в прошлое, что так затягивает большинство старых людей в плен их собственных воспоминаний. Переведенная в образы и осознанная, обращенность в прошлое становится тем, что французы называют *gesculer poug mieux sauter* (разбег перед прыжком. — *фр.*). Мне хотелось бы обрести в своей рефлексии некую перспективу, которая уводила бы меня от моей жизни в мир, и лишь затем возвращала снова назад — к моим воспоминаниям.

В целом, наши представления о потусторонней жизни являются некими желанными заблуждениями и предрассудками. Как правило, в них отражается что-то светлое, хотя я вовсе не уверен, что после смерти мы вдруг окажемся на некоем любезном нашему сердцу цветущем лугу. Если бы на «том свете» все было таким притягательным, мы, пребывая в кругу блаженных духов, с самого рождения жили бы в ожидании грядущего блаженства. Но ничего подобного не происходит. Почему же существует эта непреодолимая стена между умершими и живыми? Почему по меньшей мере в половине рассказов о встречах с душами мертвых ощущается страх перед ними, почему «страна мертвых» хранит ледяное молчание, не выказывая сострадания, ни боли?

Когда я размышляю об этом, мне приходит в голову мысль, что однородность этого мира не допускает возможности существования какого-то «другого мира», начисто лишённого противоречий. И тамошняя «природа» тоже сотворена Богом по Своему образу и подобию. Мир, в который мы попадаем после смерти, будет и великолепным, и ужасным, как бог и как природа, известная нам. И я не представляю себе мир без страдания, но все же то, что мне пришлось пережить в своих видениях 1944 года, — мое освобождение от тяжести тела и обретение смысла, — дало мне настоящее счастье, пусть там были и тьма, и непривычное отсутствие человеческого тепла. Помните черную скалу, к которой я стремился?! Это был черный суровый гранит. Что это означает? Если нет несовершенства, нет изначального дефекта в самом основании творения, зачем нужны тогда жажда творчества и стремление к совершенству? Почему в конце концов боги держат в своих руках судьбы человека и творения? Кому нужно это бесконечное продолжение цепи сансары? Ведь и Будда бросил жестокой иллюзии бытия свое «quod pop» (категорическое «нет». — *лат.*), и христиане живут в ожидании конца света.

Возможно, и на «том свете» мы столкнемся с различными ограничениями, но души мертвых лишь постепенно их обнаруживают. Где-то «там» существует некая необходимость, стремящаяся всему установить границы, все заключить в определенные рамки. И эта созидательная необходимость, как я себе представляю, в конечном счете решает, какой именно душе предстоит но-

вое воплощение. Я могу предположить, что для некоторых душ пребывание в трехмерном пространстве менее тягостно, нежели в Вечности. Может быть, это зависит от того, сколько завершенности или незавершенности принесли эти души с собой из мира живых.

Возможно и то, что всякое продолжение трехмерной жизни теряет смысл, если душа уже достигла определенной ступени познания: ей уже не к чему возвращаться, высшее знание освобождает от желания какой-то новой, очередной жизни. Такая душа оставляет трехмерный мир, обретая состояние, которое буддисты называют нирваной. Но если некая карма осталась неисполненной, душа стремится воплотиться снова, видимо, даже не зная, что нечто нуждается в завершении.

В моем случае это должно быть, наверное, страстное стремление к познанию, которое, похоже, послужило причиной моего появления на свет и определило мой характер. И эта неумная тяга к постижению смысла сотворила сознание для того, чтобы знать, что есть и что будет, для того, чтобы за скупыми и разрозненными фрагментами чего-то неведомого обнаружить мифологические представления.

Нам не дано знать, есть ли в нас нечто такое, что нас переживет и останется в вечности. Единственное, что можно с некоторой долей вероятности предположить, — это то, что какая-то часть нашей души продолжает жить после физической смерти. Мы даже не знаем, осознает ли себя это нечто, продолжающее существовать. При желании составить какое-то мнение по этому вопросу, можно, вероятно, обратиться к опытам по изучению феномена психического раздвоения личности. При своем проявлении этот комплекс чаще всего персонифицируется — так, как если бы он осознавал сам себя. Подобным образом, персонифицированы голоса, которые слышат душевнобольные. Феномен персонификации комплексов я уже освещал в моей докторской диссертации. Мы можем, если хотим, объяснить это протяженностью и непрерывностью сознания. В таком же плане следует рассматривать некоторые поразительные вещи, которые наблюдаются в случаях глубоких обмороков после серьезных повреждений мозга и в состоянии тяжелого коллапса. В обоих ситуациях полная потеря сознания иногда сопровождается ощущением внешнего

мира как сновидения. Поскольку кора головного мозга, ответственная за сознание, в эти моменты не функционирует, объяснить подобные явления трудно. Но они, по крайней мере, являются свидетельством того, что даже в состоянии кажущейся бессознательности существует некая субъективная установка на осознание.

Я долго не мог проследить связь между «человеком в вечности», архетипом самости, и человеком земным, во времени и пространстве. Эту проблему прояснили для меня два сновидения.

В первом сне (октябрь 1958 года) я из окна своего дома увидел два блестящих металлических диска, по форме напоминающих линзы. Они описали дугу над домом и умчались в направлении озера. Это были два НЛО. Затем появилось другое тело — идеально круглая, как объектив телескопа, линза. Она летела прямо на меня, но на расстоянии 400 — 500 м на мгновение замерла, после чего удалилась. И в тот же миг в воздухе возникло еще одно тело — объектив с металлическим ящиком, своего рода волшебный фонарь. Метрах в 60—70 он замер в воздухе, направив на меня объектив. Я проснулся в изумлении. Еще в полусне мне вспомнилось расхожее мнение, будто мы сами проецируем НЛО. Теперь же выясняется, что это они проецируют нас: К. Г. Юнг — проекция какого-то волшебного фонаря. Но кто же производит все эти манипуляции?

В другом сне (я увидел его несколько раньше) я шел по дороге; местность была холмистой. Светило солнце, и обозрение было отличное. Вскоре я оказался возле маленькой придорожной часовни. Дверь была приоткрыта, и я зашел внутрь. Странно, но на алтаре я не увидел ни образа Марии, ни распятия, а лишь искусно разложенные цветы. На полу перед алтарем лицом ко мне сидел йог в позе лотоса, погруженный в глубокую медитацию. Присмотревшись, я вдруг понял, что у него мое лицо. Я проснулся в испуге, с мыслью: «Вот оно что, выходит этот йог — тот, кто думает обо мне. Он видит сон, и этот сон — я». У меня была полнейшая уверенность, что, когда он проснется, меня не станет.

Этот сон приснился мне после болезни в 1944 году. То была притча: медитирующий йог — это моя самость. Иными словами, чтобы войти в трехмерное мир, она принимает человеческий об-

лик, как надевают водолазный костюм. Попадая в потусторонность, она находит себя в религии — на это указывает часовня в моем сне. В земном облике она осваивает опыт трехмерного пространства и в следующих воплощениях приходит к более совершенному знанию.

Образ йога являет собой бессознательную довоплощенную целостность, а Восток, как это часто бывает в снах, — некое чуждое нашему сознанию отстраненное психическое состояние. Как и волшебный фонарь, эта медитация йога «проецирует» мою эмпирическую реальность. Мы же чаще всего рассматриваем эту причинную связь в обратном порядке — обнаруживаем в продуктах бессознательного круглые и четырехугольные символы мандалы; именно ими мы пользуемся, если хотим выразить целостность. Наше основание — эго-сознание. Наш мир — это круг света, в фокусе которого находится наше эго. Из этой точки смотрим мы на мир, таинственный и темный, никогда не зная, в нашем ли сознании возникает его теневой облик, или же он обладает собственной реальностью. Поверхностный наблюдатель готов считать его следствием работы нашего сознания, но более внимательное изучение показывает, что образы бессознательного, как правило, не созданы сознанием, они возникают спонтанно и существуют сами по себе. Мы же, однако, воспринимаем их всего лишь как побочные явления.

Цель этих снов — выявить обратную связь между сознанием и бессознательным и представить бессознательное создателем эмпирической личности. Такая связь предполагает, что, с точки зрения «другой стороны», наше бессознательное существование реально, тогда как сознательный мир — это род иллюзии, кажимости, которая с какой-то определенной целью выдает себя за реальность. Это похоже на сон, который кажется реальностью до тех пор, пока мы не просыпаемся. Очевидно, что такое положение дел напоминает восточную философию с ее иллюзией, майя<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Эту неуверенность в истинном «месте» реальности Юнг ощутил очень рано — еще когда ребенком он сидел перед камнем и предавался той умозрительной игре: кто из них — он или камень — говорил «я». Ср. также известный сон бабочки у Чжуан-Цзы. — А. Я.

Эта бессознательная целостность, на мой взгляд, и есть *spiritus rector* (дух-руководитель. — *лат.*) всех событий — биологических и психических. Она стремится к полному осуществлению или — в случае человека — к полному осознанию. Такое осознание есть культура в широком смысле слова, и самопознание — сердце, и суть этого процесса. Восток, вне сомнения, придает самости значение сакральности, но и в христианских представлениях самопознание — путь к *cognitio Dei* (познанию Бога. — *лат.*).

Для человека основной вопрос в том, имеет ли он отношение к бесконечности или нет? Это его главный критерий. Только когда мы осознаем, что существенно лишь то, что безгранично, и что оно, это безграничное, в свою очередь, существует, мы теряем интерес к ничтожным вещам. Если мы этого не знаем, мы требуем, чтобы те или иные наши качества, которые кажутся нам нашими достоинствами (например, «мой талант» или «моя красота»), весь мир признавал за таковые. Чем более человек настаивает на своих ложных достоинствах, тем менее он чувствует то, что существенно, тем менее он удовлетворен своей жизнью. Он считает что его ограничивают, тогда как ограниченны его собственные помыслы, — так возникают зависть и ревность. Когда же мы понимаем и чувствуем, что уже здесь, в этой жизни, присутствует бесконечность, желания и помыслы наши меняются. В итоге расчет принимается лишь то, что существенно, что мы воплотили, а если этого нет, жизнь прошла впустую. И в наших отношениях с другими людьми важно то же самое: присутствует ли в них некая безграничность.

Но чувство безграничности может быть достигнуто лишь тогда, когда мы имеем границы вне себя. Наибольшим ограничением для человека становится его самость, проявляющаяся в ощущении: «Я есть то, а не это!» Только осознание самого себя, своих собственных границ, позволяет нам ощутить безграничность бессознательного. И тогда мы узнаем в себе одновременно и вечность, и предельность, и нечто единственное, присущее только нам, и нечто иное, присущее не нам, но другим. Зная себя как уникальное сочетание каких-то свойств, то есть осознавая в конечном счете свою ограниченность, мы обретаем способность осознать бесконечность. И только так!

В эпоху, когда человечество стремится исключительно к расширению жизненного пространства и увеличению — *à tout prix* (любой ценой. — *фр.*) — рационального знания, требовать от человека осознания своей единственности и ограниченности по меньшей мере, претенциозно. Ограниченность и единственность — синонимы, без них ощущение бесконечности (равно как и осознание ее) невозможно, остается лишь иллюзорная идентификация с ней, которая приводит к помешательству на больших числах и жажде политического могущества.

Наш век сделал акценты на «здесь» и «сейчас» и тем самым обусловил демонизацию человека и его мира. Появление диктаторов и все несчастья, которые они принесли, происходят от близорукости и всезнайства, отнявших у человека все, что находится по ту сторону сознания, фактически превратив его в жертву бессознательного. Задача же человека, напротив, заключается в том, чтобы проникнуть в бессознательное и сделать его достоянием сознания, ни в коем случае не оставаясь в нем, не отождествляя себя с ним. И то и другое было бы ошибочным. Насколько мы в состоянии сегодня понять, единственный смысл человеческого существования состоит в том, чтобы зажечь свет во тьме примитивного бытия. Пожалуй, можно предположить, что бессознательное имеет над нами такую власть, какую имеет над ним наше сознание.

## | Поздние мысли

Раз уж я решился заняться собственным жизнеописанием, то эта глава, мне думается, необходима, хотя читатели могут сказать, что в ней слишком много теории. Но эта «теория» относится к моей жизни и представляет собой форму моего существования, она мне необходима, как пища.

### I

В христианстве замечательно то, что в его догматике предусматриваются некоторые изменения божества, исторические метаморфозы «потустороннего». Так появляется новый сюжет о расколе на небесах, впервые упоминаемый в мифе о сотворении, и там же появляется змееподобный антагонист Создателя, чтобы ввести в искушение первого человека обещанием большего знания — *scientes bonum et malum* (знания добра и зла. — *лат.*). В другом месте является падший ангел — в некотором роде опротивевшее вторжение бессознательного в человеческий мир. Ангелы — странные существа: сами по себе они такие, какие есть, и другими быть не могут: это существа без души, имеющие в себе только то, что вложил в них Создатель. В этой ситуации падшим ангелом мог сделаться только «плохой» ангел. Здесь имеет место известный эффект «инфляции», который наблюдаем сегодня в мании величия диктаторов: ангелы обратили людей в расу гигантов, что, по Еноху, приведет к вырождению человеческого рода.

Третьей и заключительной стадией мифа явилось воплощение Бога в Человеке. Так исполнилось ветхозаветное пророчество о Богоявлении. Уже в первые века христианства идея воп-



лощения была подкреплена тезисом «Christus in nobis» (Христос в нас. — *лат.*). Таким образом, бессознательная целостность проникла в психические сферы внутреннего опыта, давая человеку некое предчувствие целостной формы, что имело колоссальное значение, причем не только для человека, но и для Создателя: в глазах тех, кто избавился от тьмы, Он стал *sumptum bonum* (совокупностью добра. — *лат.*). Миф пережил тысячелетие, пока наконец в XI веке обнаружались первые признаки последующей трансформации сознания.

С тех пор тревога и сомнения росли, и к концу второго тысячелетия образ вселенской катастрофы предстал перед нами со всей очевидностью. Он выражается в мании величия, своего рода заносчивости сознания: «нет ничего выше человека и дел человеческих». Таким образом, трансцендентность христианского мифа была утрачена, а вместе с ней и христианское представление о целостности.

За светом следует тень, другая сторона Творца. Пик этой тенденции приходится на XX век. Ныне христианский мир воистину столкнулся со злом, с откровенной несправедливостью, тиранией, ложью, рабством и принуждением. В неприкрытой форме мы видим это в России, хотя родиной первого губительного пожара стала Германия, и это со всей неопровержимостью доказывает, свидетельствует о слабости позиций христианства в XX веке. Оказавшись лицом к лицу с этим злом, уже не спрячешься за эвфемизмом вроде *privatio boni* (первичность добра. — *лат.*). Зло стало определяющим в этом мире, от него уже невозможно отделаться иносказаниями. Наша задача — научиться избегать его, поскольку оно уже *здесь*, рядом с нами; а возможно ли это, удастся ли нам избежать еще большего зла, сказать пока трудно.

В любом случае мы оказались перед необходимостью переориентировать свое сознание. Соприкоснувшись со злом, мы каждый раз рискуем уступить ему. Следовательно, нужно приучить себя к мысли, что нельзя уступать ничему — даже добру; пресловутое добро, перед которым мы склоняемся, утратило свой этический характер. В этом нет ничего дурного, но уступая, мы должны быть готовы ко всему, что за этим последует. Любая форма наркомании — болезнь, будь то алкоголизм, морфинизм или идеализм. Противоположности так часто вводят в соблазн!

Критерием морального действия не может более служить тот факт, что мы понимаем добро как некий категорический императив, а зло как то, чего в любом случае можно избежать. Понимание реальности зла вынуждает нас признать, что добро есть всего лишь противоположный полюс зла, и, стало быть, оно относительно, что и добро, и зло — всего лишь части некоего парадоксального целого. По сути это означает, что добро и зло утрачивают свой абсолютный характер, то есть — и то, и другое всего лишь суждения.

Все человеческие суждения несовершенны, что заставляет нас всякий раз сомневаться в правильности наших суждений. Ошибаться может каждый, и это в итоге превращается в проблему этическую, в той степени, в какой мы не уверены в своих моральных оценках. Но этический выбор остается всегда, относительность «добра» и «зла» не означает, что эти категории обесценились и перестали существовать. Этические суждения наличествуют всегда и приводят к специфическим психологическим последствиям. Я не единожды подчеркивал, что любая несправедливость, которую мы совершили или помыслили, обрушится мстостью на наши души, и это произойдет независимо от отношения к нам окружающих. Конечно, смысл суждения не остается неизменным, он зависит от условий места и времени, но в основе этической оценки всегда лежит некий общепринятый и бесспорный моральный кодекс, как бы определяющий абсолютные границы между добром и злом. Как только мы начинаем понимать степень ненадежности наших оснований, этическое решение превращается в субъективный творческий акт, в чем можно убедиться лишь путем *concedente Deo* (принимая Бога. — *лат.*), — то есть спонтанным и бессознательным импульсом. Собственно этика, сам выбор между добром и злом, от этого проще не становится. Ничто не в состоянии избавить нас от мук этического выбора. И тем не менее, как это резко ни прозвучит, мы должны иметь возможность в определенных обстоятельствах уклониться от того, что известно как добро, и делать то, что считают злом, если таков наш этический выбор. Короче, мы не должны идти на поводу у противоположностей. В таких случаях немалую услугу может оказать известный в индийской философии принцип *neti-neti*, когда моральный кодекс неизбежно снимается и этический выбор представляется индивидууму. Сама по себе эта идея стара как мир,

еще в допсихологические времена ее называли «конфликтом долга», или «конфликтом чести».

Но, как обычно, человек неспособен осознать эту возможность выбора, поэтому он все время с робостью оглядывается вокруг пытаясь найти какие-либо внешние, общепринятые законы и установления, на которые он в его неуверенности мог бы опереться. Несмотря на вполне понятные человеческие слабости, основная вина за это ложится на систему образования, которая привыкла стричь всех под одну гребенку, игнорируя личность и ее индивидуальный опыт. Таким образом идеализм превращается в своего рода догму, когда люди по должности исповедуют то, чего не знают, чего им не достичь, склоняются перед некими нормами, которые не исполняются и никогда не будут исполнены. И такое положение всех устраивает!

Иными словами, тот, перед кем стоит сегодня этот вопрос, прежде всего нуждается в *самосознании*, то есть в осознании собственной целостности. Если он желает жить, не обманывая себя, ему следует хладнокровно оценить, до какой степени он способен на добро и каких можно ждать от него преступлений, причем рассматривать первое как реальность, а второе — как иллюзию. Возможно и то и другое, он может оказаться тем или другим — такова его натура.

Но как безнадежно мы далеки от такого уровня самосознания, несмотря на то что в большинстве своем обладаем и способностями, и возможностями. Тем не менее знать себя необходимо, только таким путем можно приблизиться к основе, ядру человеческой природы, к изначальным инстинктам. Инстинкты даны нам а priori и безусловно определяют наш сознательный выбор, они составляют бессознательное и его содержание, о котором невозможно вынести окончательное суждение. Мы можем лишь предполагать, но в полной мере понять его сущность и определить его разумные границы мы не в состоянии. Свое знание природы мы совершенствуем благодаря науке, которая расширяет границы сознания, ведь познание себя тоже нуждается в науке, то есть в психологии. Невозможно построить телескоп или микроскоп, только с помощью рук и доброй воли, но не имея ни малейшего представления об оптике.

Сегодня мы нуждаемся в такой психологии, которая была бы непосредственно связана с нашей жизнью. Мы теряемся перед

такими вещами, как большевизм или национал-социализм, потому что ничего не знаем о человеке или, в лучшем случае, знаем кое-что — и то в искажении. Знай мы самих себя, такое никогда бы не произошло. Теперь же, встретившись со злом, мы даже не представляем, в чем его суть и что ему можно противопоставить. А если бы даже и знали, все равно оставался бы вопрос: «Как это могло произойти?» С трогательной наивностью какой-нибудь государственный деятель способен заявить, что не имеет «представления о зле». Все так; точно не имеем. Зато зло имеет представление о нас. Одни не хотят о нем слышать, другие — отождествляют себя с ним. Психологическая ситуация сегодня такова: одни считают себя христианами и воображают, будто стоит им захотеть, как они уничтожат это пресловутое зло, другие поддались ему и уже не знают добра. Власть и сила зла сегодня очевидны; в то время, как одна половина человечества, пользуясь склонностью людей к умствованиям, фабрикует доктрины, другая страдает от отсутствия мифа. Христианские народы пришли к печальному итогу: христианство закаменело и оказалось неспособным развивать свой миф на протяжении веков. Тех же, кто пытался выразить некие смутные опыты мифологических построений, не стали слушать: Гиацинте де Фьоре, Мейстер Экхарт, Якоб Бёме и многие другие в мнении большинства так и остались «мракобесами». Единственным, кто дал хоть какой-то свет, был Пий XII с его буллой. Но подавляющее большинство даже не понимает, что я имею в виду, говоря об этом. Люди не в состоянии осознать, что застывший миф умирает. Наш миф поражен немотой, в нем заключен некий изъян — вина целиком лежит на нас самих: не позволили ему развиваться, подавляя все попытки, предпринимавшиеся в этом направлении. В первоначальной версии мифа более чем достаточно исходных возможностей для развития. Вспомните, к примеру, слова Христа: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Зачем нам змеиная мудрость? И как это должно сочетаться с голубиной кротостью? «Будете как дети...». Кто-нибудь дал себе труд задуматься над тем, каковы дети на самом деле? Какой моралью оправдывал Господь присвоение осла, который понадобился ему для триумфального въезда в Иерусалим? Или эту детскую раздражительность, с которой он вдруг проклял смоковницу? Какая мораль следует из притчи о неверном управителе и какой глу-

бокий смысл заложен в апокрифическом изречении: «Человек, если ты знаешь, что ты делаешь, — ты благословен, но если не знаешь, ты проклят, ибо ты нарушил закон»?<sup>1</sup> Что, в конце концов, стоит за признанием апостола Павла: «Где нет закона, нет и преступления»? Не будем даже говорить о маловероятных пророчествах Апокалипсиса, все равно никто им не верит.

Вопрос, поднятый в свое время гностиками, — откуда явилось зло? — остался без ответа, и осторожное предположение Оригена о возможном искуплении дьявола назвали ересью. Сегодня этот вопрос поставлен снова, а мы стоим, смущенные и растерянные, не в состоянии уяснить, что никакой миф нас не спасет, хотя мы нуждаемся в нем как никогда. Мы страшимся политических потрясений; пугающие, я бы сказал дьявольские, успехи науки вселяют в нас ужас и порождают тяжелые предчувствия. Но мы не видим выхода, и только немногие понимают, что единственное наше спасение — в давно забытой человеческой душе.

Развитию мифа мог бы способствовать эпизод в Писании, когда Святой Дух нисходит на апостолов, превращая их тем самым в детей Божьих, и не только их, но и других — всех, кто от них и после них был наделен этим свойством — *filiatio*, Богосыновством, и кто, таким образом, разделил бы уверенность в том, что и они уже не порождение земли, низшие животные, но, дважды рожденные, происходят от Бога. Их видимая, физическая жизнь проходит на этой земле, но у невидимого, «внутреннего человека» иное происхождение и иное будущее: в изначальных образах целостности и в Вечном Отце, согласно христианскому мифу о спасении.

Так как Творец един, то и творение Его и Сын Его должны быть едины. Учение о Божественном единстве не допускает отступлений. И все же пределы света и тьмы явились без ведома сознания. Этот исход был предсказан задолго до явления Христа — среди прочего мы можем найти это в книге Иова или в дошедшей до нас с дохристианских времен известной книге Еноха. В христианстве этот метафизический раскол углубился: сатана, который в Ветхом Завете состоял при Яхве, превращается теперь в диаметральною и вечную противоположность Божьему миру. Устранить его не-

---

<sup>1</sup> Codex Bezae, ad Lucam, 6, 4.

возможно. И ничего удивительного, что уже в начале XI века появилось еретическое учение, будто не Бог, а дьявол сотворил этот мир. Таково было вступление во вторую половину христианского эона, при том что раньше уже возник миф о падших ангелах, от которых человек получил опасное знание наук и искусства. Что эти древние авторы сказали бы о Хиросиме?

Якоб Бёме в своих гениальных видениях разглядел парадоксальность природы богообраза, чем способствовал дальнейшему развитию мифа. Символ мандалы у Бёме раскрывает идею раскола: внутренний круг разделен там на две половины, которые расположены друг против друга.

Согласно христианскому учению, Бог един в трех Лицах, Он в каждой частице разлитого в мире Духа Святого, потому каждый причастен единому Богу, а значит, причастен и *filiatio*, Богосыновству (Евр. 6, 4). *Complexio oppositorum* (сочетание противоположностей. — *лат.*), что содержит в себе Богообраз, таким образом, предопределено каждому человеку, и не в единстве, а в конфликте, причем темная сторона образа не соответствует общепринятому представлению, что «Бог есть свет». Это реалии наших дней, хотя они едва ли осознаются официальными учителями человечества, которые, надо полагать, обязаны понимать такие вещи. Мы отдаем себе отчет в том, что достигли определенного исторического рубежа, но воображаем, будто это связано с расщеплением атома или с космическими полетами. И, как всегда, мы никак не замечаем того, что происходит в этот момент в человеческой душе.

Поскольку богообраз с психологической точки зрения есть очевидная основа и духовное начало, глубинная дихотомия, его определяющая, осознается уже как политическая реальность: имеет место уже некая психическая компенсация. Она проявляется в форме спонтанно возникающих округлых образов, которые представляют собой синтез свойственных в душе противоположностей. Сюда я бы отнес широко распространившиеся с 1945 года слухи о НЛО — неопознанных летающих объектах. Они основаны или на видениях или на реальных фактах. Под НЛО подразумевается некий летательный аппарат, прилетевший к нам либо с другой планеты, либо вообще из четвертого измерения.

Более 20 лет назад (в 1918 году), исследуя коллективное бессознательное, я обнаружил наличие универсального символа подоб-

ного рода — символа мандалы. Чтобы утвердиться в этом, я более 10 лет собирал материалы, прежде чем в 1929 году обнародовал свои результаты. Мандала — это архетипический образ, существование которого прослеживается на протяжении тысячелетий. По сути это *целостность самости*, или целостность «внутреннего человека», а с мифологической точки зрения — возникновение в человеке божественного начала. В противоположность рисункам Бёме, современные символы стремятся к единству, то есть к некоей компенсации распада и, следовательно, к его преодолению. Процесс этот протекает в коллективном бессознательном и проявляется во всем. Слухи об НЛО — одно из подобных свидетельств, один из симптомов всеобщего психического состояния.

Когда аналитическая терапия выводит на поверхность сознания так называемую «тень», следствием ее оказывается расщепление, обострение противоречий, которые, в свою очередь, стремятся к выравниванию и единству. Символы в подобных ситуациях выполняют роль посредников. Столкновение противоположностей, если отнести к ним серьезно, может поставить нашу психику на грань слома. Это логическое *tertium non datur* (третьего не дано. — *лат.*) еще раз подтверждает, что решения нет. Если же все в порядке, оно возникает само собой, и только в этом случае оно убедительно, только в этом случае оно воспринимается как «благодать». Поскольку решение рождается в столкновении и борьбе противоположностей, оно является, как правило, нераздельным сплавом сознательных и бессознательных факторов, символ которого — две сложенные половинки монеты<sup>1</sup>. Этот символ (результат совместных усилий сознательного и бессознательного) и создает подобие богообраза в форме мандалы — наиболее простой модели целостности. Этот образ, представляющий столкновение противоположностей и их примирение, подсказывает нам воображение. Столкновение, природа которого всегда индивидуальна, осознается обычно как частный случай универсального конфликта. Наша психическая структура повторяет структуру Вселенной и все происходящее в космосе, повторяет себя в бесконечно малом

---

<sup>1</sup> Одно из значений символа «*tessera hospitaeitatis*» (знак гостеприимства. — *лат.*) — разрубленная монета, половинки которой по античному обычаю оставались у друзей, которых ожидала разлука.

и единственном пространстве человеческой души. Отсюда бог-образ — это всегда проекция внутреннего ощущения какого-то великого противостояния. Затем этот опыт получает наглядное воплощение в предметах, порождающих подобную ассоциацию, а сами предметы с тех пор сохраняют свое нуминозное значение или, точнее, отличаются большей долей нуминозности. В таком случае воображение полностью освобождается от всего конкретного и пытается уловить образ невидимого, того, что стоит по ту сторону вещей. Я имею в виду простейшие, базисные формы мандалы — круг и простейшее умозрительное разделение круга: это квадрат и, разумеется, крест.

Такие опыты могут влиять на человека как благотворно, так и разрушительно. Человек не умеет их осмыслить, понять, управлять ими, как не умеет от них освободиться или уйти, и потому он ощущает себя в их власти. Догадываясь, что они не связаны с индивидуальным сознанием, он дает им имена: мана, демон или бог. Наука, в свою очередь, придумала термин «бессознательное», признавая, тем самым, что ничего не знает о нем; естественно, что она и не может ничего знать о субстанции души, поскольку именно душа является единственным источником нашего знания о чем-либо. А отсюда вытекает, что опровергнуть смысл обозначенных слов «мана», «бог» или «демон» явлений невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Однако мы убеждены, что ощущаем нечто объективное и в то же время потустороннее, и это наше ощущение соответствует действительности.

Нам известно, что существует нечто неведомое и оно существует в нас, точно так же, как известно, что не мы творим свои сны или рождаем внезапные счастливые мысли и озарения, но что это происходит с нами без нашего участия. Таким образом, все, что происходит с нами, можно считать исходящим от бога, демона или бессознательного. И если первые два понятия обладают огромным преимуществом, заключая в себе некое эмоциональное качество нуминозности, последнее — бессознательное — банально и потому более правдоподобно. Именно это понятие содержит в себе ту эмпирическую сферу, нашу будничную реальность, которая нам так хорошо известна. «Бессознательное» — понятие слишком нейтральное и рациональное, оно ничего не говорит воображению. Введенное в научный оборот, оно является скорее



инструментом для беспристрастных наблюдений, не претендуя на метафизичность, что выгодно отличает его от разного рода трансцендентных понятий, довольно спорных, уязвимых и ведущих к фанатизму.

Я, как видите, предпочитаю термин «бессознательное», хотя знаю, что могу с тем же успехом произнести «бог» или «демон», если хочу выразить нечто мифологическое. Прибегая к мифологическому способу выражения, я помню, что «мана», «демон» и «бог» — синонимы «бессознательного» и что мы знаем о них так же много, как и мало. Люди *верят*, что знают гораздо больше, и в определенном смысле эта вера, может быть, полезнее и эффективнее наукообразной терминологии.

Неоспоримое преимущество мифологических понятий заключается в том, что они в гораздо большей степени объективируют конкретику и, соответственно, осуществляют ее персонификацию, а эмоциональность делает их жизнеспособными и эффективными. Любовь и ненависть, страх и благоговение выходят на сцену, поднимая конфликт до уровня драмы, «статисты» становятся «действующими лицами». Человеку как бы бросают вызов вступить в борьбу с роковыми обстоятельствами, и только так он достигнет целостности и только тогда может «родиться бог» — то есть он явится человеку в образе человека. В этом акте перевоплощения человек, то есть его «я», внутренне замещается «богом», а «бог» внешне уподобляется человеку в соответствии со словами Иисуса: «Видевший Меня, видел Отца» (Ин. 14, 9).

Именно в этом проявляется недостаточность мифологической терминологии. Привычное христианское представление о Боге определяет Его как всемогущего, всезнающего и всеблагого Отца и Создателя. Когда этот Бог уподобляется человеку, Он унижается до бесконечно малого; трудно даже понять, почему человеческая сущность не разрушается при этом. Догматическое богословие, соответственно, наделяет Иисуса свойствами, возвышающими его над обычными людьми. Прежде всего на нем нет *macula peccati* (клеймо греха. — *лат.*), и уже поэтому он, по меньшей мере, богочеловек, или полубог. Христианский богообраз не может быть воплощен в эмпирическом человеке без противоречий, ведь совершенно ясно, что человек — на поверхности житейской — выглядит мало приспособленным к тому, чтобы представлять бога.

Мифу в конечном счете придется прийти к монотеизму, отказавшись от деизма, официально отвергнутого, но и поныне хранящего верность некоему вечному темному антагонисту всемогущего бога. В него должны быть включены философский *complexio oppositorum* Кузанца и моральная неоднозначность Бёме. Лишь таким образом бог может сохранить целостность и единство. Ведь природа символов такова, что они способны соединять противоположности, чтобы те не противоречили друг другу, а, напротив, дополняли один одного и придавали жизни смысл, поэтому неоднозначность представлений о боге Природе и боге Творце уже не выглядит столь затруднительной. Более того, миф о неизбежном вочеловечивании бога, составляющий основу христианского учения, теперь может быть истолкован как творческая борьба противоположностей в человеке, их синтез в самости, индивидуальной целостности. Неизбежная противоречивость образа бога Творца снимается в единстве самости как *coniunctio oppositorum* алхимиков или как *unio mystica* (мистическое единение. — *лат.*). В сознании личности присутствует уже не прежняя оппозиция «бог — человек» — она преодолена, противоречия заключены в самом богообразе. И это станет смыслом «богослужения» — свет, возникающий из тьмы, Творец, осознающий свое творение, и человек, осознающий самого себя.

Это та цель или одна из тех целей, что с умыслом назначена человеку творением, заключающая в себе этот умысел. Это и есть все объясняющий миф, который многие годы я создавал для себя. Это цель, которую я могу познать, я считаю ее достойной, она удовлетворяет меня.

Благодаря своему рефлектирующему сознанию человек вышается над животным миром, и это подтверждает, что природа в высшей степени поощряет именно развитие сознания. Сознание позволило человеку сделаться властелином природы, и, познавая бытие мира, он утверждает Творца. Мир — это некий феномен, который не существует без сознательной рефлексии. Если бы Творец создавал самого себя, зачем ему тогда сознательное творение; к тому же сомнительно, чтобы крайне сложные и обходные пути созидания, требующие миллионов лет на развитие бесконечного числа видов и тварей, явились продуктом целенаправленных действий. Естественная история говорит нам о развитии случайном и

неслучайном, направленном на уничтожение себя и других в течение необозримого времени. Буквально о том же самом свидетельствует биологическая и политическая история человечества. Но история духа — это нечто совершенно иное. Здесь нас потрясает чудо мыслящего сознания — вторая космогония. Значение его столь велико, что невозможно не предположить, что где-то среди чудовищного и очевидно бессмысленного биологического механизма присутствует какой-то элемент осмысленности. Ведь в конечном счете путь к его проявлению был обнаружен на уровне теплокровных, — обнаружен как будто случайно, — непреднамеренный и непредвиденный, но все же в каком-то «смутном порыве», в предчувствии и предощущении, — осмысленный.

Я вовсе не утверждаю, что мои размышления о сущности человека и его мифа — последнее и окончательное слово, но, на мой взгляд, это именно то, что может быть сказано в конце нашей эры — эры Рыб, а возможно, и в преддверии близящейся эры Водолея, который имеет человеческий облик. Водолей, следующий за двумя расположенными друг против друга Рыбами, — некое *coniunctio oppositorum* и, возможно, личность — самость. Он в своем роде *souverain* (государь. — *фр.*), содержимое своего кувшина он отправляет в рот *Piscis austrinus* (созвездия Рыб. — *лат.*), выполняющих роль дочернюю, бессознательную. По окончании этой более чем двухсотлетней эры наступит следующая, обозначенная символом *Sarciscopus* (чудища, соединяющего в себе черты козы и рыбы, горы и моря, антиномии, созданной из элементов двух животных). Это странное порождение легко принять за прообраз бога Творца, который противоположен «человеку» — антропосу. Но здесь я умолкаю: соответствующего эмпирического материала, то есть известных мне образов из бессознательного других людей или исторических документов, у меня просто нет. А поскольку нет, то любые умозрительные спекуляции бессмысленны. Они уместны лишь тогда, когда мы располагаем объективными данными, подобными тем, что имеем в случае с Водолеем.

Нам не известно, как далеко может заходить процесс самоосознания и куда он приведет человека. Это новый элемент в истории творения, не имеющий аналогов, и нам не дано узнать его свойства: возможно ли, чтобы *species homo sapiens* (человеческий вид. — *лат.*) постигла судьба других видов, некогда распростра-

ненных на земле, а теперь исчезнувших? У биологии нет средств, чтобы опровергнуть такое предположение.

Потребность в мифологии удовлетворяется постольку, поскольку мы сами формируем собственное мировидение, достаточное для объяснения смысла человеческого существования во вселенной, — мировидение, истоки которого лежат во взаимодействии сознания и бессознательного. Бессмысленность невозможно совместить с полнотой жизни, это означает болезнь. Смысл многое, если не все, делает терпимым. Никакая наука не сможет заменить миф, и никакая наука мифа не сотворит, поэтому и «бог» — не миф, но *миф* изъясняет бога в человеке. Не мы измыслили миф, он обращает к нам «слово божье»; «слово божье» мы чувствуем, но нам не дано понять, что в нем — от самого бога. В нем нет ничего неизвестного нам, ничего сверхъестественного, кроме того обстоятельства внезапности, с которой оно приходит к нам и налагает на нас определенные обязательства. Оно не подчинено нашей воле, назвав это вдохновением, мы тоже мало что объясним. Мы знаем, что эта «странная мысль» — вовсе не результат нашего умствования, но явилась извне, «с другой стороны», и, если нам случилось увидеть вещий сон, разве можно приписать его своему разумению? Мы ведь часто даже не знаем, что такое этот сон — предвидение или некое отдаленное знание?

Это слово входит в нас неожиданно; мы претерпеваем его, поскольку пребываем в глубокой неопределенности: ведь если бог — некое *complexio oppositorum*, возможно все, что угодно, — в полном смысле слова, — равно возможны истина и ложь, добро и зло. Миф — это нечто двусмысленное или может быть двусмысленным, как сон или дельфийский оракул. Не стоит отвергать доводы рассудка, следует не терять надежду на то, что инстинкт придет к нам на помощь, и тогда бог будет на нашей стороне, то есть против бога, как в свое время считал Иов. Все, в чем выражена «иная воля», исходит от человека — его мысли, его слова, его представления и даже его ограниченность. И человек, как правило склонен приписывать все именно себе, особенно когда, опираясь на грубые психологические категории, он приходит к мысли, что все исходит от его намерений и от «него самого». С детской наивностью он воображает, что знает все, что можно постичь, и вообще «знает себя». Тем не менее ему даже в голову не прихо-

дит, что слабость его сознания, а отсюда и страх перед бессознательным лишают его способности отделить то, что он выдумал сам, от того, что явилось ему спонтанно, из других источников. Человек не может оценить себя объективно, еще не может рассматривать себя как некое явление, которое предстает перед ним и с которым, *for better or worse* (хорошо ли, плохо ли. — *англ.*), ему приходится себя идентифицировать. Первоначально все, что с ним происходит, — происходит помимо его воли, и лишь ценой огромных усилий ему удается завоевать и сохранить за собой область относительной свободы.

Тогда и только тогда, уже утвердившись в этом своем завоевании, он способен понять, всю глубину своей зависимости оттого, что заложено в нем изначально и над чем он не властен. Причем эти его изначальные основания вовсе не остаются в прошлом, а продолжают жить с ним, являясь частью его бытия; его сознание сформировано ими в той же степени, что и окружающим физическим миром.

Все, что окружает человека вне его самого и что он сам обнаруживает в себе, он сводит воедино в идее божественного, описывая воплощение ее с помощью мифа и объясняя себе затем этот миф как «слово божье», то есть как внушение и откровение с «той стороны».

## II

Нет лучшего средства защитить свое хрупкое и столь зыбкое ощущение индивидуальности, чем обладание некоей тайной, которую желательно или необходимо сохранить. Уже на самых ранних стадиях социальной истории мы обнаруживаем страсть к тайным организациям. Там, где нет поводов скрывать действительно важные секреты, изыскиваются «таинства», к которым допускаются лишь избранные и «посвященные». Такова история розенкрейцеров, так было и во множестве других случаев. Среди подобных псевдотайн встречаются — по иронии судьбы — настоящие тайны, о которых посвященные вовсе не догадываются. Это случается, к примеру, в обществах, которые изначально заимствовали свои тайны из алхимической традиции.

Потребность в таинственности — неотъемлемое примитивного сознания, поскольку причастность к тайне служит своего рода

цементом для общественных отношений. На социальном уровне тайны с успехом компенсируют недостаточность отдельной личности, которая, всегда отделяя себя от других, в то же время вынуждена жить в постоянном поиске своей исходной бессознательной идентичности с другими. Таким образом, исполнение человеком своего предназначения, осознание своей уникальности — результат долгой, почти безнадежной воспитательной работы. Поскольку даже те немногие, кого опыт инициации — причастность к тайне — в каком-то смысле выделяет, в итоге стремятся подчиниться законам групповой идентичности, хотя в этом случае начинает действовать механизм социальной дифференциации.

Тайное общество — некое промежуточное звено на пути к индивидуации. Мне думается, что дифференциация — механизм коллективный, когда мы еще не осознали, что выделить себя из массы окружающих и самостоятельно встать на ноги — задача индивидуальная, единственная в своем роде. Всякого рода коллективная тождественность, например: членство в организациях, приверженность к «измам» и пр., уводит нас в сторону. Это — костыль для хромого, щит для трусливого, постель для ленивого, детские ясли для безответственного в равной степени убежище для несчастного и слабого. Это — тихая бухта для потерпевшего крушение; лоно семьи для сирот, земля обетованная для разочарованных странников и усталых пилигримов, пастух и надежная ограда для заблудших овец, мать, дающая жизнь и пищу. Поэтому считать это промежуточное звено западней, было бы ошибкой. Напротив, она долгое время являлась единственно возможной формой существования личности, хотя сейчас, как никогда прежде, нам угрожает именно обезличение. Могущество коллективной тождественности никто не ставит под сомнение, в наши дни, и многие вправе считать ее своей конечной целью. Поэтому любые попытки напомнить человеку о его самоопределении, самосовершенствовании и самостоятельности выглядят дерзкими, ничем не оправданными, вызывающими и просто бессмысленными.

И все же может произойти такое, что у человека по ряду причин возникнет необходимость решиться самостоятельно пойти по пути, уводящем от привычных форм и образов, рамок и покровов, самый дух и образ этой жизни перестанет удовлетворять его. И тогда он пойдет один и сам станет своим обществом. Он сам будет являть

для себя некое множество — множество мнений и тенденций, причем не всегда они будут расположены в одной плоскости. Он действительно окажется не в ладах с самим собой, пытаясь примирить свою множественность с некой общей необходимостью, столкнется с огромными трудностями. Даже если внешне он защищен промежуточными социальными формами, против внутренней множественности он бессилён, и этот внутренний разлад может заставить его смириться, свернуть с пути, сделаться таким, как окружающие.

Как и члены тайных обществ, уклонившиеся от недифференцированной коллективности, личность на своем одиноком пути нуждается в тайне, которую по разным причинам ей нельзя или она не может раскрыть. Такая тайна поддерживает личность в обособленности ее замыслов. Для многих эта обособленность становится непосильной ношей; к таким принадлежат, как правило, невротики, которые поневоле играют в прятки с другими и сами с собой и не способны принять всерьез что бы то ни было. В конце концов они приносят в жертву эту обособленность в пользу некой общей уравнительности, что безусловно приветствуется окружающими. В этом случае здравый смысл не в состоянии сопротивляться, и лишь тайна, разгласить которую невозможно — страшно или нельзя выразить словами (могут принять за «безумную» идею), — лишь она способна воспрепятствовать неизбежному и остановить деградацию.

Нередко потребность в такой тайне становится почти непреодолимой, и мы неожиданно для себя оказываемся вовлеченными в идеи и действия, в которых уже не отдаем себе отчета. Дело здесь не в капризе или гордыне, а скорее мы имеем дело с неизъяснимой *dira necessitas* (суровой необходимостью. — *лат.*), которая настигает человека с роковой неизбежностью и, вероятно, впервые в жизни ставит его перед фактом существования чего-то инородного и более могущественного, чем он сам и его «домашний мир», где он представлял себя хозяином.

Характерный пример тому — история Иакова, который отважился на борьбу с ангелом и, потерпев поражение, сумел все же предотвратить убийство. Ветхозаветному Иакову повезло: его истории верят безусловно. Современного «Иакова», вздумай он рассказать подобную историю, его слушатели встретят многозначи-

тельными улыбками. Он просто никогда не решится заговорить о подобных вещах, особенно если имеет собственный взгляд на природу этого посланца Яхве. К тому же *volens-volens* он станет обладателем тайны, обсуждать которую не принято, и тем самым окажется каким-то образом «отмеченным», *reservatio mentalis* (духовная изоляция. — *лат.*) будет преследовать его до тех пор, пока он не начнет лицемерить и притворяться. Однако всякому, кто хочет усидеть на двух стульях, стремится идти своим путем и одновременно следовать неким коллективным установлениям, грозит нервное расстройство. Современному «Иакову» не по силам осознать ту очевидную вещь, что из них двоих ангел был так или иначе сильнее, ведь нет никаких доказательств, что ангел удалился не прихрамывая.

Итак, человек, ведомый своим демоном — своим двуединством, выходит за пределы промежуточной стадии и попадает в глухую неизвестность, где нет проторенных путей и надежного прикрытия, где нет спасительных заповедей, которые приходят на помощь человеку в трудную минуту, когда у него возникнет беспощадный и разрушительный конфликт с долгом. Обычно такие вылазки в «No Man's Land» (необитаемую землю. — *англ.*) длятся недолго, и лишь до тех пор, пока не случаются подобные конфликты, но как только атмосфера начнет сгущаться, они мягко сходят на нет. Я не смею осуждать того, кто отступает, но тому, кто ставит себе в заслугу собственную слабость и малодушие, трудно найти оправдание. Кстати, я не думаю, что мое презрение принесет ему хоть какой-то вред, и поэтому считаю себя вправе высказать его.

Тот же, кто, оказавшись в подобной ситуации, на свой страх и риск в одиночку ищет решение и берет на себя всю ответственность за него, кто перед лицом Судьи отмаливает его денно и нощно, тот обрекает себя на полную изоляцию. И когда он сам себе и упрямый защитник, и беспощадный обвинитель, никакой суд — ни мирской, ни духовный — не способен вернуть ему спокойный сон; в его жизнь входит настоящая тайна, тайна, которую он не разделит ни с кем. Когда б он не был сыт по горло всем этим, он, возможно, не оказался бы в подобной ситуации. Очевидно, для того, чтобы впутаться в нее, необходимо повышенное чувство ответственности. Именно оно не позволяет сбросить свой груз на чужие плечи и согласиться с чужим — коллективным — реше-



нием. И суд тогда свершается не «на миру», но в мире внутреннем, и приговор выносится за закрытыми дверями.

Эта перемена наделяет личность каким-то ранее неизвестным смыслом, с этого момента она уже не известное и социально определяемое эго, а внутренне противоречивое суждение о том, в чем же собственно ее ценность — для других и для себя самой. Ничто так не действует на активность самосознания, как эти внутренние конфликты. Здесь обвинение располагает неоспоримыми фактами и защита вынуждена отыскивать неожиданные и непредвиденные аргументы. И при этом, с одной стороны, мир внутренний берет на себя значительную часть бремени мира внешнего, позволяя последнему избавиться от части своей тяжести. С другой стороны, мир внутренний обретает больший вес, уподобляясь некоему этическому трибуналу. Но главное состоит в том, что эго, когда-то четко определенное, отныне перестает быть только прокурором и теперь вынуждено защищаться. Оно становится двусмысленным и расплывчатым, оказываясь между молотом и наковальней, и эта внутренняя противоречивость несет в себе некую сверхупорядоченность.

Далеко не всякий классический конфликт, — вероятно, а скорее всего, никакой — не может быть «разрешен» в самом деле, при том что спорить о нем можно до судебного дня. Однажды решение вдруг придет — подобно короткому замыканию. Практически жизнь не может существовать как бесконечно делящийся конфликт. Противоположности и вызываемые ими конфликты не исчезают даже тогда, когда становятся импульсом к действию, они постоянно угрожают единству личности, вновь и вновь опутывая жизнь сетями противоречий.

В подобных ситуациях благоразумнее, наверное, было бы не пускаться во все тяжкие, не покидать надежное укрытие и теплый кокон, оберегая себя тем самым от внутренних потрясений. Те, кого ничто не *вынуждает* оставить отцовский кров, могут чувствовать себя в полной безопасности. А те немногие, кто оказался выброшен на тот одинокий — окольный — путь, очень скоро познают все недостатки и все прелести человеческой природы.

Исходной точкой любого вида энергии является разность потенциалов, естественно поэтому, что жизнеспособность психической структуры составляет ее внутренняя *полярность*, что было

известно еще Гераклиту. Как теоретически, так и практически, она присуща всему живому, и противостоит этой властной силе лишь хрупкое единство эго, которое тысячелетиями удерживается, защищая и ограждая себя от внешних и внутренних столкновений. То, что это единство в принципе стало возможным, связано, видимо, с извечным стремлением противоположностей прийти к равновесию (то же наблюдается в энергетических процессах, возникающих при столкновении тепла и холода, высокого и низкого давления и т. д.). Энергия, лежащая в основе сознательной психической деятельности, предшествует ей и посему, вне всякого сомнения, является бессознательной. По мере того как она превращается в осознанную, она проецируется на некие образы, будь то мана, боги, демоны и пр., чья нуминозность служит источником жизненной силы. Это продолжается до тех пор, пока названные формы мы не признаем за таковые. Но постепенно их очертания размываются, теряют силу, и тогда эго, то есть эмпирическая личность, в буквальном смысле овладевает этим источником энергии: с одной стороны, личность стремится использовать эту энергию, что ей даже удастся или, по крайней мере, так ей кажется; с другой же — она сама оказывается в ее власти.

Сия гротескная ситуация складывается тогда, когда мы принимаем во внимание только сознание и считаем его единственной формой психического бытия. В этом случае так называемая инфляция, то есть обратная проекция неизбежна. Если же мы учитываем существование некой бессознательной души, содержимое такой проекции может быть воспринято на уровне предваряющих сознание врожденных инстинктов. Тогда они сохраняют свою объективность и автономность и инфляции не происходит. Архетипы, которые, предваряя сознание, определяют его, реально проявляются там, где они существенны — то есть как априорные структурные формы на инстинктивном уровне. Их следует воспринимать не как вещь в себе, а лишь как доступную для восприятия форму вещи. Разумеется, не только архетипы определяют специфическую природу восприятия, они лишь коллективный его компонент. Но как нечто инстинктивное, они соответствуют динамической природе инстинкта, а следовательно, располагают особой энергией, которая вызывает или подчиняет себе определенные импульсы или модели поведения; иными словами при некото-

рых обстоятельствах они обладают властью (нуминозум!). Таким образом, понятие о них как о своего рода *daimonia* (некая сила, «демон». — *гр.*) вполне соответствует их природе.

Тот, кто думает, что подобные формулировки могут что-либо изменить в *природе* вещей, слишком верит в силу слов. Реальные вещи не меняются от того, что мы даем им разные имена, это имеет значение только для нас самих. Если кто-то воспринимает «бога» как «абсолютное ничто», это вовсе не отменяет существования высшего организующего принципа; мы распоряжаемся собой так, как и прежде, изменение имен не в состоянии что-либо отменить в действительности, но оно способствует формированию у нас некой отрицательной установки. Наименование же чего-либо ранее неизвестного, напротив, является положительной интенцией. Таким образом, рассуждая о «боге» как об «архетипе», мы ничего не говорим о его реальной природе, но допускаем, что «бог» — это нечто в нашей психической структуре, что было прежде сознания, и, поэтому Его никоим образом невозможно считать порожденным сознанием. Тем самым мы не уменьшаем вероятности Его существования, но приближаемся к возможности Его познать. Последнее обстоятельство крайне важно, поскольку вещь, если она не постигается опытом, легко отнести к разряду несуществующих. Такую возможность, конечно, не могли упустить так называемые верующие, которые видят в моей попытке воссоздать изначальную бессознательную психическую структуру только атеизм или, на худой конец, гностицизм, и никогда — психическую реальность, то есть бессознательное. Если бессознательное в принципе существует, оно должно включать в себя предшествующую эволюцию нашей сознательной души. В конце концов представление о том, что человек во всем своем блеске был создан на шестой день творения — сразу, без каких-либо предварительных стадий, — такое представление слишком примитивно и архаично, чтобы удовлетворять нас сегодня. Но во всем, что имеет отношение к душе, мы продолжаем упорно ему следовать; нам удобнее считать, что душа не имеет предпосылок, что это *tabula rasa* (чистая доска. — *лат.*), что она всякий раз вновь появляется при рождении и что она лишь то, чем сама себя представляет.

И в филогенезе, и в онтогенезе сознание вторично — и эту очевидность пора наконец признать. Так же, как тело имеет свою ана-

томическую предысторию, исчисляемую миллионами лет, так и психическая система, как всякая часть человеческого организма, является результатом такой эволюции, повсюду обнаруживая следы более ранних стадий своего развития. Как сознание начинало свою эволюцию с бессознательного животного состояния, так проходит этот процесс дифференциации каждый ребенок. Предсознательное состояние психики ребенка — это все, что угодно, только не *tabula rasa*; его психическая структура уже включает осознаваемые индивидуальные проформы и все специфические человеческие инстинкты, а кроме того, она обнаруживает априорные основания высших функций.

На этих сложных основаниях эго развивается, опираясь на них в течение всей жизни. Если же они перестают функционировать, следует холостой ход, а затем смерть. Их реальность слишком многое определяет в нашей жизни. В сравнении с ними даже внешний мир вторичен — зачем он нужен, если отсутствует эндогенный инстинкт, отвечающий за восприятие? Всем, наконец, известно, что никакая сознательная воля не может вытеснить инстинкт самосохранения. Этот инстинкт рождается в виде некой принудительной силы или воли, или приказа, и если — как это в той или иной степени происходило с незапамятных времен — мы присваиваем ему имя какого-то демона, мы, по крайней мере, точно отражаем психологическую ситуацию. Когда мы с помощью понятия архетипа пытаемся чуть точнее определить момент, когда этот демон завладел нами, мы ничего не отменяем, а лишь становимся ближе к источнику жизненной энергии.

И это совершенно естественно, что я как *психиатр* (то есть «врачеватель душ») пришел к подобной мысли, ведь главное для меня — каким образом я смогу помочь своим пациентам вернуться к исходным здоровым основаниям. Я давно осознал, что для этого необходимы самые разные знания. В конце концов и медицина пришла к тому же. Ее прогресс обусловлен не трюками и чудесами исцеления, не упрощением метода, наоборот — она стала невероятно сложной, и не в последнюю очередь за счет знаний, почерпнутых в других областях. Словом, я не пытаюсь доказывать что бы то ни было в отношении других дисциплин, я просто хочу использовать их опыт в своей собственной области. Конечно следует пояснить суть такого рода обращения и его возможных по-

следствий. Безусловно, в такой ситуации, на стыке различных дисциплин, когда знания одной науки используются в практике другой, мы открываем для себя массу неожиданных вещей. Возьмем хотя бы рентгеновское излучение, что бы произошло, если бы это открытие оставалось лишь в сфере деятельности физиков и не использовалось бы в медицине? К тому же если врачей волнуют возможные опасные последствия радиационной терапии, то физиков занимают другие проблемы, связанные с радиацией, и медицинская сторона дела может и не представлять для них интереса. Было бы по меньшей мере смешно предположить, что врач вторгается в чужие владения, обнаруживая губительные или целебные свойства проникающего излучения.

Когда я как психотерапевт обращаюсь к сведениям исторического и теологического характера, я представляю их совершенно в ином свете, и мои цели, и мои выводы — иного порядка.

Итак, тот факт, что полярность лежит в основе психической энергии, означает, что проблема противоположенности как таковая — в самом широком смысле, со всеми сопутствующими ей религиозными и философскими аспектами — становится темой психологического порядка. При таком подходе вопросы религии и философии теряют самостоятельный характер, собственно теологический или собственно философский. И это неизбежно, поскольку теперь они становятся предметом психологии, то есть выступают не как религиозная или философская истины, а проверяются на ценность и значимость для психологии. В свете того что они претендуют на собственное независимое существование эмпирически, а значит, и в научном смысле, они представляют собой прежде всего *психические феномены*. На мой взгляд, это бесспорно. Они, естественно, нуждаются в определенных основаниях, что вовсе не противоречит психологическому подходу, который, со своей стороны не считает подобные притязания совершенно несправедливыми, а, напротив, принимает их во внимание. Психология не квалифицирует суждения как «исключительно религиозные» или «исключительно философские», хотя от теологов довольно часто можно услышать о чем-то «исключительно психологическом».

Все свидетельства — любые, вызванные нашим воображением, — подсказаны нам психикой. Последняя выступает как

некий динамический процесс, основой которого служит полярность, напряжение между двумя полюсами. «Не следует умножать число универсалий!» А поскольку энергетическая теория в качестве универсальной принята в естественных науках, мы попробуем ограничиться ею и в психологии. Ничего другого, похожего на иное объяснение, просто нет, более того, полярная природа психики и ее содержание находит подтверждение и в психологическом опыте.

Если энергетическая концепция психики верна, то противоречащие ей предположения, как, например, представление о некой метафизической реальности, должны казаться, мягко выражаясь, парадоксальными.

Психика не может выйти из себя так же, как не может постулировать какие бы то ни было абсолютные истины, поскольку именно в ее полярности заложена их относительность. Когда психика провозглашает абсолютную истину, например, «Абсолют есть движение» или «Абсолют есть нечто единичное», она неизбежно попадает на одном из своих противоречий. Ведь с равным успехом можно утверждать: «Абсолют — это покой», или: «Абсолют суть все». Как только психика выбирает одну сторону, она разрушается и теряет способность к познанию. Вследствие невозможности рефлексии она превращается в некую последовательность состояний, каждое из которых стремится занять главенствующее место, так как других не учитывает (или пока не учитывает).

Все сказанное выше, конечно, не отменяет оценочной шкалы, а лишь подтверждает ту очевидную вещь, что границы размыты, что «все течет», наконец. За тезисом следует антитезис, а синтез возникает уже как нечто третье, ранее непредусмотренное — то есть психика лишней раз подчеркивает свою полярную природу, на самом деле ни в чем не выходя за свои границы.

В попытке определить границы психического я ни в коем случае не пытаюсь ограничить все *одной лишь* психикой. Но если имеются в виду восприятие или познание, выйти за ее пределы нам не удастся. Наука, безусловно, признает существование некоего непсихического, трансцендентного объекта, но трудности в постижении реальной природы этого объекта для нее тоже не тайна, особенно если соответствующие органы чувств или не в

состоянии реагировать на это, или вообще отсутствуют, а необходимый тип мышления не выработан. В случаях когда ни наши органы чувств, ни соответствующие искусственные вспомогательные инструменты доказать наличие реального объекта не могут, возникает та чудовищная трудность, суть которой заключается в искушении объявить реальный объект несуществующим вовсе. Подобные, более чем скоропалительные выводы меня никогда не удовлетворяли, потому что я никогда не утверждал, что мы способны постичь все формы бытия. Потому я осмеливаюсь заявить, что феномен архетипических структур, каковые представляют собой психические явления (и только), — опирается на *психоидную* основу, то есть на в какой-то мере психическую, но, вероятно, совсем иную форму бытия. За недостатком эмпирических данных я не обладаю ни знанием, ни пониманием этих форм, называемых обычно «духовными», с наукой это никак не соотносится, но я в это *верю*. И здесь я вынужден признать свое невежество. Но я реально испытывал воздействие архетипов, для меня они *действительны* даже тогда, когда я не знаю их реальной природы. Это я отношу не только к архетипам, но к природе души в целом. Что бы она сама о себе ни заявляла, за свои пределы ей никогда не выйти. Постигание само по себе факт психический, и в этом смысле мы жестко ограничены исключительно психическим миром. Тем не менее есть все основания предполагать, что за этой завесой существует некий непознанный, но действительный объект, по крайней мере в случаях с психическими явлениями, где нельзя ничего утверждать. Суждения о возможности или невозможности правомерны лишь в специальных областях, вне их это лишь произвольные допущения.

И хотя брать некие положения с потолка, то есть без достаточных на то оснований, не принято, тем не менее существуют утверждения, которые все же должны приниматься без учета объективных причин. Это касается, например, оснований психодинамики, обыкновенно выражаемых субъективно и рассматриваемых в каждом случае отдельно. Ошибка здесь коренится в невозможности определить, исходит ли утверждение от конкретного субъекта, руководствующегося исключительно личными мотивами, или же оно носит общий характер и возникает как некий совокупный динамический паттерн. В последнем случае

его следует рассматривать не как нечто субъективное, а как нечто психологически объективное, поскольку огромное количество индивидуумов по своему внутреннему побуждению пришли к такому же выводу или осознали необходимость определенного мировоззрения. Поскольку архетип является не пассивной формой, а реальной силой, видом энергии, его можно рассматривать как *causa efficiens* (действующую причину. — *лат.*) подобных утверждений и считать субъектом таковых. Короче, такие утверждения исходят не от конкретного человека, а от архетипа. Если же их не принимают во внимание, то, как учит нас житейский опыт и как подтверждает медицинская практика, это приводит к серьезным нарушениям психики. В индивидуальных случаях мы имеем дело с невротическими симптомами, у людей же, не склонных к неврозам, возникают коллективные мании.

В основе архетипических утверждений лежат инстинктивные предпосылки, не имеющие никакого отношения к разуму — их невозможно ни доказать, ни опровергнуть с помощью здравого смысла. Они всегда представляли собой некую часть миропорядка — *représentations collectives* (коллективные представления. — *фр.*), по определению Леви-Брюля. Безусловно, это и его воля играют огромную роль, но то, чего хочет это, непостижимым образом перечеркивает автономность и нуминозность архетипических процессов. Область их практического бытия — сфера религии, причем в той степени, в какой религию в принципе можно рассматривать с точки зрения психологии.

### III

В этом смысле можно считать очевидным, что помимо пространства рефлексии имеется другая, не менее, а может и более, широкая область, из которой разум вряд ли способен что-либо извлечь, — это пространство эроса. Античный эрос — в прямом смысле бог, его божественная природа выходит за пределы человеческого разума, поэтому его невозможно ни понять, ни представить. Конечно, можно было бы, как пытались многие до меня, рискнуть и приблизиться к этому демону, чья власть безгранична — от горных вершин до мрачной тьмы ада, — но тщетно



я старался бы найти язык, который был бы в состоянии адекватно выразить неисчислимыи странности любви. Эрос есть космогония, он — творец сознания. Иногда мне кажется, что условие апостола Павла «если... любви не имею» (1 Кор. 13, 1—3) — первое условие познания и собственно сакральности. В любом случае это условие является одним из толкований тезиса «Бог есть любовь», утверждающего божество как *complexio oppositorum*.

Моя медицинская практика, как и личная жизнь, не раз давали мне возможность столкнуться с загадками любви, которые я никогда не мог разрешить. Подобно Иову, «руку мою полагаю на уста мои» (Иов. 39, 34). Здесь скрыто самое великое и самое малое, самое далекое и самое близкое, самое высокое и самое низменное. И одно не живет без другого. Нам не под силу выразить этот парадокс. Что бы мы ни сказали, мы никогда не скажем всего. А рассуждать о частностях — значит сказать либо слишком много, либо слишком мало, поскольку смысл обретает лишь единое целое. Любовь «все покрывает, всему верит... все переносит» (1 Кор. 13, 7). Здесь все сказано. Воистину, все мы или жертвы, или средство великой всеобъемлющей космической «любви». Я беру это слово в кавычки, потому что речь идет не о страстях, предпочтении, желании или благосклонности и тому подобных вещах, а о том, что выше индивидуального, — о некоей целостности, единой и неделимой. Сам будучи только частью, человек не способен постичь целое и не располагает собой. Он может смириться, он может бунтовать, но всякий раз оказывается в плену этой силы. Он от нее и зависит, и на нее же опирается. Любовь — это его свет и его тьма, конца которой нет и не будет. «Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13, 8) — говорит ли человек «языками ангельскими» или языком науки, изучая жизнь от простейшей клетки до основ мироздания. Все его попытки дать название любви, если даже перебрать все известные ее имена, окажутся тщетными — бесконечным самообманом. И, если у него есть хоть капля мудрости, ему придется смириться, обозначив *ignotum per ignotius* (неизвестное через более неизвестное. — *лат.*) — то есть назвав любовь именем бога. Тем самым он осознает свое смирение и свое несовершенство, свою зависимость, но одновременно и свою свободу выбирать между истиной и ложью.

## | Прошлое и настоящее

Когда я слышу о том, что много знаю, или когда меня называют мудрецом, принять это на свой счет не могу. Представьте, что кто-то пытается черпать шляпой воду из потока. Ну и что? Я ведь не поток, я просто стою рядом, но ничего не делаю. Другие стоят здесь же, и большинство из них знает, что должны делать. Я же не делаю ничего. Я никогда не считал себя тем, кто способен позаботиться о семенах и колосьях. Я стою и удивляюсь тому, на что способна природа.

Есть замечательная притча о том, как к ребе пришел ученик и спросил его: «В старину были люди, которые видели Бога в лицо. Почему же теперь их нет?» На это ребе ответил: «Потому что нынче никто не сможет наклониться так низко». Нужно лишь слегка наклониться для того, чтобы зачерпнуть воду из потока.

Меня от других отличает то, что я не признаю «перегородок» — они для меня прозрачны. В этом моя особенность. Для других частую это не перегородки, а мощные стены, они ничего за ними не видят и, естественно, полагают, будто там и нет ничего. Я же, пусть в некоторой степени, ощущаю то, что скрыто от глаз, и это вселяет в меня внутреннюю уверенность. Те, кто ничего не видит, ее лишены, они не различают причин и следствий, а если что-то видят, то не доверяют себе. Я не могу объяснить, как случилось, что я принял этот поток жизни. Возможно, это было бессознательное. А может быть, мои ранние сновидения. Они с самого начала определили мой путь.

Знание о том, что скрыто, что происходит за «перегородкой», очень рано начало оказывать влияние на формирование моего отношения к миру. В целом это отношение и сегодня приблизитель-

но такое, каким было в детстве. Ребенком я чувствовал себя одиноко, и я одинок до сих пор, поскольку *знаю* и должен объяснять и напоминать людям то, о чем они не знают и в большинстве случаев не хотят знать. Одиночество заключается вовсе не в том, что никого нет рядом, суть его в невозможности донести до других то, что тебе представляется важным, или отсутствию единомышленников. Мое одиночество началось с опыта моих ранних сновидений и достигло своей высшей точки, когда я стал работать с бессознательным. Знающий больше других всегда остается одиноким. Тем не менее одиночество вовсе не исключает общения, ибо никто так не нуждается в общении, как одинокий человек, причем общение приносит плоды именно там, где каждый помнит о своей индивидуальности, не идентифицируя себя с другими.

Очень важно иметь тайну или предчувствие чего-то неизданного; это придает жизни некое безличное, нуминозное свойство. Кто не испытал ничего подобного, многое потерял. Человек должен осознавать, что живет в мире, полном тайн, что всегда остаются вещи, которые не поддаются объяснению, что его еще ждут неожиданности. Неожиданное, как и невероятное, всегда присутствует в этом мире. Жизнь без них была бы неполной, скудной. Мне с самого начала мир представлялся бесконечным и непостижимым.

У меня было много проблем с моими идеями. Во мне сидел некий демон, что в конечном итоге определило все: он переборол меня, и если иногда я бывал безжалостным, то лишь потому, что находился в его власти. Я никогда не умел остановиться на достигнутом, я рвался вперед, чтобы поспеть за своими видениями. И поскольку никто вокруг не мог видеть то, что видел я, меня считали глупцом, который вечно куда-то спешил.

Я многим причинил боль. Едва я замечал, что меня не понимают, я уходил — мне нужно было идти вперед. Я был нетерпелив со всеми, кроме моих пациентов. Я следовал внутреннему закону, налагающему на меня определенные обязанности и не оставляющему мне выбора. Впрочем, я не всегда ему подчинялся. Но возможно ли прожить без противоречий?

Некоторые люди были очень близки мне, по крайней мере до тех пор, пока существовала какая-то связь между ними и моим внутренним миром; но бывало, что я вдруг отстранялся, потому что не

оставалось ничего, что бы нас связывало. До меня с трудом доходило, что люди продолжают оставаться рядом, хотя им уже нечего было сказать мне. Ко многим я относился с живейшим участием, но лишь тогда, когда они являлись мне в волшебном свете психологии, когда же луч прожектора уходил в сторону, на прежнем месте уже ничего не оставалось. Я мог восхищаться многими людьми, но стоило только проникнуть в их суть, волшебство исчезало. Да, я нажил немало врагов. Но ведь любой творческий человек себе не принадлежит. Он не свободен. Он — пленник, влекомый своим демоном.

*...Из позором  
Насилье вырывает наше сердце,  
Ибо каждый небожитель жаждет жертвы.  
Если об этом забыл ты,  
Не жди добра<sup>1</sup>.*

Несвобода всегда тяготила меня. Нередко я чувствовал себя так, будто нахожусь на поле битвы. Я не могу — да, я не могу остановиться! Вот пал мой друг, но я должен идти вперед, — «и с позором насилье вырывает наше сердце». Я остался бы с тобой, я люблю тебя, но я не могу остаться! Есть в этом нечто разрывающее сердце. И я сам — жертва, потому что я *не могу* остаться. Но демон все устраивает, и благословенная непоследовательность определяет то очевидное противоречие, согласно которому я, будучи «неверен», остаюсь верным в последнем, конечном смысле.

Наверное, я мог бы сказать о себе, что нуждаюсь в людях больше, чем другие и в то же время менее других. Там, где на сцене появляется мой демон, раздвоенность вынуждает меня быть и слишком близко, и слишком далеко. Только тогда, когда он молчит, я пребываю в счастливой умеренности.

Демон творчества преследовал меня неумолимо и безжалостно. Когда я занимался чем-то заурядным, это длилось обычно очень недолго (правда, не всегда и не везде). Думаю, что отчасти этим объясняется моя крайняя консервативность. Я набиваю трубку та-

---

<sup>1</sup> Гёльдерлин. Патмос.

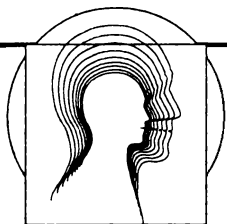
баком из табакерки моего деда и до сих пор храню его альпеншток из рога серны — он привез его из Понтрезины, одним из первых посетив этот открывшийся тогда курорт.

Я доволен тем, как прошла моя жизнь. Она была щедрой и дала мне многое. Можно ли ожидать большего? Со мной случалось, как правило, не то, чего я ожидал и на что рассчитывал. Многое сложилось бы иначе, если бы сам я был иным. Но случилось то, что должно было случиться, потому что я — это я. Многое из задуманного осуществилось, хотя не всегда это было к лучшему. Но все, что происходило, происходило самым естественным образом, как того хотела судьба. Я сожалею о многих совершенных из-за упрямства глупостях, но без него я не достиг бы своей цели. Потому мне и жаль, и не жаль. Я обманывался в людях и обманывался в самом себе. Люди помогли мне узнать удивительные вещи, сам же я достиг большего, чем ожидал. Я не пришел к какому бы то ни было окончательному выводу — не могу до конца объяснить ни человеческую жизнь, ни самого человека. Чем я делался старше, тем меньше понимал, тем меньше знал самого себя.

Я удивлен, я разочарован и я доволен собой. Я несчастен, подавлен и я с надеждой смотрю в будущее. Я — все это вместе, и мне не под силу сложить это воедино. Я не способен объяснить конечную пользу или бесполезность; мне не дано понять, в чем моя ценность и в чем ценность моей жизни. Я ни в чем не уверен. У меня нет определенных убеждений в отношении чего бы то ни было, нет и абсолютной уверенности. Я знаю только, что я родился и что существую, что меня несет этот поток. Я не могу знать, почему это так. И все же, несмотря на всю неуверенность, я чувствую некую прочность и последовательность в своем самостоянии и в своем бытии.

Мир, в который мы пришли, не только грубый и жестокий, но и божественно прекрасный. Что берет верх — смысл или бессмысленность — зависит от темперамента. Если бессмысленность, то жизнь чем дальше, тем больше начинает постепенно терять всякое значение. Но мне кажется, это не так. Возможно, как всегда бывает с метафизическими вопросами, правда и там, и там: в жизни есть и то и другое — и смысл и бессмысленность, жизнь имеет смысл, и жизнь смысла не имеет. Я хочу надеяться, что смысл выигрывает эту битву.

Как сказал Лао-Цзы: «Все освещено кругом, только я один погружен во мрак», — именно это я чувствую сейчас, на вершине своих лет. Лао-Цзы — пример человека высочайшего прозрения, он познал цену всему и в конце жизни вернулся к самому себе — к вечной непознаваемой сущности. Архетип старого, все повидавшего человека вечен. Он возникает на любой ступени развития интеллекта, и черты его всегда неизменны — и у старого крестьянина, и у великого философа Лао-Цзы. Это старость и это предел. Но окружающий меня мир все так же переполняет меня: растения и животные, облака и день с ночью, и самая вечность, заключенная в человеке. Чем больше во мне неуверенности, тем острее я ощущаю родство со всем, что есть вокруг. Теперь мне кажется, что отчуждение, которое так долго разделяло меня с миром, обратилось в меня самого, в мой внутренний мир, и я вдруг открыл, что никогда не знал самого себя.



**Современный миф.  
О вещах,  
наблюдаемых в небе**





## Предисловие

Трудно предугадать отдаленные последствия текущих событий, и велика опасность, что их оценку исказят субъективные моменты. Поэтому я, вознамерившись предложить заинтересованной аудитории свое понимание некоторых, на мой взгляд важных, современных событий, хорошо понимал, что рискую всерьез. Я имею в виду поступающие к нам из всех уголков земного шара сообщения и толки о круглых телах, которые перемещаются по нашей тропосфере и стратосфере и которые называют «тарелками», «блюдцами», «дисками» и НЛО — непознанными летающими объектами. Мне эти толки или физическая реальность таких тел представляются настолько важными, что я, как и в те времена, когда события, нанесшие смертельный удар Европе, еще только вызревали, чувствую необходимость предостеречь. Я, конечно, понимаю, что мой голос, как и тогда, слишком слаб, чтобы достичь слуха большинства людей. Мной, поверьте, движет не самомнение, а совесть врача, обязывающая меня подготовить тех немногих, кого сумею убедить, к тому, что человечество стоит на пороге событий, сопоставимых с концом времен. Как свидетельствует еще древнеегипетская история, феномены психических изменений, в зависимости от обстоятельств, возникали в конце одного «платонического цикла» или в начале следующего. Похоже, именно изменения в соотношении психических доминант, архетипов, «богов», вызывают или сопровождают многовековые преобразования коллективной души. Такое преобразование начиналось в границах писаной истории и отмечалось прежде всего при переходе от эона Тельца к эону Овна и затем от эона Овна к эону Рыб, начало которого совпадает с возникновением христианства. Теперь мы находимся в преддверии значительного изменения, которого вправе были ожидать вместе с наступлением эона Водолея. С моей стороны было бы непозволительным скрывать от читателя, что подобные размышления не про-

сто крайне непопулярны, но и слишком похожи на тот смутный бред, который помрачает умы толкователей знамений и реформаторов мира. Я обязан принять на себя риск, ставя на карту мою с трудом обретенную репутацию правдолюбца, человека, заслуживающего доверия и способного к научным решениям. Поверьте, это нелегко. Откровенно говоря, меня тревожит участь тех неподготовленных собратьев, которых события застигли врасплох, которые, ничего не подозревая, попали под власть их непостижимости. Поскольку до сих пор, насколько мне известно, никому не пришло в голову определить возможный психический эффект предполагаемого изменения, то я посчитал своим долгом сделать все, что в моих силах. Я берусь за эту неблагодарную задачу, готовый к тому, что мой резец соскользнет с того твердого камня, на который он направлен.

Несколько раньше я написал для «Weltwoche»<sup>1</sup> небольшую статью, в которой изложил свои соображения относительно природы «летающих тарелок». Мои выводы оказались аналогичными тем, что содержались в появившемся вскоре полуофициальном докладе Эдварда Дж. Руппелта, бывшего шефа американского бюро по наблюдениям за НЛО<sup>2</sup>. А основной вывод таков: *видят нечто, но неизвестно что*. Весьма сложно, более того, почти невозможно выработать правильное представление об этих объектах, так как они ведут себя не как тела, а как невесомые мысли. До сих пор не появилось ни одного бесспорного факта физического существования НЛО, за исключением случаев, зафиксированных радаром. О достоверности такого рода наблюдений на радаре я беседовал с профессором Максом Кноллем, специалистом в этой области, преподавателем электроники в Принстонском университете и в Высшей технической школе в Мюнхене. Его разъяснение, прямо скажем, не воодушевляет. При всем при том наверняка существуют достоверные случаи, когда визуальное наблюдение совпадало с одновременным сигналом радара. Я хочу обратить внимание читателей на книги майора Дональда Кейхоу, которые частично опираются на официальный материал и в которых практически нет откровенных спекуляций, не критичности и пристрастности, характерных для многих других

<sup>1</sup> Weltwoche. Zürich, 9 Juli, N 1078, S. 7.

<sup>2</sup> The Report of Unidentified Flying Objects. N. Y., 1956.

публикаций<sup>1</sup>. Вот уже в течение десятилетия физическая реальность НЛО остается весьма спорной, эту проблему нельзя с желаемой определенностью решить ни в том, ни в другом направлении, несмотря на то, что за эти годы был накоплен огромный эмпирический материал. Чем дольше длилась неопределенность, тем больше возрастала вероятность, что этот безусловно сложный феномен обладает наряду с возможными физическими основами и существенно важным психическим компонентом. Особого удивления у меня это не вызывает, ведь мы имеем перед собой физическое внешне явление, отличающееся, с одной стороны, частотой, с другой — непривычностью, странностью и, более того, противоречивостью своей физической природы. Такого рода объекты как ничто другое подобны продуктам осознанной или бессознательной фантазии, при этом осознанная фантазия производит умозрительные догадки и лживые истории, а бессознательная образует мифологический фон, свойственный этим сенсационным наблюдениям. На этой основе и сложилась ситуация, когда даже при самом большом желании невозможно осознать или установить, вызываются ли фантомы исходным восприятием или, наоборот, первичный, рожденный в бессознательном образ наполняет сознание иллюзиями и видениями. Весь материал, собранный мной за десятилетие, подтверждает и тот и другой способы рассмотрения: в одном случае объективный, то есть физический, процесс образует основу сопутствующего мифа, в другом архетип продуцирует соответствующее видение. К причинным связям можно присовокупить третий вариант, а именно возможность *синхронистического*, то есть недетерминированного сопроисшествия, что со времен Гейлинкса, Лейбница и Шопенгауэра не давало покоя мыслителям. Последнему способу рассмотрения следовало бы отдать предпочтение преимущественно в случае с феноменами, связанными с архетипическими процессами психики. Как психолог, я не могу добавить что-то полезное к вопросу о физической реальности НЛО. Поэтому я буду обращать внимание только на достоверно существующий психический аспект и в дальнейшем займусь почти исключительно сопутствующими психическими явлениями.

---

<sup>1</sup> *Majc Donald E. Keyhoe. U. S. Marine Corps, Retired. The Flying Saucer Conspiracy. L., 1957. Flying Saucers from outer Space. N. Y., 1953. Ср. также: Aimé Michel. The Truth about Saucers. L., 1957.*

## |НЛО — предмет слухов

Поскольку в сообщениях об НЛО сплошь и рядом встречаются «подробности», которые не только кажутся невероятными, но и находятся в вопиющем противоречии с общепринятыми физическими гипотезами, это невольно вызывает отрицательную реакцию, а именно критическое отторжение. Иллюзии, фантазии и вранье! Люди же, способные такое сообщить (то есть пилоты и наземный персонал), несколько не в себе! К тому же эти рассказы родом из Америки, страны неслыханных возможностей и научной фантастики.

Следуя этой естественной реакции, мы в первую очередь попробуем отнестись к сообщениям об НЛО как к обычным *слухам* и по возможности извлечем все предоставляемые нашими методами анализа следствия из этого психического феномена.

Сообщения об НЛО воспринимаются прежде всего, как некие истории, многократно пересказываемые и повторяемые в самых разных регионах земного шара. Однако эти истории отличаются от обычных рассказов тем, что они выступают еще и как видения<sup>1</sup> или, возможно, производятся и питаются таковыми. Этот весьма редкий подвид я называю *визионерским слухом*. Он находится в ближайшем родстве с коллективными видениями, например, с такими, которые являлись крестоносцам при осаде Иерусалима, защитникам Монса в первую мировую войну, тол-

---

<sup>1</sup> Я отдаю предпочтение не термину «видение», а термину «галлюцинация», поскольку последнему свойственен патологический оттенок, тогда как «видение» означает феномен, характерный не только для болезненных состояний.

пе верующих под Фатимой, швейцарским пограничникам во вторую мировую войну, и т. д. Впрочем, помимо коллективных видений, отмечались также случаи, когда один человек или несколько лиц наблюдают нечто, в физическом смысле не существующее. Так, однажды я присутствовал на спиритическом сеансе, где четверо из пяти наблюдателей видели над животом медиума небольшое парящее луноподобное тело, и мне, пятому, который ничего подобного не заметил, точно указывали место, где оно «находилось». Они не понимали, как же я этого не вижу. Мне известны еще три случая, когда определенные обстоятельства одинаково воспринимались во всех деталях (обоими свидетелями или одним-единственным), а потом оказывались несуществующими. Два таких случая произошли на моих глазах. Положение «С помощью свидетельства двух уст обнаруживается любая истина» можно, конечно, признать статистическим, но в данном случае оно неверно. Ведь вполне возможно, что даже при полной вменяемости и при здоровых органах чувств воспринимаются вещи, которые не существуют. У меня нет объяснения таким фактам. Может быть, это происходит гораздо реже, чем я склонен предполагать. Ибо достоверность вещей, которые кто-то «видел собственными глазами», как правило, не проверяют, и узнать, существовали ли они на самом деле, никак нельзя.

Я упоминаю об этих довольно редких вариантах потому, что в таком необычном деле, как случаи НЛО, лучше по возможности принять во внимание все аспекты.

Визионерский слух всегда предваряет *необычная эмоция*, тогда как для распространения и развития обычной молвы достаточно постоянно присутствующего любопытства и притягательности сенсации. Однако для возникновения видения и обмана чувств необходимо более сильное впечатление, и потому источник его гораздо глубже.

Слухи об НЛО впервые появились в конце второй мировой войны; начало им положили наблюдения за появившимися внезапно над Швецией таинственными снарядами, изобретение которых приписали русским, и сообщения о «Foo fighters», то есть об истребителях, сопровождающих союзные бомбардировщики над Германией (foo-feu). Далее последовали сообщения о наблюдающихся над США странных «летающих тарелках». Не-

возможность найти земную подоплеку для НЛО и объяснить их физические качества привела вскоре к гипотезе об их *внеземном* происхождении. Эта интерпретация наложилась на невероятную панику в Нью-Джерси, случившуюся незадолго до второй мировой войны, когда радиопьеса по повести Г. Дж. Уэллса, темой которой было вторжение марсиан в Нью-Йорк, вызвала настоящее паническое бегство из городов с многочисленными автокатастрофами. Очевидно, что радиопостановка отвечала скрытому эмоциональному ожиданию близкой войны.

Идея внеземного вторжения тоже попала на благодатную почву: НЛО стали толковать как машины, управляемые разумными существами из космоса. Поведение этих кажущихся невесомыми летательных аппаратов, их осмысленное целенаправленное движение стали объяснять неизвестными землянам знаниями и техническими возможностями космических пришельцев. Поскольку посетители никому не причиняли вреда и воздерживались от любых враждебных действий, пришли к выводу, что их появление в воздушном пространстве Земли вызвано любопытством или целями наблюдения. К тому же казалось, будто их особенно притягивали аэродромы, а еще более атомные установки, из чего тоже сделали вывод, что опасное развитие атомной физики или эксперименты с ядерной энергией вызвали определенную обеспокоенность на соседних планетах, что послужило поводом для более тщательного наблюдения за Землей с воздуха. Таким образом, появилось чувство, что за нами наблюдают и шпионят из космоса.

Слух этот был даже в известном смысле официально признан, в США военные учредили специальное бюро для сбора, исследования и оценки соответствующих наблюдений. Видимо, так же поступили и во Франции, Италии, Швеции, Великобритании и других странах. Опубликованный Эдвардом Дж. Руппельтом доклад поспособствовал, на мой взгляд, тому, что где-то за год из прессы практически исчезли сообщения о «тарелках». Очевидно, они перестали быть сенсацией. Тем не менее о том, что интерес к НЛО и, вероятно, наблюдение за ними не прекратились, свидетельствует недавнее сообщение в печати о предложении одного американского адмирала основать в стране клубы, которые будут собирать и самым тщательным образом исследовать сообщения об НЛО.

По слухам НЛО (имеющие, как правило, линзообразную форму, а также продолговатую или сигарообразную) излучают различного цвета сияние<sup>1</sup> или отливают металлическим блеском, а в полете достигают скорости около 15 000 км в час, соответственно их ускорение таково, что, если бы ими управлял человек, то ему неизбежно грозила бы смерть. НЛО выделывают зигзаги, возможные только для невесомого предмета и сопоставимые с траекторией летящих насекомых. Подобно насекомым, НЛО внезапно зависает над интересующим предметом на короткое или длительное время или как бы побуждаемое любопытством облетает его, чтобы неожиданно умчаться прочь и во время зигзагообразного полета обнаружить новый объект. По этой причине НЛО нельзя спутать с метеоритами или с явлениями отражения, связанными с температурной инверсией в смежных слоях атмосферы. Их так называемый интерес к аэродромам, атомным станциям и ядерным реакторам не всегда подтверждается, поскольку НЛО наблюдали даже в Антарктике, в Сахаре и в Гималаях. Хотя, по всей вероятности, они предпочитают летать над США, но по последним сообщениям их нередко можно наблюдать и над Старым Светом, и над Дальним Востоком. Что они ищут или за чем наблюдают — неизвестно. Видимо, особый интерес вызывают у НЛО наши самолеты, поскольку они неоднократно приближались к ним или даже преследовали их. Но они появляются нередко и перед самолетами. Нельзя утверждать, что в основе их полетов есть разумная система, скорее они ведут себя как группы туристов, бессистемно бродя по местности, осматривая местность, делая случайные остановки, и, следуя смене своих интересов, — то по неизвестным причинам парят на огромной высоте, то исполняют акробатические кульбиты перед носом раздраженных пилотов. В поле зрения случайных наблюдателей появляются то огромные объекты, до 500 м в поперечнике, то маленькие — вроде электрических уличных фонарей. Существуют большие корабли-матки, из которых выскальзывают или в которых прячутся маленькие НЛО. Их считают то вооруженными, то нево-

---

<sup>1</sup> Особого внимания заслуживают часто наблюдавшиеся на юго-западе США *зеленые* светящиеся шары.

оруженными, управляемыми в последнем случае дистанционно. По слухам, их пассажиры — человекоподобные существа, имеющие рост примерно три фута, то, наоборот, что они совсем непохожи на людей; в ряде сообщений говорится об огромных великанах, ростом почти в 15 футов. Их считают либо существами, которые намерены осторожно сориентироваться на Земле и потому предусмотрительно уклоняются от любых встреч с людьми, либо шпионами с ужасными замыслами, отыскивающими место для удобной посадки, чтобы переселить на Землю оказавшееся в беде население своей планеты. Отсутствие уверенности относительно физических условий на Земле и страх перед неизвестными инфекциями пока что удерживают инопланетян от явных контактов, а тем более от попыток приземления, хотя они и обладают эффективным оружием, позволяющим истребить население нашей планеты. Наряду с их явно более высокоразвитой техникой им приписывают и превосходство в мудрости, моральных добродетелях, которые делают их способными спасти человечество. Само собой разумеется, циркулируют также истории о посадках, когда маленькие существа не только были наблюдаемы с близкого расстояния, но и похищали людей. Такому вполне заслуживающему доверия человеку, как Кейхоу, пришлось однажды увидеть, как эскадра из пяти военных самолетов вместе с огромным гидропланом была вроде как бы поглощена НЛО-маткой.

Волосы поднимаются на голове, когда на глаза попадают подобные сообщения вместе с их документальной базой. Если еще принять во внимание общепризнанную возможность пеленговать НЛО радарам, то получается научно-фантастический рассказ, лучше которого и не придумаешь. Ясно, что любой так называемый здравый рассудок прежде всего чувствует себя глубоко уязвленным. Поэтому я воздержусь от толкования подобных слухов.

Когда я писал эту книгу, примерно в одно и то же время в двух ведущих ежедневных американских газетах появились статьи, наглядно иллюстрирующие современное состояние проблемы. В одной из них приводилось сообщение пилота, летящего в Пуэрто-Рико с 44 пассажирами на борту. Находясь над океаном, он увидел справа от себя «огненный, светящийся зе-



леновато-белым светом круглый объект», который с большой скоростью приближался к нему. Поначалу он принял его за реактивный самолет, но вскоре понял, что перед ним необычный и незнакомый объект. Во избежание столкновения пилот так круто изменил курс, что пассажиры вылетели из кресел, падая друг на друга, четверо из них получили серьезные травмы, требующие госпитализации. Семь других самолетов, находившихся на расстоянии примерно 500 км, наблюдали в той же точке подобный же предмет.

Вторая статья касалась категорического заявления д-ра Хьюга Л. Драйдена, директора Национального консультативного комитета по космонавтике. Американский эксперт утверждал, что «летающих тарелок» не существует. Не могу не воздать должного непоколебимому скепсису Драйдена: он всего лишь твердо выражает *crimen laesae majestatis humanae* (обвинение в оскорблении человеческого достоинства. — лат.) перед лицом чудовищности толков.

Кстати, если закрыть глаза на некоторые детали, то можно и присоединиться к разумному мнению большинства, от лица которого говорит Драйден, расценивая несколько тысяч наблюдений НЛО и все сопутствующие подробности как визионерский слух и анализируя его соответствующим образом. В этом случае, разумеется, после анализа, его объективным содержанием нужно было бы признать аффективно окрашенное собрание ошибочных наблюдений и выводов, на которые проецируются субъективные психические предпосылки.

Но если речь идет о психологической *проекции*, то для этого должна существовать *психологическая причина*. Ведь нельзя предположить, чтобы свидетельство о столь широко распространенном явлении оказалось чистой случайностью. Напротив, многотысячные свидетельства должны иметь столь же широкое причинное основание. Но если подобное свидетельство подтверждается, так сказать, повсеместно, то почему бы не предположить, что для этого повсеместно имеется и соответствующий мотив. И хотя визионерские слухи могут вызываться или сопровождаться самыми различными внешними обстоятельствами, по существу, их корни следует искать в эмоциональной сфере, то есть в данном случае — в общераспростра-

ненной психологической ситуации. Основу подобных слухов я вижу в *аффективном напряжении*, вызванном коллективным тревожным состоянием, связанным либо с опасностью, либо с насущной психической потребностью. Это условие стало решающим сегодня, когда весь мир страдает под гнетом русской политики и ее пока непредсказуемых последствий. Во всяком случае, явления, подобные аномальным убеждениям, видениям, иллюзиям и т. д., возникают у человека только тогда, когда он психически *диссоциирован*, то есть когда произошел разрыв между установкой сознания и противоположным содержанием бессознательного. Поскольку сознание не ведает об этом содержании, оказываясь в связи с этим один на один с представляющейся безысходной ситуацией, то непривычное содержание не может быть интегрировано прямо и осознанно, а пытается выразить себя какими-то обходными путями, порождая неожиданные и поначалу ничем необъяснимые убеждения, иллюзии и видения. Необычные природные явления, такие, как метеориты, кометы, кровавые дожди, теленок с двумя головами и прочие аномалии, толкуются как угроза или «знамение свыше». К ним примыкают и обстоятельства, которые не обладают физической реальностью, но при этом наблюдаются многими людьми независимо друг от друга и даже одновременно. Ассоциативным процессам многих людей свойственен временной и пространственный параллелизм, когда, например, различные умы одновременно и независимо друг от друга рождают одни и те же новые идеи, что убедительно доказала духовная история. Сюда можно отнести и случаи, где те же самые коллективные мотивы оказывают одинаковое или по меньшей мере сходное психическое воздействие. Иными словами, одни и те же толкования или визионерские образы возникают как раз у тех людей, которые вроде бы уже заранее подготовлены к одинаковым видениям или склонны в них верить<sup>1</sup>. Именно последнее придает свидетельствам особую достоверность: обычно охотно подчеркивается, что тот или другой свидетель не вызывает подозрения, поскольку никогда не был замечен в фантазировании или

---

<sup>1</sup> А. Мишель отмечает, что, по-видимому, НЛО чаще всего наблюдают те, кто в них верит или кто равнодушен к этой проблеме.

легковерии, а напротив, отличался трезвыми суждениями и критическим разумом. Вот в таких именно случаях бессознательное вынуждено прибегать к крайним мерам, чтобы его содержание воспринималось. Наиболее выразительно это осуществляется с помощью *проекции*, то есть путем перенесения на объект того, что прежде было тайной бессознательного. Процесс проекции можно отчетливо наблюдать в психических болезнях, маниах преследования и галлюцинациях у так называемых нормальных людей (замечающих соринку в глазу ближнего, но не видящих бревна в собственном) и наконец в наибольшей степени — в политической пропаганде. Проекция различается по радиусу действия в зависимости от того, связаны ли они исключительно с интимными сторонами личности, или с более глубоко скрытыми коллективными предпосылками. Вытесненное и бессознательное содержание индивидуальной психики проявляется в ближайшем окружении, в кругу родственников и знакомых. Напротив, коллективное содержание психики (скажем, религиозные, мировоззренческие и социально-политические конфликты) делает акцент на соответствующих носителях проекции, таких, как масоны, иезуиты, евреи, капиталисты, большевики, империалисты и т. д. Перед лицом нынешней угрозы миру, когда люди начинают сознавать, что вопрос может стоять о судьбе человечества в целом, фантазия, создающая проекции, вырывается за пределы земных организаций и властей в небо, то есть в космическое звездное пространство, где когда-то на планетах обитали власти-тели судеб — боги. Наш земной мир расколот на две половины, и неизвестно, откуда ждать спасения или помощи. Даже те, кто еще лет 30 назад не думали, что проблема религии может серьезно коснуться их самих, начали задаваться принципиальными вопросами. В этой ситуации стоит ли удивляться, что ту часть населения, которая себя ни о чем не спрашивает, посещают «видения», то есть повсеместно распространенные мифы, в которые одни верят всерьез, а другие с издевкой отбрасывают. Очевидцы, чья честность не вызывает подозрений, объявляют о «знамениях на небе», которые наблюдали сами, «собственными глазами», и о других пережитых чудесах, превосходящих человеческое разумение.

Само собой разумеется, что подобные сообщения требуют объяснения. Первые попытки представить НЛО как русские или американские «новинки» вскоре потерпели неудачу из-за «невесомого» движения объектов, неизвестного пока землянам. Поэтому перед фантазией, которая в течение многих десятилетий интенсивно занималась полетами на Луну, теперь открылось не менее широкое поле деятельности: она не замешкалась с предположением, что более разумные существа научились преодолевать гравитацию, использовать межзвездные магнитные поля в качестве источников энергии, чтобы с их помощью достичь космических скоростей. Последние атомные взрывы, как предполагается, насторожили этих далеко продвинувшихся в науке жителей Марса или Венеры, вызвали у них озабоченность относительно непредсказуемых ядерных реакций и связанного с этим разрушения Земли. Поскольку подобная возможность представляла бы катастрофическую угрозу и для соседних планет, то их обитатели, четко сознавая чудовищную опасность наших неуклюжих ядерных испытаний, пришли к заключению, что пристально наблюдать за развитием событий на Земле крайне необходимо. Тот факт, что НЛО не садилась на Землю и не обнаружили ни малейшего желания вступить в контакт с людьми, объясняется тем, что эти существа, невзирая на их необычайно высокие познания, все же не уверены, что встретят на Земле благосклонный прием, и поэтому предусмотрительно избегают любого духовного общения с людьми. Но так как поведение этих существ абсолютно неагрессивно, то и Земле они не причиняют никакого ущерба, довольствуясь лишь осмотром аэродромов и атомных заводов.

Остается непонятным, почему же эти высокоорганизованные существа, которым так безразлична судьба Земли, за десять лет, несмотря на знание языка, все еще не подготовились к установлению контакта с нами.

Существуют и другие предположения, вроде того, например, что их планета оказалась в трудном положении (быть может, из-за высыхания, потери кислорода или из-за перенаселения) и потому ищет «*pied-a-terre*» (опоры на Земле. — *фр.*). Разведчики оттуда подошли к делу с предельной осторожностью и предусмотрительностью, хотя уже в течение столетий,

если не тысячелетий, гастрوليруют в нашем воздушном пространстве. После второй мировой войны они стали появляться все чаще и чаще — видимо потому, что вскоре собираются высадиться. В последнее время, если учитывать некоторые наблюдения, их безобидность оказалась под сомнением. Существуют даже рассказы так называемых очевидцев, утверждающих, что они наблюдали приземление НЛО с говорящими (конечно же по-английски) «пассажирами». Такие космические гости — частью идеализированные фигуры из ряда абстрактно представляемых ангелов, которые заботятся о нашем благоденствии, частью — карлики-интеллектуалы с огромными головами, частью — лемуруобразные, обросшие волосами, наделенные когтями, защищенные панцирем, похожие на насекомое карлики-монстры. Кстати, есть и «очевидцы» вроде м-ра Адамски, который рассказывает, что в НЛО он за несколько часов облетел вокруг Луны. Он принес удивительное известие, что невидимая нам сторона Луны обладает атмосферой, водой, лесами и поселениями, и его нисколько не смущают странные причуды Луны, обратившей к нашей Земле свою самую негостеприимную сторону. Эту физическую нелепость проглатывают даже образованные и здравомыслящие люди вроде Эдгара Сиверса<sup>1</sup>.

Зная о страсти американцев фотографировать, все, что им попадает на глаза, можно только удивляться, как мало «аутентичных» фотографий НЛО в стране, где их, похоже, можно было наблюдать часами и с относительно близкого расстояния. Случайно я знаком с одним человеком, видевшим вместе с сотнями других людей НЛО. С собой у него был фотоаппарат, но, как ни странно, от волнения он совершенно забыл об этом, несмотря на то, что дело происходило днем и НЛО видели в течение часа. У меня нет оснований сомневаться в правдивости его слов, но это лишь укрепило мои предположения, что НЛО явно не «фотогеничны».

Исходя из сказанного выше, напрашивается вывод, что наблюдение за НЛО постоянно давало повод к возникновению настоящих легенд. Совершенно независимо от тысяч газетных

---

<sup>1</sup> E. Sievers. Flying Saucerüber Südafrika. Pretoria, 1955.

заметок и статей сегодня по этой теме уже появился ряд книг pro et contra (за и против. — лат.), частью — шарлатанство, частью — серьезные исследования. Как показывают последние наблюдения, на сам феномен это, видимо, никак не повлияло. Похоже, что пока появление объектов не прекращается. Что бы это ни было, установлено: данный феномен стал *живым мифом*. Здесь нам представляется удобный случай проследить, как возникает легенда и как в трудную мрачную эпоху человечества создается сказочное повествование о попытке вторжения или по меньшей мере о приближении взвездных «небесных» сил. Одновременно человеческая фантазия принялась обсуждать возможность космических полетов и посещения или даже вторжения с других небесных тел. Со своей стороны мы намерены лететь на Луну или на Марс, а обитатели других планет нашей системы или даже планет других звездных систем — к нам. Наши космические притязания осознаются нами, но аналогичная взвездная тенденция — всего лишь мифологическая догадка, то есть проекция. Сенсационность, притягательность авантюры, технический риск и интеллектуальное любопытство, — все это, по-видимому, можно считать вполне достаточным мотивом нашей предвосхищающей фантазии, но, как это чаще всего бывает, подобные источники фантазии, особенно если они выступают в столь серьезной форме (я вспоминаю об искусственных спутниках земли), основываются на лежащей под ними и за ними причине, то есть на насущной необходимости и потребности. Без труда легко можно себе представить, что именно человечеству стало слишком тесно на земле и оно хотело бы покинуть свою тюрьму, где ему угрожают не только водородная бомба, но и лавинообразный рост численности населения, дающий повод для серьезной озабоченности. Последнее — это проблема, которую обсуждают неохотно или только с оптимизмом, указывая на безграничные возможности интенсивного производства продуктов, как будто бы это больше, чем простая отсрочка окончательного решения! В предвидении такого роста населения индийское правительство выделило 500 тыс. фунтов на ограничение рождаемости, а Россия для стерилизации и сокращения избыточной рождаемости использует систему трудовых лагерей. И хотя высокоцивилизованные стра-

ны Запада в состоянии помочь себе иначе, но прямая опасность исходит не от них, а главным образом от слаборазвитых азиатских и африканских стран. Здесь не место подробно рассуждать о том, какой «вклад» внесли две мировые войны в эту угнетающую проблему ограничения населения «любой ценой», — природа использует тысячи способов для избавления от своих чрезмерно расплодившихся созданий. Фактически жизненное пространство человечества неуклонно сужается, а для некоторых народов оптимум уже давно пройден. Угроза катастрофы нарастает пропорционально концентрации увеличивающегося населения. Теснота порождает страх, спасение от которого многие видят за пределами нашей планеты.

Поэтому и появляются «небесные знамения», сверхсущества в виде космических летательных аппаратов — вымысел нашего технизированного разума. Из страха, причины которого во всем объеме не поняты и потому не осознаны, рождаются так называемые объясняющие проекции, отыскивающие причины страха во всевозможных и, вероятно, вторичных трудностях. В наше время некоторые из них настолько общеизвестны, что кажется почти бессмысленным вести поиск глубже<sup>1</sup>. Но чтобы осмыслить какой-то широко распространенный слух, видимо, не следует ограничиваться только рационалистическими и с ходу понятными мотивами. Если возникла необходимость отыскать мотивы столь необычного феномена, как НЛО, то, пожалуй, его причина имеет отношение к истокам нашего бытия. Правда, как редкое исключение летающие объекты наблюдались уже в предшествующие столетия, но тогда они порождали лишь обычные местные толки. Всеобщий массовый слух закрепила за собой наша просвещенная, рационалистическая современность. Грандиозные фантазии о конце света, появившиеся на исходе первого христианского тысячелетия, имели чисто метафизический источник и не нуждались ни в каких НЛО, чтобы выглядеть рационально обоснованными. Вмешательство неба соответствовало тогдашнему мировоззрению. Однако наше общественное мнение вряд ли может принять гипотезу метафизического акта, в противном

---

<sup>1</sup> Ср. с этим разъясняющие высказывания: *Eugen Böhler. Ethik und Wirtschaft. Zürich, Industrielle Organisation, 1957.*

случае наверняка многие пасторы уже читали бы проповеди о предостерегающих небесных знамениях. Ничего подобного наше мировоззрение допустить не может. Мы, напротив, склонны, скорее всего, иметь в виду возможность *психических* нарушений, в частности потому, что со времени последней мировой войны наше психическое состояние в некоторой степени стало более уязвимым. И это ведет к растущей неуверенности. При оценке и объяснении пути развития, которым идет Европа в последнее десятилетие, даже наша историография уже не обходится обычными средствами, а вынуждена признать, что психологические и психопатологические факторы начали подозрительно расширять ее горизонт. Логически оправданный в этом случае интерес мыслящих людей к психологии уже пробудил негодование академий и соответствующих специалистов. Несмотря на заметное сопротивление этих кругов, серьезные психологи не имеют права малодушно отказываться от критического исследования подобных массовых явлений, поскольку полученные результаты — на первый взгляд невероятные — наводят на мысль о психическом нарушении.

В соответствии с нашей задачей обратимся к вопросу о психической природе феномена и попробуем еще раз уточнить центральное свидетельство молвы, как-то: в нашем воздушном пространстве и днем и ночью наблюдаются объекты, не сопоставимые ни с какими известными метеоритными явлениями. Это не метеоры, не звезды, не отражения температурных скачков, не скопление облаков, не птичьи стаи, не воздушные шары, не шаровые молнии и — что не менее важно — не алкогольный или горячечный бред и не ложь очевидцев. Как правило, наблюдается тело, которое кажется раскаленным или излучающим пламя, разного цвета, оно может быть круглой, шарообразной, шайбообразной, реже сигарообразной или цилиндрической формы различной величины<sup>1</sup>. Сообщают, что иногда эти

---

<sup>1</sup> Прообразом редко упоминаемой формы в виде «сигары» явился, видимо, дирижабль. Напрашивающееся сравнение с фаллосом, то есть перевод на сексуальный язык, близко народному говору: таково, например, берлинское обозначение «святой дух» и прямое название воздушного шара у военных.



тела невидимы для человеческого глаза, однако оставляют «blip» (пятно) на экране радара. В первую очередь, следует напомнить, что круглые тела — это формы, которые порождают бессознательное в снах, видениях и т. п. Поэтому их можно считать *символами*, наглядно изображающими идеи, которые не были осознаны, а существовали лишь потенциально, то есть в непредметной форме в бессознательном, и которые становятся наглядными лишь при осознании. Но осознанная форма только приблизительно выражает истинный смысл бессознательного. На практике этот смысл может быть выявлен «полностью» лишь с помощью дополнительного толкования. При этом неизбежно возникают ошибки, и, чтобы устранить их источник, необходимо действовать по принципу «eventus docet» (событие учит. — *лат.*), то есть сопоставить для полноты картины множество сновидений различных людей. Внешние формы слухов также подчиняются принципам толкования сновидений. Если данный метод применить к наблюдаемому круглому предмету — неважно, к шайбе или шару, то немедленно возникает аналогия с символом целостности — *мандалой*<sup>1</sup>, которая хорошо известна знатокам глубинной психологии. Мандала отнюдь не является новейшим изобретением, в том же значении она существовала всегда и везде, возникая без внешней передачи и у современных людей, то ли в качестве охраняющего, или апотропического, символа, то ли как доисторическое, так называемое, «солнечное колесо», то ли как волшебный круг или как алхимический микрокосмос, или как современный символ, объемлющий и упорядочивающий душевную целостность. Ранее я уже обращал внимание на то, что в течение последних столетий мандала постепенно и все быстрее превращается в явный символ психологической целостности, как свидетельствует история алхимии. Каким образом мандала проявляется у современного человека, я хотел бы показать на сновидении шестилетней девочки.

*Сновидица стоит у входа в огромное незнакомое ей здание. Там ее встречает фея и ведет внутрь, в длинную крытую галерею, в некое центральное помещение, к кото-*

<sup>1</sup> Санскритский круг.

рому со всех сторон сходится много таких же галерей. Фея вступает в центр и превращается в высокое пламя, из которого, извиваясь, выползают три змеи.

Это классическое проявление мандалы в сновидении ребенка; данный архетип часто наблюдается не только во сне, но иногда — без всякого внешнего наущения — и в рисунке. Цель в данном случае очевидна: защититься от неприятностей и тревоги, вызванных тяжелой семейной обстановкой, и сохранить внутреннее равновесие.

В той мере, в какой мандала очерчивает, огораживает, защищает извне и стремится соединить внутренние противоположности, она представляет собой явный *символ индивидуации* и в таком качестве известна еще средневековой алхимии. Тогда считали, что душа имеет форму шара, по аналогии с платоновской мировой душой, и даже в современных сновидениях встречается такой же символ. Древность этого символа наводит на воспоминание о небе, о «наднебесных местах» Платона, где сосредоточены «идеи» всех вещей. Поэтому наивное толкование НЛО как «души» вроде бы не вызывает возражений. Разумеется, оно выражает не современное, а скорее произвольное, архетипическое или мифологическое представление о душе, как вместилище бессознательного, «*rotundum*» (ротонде), что символизирует целостность индивида. Этот спонтанный образ я описал и определил как символическое представление *самости*, то есть целостности, включающей в себя сознательное и бессознательное<sup>1</sup>. В этом я отнюдь не одинок, поскольку уже средневековая герметическая философия пришла абсолютно к такому же выводу. Архетипический характер этой идеи подтверждаются многочисленными наблюдениями за ее спонтанным появлением у современных людей, которым неизвестна эта традиция, и поэтому они одинаково мало знают как себя, так и то, что их окружает. Впрочем, даже людям более развитым в этом отношении не приходит в голову мысль, что их детям могло сниться нечто из герметической философии. Всеобщее глубочайшее отнюдь не способствует развитию мифологической традиции.

---

<sup>1</sup> Jung C. G. Über Mandalasymbolik. — В кн.: Gestaltungen des Unbewußten. Zürich, 1950, а также глава «Das Selbst», Aion. Zürich, 1951.

Поскольку круглые светящиеся тела, появляющиеся на небе, мы относим к видениям, здесь возможно единственное толкование — это архетипические образы, которые являются произвольными, основывающимися на инстинктах, автоматическими проекциями, их, как и другие психические проявления или симптомы, нельзя считать бессмысленными и совершенно случайными. Тот, кто располагает необходимыми историческими и психологическими сведениями, знает, что, наряду с уже упоминавшимся символом души, круглый символ, *rotundum* (на алхимическом языке: круглый, шаровидный) в нашей культуре играл важную роль везде и во все времена, например, в качестве символа бога. Древнее выражение гласит: «*Deus est circulus, cuius centrum est ubique, cuius circumferentia vero nusquam*» (Бог — это круг, центр которого везде, а окружность — нигде). «Бог» и его *omniscientia*, *omnipotentia* и *omnipraesentia* (всеведение, всемогущество, всеприсутствие. — *лат.*) — это символ целостности *par excellence* (по преимуществу. — *фр.*), *круглое*, полное и совершенное. В традиции подобные богоявления самым различным образом связаны с пламенем и светом, поэтому во времена античности НЛО могли легко считать «богами». По опыту, именно эти выразительные проявления целостности, простая округлость которых и представляет такой архетип, играют ведущую роль в совмещении кажущихся несоединимыми противоположностей и поэтому в качестве компенсаций лучше всего соответствует разорванности нашего времени. К тому же этот архетип имеет особую значимость среди других архетипов, поскольку он прежде всего борется с душевным хаосом, обеспечивая личности единство и целостность. Он создает образ великой, богоподобной личности, первочеловека, или антропоса, шень-жэня<sup>1</sup> — Илии, принесшего огонь с неба и поднявшегося туда на огненной колеснице<sup>2</sup>, предтечи Мессии, догматически обработанной фигуры Христа и — *last not least* — исламского Хадира, зеленого, который опять-таки является параллелью Илие и подоб-

<sup>1</sup> Истинный, или совершенный, человек.

<sup>2</sup> Характерно, что Илия предстает и как *орел*, принесший на землю неправду.

но ему странствует по земле в качестве человеческой персонификации Аллаха.

Сегодняшней ситуации в мире, как никогда прежде, свойственно пробуждение надежды на сверхъестественное событие, которое разрешит все проблемы. Если такая надежда проявляется не слишком отчетливо, то, вероятно, потому, что уже никто не связан с мировоззрением предыдущих столетий в такой степени, чтобы считать вмешательство неба само собой разумеющимся. Мы уже давно переросли средневековое метафизическое миропонимание, хотя и не настолько, чтобы наши древние психологические подосновы избавились от всех метафизических надежд<sup>1</sup>. Для нашего сознания характерна рационалистическая просвещенность, которая отвергает любые «окультурные» устремления.

Вероятно, дают о себе знать отчаянные усилия вернуть былое величие христианской вере, не возвращаясь, однако, вновь к тому ограниченному образу мира, который — как в прежние времена — оставлял бы необходимое место для метафизического вмешательства либо вновь содействовал оживлению истинно христианской веры в загробную жизнь или в ожидание скорого конца мира, обрекающего на гибель прискорбную ошибку творения. Вера в земную жизнь и в мощь человека стала, несмотря на противоположные заверения, практической и пока неопровержимой истиной.

Такая позиция подавляющего большинства — благоприятная основа для проекции, то есть для проявления бессознательных подоснов, которые, невзирая на рационалистическую критику, прорываются в форме символического слуха, подкрепляемого соответствующими видениями, овладевая архетипом, который всегда выражал нечто такое, что призвано упорядочивать, освободить, исцелять, делать цельным. Особенность нашего времени

---

<sup>1</sup> Это обычное и неоправданное заблуждение людей, получивших естественнонаучное образование. Они полагают, будто психические подосновы я понимаю метафизически, тогда как теологи, наоборот, упрекают меня, что я «психологизирую» метафизику. И те и другие сходятся в одном: я — эмпирик, остающийся внутри установленных метафизикой теоретико-познавательных границ.

заключается, пожалуй, в том, что архетипы, дабы снять налет предосудительности мифологических персонификаций, в которых они выражались раньше, принимают *вещественные* и, более того, технизированные формы. С тем, что является взору в виде технического устройства, современный человек соглашается без труда. Благодаря возможности космических полетов, непопулярная идея метафизического вмешательства выглядит более чем приемлемой. Конечно, невесомость НЛО осознается с трудом, но в последние годы наша физика сделала массу открытий, граничащих с чудом; почему бы более развитым обитателям звезд не найти способ преодолеть силу тяжести или не достичь еще большего? Ядерная физика нанесла мощный удар по представлениям дилетантов, что еще больше повысило авторитет физиков, позволяя тем самым воображать такие вещи, которые совсем недавно объявили бы безумием. Следовательно, НЛО можно легко понять и представить себе в виде очередного физического чуда. Впрочем, я с некоторой неловкостью вспоминаю о времени, когда был убежден, что ничто тяжелее воздуха летать не способно, а впоследствии с досадой убедился в обратном. С одной стороны, мнимая физическая природа НЛО даже для посвященных является загадкой; с другой — по этой же причине — мы столкнулись с такой многозначительной легендой, что чувствуем необходимость оценить ее, так сказать, на 99% как продукт психики и отвергнуть обычное психологическое толкование. Если внешним поводом для мифа могут послужить неизвестные физические явления, то это не отменяет его, ибо многие мифы имеют космические и другие естественные сопутствующие причины, которые полностью этот миф не объясняют. Дело в том, что в основе миф представляет собой продукт бессознательного архетипа, то есть символ, требующий психологического толкования. Ведь первобытный человек какой-нибудь предмет, например пустую консервную банку, может воспринять как фетиш, и такой результат не столько связан с консервной банкой, сколько является продуктом психики.

## | НЛО в сновидениях

То, что НЛО можно увидеть не только наяву, но и во сне, это понятно, но особый интерес представляет для психологов то, насколько индивидуальные сновидения отражают образы бессознательного. Как известно, чтобы получить более или менее точную картину отражаемого психикой объекта, исключительно рациональных операций отнюдь недостаточно. Вдобавок здесь необходимо учитывать три аспекта: эмоцию (оценку), ощущение (*fonction du réel*, факт) и интуицию (восприятие перспектив), а кроме того, реакцию бессознательного, то есть картину бессознательного ассоциативного контекста. Именно эта совокупность и позволяет составить более или менее полное представление о высвобожденном с помощью объекта психическом содержании. Восприятие и объяснение данного объекта исключительно с точки зрения рассудка неудовлетворительно наполовину или даже на три четверти.

Для иллюстрации я хотел бы рассказать о двух сновидениях одной образованной дамы. Она сама никогда не видела НЛО, хотя это явление ее занимало, и не имела определенного мнения о нем. Незнакома она была и с литературой об НЛО, а также с моими идеями об этом феномене. Вот как она передает свой сон:

### *Первое сновидение*

*Я еду с группой людей в грузовике вниз по Елисейским Полям. Раздается сигнал воздушной тревоги. Грузовик останавливается, все пассажиры выпрыгивают из него и ис-*

чезают в ближайших домах, захлопнув за собой двери. Я выбираюсь из грузовика последней и также пытаюсь попасть в дом, но все двери прочно заперты на полированные латунные замки, да и Елисейские Поля пусты. Я прижимаюсь к стене дома и смотрю на небо, но вместо ожидаемых бомбардировщиков вижу разновидность «летающей тарелки», то есть каплеобразный металлический шар. Он очень медленно движется по небу с севера на восток, и у меня возникает впечатление, что за мной оттуда наблюдают. В тишине я слышу стук высоких каблуков женщины, в одиночестве идущей вниз по безлюдному тротуару Елисейских Полей. Обстановка очень страшная.

### Второе сновидение (примерно месяц спустя)

Я иду ночью по улицам города. На небе появляются «engines» (машины, устройства. — англ.), и все люди разбегаются. «Машины» выглядят, как большие стальные сигары. Я не убегаю. Одна из них обнаруживает меня и по наклонной траектории направляется прямо ко мне. Я вспоминаю: профессор Юнг считает, что убежать не нужно, и тогда останавливаюсь и ожидаю «машину». Вблизи ее передняя часть выглядит как круглый глаз, наполовину голубой, наполовину белый.

Больничная палата: два моих шефа входят в комнату и озабоченно справляются у сиделки, как мои дела. Она отвечает, что все мое лицо обожжено «прямым взглядом», и лишь тут я замечаю, что речь идет обо мне, а моя голова забинтована, хотя я и не могу этого видеть.

### Комментарий к первому сновидению

Картины сновидения показывают начало массовой паники, напоминающей панику при воздушной тревоге. Появляется НЛО каплеобразной формы. Жидкое тело, когда оно гото-

во упасть, принимает форму капли, из чего явствует, что НЛО в качестве падающей с неба жидкости воспринимается как аналогия с дождем. Эта неожиданная каплеобразная форма НЛО и аналогия с жидкостью упоминаются в литературе<sup>1</sup>. Вероятно, она призвана объяснять столь часто описываемую изменчивость формы. Эта «небесная» жидкость должна обладать таинственным качеством и, видимо, сходна с алхимическим понятием *aqua reginae*, «неизменная вода», которая в алхимии XVI века называется также «небом» и представляет собой *quinta essentia*. Эта вода — *deus ex machina* (бог из машины — *лат.*) алхимии — чудесное средство растворения, при этом «*solutio*» в равной мере употребляемо и для химического растворения, и для «растворения» некоей проблемы. Более того, это — великий волшебник Меркурий, разделитель и соединитель («*solve et coagula*»), эффективное целительное средство для души, одновременно способное означать и нечто угрожающее, опасное, падающее с неба в виде *aqua coelestis* (небесной воды, дождя).

Как алхимики говорят о «камне, который не есть камень»; так и их «философская» вода — не вода, а ртуть, и даже не обычная металлическая ртуть, а «дух» (*pneuma, spiritus*). Она является веществом посвященных, которое превращает при алхимическом деянии неблагородные минералы в духовную, часто персонифицированную форму (*filius hermaphroditus, filius Macrocosmi*). «Вода философов» — это классическое вещество, которое преобразует химические элементы и внутри которого происходят изменения, и в то же время она есть освобождающий дух их религиозных чаяний. Эти представления появились еще в античной литературе, получили развитие в средние века и проникли даже в народные сказки. В одном очень древнем тексте (предположительно первого тысячелетия от Р. Х.) говорится, что в камне, найденном в Ниле, был скрыт дух. «Следует достать и извлечь дух (*pneuma*). Это бывшая ртуть (вытяжка ртути)». По периоду около 1700 года мы располагаем многочисленными свидетельствами влияния этого ани-

---

<sup>1</sup> Случай капитана Мантелла, ставший классическим, говорит о сходстве НЛО с «tear drop» (слезой) и о том, что НЛО ведет себя как жидкость (fluid). *Harold T. Wilkins. Flying Saucers on the Moon. L., 1954, p. 90.*



мистического архетипа. С одной стороны, Меркурий — это металл, с другой — жидкость, которая, помимо всего прочего, легко испарялась, то есть превращалась в *varog* (пар), или в *spirigus*, и действовала как «духовный Меркурий» и разновидность Панацеи, спасителя и хранителя мира. Меркурий — это «спаситель», «сеющий мир между врагами» и в качестве *cibus immortales* (пищи, дарующей бессмертие) он освобождает творение от болезни и порчи, подобно Христу, совершающему то же для людей. Подобно тому как на языке отцов церкви Христос — «вода живая», так и алхимики употребляли названия *Mercurius aqua reginae*, *ros Gideonis* (роса Гедеона), *vinum ardens* (горячее вино), *mare nostrum* (наше море), *sanguis* (кровь) и т. д.

Из многих сообщений, особенно первых, следует, что НЛО обладают способностью неожиданно появляться и так же неожиданно исчезать. Их могут засечь радары, но они остаются невидимыми для человека и, наоборот, могут быть видимыми, но не фиксироваться радаром! Утверждают, что НЛО могли произвольно становиться видимыми или невидимыми, а поэтому должны, вероятно, состоять из вещества то видимого, то невидимого.

Ближайшая аналогия этому *испаряющаяся жидкость*, которая конденсируется из состояния невидимости в форму капли. Читая старые тексты, можно себе представить священный ужас, который чудо исчезновения и возвращения вызывало у алхимика при виде испарения воды или ртути: это — преобразование «души» Гераклита (ставшей водой) в невидимый воздух под магическим жезлом Меркурия и обратное ее нисхождение в наглядность творения. Зосима из Панополиса оставил нам драгоценный документ, описывающий это преобразование. Похоже, именно фантазия, которую пробуждает зрелище кипящего горшка (одно из старейших наблюдений человека), ответственна за исчезновение и возвращение НЛО.

Увиденное женщиной во сне НЛО в форме капли дает повод для сравнения с центральным представлением алхимии, известным нам не только по Европе, но и по Индии (ртутная система), и по Китаю (здесь ее знали со II века от Р. Х.). Необычности НЛО соответствуют и необычность его психологического кон-

текста, который должен приниматься во внимание, если взять на себя риск дать толкование подобному явлению. Принципиальное своеобразие феномена НЛО не позволяет надеяться, что к нему применимы известные нам рационалистические способы объяснения. Даже «психоаналитическое» понимание не способно ни на что большее, как посредством гипотетической «сексуальной теории» перевести представление об НЛО на язык сексуальной фантазии; с грехом пополам прийти, например, к заключению, что с неба спустилось вытесненное представление о матке. Это вполне можно было бы «подогнать» под старое медицинское понимание истерии как «странствования матки», в частности потому, что речь идет о женщине, видевшей страшный сон. (Как же тогда обстоит дело с пилотами мужского пола — подлинными источниками слуха?) Пожалуй, в «сексуальном языке» вряд ли можно найти больше содержания, чем в любых других символических средствах выражения. Собственно говоря, эта разновидность объяснения, по существу, столь же мифологична и одновременно рационалистична, как и технизированные вымыслы о сути и целях НЛО.

Сновидица знала о психологии достаточно, чтобы даже во сне осознавать, что она не должна поддаваться страху и бежать от НЛО, хотя именно этого ей больше всего хотелось. Но бессознательное даже во сне создает ситуацию, в которой такой выход для нее закрыт. В итоге ей представился случай рассмотреть феномен с близкого расстояния. Он оказался безопасным, более того, беззаботное постукивание по мостовой каблучков указывает на кого-то, кто вообще не замечает или не боится его.

### *Комментарий ко второму сновидению*

Рассказ начинается с факта, что на улице *темно*, ночь — время, когда полагается спать и видеть сны. Как и в предыдущем сне, вокруг царит паника. Появляется *множество* НЛО. Итак, памятуя о первом комментарии, можно заключить, что подчеркнутая единичность «самости» вроде бы раскрывается как вышестоящая, так сказать, божественная форма внутри множества. На мифологическом уровне это соответствовало бы

множеству богов, богоподобных людей, демонов или духов. Хотя на языке герметической философии таинственная материя, или *quinta essentia*, имеет «*mille nomina*» (тысячу имен), но, по существу, состоит из одного и единого (что в принципе синонимично понятию бога), которое превращается во множество только в результате расщепления («*multiplicatio*»). В этом отношении алхимия полностью воспринимает себя как *opus divinum*, как «*anima in compedibus*» (душу в оковах), то есть как демиурга, заключенного в своем творении и желающего освободиться из заключения в сотворенной материи, чтобы вернуться в первоначальное состояние единства. С психологической точки зрения множественность символа единства означает расщепление на многие самостоятельные единства, то есть на множество «самостей». Тем самым *один* «метафизический» принцип — монотеистическое представление разлагается на множество «*dii inferiores*» (второстепенных богов). Согласно христианской догматике, о данной операции можно сказать, что она возвеличивает ересь, хотя такое понимание не противоречило бы однозначному высказыванию Христа: «Вы боги» (Ин. 10, 14), и столь же ясной идее Сына Божьего — по крайней мере обе предполагают потенциальное родство человека с богом. С позиции психологии множественность НЛО соответствовала бы проекции множественности индивидов, при этом выбор символа (круглое тело) свидетельствует, что проецируется не множество персон, а скорее их идеальная психическая целостность, то есть не только эмпирический человек (каким он узнает себя из опыта), а вся его душа, осознанное содержание которой должно дополняться еще и содержанием бессознательного. О последнем мы знаем благодаря нахождению единого, что способствует выработке определенного, далеко идущего представления. Впрочем, в действительности мы еще очень далеки от того, чтобы представить вполне обоснованную гипотетическую картину целого. Взять хотя бы одну из колоссальных трудностей психологии — существуют *парапсихологические опыты*, от которых в наше время уже нельзя отмахнуться и которые необходимо принимать во внимание при характеристике психических процессов. Нельзя рассматривать бессознательное так, как если бы оно целиком зависело от сознания,

поскольку бессознательное обладает качествами, над которыми сознание не властно.

Скорее его нужно понимать как автономную величину, взаимодействующую с сознанием. Множество НЛО соответствует проекции множества образов психической целостности, которые появляются на небе потому, что, с одной стороны, они представляют собой заряженные энергией архетипы, а с другой — не признаются людьми как психические факторы. Последнее обстоятельство проистекает из того, что нынешнее индивидуальное сознание не имеет категориального аппарата, с помощью которого оно могло бы постичь психическую целостность. Напротив, сегодняшнее сознание находится в противоречии с архаическим, если можно так выразиться, состоянием, где нет места подобному сознательному восприятию, а посему соответствующие содержания не могут признаваться частями психики. Кроме того, сознание все еще формируется таким образом, что воспринимать такие идеи, как присущие психике формы, оно не в состоянии и, скорее, вынуждено верить в их существование вне психики, то есть в метафизическом пространстве или, по меньшей мере, в виде исторических фактов. Если архетип благодаря условиям соответствующего времени получает дополнительный энергетический заряд, то по указанным причинам он не может прямо интегрироваться в сознание. Напротив, он вынужден заявлять о себе косвенно, в форме спонтанной проекции. В таком случае проецируемый образ понимается не как психический фактор, а как нечто независимое от индивидуальной психики и ее состояния. Круглая целостность мандалы превращается в космическое судно, управляемое разумными существами. Наиболее распространенной линзообразной форме НЛО благоприятствует то обстоятельство, что (как показывают исторические свидетельства) уже издавна психической целостности свойственно родство с космосом в той мере, в какой признается «небесное» происхождение индивидуальной души и она рассматривается как частица мировой души, а соответственно понимается как микрокосмос, то есть копия макрокосмоса. Наглядный пример этого — учение Лейбница о *монадах*. Макрокосмос — это окружающий нас звездный мир, который наивному разуму представляется шарообразным.

Именно поэтому он, так сказать, наделяет и душу традиционной формой шара. Но в действительности астрономическое небо заполнено главным образом скоплениями звезд, галактиками, форма которых совпадает с формами НЛО. Характерную линзообразную форму НЛО можно, видимо, считать уступкой результатам новейших астрономических исследований, ибо я не знаю никаких более древних традиций, где душа имела бы линзообразную форму души. Пожалуй, здесь мы видим пример модификации древней традиции в результате накопления новых знаний, когда на первоначальные образы оказывают влияние последние достижения сознания (так в настоящее время звери и чудовища часто замещаются в снах автомобилями и самолетами).

Впрочем следует подчеркнуть, что возможность естественного или «абсолютного» знания, которое представляет собой совпадение бессознательной души с объективным положением дел, не исчезает. Эта проблема возникла в связи с фактами парапсихологии. Об «абсолютном знании» речь идет не только в области телепатии и врожденных знаний, но и в области биологии, например, в продемонстрированной Портманом настроенности вируса водобоязни на анатомию собаки и человека; в кажущемся знании осы о расположении двигательных ганглий гусеницы, предназначенной для вскармливания потомства; в производстве света у рыб и насекомых с почти 99-процентным коэффициентом полезного действия; в чувстве местности у почтовых голубей; в предчувствии землетрясений курами и кошками и в удивительной кооперации у симбионтов. Как известно, процесс жизни можно объяснить, опираясь не только на причинность, но и на «разумный» выбор. Таким образом, форма НЛО аналогична элементам пространственной структуры, галактикам, независимо от того, представляется ли это человеческому разуму смешным или нет.

В нашем сне обычную линзообразную форму заменяет более редкая форма сигары, восходящая, видимо, к форме первых управляемых воздушных кораблей. Подобно тому как в психоаналитическом толковании каплеобразной формы в первом сновидении можно сослаться на «символ» женщины, матку, здесь также напрашивается сексуальная аналогия — с фор-

мой фаллоса. Общим у архаических подоснов психики и примитивного сознания является то, что предчувствие или нечто не вполне понятное переводится в аналогичные инстинктивные (то есть привычные) формы представления, так что Фрейд отчасти прав, утверждая, что все круглые или полые формы имели женское, а все продолговатые — мужское значение, как, например, ключ и замочная скважина или вогнутый и выпуклый кирпичи (в жаргоне немецких строителей — «монахиня» и «монах»). В этих случаях пробуждается, так сказать, интерес, связанный, естественно, с сексуальностью. Привлекает и остроумная наглядность подобных аналогий. Но повод к ним дает не только половое влечение, но и голод, то есть потребность в пище, и жажда. Даже боги едят и пьют, а не только вступают в половые союзы. Это может быть связано с сексуальной привлекательностью: например, девушку с удовольствием «съедят». Язык полон метафор, выражающих одну сферу влечений с помощью другой, хотя отсюда и не следует делать вывод, что изначальным и существенным является «любовь», или голод, или стремление к власти и т. п. Скорее изначальное заключается в том, что любая ситуация пробуждает имеющий к ней отношение инстинкт, который далее доминирует в качестве насущной потребности и определяет как выбор символа<sup>1</sup>, так и толкование последнего.

В нашем сновидении налицо правдоподобная фаллическая аналогия, в соответствии с которой смысл этого в высшей степени архаического символа придает явлениям НЛО характер «порождающего» и «оплодотворяющего», а в более широком смысле и «проникающего». (Можно привести схожий пример: обращение к Дионису как к Энколпиосу<sup>2</sup>.) «Вторжение» или «принятие» бога воспринималось и аллегорически изображалось с помощью сексуального акта. Но будет большой ошибкой ради пустой метафоры превращать подлинное религиозное переживание в фантазию, порожденную «вытесненной» сек-

---

<sup>1</sup> Фаллос — это не просто символ пениса, он является символом именно из-за своей многозначности.

<sup>2</sup> «Колпос» — полость, морской залив; «энколпиос» — находящийся в полости.

суальностью. Ведь «проникающее» изображается и с помощью меча, копья и стрелы.

Сновидица не поддается чувству опасности даже тогда, когда видит, что летательный аппарат направляется к ней. При этой прямой конфронтации обнаруживается первичный шарообразный или линзообразный облик НЛО, то есть форма *круглого глаза*. Данный образ соответствует традиционному божьему оку, которое, будучи *panoskopos* (всевидящим), подвергает испытанию сердца людей, то есть выявляет их истинное содержание и безжалостно срывает покровы с души в целом. Это отражает *проникновение* в действительную целостность собственного существа.

Глаз — наполовину голубой, наполовину белый — соответствует краскам неба, его чистой голубизне и белизне облаков, лишаящих небо прозрачности. Целостность души, то есть самость, представляет собой сочетание противоположностей. Она ведь тоже не может существовать без тени: у нее всегда две стороны — более светлая и более темная, подобно дохристианскому представлению о Боге в Ветхом Завете, который гораздо лучше соответствует опыту религиозного переживания, чем «высшее благо» христианского происхождения, опирающееся на шаткую почву силлогизма (*privatio boni* — о зле как «отсутствии добра»). Даже такой приверженец христианства, как Якоб Бёме, не сумел отказаться от этого представления и ярко выразил его в своих «Сорока вопросах о душе».

Каплеобразная форма НЛО, указывающая на жидкую субстанцию, разновидность «воды», уступает в данном случае место круглой структуре, которая не только *смотрит*, но и, согласно старинному толкованию, излучает смотрение (свет) и даже обжигающий жар пламени. Кому не вспоминается ослепляющее сияние, исходящее от лика Моисея, после того как пророк увидел Бога; «вечный огонь, возле которого никто не может пребывать»; высказывание Иисуса, что близкий ему, близок огню?

В наше время опыт такого рода привлекает не теолога, а врача, в конкретном случае психиатра как наиболее подходящего специалиста. Мне неоднократно приходилось консультировать людей, напуганных сновидениями и видениями, которые счи-

тали такие случаи симптомами болезни, может быть даже душевной. Однако в действительности это скорее было «*somnīa a Deo missa*» (сновидение, ниспосланное Богом), то есть подлинное и глубоко религиозное переживание, случайно соприкоснувшееся с неподготовленным, невежественным и даже предубежденным сознанием. Более того, наше время не оставляет сознанию выбора: все необычное может быть только болезненным, ибо последней истиной считается абстрактная середина, а не реальность. Чувство собственного достоинства уступает ограниченному интеллекту и предубежденному разуму. Поэтому не удивительно, что наша пациентка после своего приключения с НЛО очнулась в госпитале с обожженным лицом. Именно этого и следует ожидать сегодня.

Второй сон отличается от первого тем, что он четко отражает отсутствующее в первом внутреннее отношение субъекта к НЛО. НЛО заметил сновидицу и не только направил на нее испытующее око, взгляд которого она понимает и на который отвечает, но и обдал ее магическим *жаром*, представляющим собой синоним внутреннего аффективного напряжения. Пламя — это символический эквивалент самого сильного аффекта, который в данном случае возникает абсолютно спонтанно. Несмотря на свой (оправданный) страх, сновидица устояла перед пламенем, как если бы оно было безвредным, а теперь вынуждена была убедиться, что НЛО способен излучать опасный жар (данное утверждение неоднократно встречается нам в литературе об НЛО). Это впечатление опять-таки проекция собственной, не осознаваемой эмоции, то есть увеличившегося до аффекта чувства собственного достоинства, что, впрочем, не было опознано. В результате, согласно сновидению, изменилось даже лицо (ожог). В этой связи можно вспомнить не только изменение облика у Моисея, но и перемену, произошедшую в брате Клаусе после его ужасного видения Бога. Тем самым речь идет о «неизгладимом» переживании, чьи следы видят и другие и которое вызывает доказательные изменения во всем облике личности. Правда, в психологическом отношении такое событие, пока оно не интегрировано сознанием, означает только потенциальное изменение. Поэтому брат Клаус ощутил потребность в длительных штудиях и медитациях прежде, чем ему



удалось признать в ужаснувшем его зрелище образ Святой Троицы и в соответствии с духом той эпохи превратить переживание в интегрированное содержание сознания, возложившее на него интеллектуальные и эстетические обязательства. Нашей сновидице еще предстоит проделать такую работу, и не только ей, а быть может, всем тем, кто наблюдает НЛО, видит их во сне или распространяет слухи о них.

Символ божества совпадает с символом самости, то есть с тем, что, с одной стороны, означает опыт психической целостности, а с другой — выражает идею божества. Тем самым утверждается не метафизическая идентичность двух сущностей, а лишь эмпирическая идентичность картин, возникших в человеческой психике, что явно видно на примере нашего сновидения. Метафизическая предпосылка такого родства ускользает от человеческого познания, как и все трансцендентальное.

Мотив отдельно существующего божественного глаза, который в сне преподносится бессознательным как толкование феномена НЛО, подразумевался уже в древнеегипетской мифологии как *глаз Гора*, то есть глаз сына, который исцеляет полуослепленного Сетом отца — Осириса. Обособленность ока Божьего предстает перед нами и в христианской иконографии.

Продукты (коллективного) бессознательного, то есть картины, которые обнаруживают бесспорный мифологический характер, требуют включения их в контекст истории символов, поскольку они образуют язык наследуемой души и ее структуру, и в отличие от психических склонностей ни в коем случае не являются индивидуальным приобретением. Несмотря на первоклассную способность сознавать и обучаться, человеческая психика, подобно психике животных, является природным феноменом и основана на врожденных инстинктах, более или менее определенные формы которых возникают а priori и тем самым образуют специфическую наследственность вида. Своеволие, умысел, как и все, что несет на себе отпечаток индивидуального различия, — это позднейшие наслоения, появившиеся из-за неспособности эмансипированного сознания обуздать инстинкты. Там же, где речь идет об архетипических формах, индивидуалистические способы объяснения наталкиваются на стену. Напротив, историко-символическое сопостав-

ление не только плодотворно по научным критериям, но допускает более глубокое понимание и с точки зрения практики. Историко-символическая «амплифицирующая» разработка дает результат, который на первый взгляд оставляет впечатление обратного перевода на примитивный язык. Таким он оказался бы и в действительности, будь овладение бессознательным чисто рациональным, а не целостным действием. Иными словами, не обладай архетип наряду с формальным проявлением и нуминозным качеством, то есть практически действующим ощущением собственного достоинства, последнее может быть бессознательным в результате намеренного вытеснения. Однако вытеснение нередко приводит к неврозу, поскольку, несмотря на наличие аффекта, вытесненный материал, как известно, просто прокладывает себе выход в каком-то другом, неподходящем месте.

Как наглядно демонстрирует наше сновидение, феномены НЛО затрагивают бессознательные подосновы, которые исторически всегда выражались в *нуминозных представлениях*. Именно они обеспечивают то или иное объяснение загадочного события, отмечают его как важное — важное потому, что речь идет не просто о случайных воспоминаниях или установлениях сравнительной психологии, а как правило, об актуальных аффективных процессах.

Техническое развитие привело к тому, что наше внимание как никогда ранее обращено теперь к воздушному пространству, небесным сферам. Особенно это относится к летчику, поле зрения которого заполнено, с одной стороны, сложной навигационной аппаратурой, с другой — безбрежной пустотой космоса. Его сознание односторонне сконцентрировано на тщательном наблюдении за тем, что находится перед ним, а бессознательное заставляет заполнять необозримую пустоту пространства. Однако его дисциплинированность, как и его так называемый «здоровый смысл» не позволяют сосредоточиться на том, что может проявляться изнутри и восприниматься как компенсация пустоты и одиночества околоземного полета. Подобная ситуация является идеальным условием для спонтанных проявлений психики. Это известно любому, кто испытал долгое одиночество, безмолвие и пустоту океана, гор, пустыни

и тайги. Рационализм и упрощение — это по существу следствия пресыщенной потребности во впечатлениях, свойственной городским жителям. Горожанин ищет придуманных сенсаций, чтобы спастись от скуки и пошлости однообразной жизни; одиночке искать не нужно — они настигают его вопреки желанию.

Из свидетельств об аскетической жизни отшельников мы знаем, что по желанию или без него, то есть без участия сознания, на первый план выходят психические компенсаторы биологических нужд анахорета: часть их оценивается положительно (нуминозные фантастические картины, видения и галлюцинации), часть — отрицательно. Источником первых является сфера бессознательного, воспринимаемая в качестве духовной, вторые, как общеизвестно, относятся к хорошо знакомому миру влечений, где голод можно утолить полными блюдами и чашами и на пирах; где сдерживаемому половому вожделению будут предложены обольстительные и сладострастные существа; где нищете и нищенское существование сменяют картины богатства и могущества власти; где глухую тишину и одиночество оживят толчея, шум и музыка. В этом случае легко понять, что речь идет об образах, порожденных вытесненными желаниями, и тем самым объяснить проекции фантазий. Но подобное толкование не годится для положительно оцениваемых видений, поскольку они соответствуют не вытесненным, а полностью осознанным желаниям, не способным создавать проекции. В виде проекции элемент психики может выступать только тогда, когда его принадлежность к «я» остается неосознанной. Поэтому гипотезу о желаниях лучше исключить.

Отшельник стремится к духовному переживанию, и ради этого вынужден терпеть суетных людей. То, что ущербный мир влечений реагирует через нежелательные проекции, вполне понятно, но то, что духовная сфера отвечает проекциями положительного характера, — это для нашего научного разума, надо сказать, неожиданно. Кажется, что духовная сфера ни в чем не нуждается, а с невозможным самоотвержением отдается молитве, медитации и прочим духовным упражнениям. По нашему предположению, у нее, собственно, нет необходимости компенсировать себя. Правда, ее односторонность, вынуждающая тело страдать, компенсируется с помощью бурных реакций

мира влечений, однако спонтанное появление положительных проекций, то есть чувственных нуминозных картин, воспринимается как божественная милость и откровение, такими качествами их наделяло содержание видений. Последние, видимо, проявляются психологически так же, как неудовлетворенные влечения, несмотря на тот общезвестный факт, что святой целиком посвящает всего себя заботам о своей духовности. Именно это позволяет духовному человеку не бедствовать и уметь обходиться без компенсации.

Если данную дилемму мы намерены решать посредством оправдавшейся на практике теории компенсации, мы обязаны выдвинуть парадоксальное предположение, что духовная ситуация отшельника, несмотря на кажущуюся противоположность, — это ситуация нужды, которая требует соответствующей компенсации. Подобно тому как, например, физический голод утоляется, по крайней мере, фигурально, видом роскошного обеда, так и духовный голод насыщается созерцанием нуминозной картины. Впрочем, утверждать со всей очевидностью, что душа страдает от голода, я бы не решился. Безусловно, ананет посвящает всю свою жизнь добыванию panis supersubstantialis («сверхсущественного хлеба») — только это может утолить его голод, — но он имеет ко всему прочему в своем распоряжении веру, доктрину и Святые Таинства церкви. В чем же он должен испытывать нужду? Однако, по правде говоря, в действительности он этим не насыщается и его неутоленное вождление не реализуется. Очевидно, что ему недостает как раз реального события, *непосредственного опыта* духовной реальности, как бы она ни формировалась. Поначалу не имеет значения, предстает ли она перед ним как нечто конкретное или символическое. Разумеется, он ждет не физической осязаемости мирских вещей, а возвышенной неосязаемости духовного видения. Именно такой опыт сам по себе и является высшей компенсацией неполноты и пустоты традиционных форм. Фактически ананету является нуминозный образ, не созданный им самим, а образ, который так же «действителен» (потому что «действует»), как и иллюзии его неутоленных влечений. Впрочем, этот неподдельный спонтанный образ является для него особенно желанным в противовес нежеланным иллюзиям мира чувств.

Пока нуминозные элементы принимают более или менее традиционные формы, нет оснований для беспокойства, но когда они раскрывают свою архаичность необычным и шокирующим образом, ситуация становится сомнительной и неприятной. Возникает сомнение, не являются ли они в конце концов столь же иллюзорными, как фантомы чувственного мира. И в этом случае то, что первоначально выглядело божественным откровением, позднее может вызвать проклятие как *diabolica fraus* — бесовское наваждение. Критерий различения здесь один-единственный — традиция, а не реальность или нереальность, как в случае с настоящей или иллюзорной пищей. Видение — это психический феномен, подобный своему нуминозному содержанию. На призыв духа отзывается дух, тогда как во время поста потребность в пище разрешается галлюцинацией, а не реальным обедом. В первом случае счет оплачивается наличными, в последнем, напротив, необеспеченным чеком. А поэтому в первом случае решение удовлетворяет, а в последнем оно явно недостаточно.

Тем не менее структура феномена в обоих случаях одна и та же. При физическом голоде человеку нужна реальная пища, а при духовном — нуминозный элемент, архетипический по своей природе и издавна представлявший собой естественное откровение, ибо христианская символика, подобно любым другим религиозным верованиям, основана на архетипических образцах, возникших в доисторические времена. Изначальная целостность символика включает все возможные интересы и инстинкты людей, что как раз и защищает нуминозность архетипа. Поэтому в сравнительном религиоведении вновь и вновь религиозно-духовные аспекты соединяются с сексуальностью, голодом, стремлением к борьбе и власти и т. д. Именно то влечение, которое считается наиболее характерным для данной эпохи, а стало быть, больше всего занимает индивида, становится самым обильным источником религиозной символика. Есть общества, в которых голод важнее сексуальности, и наоборот. Так, например, наша цивилизация меньше обременяет нас запретами в еде, чем сексуальными ограничениями. В современном обществе сексу отводится роль обиженного божества, пытающегося окольными путями отстоять свои притязания.

ния на все допустимые области, даже на область психологии, где он стремится свести дух к сексуальному вытеснению.

Толкование с точки зрения сексуальности следует отчасти принимать всерьез. Если стремление к духовным целям — не настоящий инстинкт, а всего лишь следствие определенного социального развития, то тогда наиболее привлекательным для разума будет объяснение, в основу которого положены сексуальные принципы. Но если признать стремление к целостности и к свободе настоящим влечением и построить объяснение главным образом на этом принципе, от факта тесного сопряжения влечения со стремлением к целостности все равно не удастся уйти. За исключением религиозного желаяния, ничто не вызывает к сознанию и личности современных людей больше, чем сексуальность. Хотя с высокой степенью достоверности можно также утверждать, что и влечение к власти безраздельно завладело человеком. Этот вопрос решается в зависимости от темперамента и субъективных предпосылок. Не вызывает сомнения только одно — то, что важнейшему из фундаментальных влечений, а именно религиозному влечению к целостности, в современном обыденном сознании уготована самая жалкая роль, потому что с исторической точки зрения оно может освободиться от соединения или смешения с двумя другими только с большими усилиями и при постоянных попытках. В то время как последние имеют постоянную опору в известной каждому обыденности, первое для своей достоверности нуждается в более или менее утонченном сознании, благоразумии, способности рефлексировать, ответственности и в некоторых других добродетелях. По этим причинам людям по природе импульсивным и не слишком вдумчивым, оно не свойственно. Ведь такой человек, будучи привязан к знакомому ему миру, цепляется за обыденное, броское и потому правдоподобное и коллективно признанное, следуя девизу: «Зачем ломать над этим голову, пусть судит большинство!» Он полагает, что жить гораздо легче, когда нечто, кажущееся сложным, необычным, трудным для понимания, проблемным, удастся свести к чему-то обычному, даже банальному — к решению, которое выглядит удивительно простым и вдобавок остроумным. В качестве самого первого объяснения у него наготове существующая всегда и везде

сексуальность, как и равно знакомое влечение к власти. Как правило, сведение всех сложностей жизни к этим двум доминирующим фундаментальным влечениям доставляет рационалистической и материалистической установке разума плохо скрываемое удовлетворение, которое не следует недооценивать, потому что тем самым легко и основательно упраздняется опасная как для интеллектуалов, так и для морали трудность; к тому же разум наслаждается чувством, что завершена полезная просветительная работа ради освобождения человека от излишнего морального и социального напряжения. Просветителю обеспечена роль благодетеля человечества. Но при более тщательном анализе ситуация выглядит совершенно иначе: освобождение от трудной задачи, которая поначалу представлялась неразрешимой, толкает сексуальность к худшему, то есть к рационалистическому вытеснению или опустошающему душу цинизму, а влечение к власти приводит прежде всего к социалистическому идеализму, который, впрочем, распространился на половину мира, в результате чего появились коммунистические государства-тюрьмы. Таким путем именно то, чего, собственно, намерено достичь стремление к целостности — то есть освобождение индивида, — из-за насилия над двумя другими влечениями превращается в свою противоположность. Поставленная задача остается неразрешимой, и ее энергетический заряд почти до патологии усиливает притязания двух других влечений, которые издавна препятствовали более высокому развитию человека. Во всяком случае это оказывает присущее нашему времени невротизирующее воздействие и, по существу, несет основную вину за дезинтеграцию человека и мира вообще. Разумеется, *тени* не допускают этого, отчего правая рука не знает, что делает левая.

Положение дел, на мой взгляд, правильно оценивает церковь. Считая половые прегрешения «простительными», она в то же время называет сексуальность главным врагом и отыскивает ее во всех закоулках. Тем самым она обостряет сексуальное сознание, опасное для слабых умов, однако раздумья и укрепление сознания оказывают им поддержку. Колоссальный рост влияния католической церкви во всем мире, вызывающий упреки в ее адрес со стороны протестантов, имеет очевидную

цель наглядно продемонстрировать естественному влечению к власти силу духа, что неизмеримо действеннее, чем наилучший логический аргумент, следовать которому никто не спешит. Только небольшая толика тысячной доли населения внимает поучениям. Все остальное определяет внушающая сила наглядности.

Попробуем после отступления снова вернуться к проблеме сексуального толкования. Если мы попытаемся определить психологическую структуру религиозного, то есть интегрирующего, исцеляющего, спасающего, всеобъемлющего переживания то, видимо, самой простой формулой, которую возможно для него найти, будет следующая: *в религиозном переживании человек встречает другое, превосходящее его духом существо*. Относительно этого существа имеются только свидетельства, но нет физических или логических доказательств. Оно является человеку в психическом облачении. Но не приложив усилий, его невозможно истолковать как исключительно духовное. Как только, повинувшись нашей душевной склонности, являющееся принимает, скажем, форму сексуальности или другого недуховного побуждения, мы немедленно соглашаемся с подобной оценкой. Только всемогущее существо, вне зависимости от использованной формы выражения, способно подвинуть человека в целом и принудить его к целостной реакции. То, что оно есть или должно быть, доказать невозможно. Нет никаких доказательств того, что оно не просто психический феномен, ибо его достоверность целиком и полностью основывается на свидетельствах и исповедях людей. При крайней недооценке души, характерной для нашей преимущественно материалистической и статистической эпохи, это ставится в упрек религиозному переживанию. Тогда посредственный разум обращается к неверию или к легковерию, ибо для него «душа» подобна неуловимому пару: существуют либо документированные факты, либо ничего, кроме иллюзий, созданных вытесненной сексуальностью или компенсацией неполноценности. В противоположность такому толкованию я предложил признать специфическую реальность души. Ибо, несмотря на прогресс химии, мы еще далеки от возможности биохимически объяснить сознание. Напротив, химия должна бы признать, что ее законы не объясняют



даже отдельно взятый процесс ассимиляции пищи, не говоря уже о саморегуляции и самосохранении организма. Если душа все же реальна, тогда она, очевидно, соответствует реальности жизни и, кроме того, согласуется с законами формообразования неорганического. Наконец, ей также присуще качество, которое более всего не хотят признавать и к пониманию которого стремится парапсихология: душа способна делать пространство и время относительными.

С момента открытия эмпирического бессознательного душа (и все, что в ней происходит), становится естественным событием, а не произвольным мнением, чем она, видимо, была бы, если бы ее проявление увязывалось с концепцией непостижимого сознания. Но открытие бессознательного позволило нам уяснить, что сознание с его калейдоскопической подвижностью зиждется, на, так сказать, статическом или, по меньшей мере, глубоко консервативном основании инстинктов и его специфических форм — архетипов. Этот мир подоснов<sup>1</sup> проявляет себя как противовес сознанию, которое в силу своей подвижности (обучаемости) часто подвергается опасности утратить свои корни. Именно мир подоснов с незапамятных времен побуждает людей совершать религиозные обряды, цель которых — обеспечить сотрудничество бессознательного. В примитивном мире живут без расчета; там постоянно поминают богов, духов, судьбу и магические свойства места и времени, правильно понимая, что воля отдельного человека есть всего лишь частичка целостной ситуации. Действия дикаря относятся к природе целостного, от чего, как от излишней нагрузки, пытается освободиться цивилизованный человек — на его взгляд, можно обойтись и без этого. Такое явление имеет важное значение: с одной стороны, оно развивает дискриминируемое сознание, но,

---

<sup>1</sup> Здесь я вынужден предостеречь читателя, который может легко совершить широко распространенную ошибку, трактуя эти подосновы как «метафизические». Такое понимание — грубая оплошность, ее академические мудрецы могли бы приписать и себе. Речь, скорее, идет об инстинктах, оказывающих влияние не только на внешнее поведение, но и на психическую структуру. Душа — не произвольная фантазия, а биологический факт, подчиненный законам жизни.

с другой — наносит почти равный ущерб, поскольку разлагает первоначальную целостность на самостоятельные, противоборствующие функции. Соответствующая влечениям дифференциация сознания неизбежна, как отрицательные моменты, выражающиеся в раздроблении первоначальной целостности. В новейшее время эти потери стали ощущаться все острее. Напомню только об опыте дионисийского вторжения у Ницше и о том течении в немецкой философии, суть которого наиболее четко и ярко изложена, пожалуй, в книге Клагеса «Дух как противник души». При расколе отдельные функции сознания дифференцируются и соответственно могут избежать контроля со стороны других функций, получая таким образом определенную самостоятельность и создавая собственный мир, в который другие функции допускаются лишь в той мере, в какой они способны подчиняться доминирующей. Но сознание в итоге утрачивает равновесие: начинает преобладать интеллект, в связи с чем оценочное суждение будет постепенно отдаляться от чувства и наоборот. Когда доминирует *fonction du réel*, то прежде всего отвергается интуиция, ибо она чаще всего пренебрегает осязаемыми фактами, и наоборот, преобладающая интуиция живет в мире простых и недоказанных перспектив. Наряду со всем этим развивается полезная специализация, как, впрочем, и одиозная односторонность.

Именно наше стремление к односторонности заставляет нас рассматривать вещи под одним углом зрения и, по возможности, сводить их к единственному принципу. В области психологии такая установка неизбежно приведет к односторонним объяснениям. Например, при преобладании экстраверсии психика в целом сводится к влиянию окружающей среды, при интроверсии — к врожденной психофизической предрасположенности и к соответствующим ей интеллектуальным эмоциональным факторам. Как видим, обе точки зрения склонны механизировать психический аппарат. И тот, кто пожелает дать равные шансы обоим способам рассмотрения, обречен на неопределенность. Следует использовать оба способа, хотя в результате мы получили ряд парадоксальных положений. Поэтому, чтобы избежать неприятной множественности принципов объяснения, предпочитают, как правило одно из легко различимых фундаментальных

влечений, игнорируя остальные. Ницше все основывает на власти, Фрейд — на удовольствии и на отказе от него. Если у Ницше бессознательное отчетливо воспринималось в качестве фактора, а у Фрейда превращалось в необходимое (кстати, он не отвергал полностью разделение на два фактора и считал, что бессознательное не содержит «ничего кроме» вытесненного), то у Адлера поле зрения ограничивается психологией «высочки» («индивидуальной психологией!»), при этом бессознательное как определяющая величина вообще сводится на нет. В поколении учеников такая же судьба постигла и «психоанализ» Фрейда; важнейшие дополнения Фрейда к психологии бессознательного ограничились одним архетипом «Эдипова комплекса», а его близкие ученики не сумели ничего к этому добавить. Необходимость учитывать сексуальный инстинкт в случае инцестуального комплекса настолько очевидна, что это мог бы принять даже мировоззренчески ограниченный разум. То же относится и к притязаниям субъекта на власть у Адлера. Оба, и Фрейд, и Адлер, хватаются за предпосылку одного инстинкта, который не оставляет места для других и поэтому неизбежно заводит в тупик фрагментарного объяснения. Напротив, обнаруживающее дополнение Фрейда указывает на хорошо документированную историю рождения психики, представляющую примерный образ целостной души. Ведь она существует не только в ближайшем окружении личности, но и далеко за ее пределами в виде проявлений коллективной психики, которые Фрейд в принципе верно уловил, описывая, например, понятие «сверх-эго». Слишком долго метод и теория оставались преимущественно в руках врача, которому постоянно и поневоле приходится иметь дело с людьми и с их личными проблемами. Вполне естественно поэтому, что исследование основ науки, как и ее исторически важных потребностей, не было его первоочередной задачей, а естественнонаучная подготовка и практика не могли помочь ему до конца осознать всеобщие предпосылки психологического знания. По этой причине Фрейд посчитал необходимым перескочить через безусловно утомительную ступень сравнительной психологии и рискнуть приблизиться к избыточной догадкам, ненадежной предыстории человеческой психики. Он утратил надежную основу, не пожелав прислу-

шаться к этнографам и историкам, а прямо перенес в обширную область примитивной психологии представления, полученные им при лечении современных невротиков. Он недостаточно осознал тот факт, что при других обстоятельствах ценностные ориентиры сдвигаются и начинают действовать другие психические доминанты. Школа Фрейда остановилась на мотиве Эдипа, то есть на архетипе инцеста и тем самым на преимущественно сексуалистском понимании, не принимая во внимания, что комплекс Эдипа присущ только мужчинам, сексуальность — не единственно возможная доминанта психического события, а инцест в результате сплетения с религиозным инстинктом — скорее выражение, чем причина последнего. Не буду упоминать свои опыты в этом направлении, так как для большинства они остались тайной за семью печатями. Осуждать это большинство я бы не стал, ведь даже Фрейд, несмотря на «Эдипов комплекс», был не в силах понять справедливость моей точки зрения. Его «психоаналитическое» направление так и осталось в жестких рамках сексуальной теории.

Впрочем в сексуальной гипотезе заложена мощная сила убеждения, поскольку основой ее выступает фундаментальный инстинкт. То же относится и к гипотезе о власти, способной опереться на влечение, свойственное не только отдельному человеку, но лежащее в основе политических и социальных устремлений. Столкновение или даже соединение двух точек зрения ничего не прибавляет, даже если будет признана своеобразная природа самости, охватывающая и индивидуальное, и коллективное. Как свидетельствует опыт, архетипы обладают качеством *трансгрессивности*, то есть при соответствующих условиях действуют таким образом, словно они в равной мере принадлежат и обществу, и индивиду; по этой причине они нуминозны и заразительны. (Они — результат волнения, которое волнует.) В определенных, довольно частых случаях трансгрессивность служит поводом осознаваемого совпадения двух событий, то есть акаузальных, синхронистических феноменов, подобных, например, результатам исследования Райна в области экстрасенсорных восприятий<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ср. J. B. Rhine.

Инстинкты — это части живой целостности. Их высвобождение по отдельности приводит к хаосу и возрастающему нигилизму, потому что они уничтожают единство и целостность индивида, тем самым разрушая его. Впрочем, задачей психотерапевта — в лучшем смысле этого слова — является сохранение или восстановление индивида. Порождать рационалистов, материалистов, специалистов, техников, короче, тех, кто не сознавая своего происхождения, погряз в современности и содействует разрушению общности, не может быть задачей воспитания, а следовательно, та психотерапия, чье поле зрения ограничено одним аспектом, не может привести к исцелению. Однако опасность утраты инстинктов в условиях захватывающей дух интенсивности современной цивилизации приобрела столь угрожающие размеры, что каждое проявление инстинктов должно привлекать пристальное внимание, поскольку такое проявление относится к образу целостности и необходимо для равновесия человека.

По этим основаниям сексуальная сторона как никогда заслуживает нашего внимания, ведь именно она демонстрирует, что столь мощный инстинкт, как сексуальность, соучаствовал в структуре явления. Думается, это вовсе не случайность, что в соответствии с сообщениями об НЛО в форме линзы или сигары в одном сновидении выступает женский, а в другом — мужской символ — там, где появляется одно, можно ожидать и другое.

Видение представляет собой символ, который включает в себя не только архетипические формы представления, но и элементы влечения, и благодаря этому может обоснованно претендовать на «реальность». Оно не только «исторично», но актуально и динамично и поэтому захватывает не только осознанную технизированную фантазию человека или его философские спекуляции, но даже глубины его «животной» природы. Назначение подлинного символа как раз в том, что именно он — разумеется, приближенно — выражает всего человека. В этом случае, каким бы ограниченным ни казалось толкование с точки зрения сексуальности, вклад со стороны «животной природы» ни в коем случае нельзя оставлять без внимания, он также должен получить достойную оценку.

В обоих сновидениях ярко проявляется и влечение к власти: сновидица оказывается в исключительной ситуации — ее выделяют и, более того, избирают на роль той единственной, чей лик обжег божественный огонь. Оба толкования в той мере, в какой они претендуют на исключительность, расчленяют и символический смысл сновидений, и самого индивида в пользу проявления влечения. Еще раз подчеркивается ничтожество индивида, с одной стороны, и всевластие влечения — с другой. Впрочем, на каждого, кто еще это не осознал, новизна такой констатации оказывает сильное впечатление. Однако нашу сновидицу никак нельзя отнести к толпе наивных простаков, и потому было бы неуместно на ее примере подвергать подобной редукции смысл сна. Напротив, она принадлежит к тем людям, которые понимают, что означает распад индивида. Парализующее чувство ничтожности и потерянности компенсируется в сновидении: она оказалась единственной, кто устоял перед паникой и осознал ее причины. На нее нацелено внезапное явление, позволяя ей ощутить свою мощь, оставляя зримые отметины. Она выделяется в качестве «избранной». Конечно, такой жест бессознательного приносит пользу лишь в том случае, когда чувство неполноценности и бессмысленности чисто функционального существования угрожает удушением личности.

Наш случай — это образец широко распространенного страха и ненадежности рассудка. Но одновременно он классически демонстрирует компенсацию, исходящую из бессознательного.

### *Третье сновидение*

Здесь я привожу фрагмент более обширного сновидения, которое видела и описала примерно шесть лет назад одна 42-летняя пациентка. Тогда она вообще ничего не слышала о «летающих тарелках» или о чем-либо подобном.

*Во сне она видела, будто стояла в саду, когда внезапно услышала над собой гудение мотора. Она оперлась на ограду сада, чтобы посмотреть, «что там за шум». По-*

явилась черная, металлическая конструкция и стала кружиться над ней: это — огромный летающий металлический паук с большими, темными глазами. Он круглой формы. Это новый, уникальный самолет. Изнутри раздается громкий, четкий голос, который торжественно произносит молитву — наставление как людям на земле, так и пассажирам паука. Смысл молитвы: «Направь нас вниз и надежно поддержи... Вознеси нас!» По соседству с садом пациентка видит огромное административное здание, где принимаются международные решения. На удивительно малой высоте паук подлетает почти вплотную к окнам здания, очевидно, чтобы голос могли услышать те, кто в нем находится, и наставить их на путь, ведущий к миру, то есть во внутренний таинственный мир. Они обязаны принять мирные решения. В саду, кроме сновидицы, есть и другие зрители, и она чувствует себя несколько сконфуженно, обнаружив, что полураздета.

### Комментарий к третьему сновидению

В той части сновидения, которая предшествовала приведенному фрагменту сновидица обратила внимание, что ее кровать стоит у ограды сада. Значит, она спала под открытым небом, а это свидетельствует, что во время сна и после него она изображала «свободную природу», то есть с психологической точки зрения внеличностное коллективное бессознательное, которое конечно же соответствует нашей природной среде и постоянно на нее проецируется. Ограда будет означать границу, что отделяет ближайшее окружение сновидцы от отдаленного (административное здание). Появляется круглая «металлическая конструкция», названная «летающим пауком». Такое название вполне подходит НЛО. По поводу названия «паук» следует вспомнить о гипотезе, будто НЛО — разновидность инопланетных насекомых, имеющих блестящий металлический корпус. (Вспоминается металлоидный хитиновый панцирь наших жуков.) Каждое НЛО — это как

бы отдельное насекомое<sup>1</sup>. Признаюсь, что при чтении многих сообщений и мне самому приходила в голову мысль, что своеобразное поведение НЛО больше всего напоминает поведение какого-то насекомого. И если принять такой вариант, то допустимо, что в других условиях жизни природа способна подтвердить свое «знание» еще в одном направлении, например, в *антигравитации*. Ведь наша технизированная фантазия все равно, как правило, не в состоянии угнаться за фантазией природы. Все предметы нашего опыта подвержены действию гравитации, за одним заметным исключением — за исключением *души*. Именно она сама по себе обладает опытом невесомости. Психический «объект» и гравитация для нашего знания несопоставимы, они кажутся принципиально различными. Душа представляет единственную известную нам противоположность гравитации. Она антигравитационна в подлинном смысле слова. Подтверждением этого могут служить и наблюдения парапсихологии, например левитация и психические феномены, делающие относительными пространство и время (позволить себе отрицать эти явления может только человек несведущий). Очевидно, в основе «летающего паука» лежит бессознательная фантазия подобного рода. И литература об НЛО также намекает на летающего паука, как на источник «дождя нитей», имевшего место в Олороге и Гайяке<sup>2</sup>. Кроме того, сновидение, естественно, должно было соответствовать современной технизированной фантазии, утверждающей, что речь идет о «новом, уникальном самолете».

Психическая природа паука проявляется в том, что внутри него заключен голос, явно исходящий от человекоподобного существа. Этот своеобразный феномен напоминает о сходных случаях у душевнобольных, способных слышать голоса из любого тела. «Голоса», подобно видениям, — это автономные проявления органов чувств, и вызывается деятельностью бес-

---

<sup>1</sup> Э. Сиверс (Flying Saucers über Südafrika), p. 57, упоминает о гипотезе Джеральда Хирда, согласно которой речь идет о пчелах с Марса (The Riddle on the Flying Saucers. L., 1950). Харольд Т. Уилкинс (Flying Saucers on the Moon) приводит сообщение, в котором говорится о падающих с неба нитях, спряденных неизвестными пауками.

<sup>2</sup> Aime Michel. The Truth about Saucers.



сознательного. «Голоса из эфира» встречаются и в литературе об НЛО<sup>1</sup>.

Следует обратить внимание на *глаза*, взгляд и направленность которых выражает «умысел». Умысел открывается через голос, который адресует послание, с одной стороны, к жителям земли, с другой — к «пассажирам паука». При последовательном анализе здесь возникает и другой вариант, скорее всего, вызванный ассоциацией с «самолетом», а именно вариант машины, перевозящей пассажиров. Очевидно, что пассажиры представляются сновидице по меньшей мере человекоподобными существами, ибо одно и то же послание предназначено и для них, и для людей. Поэтому можно предположить, что и те, и другие просто различные аспекты человека, скажем, эмпирического человека внизу на земле и духовного вверху на небе.

Шифрованное послание или молитву произносит одинокий голос — очевидно, молещик или проповедник. Он обращается к ведомым и несомым, то есть, вероятно, к пауку, что обязывает нас исследовать символ паука подробнее. Как известно, в наших широтах это совершенно безобидное насекомое является для многих людей предметом ужаса и суеверного почитания (утренний паук — неприятность, вечерний — надежда). Если у кого «чердак» (разум) не совсем в порядке, то он «рехнулся» (букв. «плетет паутину») и у него «паутина на чердаке». Внушаемый пауком ужас наглядно описал наш соотечественник Иеремия Готхельф в своем «Черном пауке». Пауки и все другие нетеплокровные или не обладающие церебральной нервной системой животные, будучи символами сновидения, выступают в роли представителей глубоко чуждого нам психического мира. Насколько мне известно, чаще всего они представляют собой элементы психики, хотя и активные, но недоступные сознанию в течение долгого времени, то есть в определенной степени еще не вошедшие в область церебральной нервной системы, а как бы остающиеся в глубинной области симпатических или парасимпатических нервов. В связи с этим мне вспоминается сновидение одного пациента, который испытывал невероятные трудности, пытаюсь осмыс-

---

<sup>1</sup> H. T. Wilkins. Flying Saucers on the Moon, p. 138.

лить идею о преобладании и решающей роли психической целостности. Читая мои труды, он заинтересовался моими идеями, но не научился принципиально различать «я» (эго) и «самость», и из-за отягощенной наследственности ему угрожала патологическая индоляция. В этой ситуации ему приснился сон, в котором он в поисках чего-то важного обшаривал глинобитный пол своего дома и обнаружил в слуховом окне паучью сеть с огромным крестовиком в центре. К тому же паук был голубого цвета, а его тело сверкало, как бриллиант.

Этот сон произвел сильное впечатление на пациента. Фактически сновидение — еще и превосходный комментарий к опасной, из-за его наследственности, идентификации себя. Ибо в таких случаях проявляется реальная слабость эго, неспособного даже предположительно занимать второе место. Оно неизбежно стало бы подчеркивать собственное ничтожество, что ни при каких обстоятельствах недопустимо. Однако болезненные иллюзии всегда нежизнеспособны, ведь раньше или позже о них спотыкаются. Поэтому сновидение пробует внести, как говорится, поправку, подобно дельфийскому оракулу, заканчивающему прорицание двусмысленностью. В известной степени сновидение говорит: «То, что мешает твоей голове (глинобитный пол) и чего ты не осознаешь, чрезвычайно ценно. Оно напоминает чуждое тебе животное, которое, подобно оку Божьему в средневековом описании универсума, символизирует ряд концентрических кругов и поэтому напоминает о центре малого или большого мира». Здоровый разум при таком сопоставлении представил бы подобное сходство с Богом параноидальным и воспротивился бы идентификации с центром. Попавший в эту паучью сеть запутывается и лишается жизни. Он изолируется от человеческого общества. Общество не может больше добраться до него, а он — до общества. Он одинок, как творец мира, для которого существует вселенная — и ничего более. Если к тому же душевнобольным был и отец, пациента, существует опасность, что и сын начнет «съезжать». Таким образом, паук обладает зловещим содержанием, чего нельзя упускать из виду.

В сновидении моей пациентки круглый металлический паук означает, видимо, нечто подобное: он уже явно пожрал некото-

рое количество людей или их душ и, следовательно, может стать угрозой для жителей Земли. Поэтому молитва призвана побудить паука, который тем самым признается «божественным», «отпустить» души вниз, то есть на землю, а не на небо и «надежно поставить их внизу», ведь они пока не «усопшие» призраки, а живые земные существа. В таком качестве им предопределено завершить земное существование и не допустить духовного обесценивания, в противном случае их ждет конец в чреве паука — иными словами, они не должны возносить свое эго на самый верх, поднимая его тем самым на уровень последней инстанции, а, наоборот, обязаны постоянно помнить, что эго — не только хозяин в доме, но что со всех сторон оно окружено мощной силой, называемой нами бессознательным. Мы не знаем, что последнее представляет само по себе, нам известны только его парадоксальные проявления. Это приближает нас к пониманию природы, требует относиться к ней терпеливо, потому что она весьма загадочна и сложна. Ведь еще встречались медицинские светила, «не верившие» в бактерий и поэтому допустившие смерть от родильной горячки примерно 20 тыс. молодых женщин только в одной Германии. Опустошения души, вызываемые духовной косностью «специалистов», «изъятые» из статистики, из чего заключают, что их просто нет.

Просьбы: «Вознеси нас», одновременно воспринимаются (хотя и парадоксально) как призыв оставаться внизу, в земной сфере. Можно было бы вспомнить строку из Фауста: «Тогда спустись!» Или: «Направься ввысь», — я б мог сказать..., если бы сновидица с помощью хиатуса не отделила бы четко спуск вниз от подъема вверх. Тем самым подчеркивалось бы то, что речь идет о последовательности, а не о *coincidentia oppositorum* (совпадение противоположностей), когда в расчет явно принимается этический процесс, а именно анабазис и катабазис: семь ступеней вниз и семь ступеней вверх, погружение в кратер и последующий подъем к «обитателям небес» в ходе мистерии преобразования. И месса начинается с «*Confiteor quia peccavi nimis...*» («Каюсь, ибо премного согрешил...» и т. д. Видимо, нисхождение требует наставника, потому что человеку с трудом удается спускаться с вершины и остаться внизу. В первую очередь он боится потери социального престижа, а во вторую —

утраты морального самосознания в процессе вынужденного признания собственной никчемности. Поэтому человек удивительным образом может уклоняться от самокритики, поучая других и ничего не зная о себе самом. Его радует отсутствие самопознания, поскольку в этом случае ничто не мешает ему предаваться радужным иллюзиям. «Низ» — это реальная почва; несмотря на все самообманы, мы ощущаем его влияние. Достичь этого низа, да еще и остаться там, представляется чрезвычайно важным, если предположить, что люди сегодня в той или иной степени не уверены относительно своего статуса. На этот претендующий на универсальность вывод наталкивает нас сновидение, которое обнаруживает проблему некоей человеческой группы, характеризуя ее как коллективную проблему. Более того, из сновидения явствует, что она касается всего человечества, поскольку паук пролетает почти вплотную мимо окон, где принимаются «международные решения». Он намерен «повлиять» на заседающих там людей и направить их на путь, ведущий во «внутренний мир», то есть к самопознанию. В сновидении выражается надежда, что самопознание «сделает возможным мир». Тем самым паук выступает в роли *спасителя, который увещевает и доставляет целительное послание.*

Напоследок сновидица обнаруживает, что не вполне одета. Этот встречающийся довольно часто мотив сновидения, как правило, указывает на то, что человек или не совсем приспособлен к окружающим его условиям жизни или не вполне сознает некую реальную ситуацию. Связь данного мотива с собственной греховностью особенно уместна; если человек претендует на то, чтобы открыть глаза другим; в таких случаях это дает определенную защиту от зазнайства.

В наше время призыв «оставаться внизу» беспокоит теологов все чаще и чаще: они опасаются того, что психология содействует ослаблению нравственной позиции. Психология же предлагает нам в первую очередь четкое осознание не только зла, но и добра. При этом опасность впасть в грех меньше, поскольку он не осознается. Для познания же зла недостаточно одной психологии. Тот, кто смотрит правде в глаза, не вправе забывать об этом; он гораздо реже падает в яму, чем слепой.

Теология находит в исследованиях бессознательного явный гностицизм, а в поднятой ими этической проблематике — антиномизм и вольнодумство. Никто, будучи в здравом рассудке, не решится предположить, что искренняя исповедь человека и последующее покаяние — гарантия от будущих грехов. Можно держать пари — тысяча против одного, — что в какой-то момент он снова станет грешить. Более того, глубокое психологическое знание свидетельствует, что вообще нельзя жить без греха «*cogitatione, verbo et opere*» (в мыслях, на словах и на деле). Только крайне наивный и невежественный человек способен вообразить, будто он в состоянии избежать грехопадения. Психология не вправе руководствоваться подобными детскими иллюзиями, а должна следовать истине и констатировать, что неведение не только не оправдывает, но и является одним из самых мерзких грехов. Человеческий суд может освободить от наказания, но тем безжалостнее мстит природа, которой все равно, сознается вина или нет. Из притчи о неверном управителе можно понять, что господин хвалит своего слугу, выставившего ложный счет, потому что он «догадливо поступил», совершенно отвлекаясь от того (выброшенного) места в Евангелии от Луки (6), где Христос говорит нарушителю субботы: «Если ведаешь, что творишь, то праведен...» и т. д.

Взросшее значение бессознательного означает то же, что и богатый жизненный опыт и развитая сознательность, и поэтому наделяет нас внешне новыми, требующими нравственного решения ситуациями. И хотя таковые были всегда, но интеллектуально и морально они воспринимались менее остро, их часто, и не без умысла, оставляли в тени. Такого рода «забывчивость» до некоторой степени обеспечивает алиби, давая тем самым возможность уклониться от этического решения. Но при более глубоком самопознании, перед человеком встают гораздо более сложные проблемы, а именно коллизии *долга*, которые не поддаются решению ни по предписаниям десяти заповедей, ни в соответствии с какими-то другими установлениями. Хотя лишь в этом случае и можно говорить о принятии нравственного решения, ибо простое следование кодифицированному «Ты должен» является не этическим решением, а про-

стым актом послушания или при некоторых обстоятельствах удобной уловкой, имеющей как раз противоположное отношение к этике. На своем долгом веку я не встречал ни одной ситуации, когда мне навязывался бы отказ от этических принципов (или хотя бы только сомнение в них), напротив, с ростом опыта и знания этические проблемы обостряются и моральная ответственность только возрастает. Мне более чем очевидно, что в противовес общепринятому мнению бессознательное представляет собой не оправдание, а скорее проступок в подлинном смысле этого слова. Хотя, как упоминалось выше, намек на эту проблему содержался еще в Евангелии, церковь по вполне понятным причинам уходила от нее и отдавала на откуп гностицизму, занимающемуся этим куда серьезнее. В таких случаях обычно ссылаются на доктрину «privatio boni», рассчитывая выяснить, что же в том или ином конкретном случае является добром или злом, и заменяют нравственным кодексом истинно этическое, то есть *свободное* решение. Тем самым моральность сводится к законопослушному поведению, а *felix culpa* (благодатная вина) остается уделом рая. Большинство людей лишь удивляет нравственное падение нашего века, они сопоставляют застой в этой области с прогрессом науки и техники, не принимая при этом в расчет, что этос забыл громкие моральные предписания. Однако этос — сложный предмет, который нельзя сформулировать и кодифицировать, он принадлежит к тем творческим иррациональностям, на которых основывается любой реальный прогресс. *Он требует всего человека, а не просто его дифференцированных функций.*

Конечно, дифференцированные функции связаны с человеком, с его трудолюбием, терпением, настойчивостью, с его стремлением к власти («Macht» — «власть» происходит от «machen» — «делать») и его одаренностью. Благодаря им человечество продвигается вперед и «развивается». Исходя из этого развитие и прогресс понимаются как усилия человека, мобилизация его воли и возможностей. Впрочем, перед нами только одна сторона. С другой — человек является тем, что он есть и чем он себя ощущает. Здесь он не в состоянии что-либо изменить, так как зависит от условий, которые ему не подвластны. Здесь он не хозяин положения, а всего лишь продукт, не

способный сам себя изменить. Ему неизвестно, как он стал единственным в своем роде, плюс ко всему себя самого он тоже совершенно не знает. Еще недавно ему казалось, что его психика является продуктом коры головного мозга и состоит из того, что он знает о самом себе. Открытие более полувека назад бессознательных психических процессов не сделалось всеобщим достоянием и даже не признано важным. Человек, к примеру, понятия не имеет, что он безусловно зависит от действия своего бессознательного, способного обрывать фразу, которую он намеревался произнести. Он не подозревает, что им что-то *движет*, когда с уверенностью утверждает, что деятель он сам. Он зависим и движим естеством, которого не знает, о котором, однако, создает представления, которые «пришли ему в голову», а — точнее — всплыли из сумеречной, доисторической древности, давно забытой людьми. Откуда они возникли? Очевидно, из бессознательных процессов, из так называемого бессознательного, которое снова и снова в каждой новой человеческой жизни предшествует сознанию, как мать ребенку. Бессознательное постоянно проявляется в сновидениях и видениях и поставляет сознанию картины, которые в противоположность фрагментарному функционализму сознания выделяют обстоятельства, только с виду относящиеся к интересующим людей функциям; на самом деле эти обстоятельства относятся к почти неизвестной целостности человека. Разумеется, сновидения чаще всего говорят на «специальном языке» — *canis rapem somniat, piscator pisce* (собаке снится хлеб, рыбаку — рыба) — но подразумевают целое или, по крайней мере, то, чем все еще является человек, а именно данное и в высшей степени зависимое.

В своем стремлении к свободе человек почти инстинктивно пытается отторгнуть такого рода знания, ибо боится, и небезосновательно, его парализующего воздействия. Правда, следует добавить, что подобная зависимость от неизвестных сил — неважно, как ее называть, — существует, хотя от нее отворачиваются с возможной быстротой, как от опасного препятствия. В благоприятных условиях такое поведение может быть оправданным и даже полезным, но оно не всегда идет во благо, тем более сегодня, когда, невзирая на эйфорию и оптимизм, ощу-

щается вибрация, сотрясающая основы нашего мира. Вполне понятно, что наша сновидица — отнюдь не единственный человек, который этого опасается, поэтому в сновидении и нашли свое выражение коллективная потребность и коллективное увещание спуститься на землю и не подниматься вновь, будто бы только пауку дано поднять наверх оставшихся внизу. Поскольку функционализм овладел сознанием, постольку бессознательное содержит компенсирующий символ целостности. В данном случае это, как говорится, было наглядно представлено в образе летающего паука. Он — носитель односторонности и фрагментарности сознания, и нет никакого развития «вверх», если бессознательное этого не допускает. Одно сознательное желание неспособно ускорить подобный творческий акт. Для наглядного пояснения сновидение избирает символ *молитвы*. Так как после Павла мы на самом деле не знаем, почему необходимо просить, то молитва не означает ничего, кроме «стенания», выражающего наше бессилие. Тем самым нам была навязана позиция, которая компенсировалась суевериями в отношении человеческих желаний и возможностей. Однако в этом проявилась регрессия религиозного представления к звероподобному символу высшей силы, то есть возврат к давно забытой ступени, где змея, обезьяна или заяц персонафицируют спасителя. Сегодня христианский «Агнец Божий» или «голубь» Святого Духа значимы лишь как метафоры. Но в противоположность этому следует особо подчеркнуть, что в сновидческой символике животные означают инстинктивные процессы, которые играют ведущую роль в биологии животных, обуславливая и формируя ход их жизни. В повседневной жизни человеку, видимо, не нужны никакие инстинкты, и уж, конечно, не тогда, когда он убежден во всемогуществе своей воли. Игнорируя важность инстинктов, обесценивая последние вплоть до полного отказа от них, человек даже не замечает, какой опасности подвергается его собственное существование в результате утраты инстинкта. И если сновидения выделяют инстинкт, то этим они пытаются заполнить опасную для жизни пустоту в нашем приспособленчестве. Об удалении от инстинкта свидетельствуют *аффекты*, которые и в сновидении выражаются в образе животного. Поэтому «необузданные» аффек-



ты с полным основанием считаются звериными или примитивными, и по этой причине их нужно избегать. Однако без вытеснения, то есть без расщепления сознания, от них нельзя уклониться. В реальности невозможно полностью силовое превосходство инстинктов. Где-то они свое находят место, даже если их нельзя обнаружить в сознании. В худшем случае они проявляют себя в неврозе или в бессознательной организации «необъяснимых» дурных случаев. Святой, вроде бы свободный от этих слабостей, расплачивается за свою «святость» страданиями и отречением от своего земного качества, без этого он и не был бы святым. Жизнь святых показывает, что из этого получается. Никто не в состоянии избежать цепи страданий, ведущих к болезням, старости и смерти. Ради гуманности можно и нужно «обуздать» аффект, то есть держать себя в узде, но при этом, следует помнить, что цена будет очень высокой. Иногда, впрочем, нам предоставляется выбор, в какой «валюте» придется платить дань.

«Пребывание внизу» и подчинение звероподобным символам, воспринимаемое нами как *crimen laesae majestatis humanae* (преступление, оскорбляющее человеческое величие), не будет, пожалуй, означать ничего, кроме того, что эти простые истины остаются осознанными; мы и никогда не забываем, что *in ripeto* (в части) анатомии и физиологии земной человек, несмотря на стремление ввысь, есть и остается родственником антропоидов. Но если ему предопределено перейти к более высокому состоянию без искажения своей природы, то такие изменения ему не подвластны, а зависят от обстоятельств, на которые он не способен повлиять. С тоской и стенаниями человек вынужден довольствоваться надеждой и молитвой, уповая на то, что его нечто или кто-то вознесет, поскольку ему самому не удастся повторить мюнхаузеновский опыт. Благодаря такой позиции в бессознательном человека существуют полезные и в то же время опасные силы, — полезные, если он их понимает, опасные, если не понимает. Таким силам и возможностям можно, конечно, дать название, но это ничего не меняет. Никто не может воспрепятствовать религиозному человеку поименовать эти творческие силы и возможности богами и демонами или даже просто «богом». На практике они ведут себя соответству-

ющим образом. Если многие в таких случаях используют слово «материя» и считают, что этим что-то сказано, то им нужно принимать во внимание, что вместо X они поставили Y и тем самым не сдвинулись с места. Не вызывает сомнения только наше глубокое неведение; ведь нам не дано знать, приблизились ли мы к решению грандиозной тайны, или нет. Из «нам как-будто-кажется» мы выводим только головоломный трюк веры, которую вынуждены оставить одаренным или озаренным людям. Любой видимый или реальный прогресс связан с наблюдением фактов, а установление последних, как известно, одна из труднейших задач, стоящих перед человеческим духом.

### *Четвертое сновидение*

В период работы над этой книгой один знакомый иностранец неожиданно прислал мне письмо с описанием сновидения, которое он видел 27 мая 1957 года. Замечу, что наши отношения ограничиваются редкими письмами, одним за год или за два. Он любитель астрологии и интересуется вопросами синхроничности. О моих предубеждениях в отношении НЛО ему ничего не было известно, и он никак не мог связать свой сон с интересующей меня темой. Напротив, сам факт, как и неожиданное решение рассказать мне о сне, относится скорее к категории совпадения по духу, которое отклоняет статистические предрассудки.

Вот, как он описывает это сновидение:

Был поздний полдень или ранний вечер, солнце уже садилось. Оно было покрыто пеленой облаков, достаточно тонкой, чтобы был виден его диск. Солнце белого цвета. Неожиданно эта белизна превратилась в необычную блеклость, угрожающе распространившуюся на всю западную часть горизонта. Блеклость (и я хотел бы это слово подчеркнуть) дневного света обернулась вызывающей ужас пустотой. Затем на западе на той же высоте, только немного севернее, появилось второе солнце. Но пока мы с напряженным вниманием следили за небом (повсюду было много людей, которые, как и я, смотрели вверх), второе «солнце», в отличие от первого в форме диска,

превратилось вдруг в четкий шар. Когда солнце скрылось и на землю стала опускаться тьма, шар начал быстро приближаться к земле.

С приходом ночи настроение сновидения изменилось. Тогда как слова «блеклость» и «пустота» точно описывали впечатление, что жизнь, энергия или потенциал солнца уменьшается, то теперь небо обрело черты «силы» и «величия», вселявшие скорее почитание и немного страха. Не могу утверждать, были ли видны звезды, но ночное небо выглядело так, будто тонкая пелена облаков позволяет время от времени увидеть какую-то звезду. Это ночное зрелище потрясло своим величием, мощью и красотой.

*Пока шар стремительно опускался к земле, я думал, что это Юпитер, сошедший с орбиты, но, когда он приблизился, я увидел, что, несмотря на свои размеры, он гораздо меньше этой планеты. Теперь на поверхности шара можно было различить некую разметку, напоминающую линии меридианов или что-то подобное. По виду они были скорее декоративными и символическими, чем географическими или геометрическими. (Я должен отметить, что это было незабываемое зрелище: приглушенно-серый или непрозрачно-белый шар на фоне ночного неба.) Сообразив, что приближение шара должно привести к ужасному столкновению с землей, мы, естественно, ощутили страх; но это был страх, в котором преобладало благоговение. Необычное космическое событие требовало почтительного молчания. Пока мы были захвачены виденным, появились и стали очень быстро приближаться второй, третий шар и еще несколько. Каждый из них взрывался на земле, как бомба, но, видимо, на столь значительном от нас расстоянии, что я не мог определить природу взрыва, или детонации, или того, чем это было. По крайней мере, один раз мне показалось, будто я видел вспышку. Эти шары падали между нами повсюду, но всегда так далеко, что нельзя было ощутить их разрушающее воздействие. Видимо, существовала определенная опасность — от осколков или от чего-то подобного.*

Затем я вошел, по-видимому, в свой дом, где обнаружил себя беседующим с девушкой; она сидела в плетеном кресле, раскрыв записную книжку. Казалось, что девушка погружена в работу. Все мы решили уходить в одном, как мне кажется, юго-западном направлении, очевидно в поисках более безопасного места, и я спросил девушку, не лучше ли ей пойти с нами? Опасность представилась огромной, и мы не могли оставить девушку в одиночестве. Но она категорически отказалась — она останется здесь и продолжит свою работу. Действительно, везде было одинаково опасно, ни одно место не могло быть надежнее другого. Я сразу понял, что рассудок и практический разум на ее стороне. В конце сна я встретил другую девушку или, быть может, ту же самую — в высшей степени компетентную и самоуверенную, которая раньше сидела в плетеном кресле. Правда, вторая была крупнее, лучше видна, и потому я мог разглядеть ее лицо. Она тоже говорила со мной откровенно и категорично. Называя мое полное имя, она заявила: «Ваша жизнь окончится в одиннадцать восемь». Эти восемь<sup>1</sup> слов были произнесены с предельной ясностью и четкостью, то есть в столь властной манере, словно меня следует осудить за то, что моя жизнь оборвется в одиннадцать восемь.

### Комментарий сновидца

За этим обстоятельным описанием следовали комментарии самого сновидца, которые могут оказаться полезными для нашего толкования. Как и следовало ожидать, важнейшим моментом сновидения он считал внезапную смену настроения в его начале — превращение, вызывающей ужас блеклости и пустоты солнечного заката в могучее величие наступившей ночи, а собственного страха — в благоговение. Он связывал это со своими нынешними предчувствиями относительно политического будущего Европы. По его словам он на основании своих

---

<sup>1</sup> Вместе с именем и фамилией.

астрологических изысканий опасался наступления в 1960—1966 годах мировой войны. Он даже хотел написать одному высокопоставленному политику письмо и высказать эти опасения. Здесь же он сделал наблюдение (вполне обычное), что его прежнее, вызывающее страх состояние почти внезапно сменилось удивительным спокойствием и даже равнодушием, словно все это вообще не имело к нему никакого отношения.

Правда, ему не удалось объяснить, каким образом первоначальный страх сменился торжественным настроением. Однако он был уверен в своем предположении, что здесь речь идет о коллективной, а не личной проблеме, и поставил перед собой вопрос, не означает ли слабость, блеклость и пустота конец нашей веры в культуру и цивилизацию, тогда как наступление «ночи» несет с собой прибавление сил жизненной энергии. Конечно, в такое толкование трудно включить понятие «величие». Сновидец относит его к «предметам, прибывающим извнеземного пространства» и «не подлежащим нашему контролю». «На религиозном языке можно было бы сказать, что абсолютно невозможно знать установления Бога и что для вечности ночь столь же важна, как и день». Как будто нам «осталось только подчиниться ритму вечности» и превратить «неумолимое величие ночи в источник силы», если мы желаем не отставать от изменений в социальной структуре. В сновидении это характерное пораженчество подчеркивается гигантским космическим интермеццо звездного столкновения, оставляющего человека без надежды на спасение.

По словам сновидца, в сновидении нет и следов «сексуальности», если не принимать во внимание встречу с молодой дамой. Будто бы любое отношение с противоположным полом неизбежно и всегда основывается на сексе! Как он сам подчеркивает, его беспокоил тот факт, что встреча произошла «ночью»! Как показывает этот пример, сексуально ориентированное сознание может завести весьма и весьма далеко. В этом плане неуместным выглядит плетеное кресло, оно, по словам сновидца, означает для него прекрасные условия для сосредоточенной духовной деятельности, на которую фактически указывает и записная книжка.

Поскольку, как упоминалось выше, сновидец являлся верным адептом астрологии, то цифровая комбинация 11—8 стала

для него особой загадкой. В этой комбинации он увидел месяц и день своей кончины. Находясь в библейском возрасте, он, безусловно, имеет право на такие соображения. На основании астрологических расчетов он относит этот роковой ноябрь к 1963 году, то есть к середине предполагаемой войны. Однако осторожно добавляет: «Впрочем, я не вполне уверен».

По его словам, это сновидение оставило у него особое чувство удовлетворения и благодарности за то, что ему «выпало» такое переживание. На деле речь идет о так называемом «великом» сновидении, за которое он заранее благодарен, даже если и не понял его или понял неправильно.

### *Комментарий к четвертому сновидению*

Сновидение начинается с солнечного заката, во время которого солнце лишь слегка прикрыто облаками, так, что можно видеть только его диск. Этим как бы подчеркивается форма круга. В последующем такая тенденция подтверждается: два солнечных диска, Юпитер, множество появившихся круглых тел, «предметов из внеземного пространства». Тем самым это сновидение можно смело отнести к психическим феноменам НЛО.

Угрожающая блеклость солнца свидетельствует о страхе, распространившемся по дневному миру в предчувствии надвигающейся катастрофы. В противоположность «дневной картине» она внеземного происхождения: Юпитер, отец богов, сошел со своей орбиты и приближается к земле. Этот мотив встречается в мемуарах душевнобольного Шребера<sup>1</sup>: необыкновенное событие, происходящее рядом с ним, побуждает самого бога «расположиться поближе к земле». Таким образом, бессознательное «толкует» угрозу как *божественное вмешательство*, которое выражается в появлении маленьких копий большого Юпитера. При выборе символа сновидение, как видим, не указывает прямо, что это об НЛО, поскольку не находится под влиянием сознательного анализа этого явления.

---

<sup>1</sup> Schreber. Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Leipzig, 1903.

Несмотря на возможную угрозу космической катастрофы, страх превращается в положительное настроение торжественности, праздничности и благоговения, как это свойственно бо- гоявлению. Но все же пришествие бога означает для сновидца наивысшую опасность, так как небесные тела, падая на землю, взрываются, подобно мощным бомбам, что соответствует его бояз- ни мировой войны. Впрочем, как ни странно, эти тела не выз- вали ожидаемого содрогания земли и даже сам взрыв являлся, похоже, какой-то особой и неожиданной разновидностью. В поле зрения сновидца нет никаких разрушений. Тела падают далеко, за горизонтом, по его мнению, он вообще наблюдал толь- ко одну вспышку. Поэтому столкновение с этим планетоидом во сне выглядит несравненно безопаснее, чем оказалось бы в ре- альности. При этом главную роль играет страх перед возмож- ностью третьей мировой войны, который и влияет на восприя- тие данного события. Именно такое толкование сновидца го- раздо важнее, чем сам факт, который вызвал сильное возбуж- дение. Тем самым вся ситуация приобретает упомянутый пси- хологический характер.

Это немедленно подтверждается встречей с молодой дамой, которая, отстаивая свою позицию, беззаботно во втором, уточ- ненном варианте, предсказывает дату смерти сновидца. Она де- лает это так убедительно, что он чувствует необходимость отме- тить даже *число* употребленных ею слов, а именно *восемь*. То, что «восемь» отнюдь произвольное число, доказывает дата предпо- лагаемой смерти: *восьмое* ноября. Такое двукратное выделе- ние восьмеричности не могло быть случайным, поскольку 8 — это удвоенная четверичность и как символ индивидуации игра- ет в мандале примерно такую же важную роль, как и четверич- ность<sup>1</sup>. Из-за недостатка ассоциативного материала мы в виде опыта только обозначим толкование одиннадцати с помощью традиционной числовой символики: 10 — это полное развитие единицы. 1 — 10 означает завершенный цикл. По этой причине  $10 + 1 = 11$  означает начало нового цикла. Так как гипотеза при толковании сновидений гласит *post hoc ergo propter hoc* (после этого — значит, вследствие этого), то 11 приводит к 8, то есть к

<sup>1</sup> Ср. упоминание чисел 4 и 8 в сцене с кабирами в «Фаусте», ч. II.

восьмеричности, символу целостности, стало быть, к реализации целостности, что уже подразумевалось благодаря появлению НЛО.

Девушку, с которой сновидец, по-видимому, не знаком, можно понимать как компенсирующую фигуру анимы. Она являет более полную картину бессознательного, чем так называемые тени, поскольку придает личности женский облик. Как правило, наиболее отчетливо она выступает в том случае, если сознанию хорошо известна тень собственного «я», и в качестве психологического фактора сильно влияет на него, когда женские качества личности еще не интегрированы. Если эти противоположности не соединены, то целостность не образовалась и самость еще не осознана в качестве символа. Но будучи сформированной, она выражается в проекции в облике анимы, которая по меньшей мере намекает на то, что имело место в этом сновидении: анима с ее спокойствием и безопасностью противостоит возбуждению сознательного «я», а с помощью упоминания восьми намекает на целостность, существующую в проекции НЛО, то есть на самость.

Смутное ощущение колоссальной значимости самости как чего-то, что определяет личность (как и коллективные доминанты, или артефакты, выражающиеся в так называемых метафизических принципах), обуславливает целостную ориентацию сознания, создает торжественное настроение в начале сновидения. Такое настроение соответствует грядущему богоявлению, которое вызывает страх как возможный предвестник мировой войны или космической катастрофы. Видимо, аниме лучше знать. Во всяком случае, ожидаемых разрушений не наблюдается, в окружении сновидца не обнаруживается ничего такого, что бы внушало страх, кроме его собственной паники. Анима игнорирует его страх перед катастрофой и вместо этого указывает на его смерть — возможно, как на подлинный источник страха. Созерцание смерти побуждает человека изменить окончание своей жизни, что прежде не достигалось ни волевым усилием, ни добрыми намерениями. Такое зрелище — это завершение, то, что ставит последнюю неумолимую точку в конце человеческой жизни. Лишь в нем была достигнута — так или иначе — целостность. По мнению Гераклита, смерть — конец



эмпирического и цель духовного человека: «Дионис же, ради которого они неистовствуют в вакханалиях, тождественен Аиду». Все, что еще не находится там, где должно быть, и что еще не совершилось там, где должно было совершиться, ощущает страх перед концом, то есть перед самым последним расчетом. До поры, сколько можно, люди уклоняются от понимания того, что им недостает целостности, и тем самым препятствуют осознанию самости — готовности умереть. Самость сохраняется в проекции. В нашем случае она предстает в виде Юпитера, который, впрочем, приближаясь к Земле, распадается на множество маленьких небесных тел — то есть на множество «самостей», или индивидуальных душ — и исчезает в Земле, то есть интегрируется с нашим миром. Тем самым, в мифологической форме обрисовывается воплощение, а в психологической форме — проявление бессознательного в области сознания.

Поэтому, согласно духу сновидения, я порекомендовал бы сновидцу рассматривать страх перед всеобщей катастрофой прежде всего *sub specie* собственной смерти. Ведь в этом плане весьма примечательно то, что предполагаемый им год смерти приходится на середину критической фазы между 1960 и 1966 годами. Итак, закат мира был как бы его собственной смертью и, в первую очередь, личной катастрофой и концом личности. Но так как символика сновидения явно соответствует коллективной ситуации, то мне, видимо, предстоит обобщить субъективный аспект феномена НЛО, предположив, что на НЛО проецируется коллективный, но не признаваемый таковым страх смерти. Ведь после первых оптимистических спекуляций о космических пришельцах вновь широко обсуждается их возможная опасность, более того, угроза их вторжения на Землю с его непредсказуемыми последствиями. Основания для более чем привычного страха смерти в настоящее время даже не нужно искать. Они очевидны: когда все бессмысленно промотано, а жизнь прошла, это тем более означает смерть. Но последнее обстоятельство может дать толчок неестественному росту страха смерти именно в наши дни, когда для очень многих жизнь потеряла свой более глубокий смысл, из-за чего они вынуждены менять присущий жизни ритм вечности на пугающие удары секундной стрелки. Поэтому я хотел бы пожелать мно-

гим ощутить компенсирующую позицию анимы, как в нашем сновидении, и посоветовать им следовать девизу, подобному девизу базельского ученика Гольбейна Ганса Хопфера, жившего в XVI веке: «Смерть — последний штрих вещи. Я не отступаю ни перед каким».

### *Пятое сновидение*

Этот сон снился даме, получившей университетское образование. Она видела его несколько лет назад безотносительно к феномену НЛО.

*Две женщины, как бы пытаясь что-то отыскать, стояли вдвоем на краю Земли. Более пожилая и крупная выглядела немощной, но смело заглядывала в никуда, за край. (Я ассоциировала с ней мою подругу мисс Х.) Более молодая была миниатюрней; чувствуя свою силу, она поддерживала более крупную, однако не отважилась смотреть туда. Во второй я узнала саму себя. Слева на небе я видела Луну и Венеру, справа — восходящее Солнце. С правой же стороны появился эллиптический, отливающий серебром объект. Он был укомплектован командой, члены которой стояли вдоль края объекта. Казалось, что это мужчины в серебристо-белых одеждах. Обеих женщин это зрелище потрясло, и они трепетали в этом неземном, космическом пространстве (ситуация, возможная только в момент видения).*

Находясь под впечатлением от собственного сна, женщина сразу же зарисовала его (см. рис. 1). Сон описывает типичный феномен НЛО, содержащий, как и в третьем сновидении, мотив «команды», то есть присутствие человеческих существ. Как показывает выражение «на краю Земли», речь определенно идет о пограничной ситуации. По ту сторону явно находится космическое пространство с планетами и Солнцем, или загробный мир, или бессознательное. На первый вариант указывает космический корабль, техническое достижение жителей какой-то более развитой планеты; второй вариант представлен разнообразностью ангелов или усопших, прибывших на землю за сво-

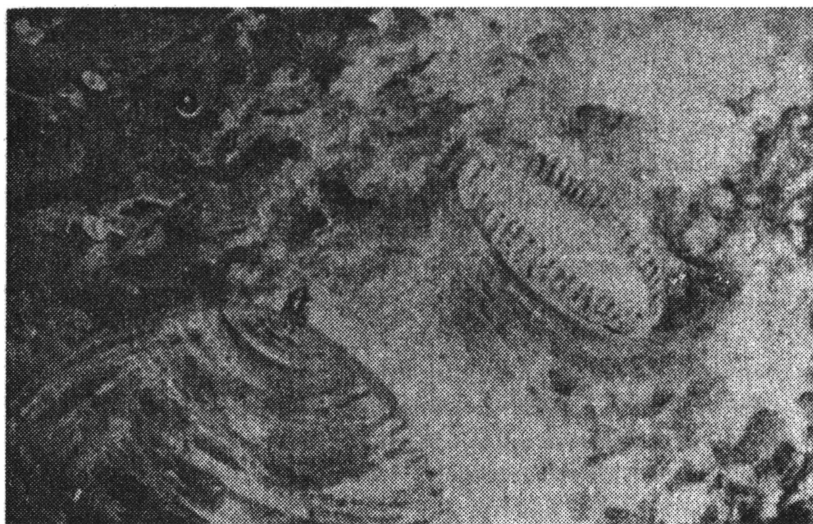


Рис. 1.

ими душами. Все это произошло с названной выше мисс Х., которая уже тогда «нуждалась в поддержке», иными словами, была больна. Действительно, состояние ее здоровья давало повод для опасения. Позднее, примерно через два года после сновидения, она умерла. Соответственно сновидица толковала свое видение как предвидение. Наконец, третий вариант, а именно вариант с бессознательным, прямо указывает на персонификацию последнего, то есть на аниму с ее характерной множественностью, ее торжественная белизна доводит до сознания идею единения противоположностей. Как известно, этому символическому образу присуща также идея смерти — заключительной реализации *целостности*. Поэтому толкование сновидицы, что сон возвещает смерть ее старой подруги, могло иметь законное основание.

Сновидение пользуется символом диска, НЛО, несущего призраков, космического корабля, который явился из потустороннего мира на край мира нашего, чтобы забрать души умерших. Из видения не ясно, откуда прибыл корабль — с Солнца, с Луны или откуда-то еще. Согласно мифу «Acta Archelai», таким местом могла бы быть нарождающаяся луна, она увеличи-

ваются в объеме пропорционально количеству душ умерших, которые с помощью двенадцати ведер черпают с Земли и доставляют сначала на Солнце — для очищения, а затем на Луну. Правда, идея, что НЛО, видимо, представляет собой разновидность лодки Харона, переправляющего души через Стикс, мне пока не встречалась в литературе об НЛО. Это не удивительно, поскольку, с одной стороны, такие «классические» связи далеки от современного образования, с другой — они могли бы привести к весьма неприятным выводам. В новейшее время (то есть в течение столетия) НЛО, похоже, появляются гораздо чаще, что возбуждает всеобщий интерес и даже тревогу. Исходя из этого можно было бы предположить, что при таком множестве потусторонних кораблей следует соответственно ожидать и увеличения количества смертей. Как известно, в прежние столетия подобным явлениям придавался такой же смысл: они были предзнаменованиями «многих смертей» от войны или чумы, то есть той смутной догадкой, на которой основан и современный страх. В связи с этим никак нельзя отделаться от мысли, что огромные массы людей просвещены до такой степени, что подобные гипотезы больше не могут в них укорениться. Однако средневековые, античные и древности отнюдь не отжили, как полагают «просвещенные», они благополучно здравствуют среди значительной части населения. Более того, древнейшая мифология и магия процветают среди нас и неизвестны относительно немногим людям, отделившимся благодаря своему рационалистическому образованию от первоначального состояния<sup>1</sup>. Совершенно независимо от религиозной символики, которая олицетворяет шеститысячелетнюю духовную историю и воспроизводится снова и снова, продолжают жить ее незримые родственники — магические верования и обычаи. Правда, у нас нужно прожить в сельской местности много лет, чтобы ощутить этот фон, который нигде не выступает на поверхность. Но однажды увидев это, мы смотрим на все иначе. Выясняется, что в действительности существуют не только

---

<sup>1</sup> Я хотел бы указать при этом на книгу *A. Jaffe. Geisteserscheinungen und Vorzeichen*, в которой исследуются редкие случаи мифологических идей у современников.

примитивные врачеватели в лице многочисленных так называемых «колдуний», но и их договоры с чертом на крови, с их «подковыванием» и «парным молоком», и, кроме того, настоящие рукописные колдовские книги. У одного «знахаря» я обнаружил подобную книгу конца XIX столетия, которая начиналась мерсебургским магическим заклинанием, верхненемецкий переведенный на современный диалект, и фигуру Венеры неизвестной давности. Мой «знахарь» имел обширную клиентуру в городе и деревне. Я сам видел сотни благодарственных писем, полученных врачевателем за удаление домовых из дома и хлева, за снятие заклятия с людей и домашней скотины и за исцеление от самых различных болезней. Тем моим читателям, которые не сталкивались с подобными вещами и хотели бы отвергнуть мое сообщение как преувеличение, я могу привести легко проверяемый факт, что эпоха расцвета астрологии приходится не на темное средневековье, а на середину XX столетия, когда многие ежедневные газеты не стесняются публиковать гороскопы на неделю. Однако тонкому верхнему слою «просветителей», с удовлетворением обнаруживающих в энциклопедическом словаре, что еще в 1723 году некий имярек велел составить для своих детей гороскоп, видимо, неизвестно, что гороскоп в наши дни почти превратился в личную визитную карточку.

Правда, среди тех, кто знаком с этим фоном хотя бы наполовину и более или менее соприкасался с ним, существует неписаное, но строго соблюдаемое соглашение: «Об этом не говорить!» В итоге об этом говорят много, но чаще всего шепотом и ни на чем не настаивая, поскольку никому не хочется прослыть глупцом. В действительности же дело обстоит совершенно иначе.

Я упоминаю об этом главным образом в связи с символикой наших сновидений, которые выглядят весьма непонятными, поскольку основаны на неизвестных исторических фактах. Что скажут, если я свяжу сон простого человека с Вотаном или Бальдром? Меня обвинят в ученом сумасбродстве, поскольку не знают, что в той же деревне живет лекарь, который очищает хлев простого человека от домовых и при этом пользуется колдовской книгой, начинающейся с мерсебургского заклинания. Тот,

кто не знает, что в швейцарских местечках — насквозь «просвещенных» — все еще блуждает «Вотаново войско», обвинит меня в крайних натяжках, если я свяжу страшный сон некоего горожанина с «salig Lüt». Такое толкование покажется выдуманным, если не учитывать, что горожанин родом из малонаселенных Альп, где его окружали люди, воспринимавшие «Doggeli»<sup>1</sup> и ночные прогулки как пугающую, непонятную и, похоже, чуждую реальность. Более того, у него нет потребности в переброске моста через мнимую пропасть, разверзшуюся между первобытным миром и современностью. Однако наша идентичность с сознанием современности столь велика, что мы забываем о «вневременном» основании психики. Все, что существовало издавна и будет существовать в дальнейшем, считается, почти что бредом, или «алкоголем» современных течений, к которому не следует привыкать. Но в результате растет огромная психическая опасность, угрожающая нам сегодня, а именно опасность оторванных от всех духовных корней интеллектуальных «измов», которые все вместе пытаются сомнительно расплатиться по счету без хозяина, то есть без реальных людей. К несчастью, существует широко распространенное мнение, что это затрагивает только осознанное и что для всего неизвестного есть специалист, который уже давно сделал из этого науку. В наши дни подобная иллюзия вполне реальна, когда человек неожиданно делает вывод, что специальная дисциплина, которую он не изучал, знает все. Так как ныне субъективны самые сильные переживания, то есть самые интимные и поэтому самые невероятные, человек, задающий вопрос, никакого удовлетворительного ответа как раз и не получит. Типичным примером может служить сочинение Мензела об НЛО. Научный интерес слишком легко ограничивается распространенным, правдоподобным, ибо, в конце концов, это и есть основа любой эмпирической науки. Правда, в этой основе мало смысла, если нет стремления к чему-то экстраординарному.

В пограничной ситуации, типа описанной в нашем сновидении, следует ожидать необычного, а точнее, того, что кажется

---

<sup>1</sup> Немецко-швейцарское обозначение кошмарного сна или домового, обитающего в хлеву.

необычным, но в действительности с древнейших времен является обычным для подобной ситуации: корабль мертвецов, к которым присоединяются все новые умершие, или шествие мертвых, увлекающее их души за собой.

Появление таких архетипических представлений всегда указывает на необычное. Наше толкование не притянута за уши, к нему как бы подталкивается внимание сновидицы. Увлечение разными внешними сторонами помогло ей обратить внимание на существенное вне себя, а именно на близость смерти, которая в определенном смысле имеет отношение к ней в той же мере, как и к ее подруге. Тема «команды» космического корабля нам уже встречалась в предыдущем сновидении. Инстинктивное неприятие глубинного аспекта этой темы вполне может объяснить, почему в прежней литературе об НЛО этот смысловой вариант практически совсем не признавался. Ответить на это можно словами Фауста: «Не созывайте хороших знакомых толпу...», впрочем вряд ли требуется кого-то созывать — распространившийся по всему миру страх уже позаботился обо всем остальном.

### *Шестое сновидение*

Сон этот приснился 23-летней сновидице из Калифорнии, так сказать, из классической страны «тарелок».

*Я стояла с [неизвестным] мужчиной на какой-то площади или на круглом месте в центре города. Была ночь, и я увидела, что к нам, похоже, из страшной дали приближается что-то круглое и светящееся. Чем ближе оно подлетало, тем больше увеличивалось в размере. Я подумала, что это «летающая тарелка». В конце концов этот огромный световой круг покрыл небо целиком. Корабль, а это и был он, приблизился настолько, что я увидела на его борту двигающихся людей. Поначалу я подумала, что это какая-то мистификация, но затем решила, что это реальность. Я оглянулась и, посмотрев вверх, увидела позади себя каких-то людей с кинопроектором. Сзади стояло здание, напоминающее отель. Эти люди, стоя на его*

крыше, проецировали картину на небо. Я обратила на это внимание всех находящихся поблизости.

Затем я оказалась, видимо, в каком-то киноателье. Там присутствовали два «продюсера»-конкурента — оба пожилые люди. Я ходила от одного к другому и вела переговоры о моей роли, которую должна была играть в их фильме. В съемках принимали участие много девушек, среди которых были и знакомые мне. Один из «продюсеров» командовал «летающей тарелкой». Вдвоем они снимали научно-фантастический фильм, и я была назначена на главную роль в нем.

Сновидица, молодая актриса, находится на излечении с диагнозом яркого выраженного расщепления личности со всеми соответствующими симптомами. Как и обычно, расщепление проявляется в ее отношениях с лицами мужского пола, а именно в конфликте между двумя мужчинами, которые соответствуют двум несоединимым половинкам ее личности.

### *Комментарий к шестому сновидению*

Как в первом и втором сновидениях, речь здесь тоже идет об осознанном НЛО, то есть НЛО выполняет роль символа. Его появление, так сказать, ожидается, поскольку с этой целью сновидица помещена в «центральное» положение — находится на круглой площади в центре города. Тем самым задано среднее положение между двумя противоположностями, равно удаленное и справа, и слева, поэтому можно видеть или чувствовать обе стороны. При такой «установке» НЛО появляется в качестве пояснения или «проекции» описываемой позиции. Сновидение подчеркивает проекционный характер НЛО, поскольку оно сводится к кинематографическим действиям двух конкурирующих продюсеров фильма. В их образах нетрудно распознать противоположные объекты диссоциированного любовного выбора сновидицы, а отсюда и фундаментальный конфликт, которому предстояло разрешиться в *tertium comparationis* (третьем для сравнения), в опосредовании противоположностей. НЛО выступает здесь в уже известной нам роли посредника, но на повер-



ку оказывается придуманным кинематографическим трюком, которому явно недостает такого опосредствующего смысла. Если представить, что в жизни молодой актрисы был некий кинопродюсер, каким-то образом повлиявший на нее, то превращение конкурирующих любовников в «продюсеров» означает повышение их ранга или значимости. Тем самым, ее любовная драма перемещается на освещенную юпитерами сцену, в результате чего само НЛО блекнет, хотя как простой фокус еще окончательно не утрачивает своего значения. Ценностный акцент полностью переключается с мнимо космического феномена на «продюсеров», где первый не представляет собой ничего, кроме мелкой уловки последних, а внимание сновидицы обращается во сне целиком к ее профессиональному честолюбию. Это подтвердила и сама сновидица.

Трудно понять, почему сновидение вообще создало НЛО, чтобы тут же уничтожить его как фокус способом, вызывающим разочарование. Учитывая обстоятельства начала сновидения (центр!) и осведомленность сновидицы об НЛО, такой исход дела оказывается несколько неожиданным. Это выглядит так, будто сновидение пытается ей внушить: «Все не так — даже совсем не так. Это только кинотрюк, научная фантастика. Подумай лучше о том, что в обоих случаях у тебя главная роль».

При анализе этого процесса можно увидеть, зачем появился НЛО, почему он опять-таки был вынужден сойти со сцены: все дело в личности сновидицы, занимающей центральное положение, которое компенсирует раскол личности на противоположные части, представляя средство преодоления раскола. Для того чтобы пробудить устремление к единству, нужен аффект. В аффекте исчезает колебание между автономными противоположностями и возникает однозначное состояние. Это осуществляется с помощью возбуждения при появлении НЛО, который на какое-то время приковывает все внимание.

Очевидно, что в этом сновидении феномен НЛО имеет переносное значение и является всего лишь средством для достижения цели, как если бы кто-то крикнул «Внимание!». По этой причине феномен немедленно обесценивается: теперь это просто трюк, и действие сновидения перемещается на личную проблему сновидицы, на ее метания между двумя мужчинами. Если

эта хорошо известная и повторяющаяся ситуация означает нечто большее, чем временную неопределенность выбора, то чаще всего в ее основе лежит тот факт, что человек не воспринимает проблему всерьез, уподобляясь буриданову ослу, не способному выбрать, какую из двух охапок сена ему съесть первой. Понятно, что это псевдопроблема — на самом деле у осла не было аппетита. Такова, видимо ситуация и у нашей сновидицы: она думает о себе, а не о ком-то из двух претендентов. То, чего она, собственно говоря, желает, ей сообщает сновидение, превращая любовников в «продюсеров», изображая эту ситуацию как съемку фильма и отдавая ей главную роль в снимаемой сцене. В действительности сновидица думает именно об этом, то есть в духе своей профессии — об исполнении главной роли, в данном случае — о роли юной любовницы, безразлично с каким партнером. На самом деле ей это не вполне удастся, поскольку она все еще находится в плену искушения считать своего партнера реальным, тогда как в личной драме она всего лишь играет роль. Это как раз свидетельствует не в пользу ее творческого призвания и вызывает сомнение в серьезности профессионального выбора. В противовес неопределившемуся сознанию сновидение решительно указывает на профессию как на ее истинную любовь и тем самым дает ей в руки решение конфликта.

Это сновидение не дает нам возможности составить четкое представление о сути феномена НЛО. Он используется здесь, так сказать, лишь как сигнал тревоги, вызывающий коллективное волнение по поводу «летающих тарелок». Как бы этот феномен не интересовал или не тревожил, молодость обладает привилегией (или присваивает ее себе) считать проблему Она и Он гораздо более привлекательной. Тут молодость абсолютно права. Если уж что-то и нужно выдвигать на передний план, то земная жизнь и ее законы, вне всякого сомнения гораздо более значимы, чем знание любого, звучащего издали послания, которое возвещают небесные знамения. Так как известно, что молодости уготована долгая жизнь и что ее специфическое душевное состояние представляет собой наивысшее достижение в жизни многих людей, то упомянутое выше психологическое ограничение относится в общем-то и к седовласым стар-

цам, день рождения которых означает всего лишь празднование «двадцатилетия». В лучшем случае причиной феномена НЛО является концентрация на профессии, а все остальное, что еще можно было бы присоединить к ней, нежелательно как грубая помеха. От такой сосредоточенности не защищают ни возраст, ни социальное положение, ни воспитание. Несмотря ни на что, человеческое общество все еще очень молодо: ибо что по большому счету значат три-пять тысяч лет!

Этот сон я воспринял как парадигму способа, которым бессознательное может обходить интересующую нас в данный момент проблему. Тем самым я хотел бы показать, что символ ни в каком отношении не является однозначным, а его смысл зависит от многих и очень различных факторов. Жизнь продолжается именно с того места, где себя ощущают.

### *Седьмое сновидение*

Следующую главу я собираюсь посвятить разбору нескольких картин, относящихся к феномену НЛО. Автор второй картины, которому я в письме сообщил, что некоторые ее детали я связал с необычными небесными явлениями, рассказал мне о сне, приснившемся ему 12 сентября 1957 года.

*Вместе с другими людьми я стоял на вершине холма, откуда мы могли любоваться открывшимся нам красивым, холмистым пейзажем с сочной зеленью.*

*Вдруг перед нами зависло «летающее блюдце», остановилось на уровне глаз и зависло — светлое и отчетливое в лучах солнца. Оно не выглядело как машина, а напоминало глубоководную рыбу, круглую и плоскую, только гигантского размера (примерно 10—15 метров в поперечнике). Голубые, серые, белые крапины покрывали все тело рыбы. Ее края вздымались и беспрестанно трепетали; они служили рулем и плавниками.*

*Это существо начало кружиться вокруг нас, и вдруг умчалось, будто выстреленное из пушки, прямо в голубое небо, затем с необыкновенной скоростью снова ринулось вниз и опять стало выделять петли вокруг нашей*

*го холма. Оно явно делало это из-за нас. Когда один раз оно пролетело совсем рядом, то выглядело значительно меньшим и было слегка похоже на рыбу-молот.*

*Затем оно приземлилось почти рядом с нами... Вышел пассажир и направился прямо ко мне. По виду это была женщина. Люди отбежали и в почтительном отдалении ждали, глядя на нас. Женщина сказала, что там, в другом мире (из которого она прибыла), меня хорошо знают и следят за тем, как я выполняю свою задачу (миссию?).*

*Она говорила строгим, почти угрожающим тоном и, видимо, придавала сказанному огромное значение.*

### *Комментарий к седьмому сновидению*

Поводом для сновидения явилось, на мой взгляд, предвкушение визита, который сновидец намеревался нанести мне в ближайшие дни. Выдержка из сновидения описывает положительное, обнадеживающее чувство ожидания. Драматическое развитие событий начинается с внезапного появления НЛО, стремящегося предстать перед наблюдателем предельно четко. Осмотр установил, что речь идет не о машине, а скорее о звероподобном существе — глубоководной рыбе, скажем о гигантском скате, который, как известно, иногда пытается взлететь. Его движения подчеркивают нацеленность НЛО на наблюдателя, а попытка приблизиться заканчивается приземлением. Из НЛО вышла человекоподобная фигура, чем устанавливается интеллектуальная связь между НЛО и наблюдателями. Впечатление усиливается тем, что это фигура женская, которая благодаря своей неизвестности и неопределенности относится к типу анимы. Нуминозность этого архетипа вызывает у части присутствующих людей паническую реакцию, сновидец видит, как они бегут. Причина заключается в присущем фигуре анимы значению судьбы: она сфинкс Эдипа, некая Кассандра, посланница Грааля, возвещающая смерть Белая женщина и т. п. Такое толкование подтверждается переданным ею посланием: она прибыла из другого, потустороннего мира, где сновидец известен и где внимательно следят, как он справляется со своей «миссией».

Как известно, анима персонифицирует коллективное бессознательное<sup>1</sup>, «царство матери», которое, согласно опыту, обладает явной тенденцией руководить сознательной жизнью, а там, где это не удастся, даже насильственно вторгаться в сознание, чтобы представить ему свое необычное и чаще всего непонятное содержание. Как следует из сновидения, НЛО включает подобное содержание, необычность которого не позволяет желать большего. Трудность интеграции в этом случае столь велика, что обычные возможности рассудка оказываются несостоятельными. При таких обстоятельствах ничего не остается, как обратиться к мифологическим средствам объяснения, то есть возложить ответственность на жителей звезд, ангелов, призраков и богов, — по крайней мере, до тех пор, пока не станет известно, что же наблюдалось. Нуминозность такого рода представлений настолько велика, что вопрос, не идет ли речь о субъективном восприятии коллективных бессознательных процессов, даже не становится. Ибо субъективное наблюдение может, согласно общепринятому пониманию, быть или только «истинным» или, если это обман органов чувств или галлюцинации, — только «неистинным». Но, если даже галлюцинации являются подлинными феноменами и достаточно обоснованны, видимо, следует обязательно учитывать, возможно ли исключить явные патологические нарушения и в каком объеме. Но проявления бессознательного имеют место даже у нормальных людей, могут быть «реальными», создавать впечатление, что наблюдатель инстинктивно не желает относиться к своему восприятию как к обману или тем более как к галлюцинации. Его инстинкт твердо убежден: не только внешнее наблюдают как внутреннее, но иногда и внутреннее — как внешнее. Если внутренний процесс в таком выражении не может быть интегрирован, он часто проецируется вовне. Существует даже правило, что всякое восприятие женских персонификаций мужское сознание проецирует на фигуру анимы, то есть на реальную женщину, благодаря чему эти персонификации пе-

---

<sup>1</sup> Если так называемая «тень», иначе говоря, низшая личность преимущественно бессознательна, то бессознательное представляет мужская фигура.

реплетаются с последней так, как она связана с содержимым бессознательного в действительности. Отсюда следует и судьбоносность анимы, дающая о себе знать и в нашем сновидении, то есть в вопросе: как реализуешь ты свою жизненную задачу («миссию»), свой *raison d'être*, смысл и цель своего бытия? Это вопрос *индивидуации*, вопрос судьбы *par excellence*, обращенный к Эдипу в форме непонятной детской загадки Сфинкса и в принципе им не понятый. (Можно ли себе представить, чтобы остроумный афинянин, герой трагедии, попался на «страшную загадку» Сфинкса?) Эдипу не понадобился его ум, чтобы решить по-детски наивную и слишком легкую задачу. Он обрек себя на трагическую судьбу именно потому, что полагал, будто ответил на вопрос. Ответ был предназначен Сфинксу, а не его подмене.

Подобно Мефистофелю, скрывающему свою суть в пуделе, анима является квинтэссенцией НЛО, и так же как Мефистофель не представляет Фауста в целом, она, в свою очередь, является лишь частью целого, которое в неудобопонятной форме подразумевается под «глубоководной рыбой». Анима играет здесь роль *mediatrix*, то есть посредника между бессознательным и сознанием; она, как и Сфинкс, — двойственная фигура: частью с «животной», инстинктивной природой, частью (благодаря голове) — со специфически человеческой. В первой части заключены глубоко влияющие на судьбу силы, в последней — возможности доступной чувствам модификации. (Эта основная мысль отражается и в позднее воспроизведенной картине сновидца.) Сновидение использует в этом случае мифический язык, который включает представления о потустороннем мире и ангелоподобных существах, следящих за всеми действиями человека. Тем самым наглядно осуществляется симбиоз сознания и бессознательного.

На мой взгляд, это, пожалуй, самое понятное и удовлетворительное объяснение. Относительно возможных метафизических подоснов мы обязаны честно засвидетельствовать свое незнание и невозможность привести какие-либо аргументы. Сновидение, несомненно, стремится создать психологему, которая встречается нам снова и снова в этой и многих других формах, что никак не зависит от вопроса, следует ли восприни-

мать НЛО как конкретную реальность или как субъективное явление. Психологема — это реальность в себе и для себя. Она опирается на реальное восприятие, которое не нуждается в физической реальности НЛО, и проявлялась задолго до того, как заговорили об НЛО.

В конце сновидения особая роль отводится посланию женщины, поскольку серьезность и даже угрожающий характер содержащихся в нем сведений подчеркивается особо. Параллельно с этим в коллективной психологии возникает многократно выраженное опасение, что в конце концов НЛО не вполне безобидны и что контакт с другими планетами может привести к непредвиденным последствиям. В подтверждение можно сказать, что компетентные американские власти засекретили определенную информацию и, пожалуй, это нельзя целиком отнести к области вымысла.

В эпоху, когда унификация со всеми ее деструктивными последствиями проявляется так отчетливо, серьезность, даже угрожающий характер проблемы индивидуации, похоже, больше нельзя отрицать, названная проблема представляет собой важную альтернативу миру западной культуры. Это ведь непреложный факт, что подданный диктаторского государства лишен индивидуальной свободы; следующий факт состоит в том, что мы находимся под угрозой соответствующего политического развития, а нынешние средства защиты ненадежны. Поэтому перед нами со всей остротой встает вопрос: хотим ли мы лишиться индивидуальной свободы? Что мы способны сделать, чтобы воспрепятствовать такому развитию?

Люди обращаются к коллективным мерам, поддерживая тем самым унификацию, то есть именно то, с чем намерены бороться. Против унифицирующего воздействия любых коллективных мер есть только одно средство: *выделение и повышение ценности индивида*. Требуется *перемена образа мыслей*, то есть реальное признание целостного человека. Это может быть только задачей отдельного человека, и, чтобы сделать ее реальной, индивид должен начать с себя самого. Таково послание из сновидения, направленное сновидцу, — послание из коллективного инстинктивного основания человечества. Мощные политические и социальные организации должны быть не са-

моцелью, а вынужденной, временной мерой. Подобно тому как Соединенные Штаты сочли необходимым раздробить громадные тресты, тенденция к распаду гигантских организаций с течением времени делается насущной необходимостью, потому что они словно раковая болезнь разъедают человеческую природу. Как только они становятся самоцелью, они автоматически обретают автономию. Начиная с этого момента, эти конгломераты перерастают человека и выходят из-под его контроля. Он становится их жертвой — жертвой химеры никому не подвластной идеи. Все огромные организации, в которых индивид растворяется, несут эту опасность. Против этой очевидной угрозы есть, видимо, только одно средство, а именно «восстановление ценности» индивида.

Но реализация этой крайне важной цели не поддается произволу, не решается, исходя из намерения и понимания, ибо отдельный человек слишком мал и слаб. Скорее здесь нужна непроизвольная вера, так сказать, метафизическое повеление, которое никто не в состоянии создать искусственно, иначе говоря, намеренно и рассудочно. Подобная доминанта может сложиться только случайно. Именно такого рода событие лежит в основе нашего сновидения. Моего замечания, что некоторые его детали, возможно, связаны с проблемой НЛО, оказалось достаточно, чтобы пробудить в сновидце свойственную этому коллективному явлению архетипическую легенду, а именно нуминозное представление о метафизически обоснованном значении индивида — ведь эмпирически человек выходит за пределы границ своего сознания, а его образ жизни и планирование судьбы имеют гораздо большее, чем просто личное значение. «Потусторонний мир» идет ему навстречу ожидая от него деятельности, выходящей за сферу эмпирического, ее тесных рамок. В результате статус индивида меняется, возвышая человека до космического уровня. Это нуминозное превращение осуществляется не на основе сознательного намерения или рационального убеждения, а благодаря сильнейшим архетипическим впечатлениям.

Такого рода опыт небезопасен до тех пор, пока он, как это часто бывает, воздействует на индивида обесценивающе: его это воображает себя возвысившимся (на самом же деле оно от-



тесняется на задний план), и даже до такой степени (например, чувство избранности), что оно, дабы не потерять почву под ногами, чуть ли не нуждается в обесценивании, хотя такая инфляция как раз и лишает его фундамента. В нуминозном превращении на сцену выходит не возвысившееся эго, а нечто гораздо большее, то есть самость — символ, выражающий всего человека. Но эго очень нравится считать себя человеком в целом, и поэтому оно старается уклониться от инфляционной угрозы. Эта серьезная трудность вместе с тем является причиной того, что люди испытывают страх перед такими наблюдениями, более того, воспринимают их как болезнь. Отсюда им неприятна уже сама идея бессознательного, а тем более изучение его. Ведь прошло не так много времени (всего-то несколько тысячелетий), когда мы жили еще в примитивном духовном состоянии с его «perils of the soul» (угрозами душе), «потерями души» и состояниями бешенства, угрожающими единству личности, то есть эго. К тому же в нашем современном цивилизованном обществе эта опасность еще далеко не преодолена. Впрочем, она угрожает не только индивиду, но и социальным или национальным группам, и, пожалуй, в большом масштабе, как явственно демонстрирует наша современная история. Именно проявление бешенства уничтожает индивида.

Помочь противостоять опасности может только *тоска*, которая не подавляет и не разрушает индивида, а, напротив, создает *целое*. Однако это может произойти лишь тогда, когда к сознанию человека присоединяется и его бессознательное. Процесс соединения только отчасти подвластен нашей воле в остальном развивается произвольно. С помощью сознания мы в лучшем случае можем оказаться вблизи бессознательного, а затем вынуждены ждать и наблюдать, что произойдет дальше. С точки зрения сознания процесс представляется авантюрой или поиском приключений, чем-то вроде «Странствия пилигрима» Джона Буньяна, которому д-р Эстер Хардинг<sup>1</sup> посвятила обстоятельное исследование, подчеркнув, что, несмотря на отличие языка и представлений, Буньян рассказывает о тех же внутренних наблюдениях, которые случаются с человеком и

<sup>1</sup> *Esther Harding*. *Journey into Self*. N. Y., 1956.

сегодня, если он избрал этот опасный путь. Я рекомендую эту книгу каждому, кто хотел бы уяснить, что следует понимать под процессом индивидуации. На тысячекратно повторяемый вопрос: «Что я могу сделать?» — могу дать один-единственный ответ: «Стань тем, кем ты всегда был», то есть целостностью, утраченной нами в условиях цивилизованного, сознательного существования, — целостностью, которой мы были, но не сознавали этого. Книга Хардинг написана настолько простым и общепонятным языком, что с ее помощью *любой доброжелательный человек*, даже не имея специальных познаний, может представить себе реальную картину дела. Ему также станет ясно, почему, несмотря на волнующий его вопрос: «Что, ради всего святого, он со своими силами может сделать в современном опасном мире?», — он сам не решается ничего предпринять, а склонен оставить все по-старому. Ведь для обывателя куда достойнее подчиняться коллективным идеалам и действовать совместно с огромными организациями, несмотря на то, что они и есть гробовщики индивида. Но группа всегда представляет меньшую ценность, чем среднее значение ее отдельного члена, а если вдобавок она состоит из множества лодырей и никчемных людей, что тогда? Тогда никуда не годятся и провозглашаемые ею идеалы. Согласно старинной китайской пословице, лучшее из средств в нечистых руках само становится нечистым.

Послание, доставленное НЛО сновидцу, содержит в себе проблему времени, показателем которой является любой конкретный человек. Знамена появляются на небе, дабы их видел каждый. Они напоминают человеку о его душе и целостности, потому что именно в них, скорее всего, таится ответ, как Запад сможет противостоять угрозе унификации.

# | НЛО В ЖИВОПИСИ

## «Сеятель огня»

Судьба подарила мне возможность в дни, когда я принимал решение написать эти заметки, познакомиться с произведением одного художника (см. рис. 2), переживающего современные события и осознавшего фундаментальный страх нашей эпохи, а именно распространившийся по всему миру страх перед катастрофическим действием разрушительных сил. Ведь живопись, следуя своему правилу превращать самые сильные побуждения эпохи в наглядную картину, издавна сделала своим предметом разрушение формы и «битие скижалей» и создавала произведения, которые в равной степени абстрагируются как от разума, так и от чувства, для которых одновременно характерны и «бессмысленность», и осознанная незаинтересованность в зрителе. Тем самым современная живопись, если можно так выразиться, полностью отдалась духу разложения и создала новое представление о красоте — представление, удовлетворяющееся отчуждением от разума и чувства. Все состоит из черепков, неорганических обломков, дыр, скрещений, инфантилизмов и аляповатостей, в ход идет даже примитивная неумелость, обличая во лжи общепринятый тезис «Искусство возникает из умения». Как мода находит «красивой» любую, пусть даже абсурдную и безобразную новинку, так и «современное искусство» требует восхищения. В нем «красота» хаоса. То, что возвещает и прославляет такое искусство, — это куча блестящих обломков нашей культуры. Можно добавить, что такой смелый подход вызывает страх, особенно если это соединяется с политическими перспективами нашего смутного времени. Ко-



*Рис. 2.*

нечно, может показаться, что в нашу эпоху «великих разрушений» подобное отношение приносит особое удовлетворение — наконец появилась метла, сметающая прошлое в угол.

Автору этой картины хватило — можно теперь сказать — мужества осознать и средствами искусства выразить всеобщий и очень глубокий страх, тогда как другие не позволили себе решиться выбрать или не сумели избежать выбора в качестве мо-

тива творчества столь же всеобщую, сознательную или бессознательную волю к разрушению, образно представляя распад и хаос. В их выборе преобладала геростратовская страсть, не знающая ни боязни, ни оглядки. Однако страх — это признание поражения и страстная жажда более прочной и понятной реальности, преемственности существующего и чувства полноты, то есть культуры. Страх — это сознание, что разложение нашего мира возникло из-за его никчемности и что ему недостает чего-то существенного, способного предотвратить вторжение хаоса. Фрагментарности окружающей действительности этот страх обязан противопоставить стремление к целостности и исцелению. Но так как в современном мире целостность, по-видимому, не встречается, то нет и возможности для обретших ее явить себя. Люди стали скептиками, а химерическая идея улучшения мира обесценилась. И именно по этой причине даже старым рецептам, ставшим в конце концов непригодными к употреблению, или не доверяют вовсе, или доверяют только наполовину. Отсутствие дельных или хотя бы заслуживающих доверия общих представлений создает положение, соответствующее *tabula rasa*, на которой может появиться все что угодно. Видимо, феномен НЛО и соответствует этому «все-что-угодно».

Осознавая в той или иной степени аналогию с НЛО, художник<sup>1</sup> изобразил в небе над окутанным вечерними сумерками городом круглое вращающееся огненное тело. Следуя наивному порыву к персонификации, он наделил его с помощью нескольких штрихов лицом, которое в результате стало головой, впрочем, отделенной от своего тела, что свидетельствует о ее самостоятельности. Тело, как и голова, состоит из пламени. Перед нами предстает гигантская фигура «сеятеля, сеющего на ходу». Он сеет пламя, и вместо воды с неба падает огонь. Скорее всего, это невидимый огонь, «огонь философов»<sup>2</sup>, поскольку он не

---

<sup>1</sup> Он не принадлежит к «*saucer addict*» (приверженцам «тарелок») и не знаком с литературой об НЛО.

<sup>2</sup> В дальнейшем делаются многочисленные намеки на средневековую символику, возможно, неизвестную читателю. Необходимые исторические свидетельства можно найти в моей книге: *Psychologie und Alchemie*. Zürich, 1952, и в других сочинениях.

причиняет вреда городу и нигде не вызывает пожары. Огонь падает случайно, вроде бесцельно, в разных местах, как семена из рук сеятеля. Подобно нематериальному существу, фигура проходит сквозь здания города; перед нами *два мира, взаимно проникающих и не соприкасающихся друг с другом*.

Как уверяют нас «философы», то есть старые проповедники алхимии, их «вода» в то же время и «огонь». Их Меркурий — «гермафродит» и «двуполое существо», «*complexio oppositorum*» (сочетание противоположностей), посланец богов, единство и целостность. Правда, он же — *Hermes katabathnion* (подземный Меркурий), испускаемый землей дух, излучаемый, как свет, и горячий, как жар, тяжелый, как металл, и легкий, как воздух; змея и орел одновременно, он отравляет и исцеляет. Это сама Панацея и, с одной стороны, *elixir vitae* (эликсир жизни), а с другой — смертельная опасность для несведущих людей. Для образованных слоев предшествующих веков, на чьем вооружении находилась и философия алхимиков, Панацея, собственно говоря, являлась *religio medici* (религией врачей) — такое видение было, вероятно, полно намеков, и они без труда могли включить его в кладовую своих знаний. Для нас же это означает необычное явление, которое нет смысла оценивать с позиции возможных сравнений — подразумеваемое сознание слишком отличается от того, на что направлено бессознательное.

Картина показывает несоизмеримость двух миров, хотя и пересекающихся, но не соприкасающихся. Сеятель изливает пламя на Землю, беззаботно бросая его на населенный людьми город и на пустое пространство, но никто из смертных этого не замечает. Картину можно было бы сравнить со сновидением, которое пытается дать понять сновидцу, что его сознание, с одной стороны, отражает банальный рассудочный мир, но, с другой — оно сопоставимо с призрачным ночным явлением «*homo taximus*». Гигантскую фигуру, понимаемую как результат отражения, можно было бы представить разновидностью психологического привидения из Брокена. Тогда естественным было бы предположить и существование вытесненной мании величия, неведомой самому художнику. Тем самым вся ситуация как бы сдвигается в патологию и уже перестает означать невротическое самосознание — это первое, что приходит на ум. В итоге устрашающий аспект апокалиптического состо-

яния мира как бы преобразуется в индивидуальный эгоцентрический страх, который испытывает любой, кем овладела тайная мания величия — то есть в страх, что при столкновении с реальностью маниакальное величие может потерпеть поражение. Мировая трагедия здесь как бы превращается в комическую ситуацию с мелким выскочкой. К тому же — и это хорошо известно — подобные фокусы встречаются слишком часто.

Но, чтобы надежно осознать такое *climax a majore ad minus* (снижение от большего к меньшему), совершенно недостаточно поверхностного умничанья. Намек на значительность содержится конечно же не только в размере и обособленности фигуры, но и в нуминозности ее бессознательных, символично-исторических подоснов. Если бы здесь не было ничего, кроме личного тщеславия и инфантильного притязания на значимость, то гораздо уместнее был бы другой выбор символов, а именно образ удачливogo и вызывающего зависть конкурента по профессии, разумеется, представленного в соответствующей выразительной форме или в виде «повышения собственного ранга», как в аналогичных случаях показывает опыт. Но здесь все свидетельствует о противоположном: как уже подчеркивалось выше, фигура по всем признакам является *архетипической*. Она, подобно архаическому царю или богу, превосходит человека размерами, состоит не из плоти и крови, а из огня; голова у нее округлая, словно небесное тело, словно ангел в Откровении Иоанна Богослова (10, 1), чья голова окружена радужным сиянием («лице его, как солнце», «ноги его, как столпы огненные»), или словно подобные звездам головы богов-планет на средневековых рисунках. Голова, чтобы подчеркнуть ее самостоятельность, отделена от тела, она сопоставима с алхимической субстанцией, с философским золотом, «*aurum pop vulgi*» (необычным золотом), с элементом «голова» (*elementum capitis*) или «элементом Омега» ( $\Omega$  — голова), символом, введенным Зосимой из Панополиса (III век). Дух — это странник, бредущий по земле, сеющий огонь, а стало быть, он сравним с богами и с боголюдьми, странствующими и творящими чудеса, несущими разрушение и исцеление. В псалме 104<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> В русском Синодальном переводе Библии это псалом 103,4. — *Прим. ред.*

божьи «слуги» сравниваются с «огненным пламенем», Сам Бог предстает как «пожирающий огонь». «Огонь» — это вспышка любой страсти и символ Святого Духа, который изливается в чудах Троицы в виде отдельных очагов пламени.

Все особенности фигуры, сеющей огонь, вполне традиционны, одни заимствованы из известных библейских преданий, другие — из унаследованной склонности к таким же, но автотонным представлениям и идеям. Если подойти к современному феномену НЛО так или иначе осознанно, становится очевидным внутреннее родство обоих комплексов представлений: один предвещает другой, поскольку оба возникают из одного и того же источника. Характерно, что в другой картине этого же художника по аналогии со сновидением использован мотив голубого и белого. На ней изображен весенний ландшафт под небесным сводом, чья голубизна смягчена серебристой дымкой, однако в одном месте в тонкой пелене тумана четко просматривается округлое отверстие, через которое видна темная голубизна свободного от дымки неба. По обе стороны отверстия располагается горизонтально вытянутое белое облачко, в целом это выглядит как глаз. Внизу по проселочной дороге деловито снуют абсолютно реалистические автомобили. «Они это не видят», — объяснил мне художник. На его картине НЛО соответствует традиционному «оку Божьему», взирающему с неба.

В случае с этими комплексами символических представлений речь идет об архетипических образах, которые возникли не из сиюминутных наблюдений НЛО, а существовали всегда. Исторические сведения подобного рода дошли до нас из предшествующих десятилетий и столетий. Еще 30 лет назад, прежде чем вообще заговорили о «летающих тарелках», такие видения появлялись в моих снах, например, большое количество маленьких солнц или золотых монет, падающих с неба, или образ ребенка, чье одеяние состояло из золотых лучистых кружков, или странник, бредущий по полю из звезд, или восход похожего на солнце тела, которое в дальнейшем превращается в мандалу. Я вспоминаю о картине, попавшейся мне на глаза в 1919 году: внизу находится город, протянувшийся вдоль берега моря, видны современная морская гавань с пароходами, дымя-



щие фабричные трубы, укрепления с пушками и солдатами и т. д. Все это покрыто плотной пеленой облаков, а над ней вращается «строгая конструкция» — сверкающий диск, разделенный красными равносторонними крестиками на квадраты. Это — два разъединенных облаками мира, не соприкасающиеся друг с другом.

Поначалу сообщения об НЛО заинтересовали меня как возможные символические слухи, и с 1947 года я собирал все доступные мне публикации об этом. На мой взгляд, НЛО поразительно совпадают с символом мандалы, о котором я впервые упомянул в 1927 году (в изданном совместно с Р. Вильгельмом сочинении «Das Geheimnis der Goldenen Blüte»). Специалисты по радарам и заслуживающие доверия очевидцы охотно признают *beneficium dubii* (благо сомнения), но вынуждены указать на несомненную связь явлений НЛО с психологическими, а также условиями, которыми нельзя пренебречь при анализе и оценке наблюдений. Независимо от психологического объяснения феномена, сопоставление проливает свет и на психическую компенсацию коллективного страха, который владеет душами людей. То есть содержание слуха об НЛО не исчерпывается смыслом детерминистски понятого *симптома*, в нем находят свое выражение важность и значение живого *символа*, иначе говоря, динамически действующего фактора, которому из-за всеобщей бестолковщины и невежества отводится лишь роль создателя визионерских слухов. Как показывает опыт, архетипическим формам свойственна нуминозность, что способствует не только распространению слухов как в пространственном, так и в содержательном отношении, но и их устойчивости. Далее нуминозность комплекса представлений порождает более конкретные мысли, вплоть до того, что в конце концов у кого-то возникает вопрос: что же означает подобный слух сегодня? Что бессознательное современного человека готовит будущему? Ведь задолго до того, как Афина Паллада в полном вооружении появилась из головы Зевса, отца вселенной, ее рождение было предугадано и подготовлено вещими снами, снабдившими сознание набросками и эскизами. Для нас важно с помощью разума содействовать рождению грядущих явлений и поддерживать их целительное воздействие, чтобы не

позволить предрассудкам, узколобости и невежеству вытеснить их, обращая тем самым их влияние в свою противоположность — в яд и разрушение.

Меня заинтересовал вопрос, постоянно задаваемый моими пациентами. Чем полезна компенсация, которая из-за символической формы непонятна для сознания? Если, конечно, не брать в расчет те нередкие случаи, когда для понимания смысла сновидения достаточно беглых размышлений, можно сказать, что, как правило, компенсация выявляется не сразу и поэтому легко упускается из виду. Язык бессознательного в корне отличается от упорядоченной однозначности языка сознания, поскольку он образуется путем концентрации многих, зачастую тонких данных, чья принадлежность к содержанию сознания неизвестна. Он формируется не путем последовательных суждений, а следует за инстинктивным архаическим «паттерном», который из-за своего мифологического характера не признается разумом. Реакция бессознательного — естественное проявление, в котором нет места личным проблемам конкретных людей, — она руководствуется исключительно потребностями психического равновесия. Таким образом, при соответствующих условиях, как я часто наблюдал, даже непонятное сновидение может действовать как компенсация, хотя, как правило, необходимо осознанное понимание, согласно алхимическому тезису: «*Quod natura relinquit imperfectum, ars perficit*» (то, что природа оставляет незаконченным, завершается искусством). Если бы дело обстояло иначе, то размышление человека и его усилия стали бы излишними. Со своей стороны сознанию не всегда удается осмыслить некоторые жизненно важные и даже им самим созданные ситуации во всей их полноте и значимости, а это пробуждает более утонченный контекст бессознательного, которое «говорит» не на рациональном, а на древнем, двузначном или многозначном языке. А поскольку метафоричность этого языка уходит своими корнями в глубины истории развития человеческого духа, для понимания его смысла интерпретатору необходимы исторические знания.

Так обстоит дело и с нашей картиной: изображенное на ней открывает свой смысл только благодаря исторической амплификации. Страх — источник данной картины — объясняется

столкновением сознательного мира художника с необычным явлением, возникшим из другой, незнакомой ему сферы бытия. Этот простирающийся сзади, внизу и наверху мир предстает перед нами как бессознательное, содействующее своим утонченным содержанием формированию осознанного и целенаправленного образа. Из этого возникает фигура «*homo maximus*», антропоса, и «*filius hominis*» (человека и Сына Человеческого), который обладает огненной природой и возвещает о своей божественности, то есть нуминозности, сходством с такими фигурами, как Енох, Христос<sup>1</sup>, Иисус Навин, и подобными воображаемыми образами у Даниила и Иезекииля. Так как огонь Яхве карает, убивает и пожирает, то наблюдатель имеет право вспомнить и об «огне гнева» Якоба Бёме, заключающем в себе ад вместе с Люцифером. Поэтому разбросанные огни можно понимать и как жар Святого Духа, и как пламя дурных страстей, то есть как ту преисполненную страсти крайность, на которую хотя и способна человеческая природа, но которая в обыденной жизни запрещена, подавлена, скрыта или вообще неосознана. Не без серьезных оснований имя «Люцифер», пожалуй, подойдет обоим, Христу и дьяволу. В сценах искушения (Мф. 4, 3 и далее) необычайно ярко выделены противоречия и борьба с дьяволом и его демонами, взаимное противостояние и одновременно внутреннее единство нравственного суждения. Противоположность существует только там, где есть одно и нет другого или где существует только односторонняя зависимость, то есть где налицо только добро, но нет зла.

Огненная фигура двусмысленна и поэтому соединяет противоположности. Она представляет собой «объединяющий символ», то есть превосходящей человеческое сознание *целостностью*, которая всесторонне «дополняет» фрагментарность исключительно рассудочного человека. Она одновременно — носитель и счастья, и несчастья. Что она возвещает — преуспевание или гибель, — зависит от разумения и нравственного решения индивида. Поэтому наша картина является как бы посланием к современным людям, призывая их принимать

<sup>1</sup> Лк. 12, 49: «Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!»

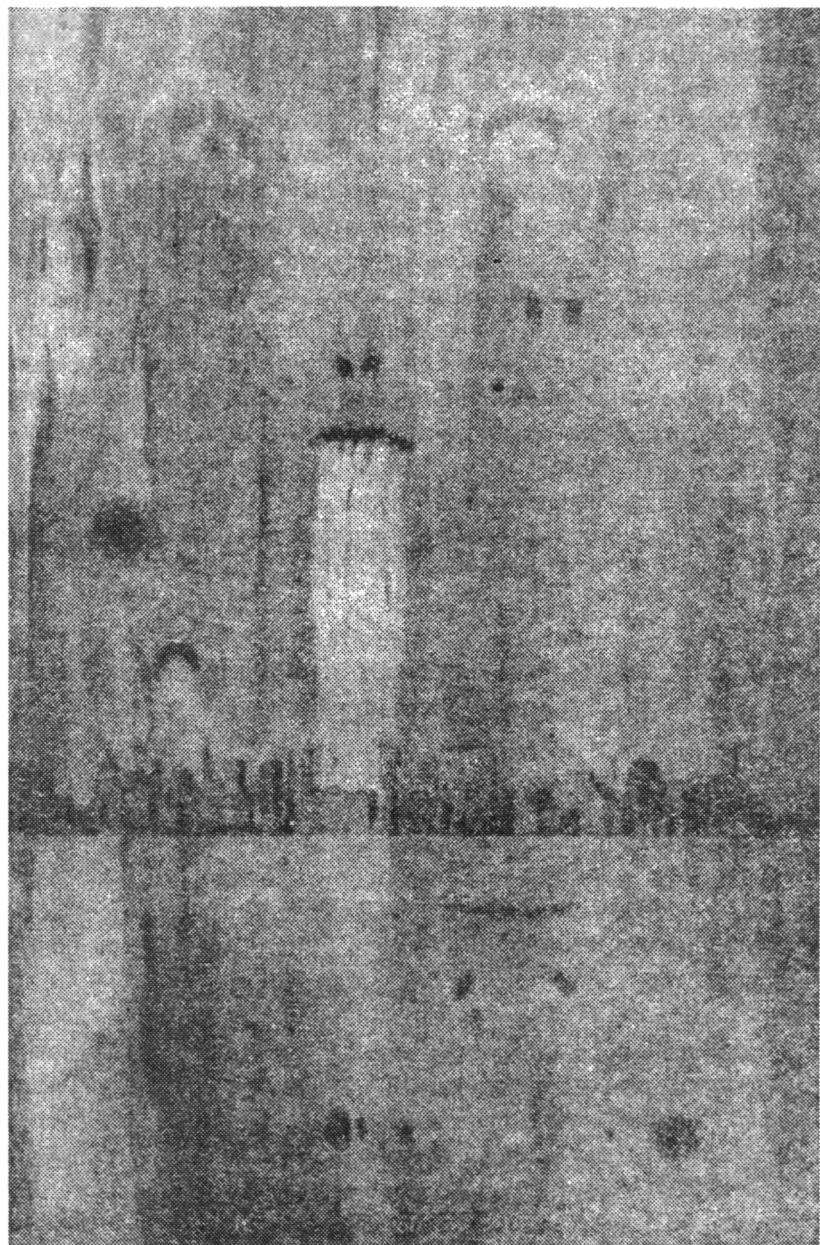
во внимание и правильно толковать «знамения, появляющиеся на небе».

Преломление феномена НЛО в фантазии художника наделяет картину характеристиками, сходными с теми, что уже встречались нам при анализе сновидения. По своей сути она отображает одно измерение — мир богов, который вроде бы никак не связан с нашей реальностью. Создается впечатление, что это видение конкретного, избранного индивида, наделенного особым «зрением» — видеть и понимать, что втайне делают боги на Земле. Понятно, что толкование художником явления НЛО отдаляет нас на космическое расстояние от общепринятого объяснения, согласно которому речь идет об управляемом космическом аппарате.

### «Четвертое измерение»

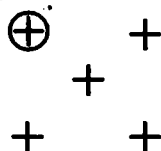
Еще одна картина (рис. 3), как и та, что упоминалась в предыдущем разделе, тоже продиктована современностью. Во избежание недоразумения сразу же замечу, что она написана на специально обработанном холсте, что не соответствует просматриваемойся деревянной фактуре, используемой для создания образа. Художнику хотелось изобразить нечто растущее или летящее. Чтобы подчеркнуть пересекающую картину горизонталь, он воспользовался также линией горизонта. Если Якоби противопоставил город, расположенный далеко внизу на земле, просторному и высокому ночному небу (как это сделано и на упомянутой мною ранее картине из серии «Активные фантазии»), то Биркхойзер сдвинул горизонталь вверх, чтобы этим подчеркнуть, что задний план опускается вниз благодаря удаленности земли. Город у него приглушенного темно-красного цвета; задний план, напротив, светлый, зеленовато-голубой, подобный цвету воды, а местами — бледно-желтый с ярко-красным.

На этом заднем плане проступает четырнадцать более или менее четких окружностей. Десять из них выглядят как человеческие лица. Остальные четыре напоминают отверстия от сучков или круглые, свободно парящие в воздухе темные тела, часть из которых окружена ореолом. Из рта огромного лица,



*Рис. 3.*

изображенного наверху, течет вода, устремляющаяся сквозь город вниз. Ни один глаз не соприкасается с другим, что подразумевает несоизмеримость миров, располагающихся в двух очень резко различающихся плоскостях: с одной стороны — в вертикальной, а с другой — в горизонтальной. На горизонтали находится трехмерный город, на который слева падает свет, но на задний план этот свет не попадает, для этого плана, следовательно, подходит только *четвертое измерение*. Разделительная линия двух миров образует крест (город и поток воды). Единственная отчетливая связь между этими мирами выражена во взгляде огромного лица, направленном вниз, на город. Подчеркнутые ноздри и ненормально расставленные глаза свидетельствуют, что это лицо можно считать человеческим только условно. Из четырех других лиц только одно — слева вверху — узнаваемо, да и то с трудом. Если огромное лицо в центре, изо рта которого вытекает вода, признать *главным лицом и источником*, то основная структура выглядит как группа из пяти объектов, то есть:



Это символ *quinta essentia*, идентичной ляпису — философскому камню. Символ представляет собой разделенный на четыре части круг с центром — разворачивающееся в четырех направлениях божество или единое основание сознания с четырьмя функциями, то есть самость: здесь четверичность обладает структурой  $3+1$ : три зверо-демонических личины и одно человеческое лицо<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> При анализе круглых тел я хотел бы напомнить о «Звездной ночи» (1899) Ван-Гога, на которую обратили мое внимание друзья. Звезды на картине выглядят как большие светящиеся диски, то есть в таком виде, в каком они никогда не воспринимаются зрением. Говоря о ней, художник употребляет выражение «пантеистическое упоение» или называет ее «отпечатком апокалиптической фантазии», сравнивая звездные диски с «группой живых образов наших братьев». Вероятно, в основу картины положено сновидение.

Своеобразная композиция нашей картины наводит на мысль о часто встречающейся в истории символов четверичности, которую обсуждал еще Платон в «Тимее», а еще раньше пережил Иезекииль в видении четырех серафимов. У одного было человеческое лицо, у трех других — звериные личины. Этот мотив мы находим в некоторых изображениях сыновей Гора, в аллегорических изображениях евангелистов, а также в трех синоптических и в одном «гностическом» Евангелиях и — last not least — в четырех персонах христианской метафизики: Троице и дьяволе. В алхимии структура  $3 + 1$  — постоянная тема, ее авторство приписывается женщине-философу Марии, коптке или еврейке (II — III век). Этот же мотив мы находим у Гёте в сцене с кабирами («Фауст», II). Число «четыре» в качестве естественного разделения круга является символом целостности в философии алхимиков (ее расцвет пришелся на XVII век), при этом не следует забывать, что главный христианский символ также четверка, структура  $3 + 1$  изображается в виде вытянутого креста<sup>1</sup>.

Описываемая картина, как и предыдущая, изображает столкновение двух несоизмеримых миров, вертикального и горизонтального, соприкасающихся только в одном месте; то есть в одном случае: на предыдущей — это намерение сеятеля посеять на земле огонь, на нашей — взгляд, направленный на землю.

При взгляде на четыре круга, не являющиеся глазами, можно заметить, что только один из них представляет собой завершенную окружность. Второй круг (справа сверху) — светлый с темным центром; третий — темный, частично покрытый стекающей водой; через четвертый, по крайней мере так кажется, выходит наружу белый туман. Итак, речь идет о дифференцированной четверке, которая в отличие от недифференцированной восьмерки глаз относится, если отвлечься от центрального главного лица, к четверичности со структурой  $3 + 1$ .

Несомненно, главное лицо в равной мере и звериное и человеческое. Так как именно главное лицо является «источником жи-

---

<sup>1</sup> У машины времени Г. Уэллса четыре видимых колонны, одна из которых была мерцающей, как бы нереальной.

вой воды» (квинтэссенция, *augum potabile* — золото, годное для питья, *aqua regumans*, *vinum ardens*, эликсир жизни и т. п. — синонимы) и на три четверти подобно звериному, а на одну четверть — человеческому, то его человеческое качество отнюдь не очевидно. В памяти встает «человекоподобное существо» из видения Иезекииля, восседающее на престоле из сапфира и напоминающее о характере Яхве, о необузданности которого много написано в Ветхом Завете. В мире христианских образов есть противоположный случай, это касается Троицы, которая состоит из трех ипостасей (ранее часто изображалась в виде трицефала) и четвертой, традиционно изображаемой в виде полуживотного. Представляется, что наша мандала (символический круг), дополняет христианскую целостность.

Следует подчеркнуть еще одно обстоятельство: два нижних лица — это обратное изображение верхнего, но они являются не зеркальным отражением, а самостоятельными сущностями и представляют собой нижний или противоположный мир. К тому же одно из двух лиц светлое, а второе выглядит темным, напоминая чем-то острое ухо. В отличие от этого контрастного выражения вода недвусмысленно и однозначно течет сверху вниз, что означает падение. Источник ее находится не только над горизонталью земли, но и над центром картины, указывая, что это и есть верхний мир — местоположение источника жизни. Поскольку трехмерное тело считают средоточием «жизненной энергии», то здесь речь явно идет о компенсации, ведь источник перемещается в четвертое измерение. Родник бьет из *идеального* центра, главного лица. Стало быть, четвертое измерение только по видимости симметрично, на самом же деле оно *асимметрично* — что в равной степени важно и для ядерной физики, и для психологии бессознательного.

«Четырехмерный» задний план картины — это «лицо» в его двояком значении: то, что видит, и то, что видят. Так получилось, вероятно, случайно — все могло выглядеть совершенно иначе. Россыпь нематериальных точек на едва намеченной, зыбкой поверхности оставляет впечатление просто игры случая: большинство из них без всякого умысла служат глазами неразумных, зверо-человеческих лиц, на которых отсутствует какое-либо выражение, — такой вид не привлекает внимания,



он исключает любую попытку разобраться в нем, потому что случайная природная форма — особенно если она не несет никакой эстетической нагрузки — обычно не вызывает интереса. Подобная абсолютная случайность, будучи пустой игрой фантазии, не дает ни малейшей зацепки для обнаружения смысла. Уже одно это заслуживает (что обычно непонятно дилетанту) внимания психолога, который, следуя смутному стремлению к порядку, использует в таких случаях самое простое средство, а именно *исчисление*. Конечно, там, где присутствуют более или менее сопоставимые характеристики, основой классификации остается количество. В конце концов маленькие диски или отверстия всегда оказываются круглыми, а большинство их напоминает глаза. Только случайно — подчеркиваю — возникают числа и другие виды порядка, чье повторение чаще всего маловероятно. Когда такое обнаруживается необходимо воздерживаться от статистической обработки или логического эксперимента, ибо научная проверка потребовала бы в нашем случае астрономических цифр. Подобные приемы исследования допустимы только там, где за самое короткое время эксперимент можно многократно повторить, как, например, при поисковом методе Райна. Поэтому наш случай представляет собой уникальный комплекс, о котором со статистической точки зрения можно сказать, что он ничего не означает. Но так как здесь в игру вступает психология, для которой подобные курьезы могут быть важны, потому что сознание невольно находится под сильным впечатлением от их нуминозности, то следует учитывать и этот факт, каким бы незначительным, невероятным и иррациональным он ни казался, — именно потому, что он представляет собой важный аспект психического явления. И все же хотелось бы заметить, что это ничего не доказывает.

Психология, там, где она вплотную сталкивается с человеком, не может довольствоваться только усредненными данными, которые объясняют обычное, стандартное поведение, а обязана уделять особое внимание индивидуальным случаям, становящимся жертвами статистики. Человеческая психика обретает своеобразие не в усредненном, а в неповторимом, которое теряется в процессе научной обработки. Опыты Райна показали нам — хотя практика сделала это несколько раньше,

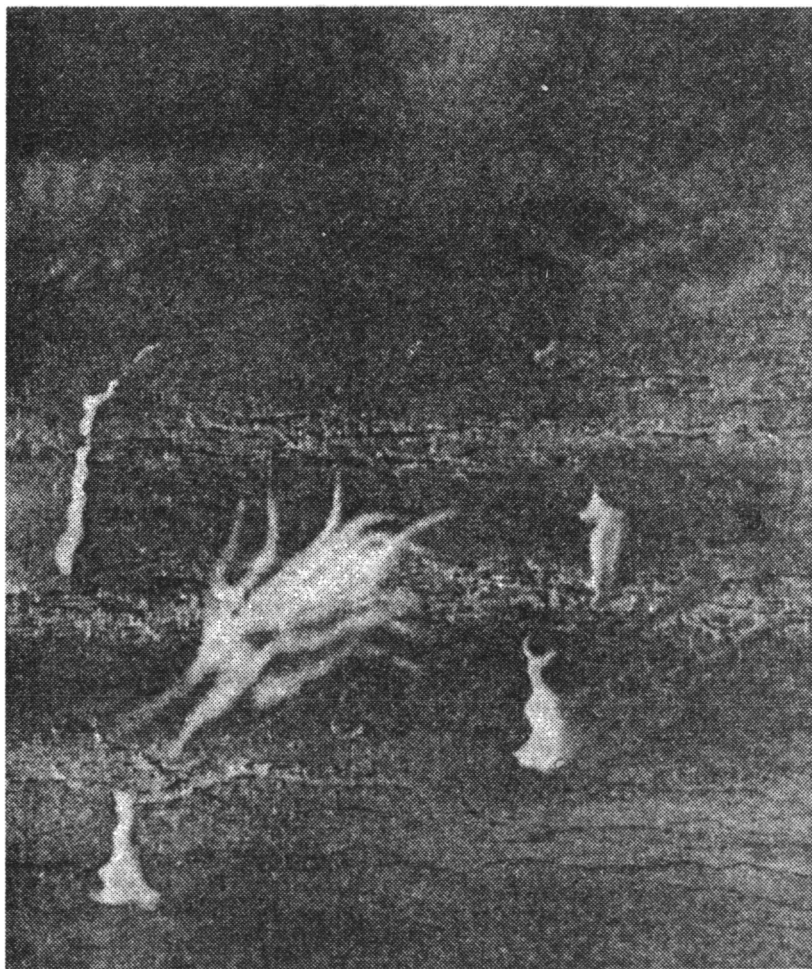
что невероятное возможно и что наша картина мира соответствует действительности только тогда, когда в ней находится место и для невероятного. Тех, кто придерживается сугубо научных установок, не привлекает подобный подход, хотя им следовало бы помнить, что без исключений нет и статистики. Еще можно добавить, что для реальной действительности исключения едва ли не более важны, чем усредненные данные.

Наша картина позволяет сделать определенные выводы о природе форм, появляющихся на небе. «Небо» здесь — это не видимая нами голубая атмосфера и даже не космос со звездными мирами, а своеобразное четвертое измерение, в котором пребывают сверхживотные и сверхлюди, а наряду с ними темные диски или круглые *отверстия*. Если это — дыры, то речь идет о *трехмерном теле*, у которого отсутствует четвертое измерение. Как уже упоминалось, задний план представляет собой нечто текучее, «водянистое», совершенно противоположное сугубо огненной природе предыдущей картины. Огонь символизирует динамику, страсть и аффект; вода же, напротив, из-за своей низкой температуры и материальности, представляет собой *patiens*, пассивный объект, беспристрастное созерцание, отсюда «*aqua doctrinae*» (вода учения), утоляющая жажду и «охлаждающая», гасящая огонь, то есть «саламандра» алхимии. Как говорили старые учителя алхимии, *aqua nostra ignis est* (наша вода — это огонь), имея в виду идентичность, разлагаемую мышлением на противоположности; подобное обнаруживается и в случае с бессознательным образом Бога. Такая видимая таинственность свойственна так или иначе всему сущему, в особенности бессознательному, реальность которого мы в состоянии обнаружить только, как говорится, путем сравнения. Отсюда и четвертое измерение можно считать простой математической фикцией, выдумкой нашего разума или откровением бессознательного, которое невозможно подтвердить соответствующими практическими наблюдениями.

Поэтому, на основе бессознательной обусловленности элементов образа относительно НЛО складывается мнение, что речь идет о ставшем наглядным содержании заднего плана, стало быть, об архетипических формах.

### **Картина И. Танги**

Свою картину (рис. 4) Ив Танги написал в 1927 году, то есть более чем на десятилетие раньше, чем начались крупные бомбардировки городов. Но, глядя на эту картину, не можешь отделаться от впечатления, что именно о них она напоминает. Поскольку обычно современную картину трудно интерпретировать,



*Рис. 4.*

что она упраздняет смысл и форму, нередко заменяя их экстравагантностью, то я продемонстрировал ее возможно большему числу самых разных людей, то есть использовал нечто похожее на тест Роршаха. Задний план, выполненный в черном и белом цвете и обнаруживающий минимум четкости и максимум абстрактности, большинство толкуют как плоскость, что подтверждается неоспоримым фактом: на картине есть источник света, который, падая под углом примерно  $30—45^\circ$ , наделяет тенью пять центральных фигур, причем отлично видно как эти тени падают на плоскость. Плоскость же интерпретируют по-разному: одни видят в ней покрытое льдом море во время полярной ночи, другие — ночное море в тумане, третьи — поверхность необитаемых и удаленных от Солнца планет, скажем Урана или Нептуна, а некоторые — даже большой ночной город вроде Сан-Франциско или Нью-Йорка, окутанный тусклым мерцающим светом и протянувшийся вдоль морской бухты. Странная пятерка объектов над городом ставит почти всех в тупик. Но кое-кто считает, что это падающие бомбы, или взрыв (в особенности в центре). В центральной фигуре одни видят морское животное (морскую ветреницу, полип и т. п.) или цветок, другие — лицо демона с развевающимися волосами, смотрящее слева вниз, третьи — облако тумана и дыма от большого пожара. Четыре окружающие фигуры также по аналогии толкуются как разновидность морских животных, образования из дыма, желе или, из-за рогов, как злые демоны. Фигура в левой половине картины, которая своим ярким желто-зеленым цветом отличается от других, тусклых и неопределенно окрашенных, интерпретируется как ядовитый дым, водяное растение, пламя, пожар в каком-то отдельном доме и т. п.

Как определили почти все, фигуры отбрасывают тени на расположенную ниже плоскость. Признаюсь, что меня лично более всего убеждает сравнение с большим ночным городом у моря, которое предполагает значительную отдаленность наблюдения, скажем с высоты полета самолета. Возможно, художник и сам когда-то был летчиком, имея возможность сверху вести наблюдение.

На картине горизонт теряется за низкими облаками, над которыми парит круглое слабо светящееся пятно, слева сига-

рообразной формы, примыкающее слева к плохо освещенному слою облаков (?). Как бы случайно в центре свечения оказывается едва заметное на репродукции пятно того же цвета, что и пламя (слева, в группе из пяти предметов). Второе — идентичной окраски, но на этот раз отчетливо видимое пятно — расположено гораздо ниже (справа от середины картины), прямо над городом (?). Тонкая линия соединяет его с аналогичным пятном, которое кажется продолжением пламени (?). Продолговатая форма второго пятна указывает на середину плохо видимого концентрического *круга*, который как будто вращается. Примечательно, что и первое пятно (над центром картины) соединено с такими же концентрическими кругами. Поскольку фон слишком темный, это, к сожалению, нельзя обнаружить на репродукции, а только на оригинале при соответствующем освещении. На картине виден лишь эллиптический ореол света, окружающий желтоватое пятно. При ощупывании круг воспринимается как слегка выделяющаяся линия. Ее либо нанесли краской, либо — что еще более вероятно — процарапали в краске острым инструментом. Но в ее округлости нет сомнений.

Что касается этих деталей, речь, видимо, идет о чистых случайностях — такое же впечатление, безусловно, производила и предыдущая картина. Упреки в чистой случайности решительно нечего противопоставить, но при сравнении это начинает выглядеть иначе. Как случайно появление двух темных, почти неразличимых окружностей, так случайна и сигарообразная форма на ночном небе, а также эллиптический светящийся объект с маленьким ярким пятном и линия, соединяющая две окружности с пламенем. Линию можно без труда продолжить и предположить, что пламя относится к снаряду, появляющемуся из темной окружности, то есть — как мы сказали бы сегодня — из НЛО, которому, кроме всего прочего, приписывается способность вызывать пожары. Здесь *огонь сеет* НЛО, так как от него четкая линия ведет к пламени, где она и оканчивается. Правда, есть еще ряд других, почти волнообразных линий, пересекающих картину по горизонтали, отчасти они похожи на улицы, отчасти — на границы территорий. Связаны ли они с небесными явлениями? Об этом и многом другом остается толь-

ко догадываться: например, о вещественных по виду — точнее не определить — формах, которые вместе с пламенем образуют четверку со структурой  $3 + 1$ . Равным образом вряд ли можно расшифровать форму в центре картины, резко отличающуюся от других похожих на облако образований, хотя, она, как и последние, отбрасывает тень.

Представить себе картину в полном объеме невозможно, если не обратить внимание на одну важную связь, которая прослеживается лишь при тщательном рассмотрении: цилиндрическая, фаллическая форма облака (?) в верхней левой части нацелена на указанный круг, что с сексуалистской точки зрения может быть истолкована как совокупление. Как отчетливо видно в верхней половине картины, из этой округлости возникает небольшое пламя, связанное в свою очередь с большим пламенем (внизу слева). Так называемое пламя — это единица, отличающаяся от тройки, то есть, одна дифференцированная функция, противостоящая трем недифференцированным, психологически главным функциям. Четверка в целом символизирует развившуюся целостность, то есть эмпирически проявившуюся самость. Имя гностического божества звучит как *Барбело*, что означает: «Бог — это четыре». В соответствии с представлениями раннего христианства, единство ставшего видимым бога основывается на числе «четыре», т. е. на «столпах» четырех Евангелий (образующих структуру  $3 + 1$ ), подобно гностическому Моногеносу (*unigenitus*, единоутробный) на трапезе (*tetrapeza* — четвероногий стол). Христос — это глава еkkлезии (общины). Будучи Богом, он являет собой единство триничности, а как исторически существовавший Сын Человеческий и антропос — служит образцом и прототипом погружившегося во внутренний мир человека. Он одновременно есть и вершина, и цель, и целостность эмпирического человека.

В результате вроде бы случайно возникает изображение небесного иерогамоса (священного брака), за которым следует рождение Избавителя и Божоявление на земле. Для нашей картины характерна явно выделенная горизонталь. Вертикаль на ней четко выражена с помощью четверичности и изображается драматически, а именно посредством небесного происхождения огня. Нельзя сразу же отказаться от сравнения с бомбардировкой, по-

сколько этот вариант просматривался сразу — с одной стороны, как воспоминание, а с другой — как предвосхищение. Образы НЛО наверху и странное явление внизу образуют выразительную вертикаль, которую легко истолковать как вторжение предметов иного порядка. Без сомнения, акцент в картине сделан на группе из четырех предметов, рассмотренной нами ранее. Она выглядит типичной загадочной картинкой, чего художник явно добивался. Несомненно, ему удалось передать пустынную, холод, безжизненность, даже «бесчеловечность» космоса и бессмысленную бесконечность горизонтали, невзирая на вторжение «большого города». Тем самым подтверждается тенденция современного искусства изменять объект до неузнаваемости, отвергая сопереживание зрителя, заставляя его чувствовать себя посторонним, обреченным на непонимание. Психологический эффект здесь можно сравнить с эффектом теста Роршаха, в котором совершенно случайная иррациональная картинка воздействует на такие же иррациональные силы фантазии у зрителя и тем самым включает в игру его бессознательную предрасположенность. Там, где направленное вовне внимание ведет себя в определенной степени несдержанно, это отражается на так называемом «субъективном факторе» и повышает его энергетический заряд — феномен, который четко проявляется уже при первых ассоциативных тестах. Произнесенное экспериментатором отдельное слово-стимул своей неоднозначностью ошеломляет и по этой причине вызывает замешательство у тестируемого. Последний теряется, не зная точно, как ему следует отвечать; из-за этого в ходе экспериментов наблюдается чрезвычайное разнообразие ответов, а главное — значительное количество искаженных реакций<sup>1</sup>, вызванных вторжением бессознательного. Бесцеремонное нарушение заинтересованности (в результате непонимания) приводит к интроверсии последней и обусловленному этим состоянию сознания. Тот же эффект производит и рассматриваемое нами произведение современного искусства. Поэтому художнику можно приписать сознательное или бессознательное намерение вызвать у зрителя аскетическую, из-

---

<sup>1</sup> Задержка реакции, пропуск, оговорка, последующее забывание и т. д. образуют признаки так называемого комплекса.

бегающую понятного и приятного «мира» точку зрения и заставить раскрыться бессознательное. Подобные устремления по аналогии очень напоминают ассоциативные эксперименты и тесты Роршаха: их главная задача, как и у Роршаха, — доставить сведения о качествах заднего плана сознания. И выполняется она весьма успешно. «Экспериментаторская установка» современного искусства вполне очевидна ему самому; оно задает зрителю вопросы: «Как ты реагируешь? Как ты мыслишь? Что за фантазия пришла тебе в голову?» Иначе говоря, это означает, что современное искусство только по видимости имеет в виду созданный им образ, на самом деле оно рассчитывает на воспринимającego субъекта и его произвольную реакцию. Когда, всмотревшись в картину, улавливаешь оттенки цвета, внимание, как известно, возрастает, но тут то обнаруживается и форма, которая как бы издевается над человеческим разумом. Субъективная реакция, ошеломленного зрителя находит свое выражение во всевозможных восклицаниях. Тот, кто научился понимать их суть, может многое узнать о субъективной предрасположенности зрителя, но о самой картине не услышит ничего или очень мало. Она для него всего лишь психологический тест. Это, вероятно, звучит обескураживающе, но только для тех, у кого «субъективный фактор» в качестве реального свойства души вызывает чувство дискомфорта. Впрочем, если интерес такого человека обращен к собственной душе, то он обратится к ней и попытается тщательнее исследовать свои разбуженные комплексы.

Но так как сегодня даже самая смелая фантазия художника — как бы далеко она не выходила за границы постижимого — ограничена рамками психических возможностей, то в его картине могут появляться определенные, незнакомые ему формы, которые обозначают эти ограничения и пределы. В случае с картиной Танги таковыми являются четверка предметов, четверичность со структурой  $3 + 1$  и, кроме того, «небесные знамения» в виде окружностей и сигарообразных форм, то есть в виде архетипов. При попытке отойти от мира наглядных и понятных вещей и окунуться в беспредельность хаоса изобразительное искусство, — хотя и в совершенно иной степени, чем психологический тест, — вызывает «комплексы», которые, впрочем, изменили свой при-



вычный для личности облик и поэтому проявляются в изначальном виде, а именно как первичные инстинкты. Они сверхличностны, то есть обладают коллективно-бессознательной природой. Индивидуальные комплексы возникают там, где происходят конфликты с инстинктивными влечениями. Такие конфликты по сути представляют собой точки снижения адаптации, чувствительность которых пробуждает аффекты, способные сорвать с лица цивилизованного человека маску приличия. Похоже, это и есть цель, к которой косвенно стремится наше современное искусство. Правда, в этой области, видимо, еще и сегодня царит произвол и невообразимый хаос. Впрочем, вызванные этим потери в красоте и смысле, перекрываются возрастанием роли бессознательного. Поскольку бессознательное не хаотично, а естественным образом упорядоченно, то следует ожидать, что со временем возникнут формы, демонстрирующие этот порядок. На мой взгляд, именно это наблюдается в приведенных мною примерах. В хаосе вариантов как бы случайно появляются неожиданные элементы порядка, которые находятся в самом близком родстве с психическими доминантами вечности, одновременно привлекая характерной для нашего технического века коллективной фантазией и завораживая небесами.

Подобные картины редки, но все же они есть. Так что, даже если только немногие люди видели НЛО, нельзя сомневаться в существовании слухов. Они оказали влияние даже на склонных к крайнему реализму военных. Тому, кто хочет выработать независимое от моего мнение о распространенности легенды об НЛО, я рекомендую книгу Эдгара Сиверса «Летающие тарелки над Южной Африкой»<sup>1</sup>. Будучи во многих отношениях спорной, она без предвзятости оценивает те усилия, которые разумный и позитивно настроенный человек нашего времени считает необходимым предпринять в своем желании осознать феномен НЛО. Безусловно, именно это дерзкое стремление заставляет автора привести в движение небеса и преисподнюю. К сожалению, ему недостает знания психологии бессознательного, которую в данном случае хорошо было бы принять во внимание в первую очередь. Но этот пробел в знаниях характерен

---

<sup>1</sup> E. Sievers. Flying Saucers über Südafrika. Pretoria, 1955.

и для огромного большинства наших современников. Его книга предлагает множество старых и новых попыток объяснения, основанных на естественнонаучных и философских выводах и даже на непроверяемых, к сожалению, теософских утверждениях. Некритичность и доверчивость, которые у других можно было бы расценить как грубые натяжки, здесь сослужили хорошую службу, поскольку позволили собрать разнородные умозрения о проблеме НЛО. Поэтому тот, кто интересуется психологией этого слуха, книгу прочтет с пользой для себя, ведь она предоставляет обширные сведения о психической феноменологии НЛО.

## | К истории феномена НЛО

Хотя об НЛО заговорили лишь в конце второй мировой войны, сам феномен был известен много раньше и наблюдался не только в первой половине XX столетия, но и в предыдущие века и, быть может, был описан уже в античные времена. В литературе об НЛО есть подборка всевозможных, относящихся к ним сообщений, которые, впрочем, нуждаются в критическом рассмотрении. Чтобы облегчить себе задачу, я предлагаю читателю лишь несколько примеров.

### **Базельский листок 1566 г.**

Здесь речь пойдет о листке (см. рис. 5), который в августе 1566 г. составил Самуэль Кокциус, «изучающий Священное Писание и свободные искусства на своей родине, в Базеле». Он сообщает, что 7 августа этого года на рассвете в воздухе появились большие черные шары, которые «стремительно направлялись к солнцу, а затем, описав круг, возвращались и будто бы затевали друг с другом сражение; некоторые из них вращались и были управляемы, другие уменьшались и исчезали».

Из рисунка можно понять, что это происходило в Базеле, поскольку на нем изображена площадь Мюнстера с Собором святого Павла. Темный цвет НЛО, видимо, связан с тем, что наблюдение велось против восходящего солнца. Другие же объекты, наоборот, выглядят светлыми (и даже огненными). Отмечаются также быстрота и произвольная беспорядочность движения НЛО.



Рис. 5.

### Нюрнбергский листок 1561 г.

В листке (рис. 6) сообщается об «ужасающем зрелище», которое наблюдали «множество мужчин и женщин» 14 апреля 1561 года во время восхода солнца. Рядом с солнцем вдруг появились «шары кроваво-красного, голубоватого и черного цвета или округлые шайбы, около трех футов в длину и, около, четырех в диаметре, некоторые были отделены от других, и между ними располагались несколько крестов кровавого цвета». Вдобавок наблюдались «две большие трубы<sup>1</sup>... в которых вращались крупные и маленькие шарики, по четыре или больше в каждой. Все они сражались друг с другом». Зрелище наблюдалось около часа; затем «все шары, как бы отторгнутые солнцем, ринулись с неба на землю подобно огню, внизу на земле поднялись огромные столбы дыма». Среди шаров была хорошо видна продолговатая форма, «похожая на огромное черное копьё». Само собой разумеется, что это «зрелище» было понято как божественное предостережение.

<sup>1</sup> На самом деле изображено три.

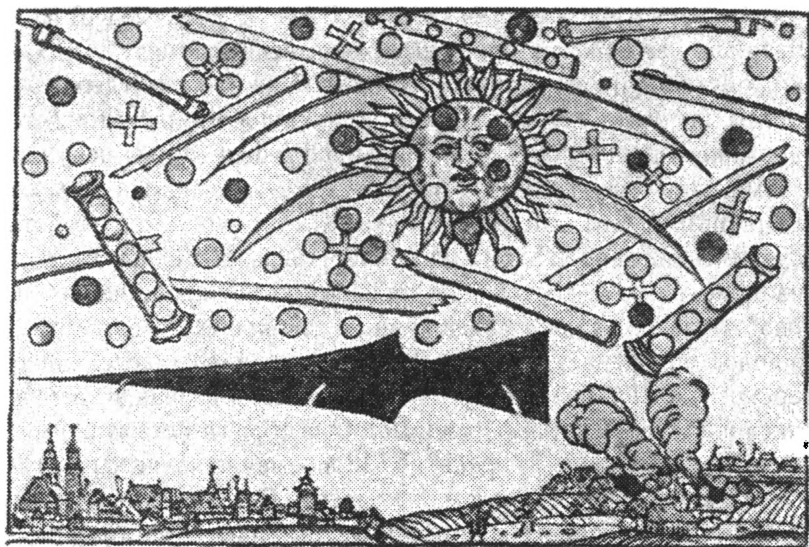


Рис. 6.

От читателя, видимо, не укрылось, что в этом сообщении содержатся детали, напоминающие о картине Танги. Среди них в первую очередь нужно отметить «трубы», аналогичные цилиндрическим формам из сообщений об НЛО. На языке слухов об НЛО это корабли-матки, которые должны перевозить маленькие линзообразные НЛО на большие расстояния. Рисунок изображает их в действии, а именно во время отправления или приема НЛО. Особенно важна, хотя и отсутствует в современных сообщениях об НЛО, бесспорная четверичность, наблюдаемая отчасти в виде простых крестов, отчасти — в виде крестообразно соединенных дисков, то есть в виде настоящей мандалы. Случайно или нет, но здесь воспроизведены *четыре* простых креста и *четыре* мандалы. Примечательно, что в дилемме 3 и 4 появляется еще и мотив  $3 + 1$ . Как для нашего времени характерно технизированное толкование, так для XVI века — военное. Шары — это пушечные ядра, «трубы» — пушки, хаотическое столкновение шаров — артиллерийская дуэль. Большое черное острие копья, как и рукоятка пики (?), означает, видимо, мужское, в частности, проникающее начало. Что-то подобное упоминается и в современной литературе об НЛО.

Бросается в глаза *мотив креста*. Вряд ли здесь следует рассматривать его как христианский символ, ведь речь идет, так сказать, о естественном явлении, а именно о множестве круглых существ, которые стремительно и беспорядочно кружатся, что напоминает репортеру бой. Если бы НЛО были живыми существами, то в голову пришла бы мысль о рое неких насекомых, поднявшихся с солнца не сражаться, а спариваться, то есть справлять *свадьбу*. В этом случае крест выражает единство противоположностей (вертикаль и горизонталь), «скрещивание» и, подобно знаку «плюс», соединение и сложение. Там, где произошло сопряжение, то есть в четверичности, явно имеется в виду перекрестное спаривание — так называемая брачная четверка, описанная мной в книге о переносе<sup>1</sup>. Она образует схему примитивного кросскузенного брака, но одновременно является и символом индивидуации, союзом «четырех». Две похожие на серп луны «полосы кровавого цвета», пересекающие солнце, не поддаются простому толкованию. На земле, в местах, куда падали шары, поднимаются столбы дыма; что, как и четверичность, тоже напоминает картину Танги. Момент солнечного восхода («*Aurora consurgens*» святого Фомы и Якоба Бёме) впечатляет как появление света.

Оба сообщения явно аналогичны не только друг другу, но и современным известиям о «тарелках», и нынешним проявлениям индивидуального бессознательного.

### Гравюра XVII века

Происхождение этой гравюры XVII века<sup>2</sup> (рис. 7), на которой предположительно изображено озарение розенкрейцеров, мне неизвестно. На ее правой стороне представлен знакомый нам мир. Паломник, явно дошедший до «*pèlerinage de l'âme*» (странствия души. — *фр.*), просунул голову за ночную границу своего мира и заглядывает в иную, сверхъестественную вселенную. Его взору

<sup>1</sup> Jung K. G. Die Psychologie der Übertragung. Zürich, 1946. S. 95.

<sup>2</sup> Любезно предоставлена в мое распоряжение г-ном Д. ван Хоутеном из Бергена (Голландия).

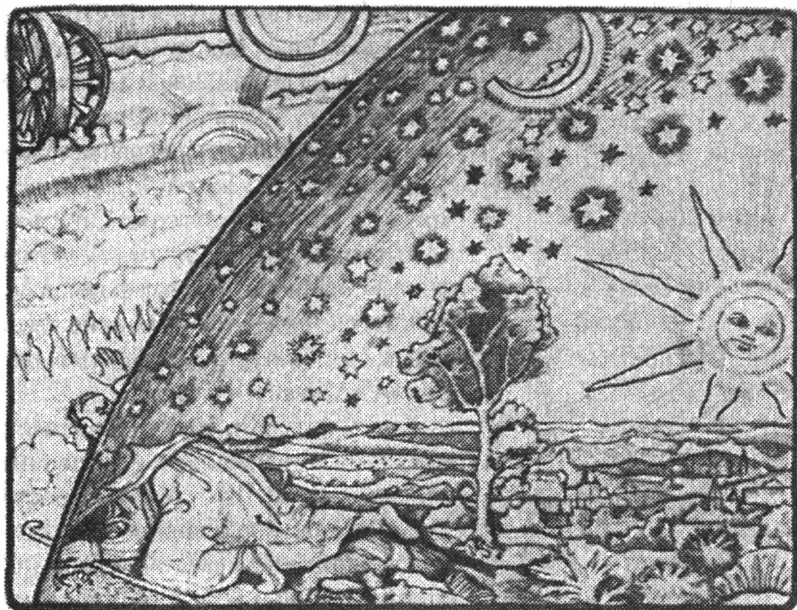


Рис. 7.

открываются слои облаков, горы (?) и пр., а также колеса Иезекииля и дискообразные формы, напоминающие радугу и явно представляющие «небесные сферы». В этих символах перед нами является прототип видения НЛО, посетившего «озаренного». Причем речь, похоже, идет не о небесных телах, из эмпирического мира, а о проекции «rotundum», внутреннего или четырехмерного мира. Подобная ситуация еще отчетливее предстает в следующей картине.

### Из рукописи «Познай пути» (Scivias) Хильдегарды Бингенской

Этот рисунок (см. рис. 8) взят из рупертсбергского кодекса Scivias Хильдегарды Бингенской (XII век). На нем изображено оживление, то есть наделение душой ребенка, зарождающегося в утробе матери. Из верхнего мира influxus (истечение) прони-



Рис. 8.

кает в foetus (плод). Как ни странно, этот сверхмир обладает квадратной формой и разделен, как и Троица, на три части; но в отличие от последней, всегда состоящей из трех одинаковых частей, одна из частей этого сверхмира представляет собой пустое центральное поле. Основной мотив поля — наличие круглых форм, двух других частей — изображение глаз. Здесь, как и в колесах Иезекииля, округлое сочетается с глазом.

По тексту Хильдегарды, блеск «бесчисленных глаз» (на самом деле их всего 24) означает «мудрость Бога», то есть его зрение и познание, по примеру семи очей Божьих, «которые объемлют взором всю землю» (Зах. 4, 10).

Округлые формы представляют дела Божьи, как, например, решение послать Своего Сына Спасителем (S. 127). Здесь Хильдегарда добавляет: «Все, и доброе, и злое, проявляется в мудрости Господа, ибо она не омрачена никаким невежеством». Дело в том, что мыслящие души людей — это «огненные шары» (S. 120, 126, 130), и душа Христа,

вероятно, тоже была подобным шаром, ибо своим видением Хильдегарда намекает не просто на появление человека, а именно на Христа и Богородицу (S. 127). Дух, которого воспринимает ребенок представлен в виде разделенного на три части четырехугольника (S. 129). Оплодотворяющая сторона Святого Духа соединяет божество с материей, что явно исходит из Священного Писания. Очевидно, что промежуточной формой между духом и материей является rotundum — предварительное воплощение живых и одушевленных тел, во множестве (30) заполняющих



поле четырехугольника. Число 30 — каким бы случайным оно ни было — указывает на Луну, властительницу материального мира, тогда как число 24, означая продолжительность суток, относится к *Rex Sol*. Тем самым подразумевается мотив конъюнкции (☉ и ☽); видимо в этом находит свое выражение один из тех многочисленных случаев бессознательного предчувствия, позднее выразившегося в определении Бога у Николая Кузанского как *complexio oppositorum*. Шары на гравюре имеют цвет пламени, это огненные семена, из которых рождаются человеческие существа — разновидность икры-пневмы. Такое сравнение оправдано в той мере, в какой алхимия сравнивает *rotundum* с «*oculi piscium*» (рыбьими глазами). Глаза рыбы, как и глаза Божьи, постоянно открыты. Они аналогичны *scintillae* (искрам), являющимся, в свою очередь, «искрами души». Нет ничего невероятного в том, что они привились у Хильдегарды в качестве алхимических представлений через посредничество атомов Демокрита (*Spiritus insertus atomis* — дух присутствует в атоме). Нечто похожее правомерно и для четырехугольника Духа Святого.

В алхимии квадрат как четверичность является символом целостности. В то же время, будучи «угловатым», он характеризует землю, духу же присуща форма круга. Земля воплощает женское начало, дух — мужское. Во всяком случае, квадрат как символ мира духовного — весьма необычное явление, но оно становится понятным, если принять во внимание пол Хильдегарды. Эта примечательная символика отражается в известной проблеме квадратуры круга, равным образом представляющей собой *coniunctio oppositorum*. В алхимии «четыреугольность», считалась важным качеством, ею наделялись единичные сущности: *Mercurius Philosophorum sive quadratus* (Меркурий философ, или четырехугольный), что свидетельствует о его хтонической природе, которой он обладает наравне с духовностью. Он — и металл, и «дух». В христианской догматике этому соответствует представление о том, что Дух Святой — один из трех ликом Божьих — не остается привилегией Бога, ставшего Человеком, а распространяется и на обычного, отмеченного *macula peccati* (пятном греха) человека. Впрочем, во времена Хильдегарды эта идея еще не осознавалась эксплицитно, но из-за аналогии с Христом была, видимо, имплицитно активизирована,

существова в коллективном бессознательном. В содержание сознания она вошла уже в следующем столетии, хотя была четко разработана еще в III веке в трудах Зосимы из Панополя. Впрочем, главное здесь не в исторической связи, а скорее в активизированном архетипе прачеловека (антропоса).

В такой же мере алхимии свойственна и ритмическая структура Духа Святого, который являет собой единство двух принципов, состоящее из глаз и огненных шаров; он разделен на три части и имеет прямоугольную форму. Эта тема известна под названием *аксиомы Марии* (женщины-философа из Александрии III века, сыгравшей определенную роль в классической алхимии).

Обе видимые на гравюре группы людей являются воплощением судьбы, во власти которой находится пробуждающаяся душа. Существуют люди, изготавливающие «хорошие, посредственные или плохие сыры»<sup>1</sup>, при этом черт подталкивает их под руку.

Гравюра, как и предыдущий рисунок (7), ясно демонстрирует, что глаза и огненные шары отнюдь не идентичны небесным телам и представляют собой нечто отличное от звезд. И это подтверждает, что шары изображают *души*.


## Заключение

Анализ сновидений, картин, рисунков показывает, что для проявления своего содержания бессознательное пользуется фантастическими элементами, сопоставимыми с феноменами НЛО. Более того, в сновидениях 1, 2, 6 и 7 и в картине «Сеятель огня» (рис. 2) связь с НЛО выражена осознанно, тогда как в остальных сновидениях и в двух других картинах такая связь не обнаружена. Если в сновидениях подчеркивалось, так сказать, личное отношение между НЛО и наблюдаемым в сновидении объектом, такое отношение полностью отсутствует в картинах. Личное участие в богоявлении или в иных визионерских событиях, на средневековых картинах, как известно, отображается с помощью явной актуализации видений у реципиента.

---

<sup>1</sup> По словам Хильдегарды.

Однако подобное представление совершенно не соответствует сути современной живописи, которая преследует цель как можно дальше «отодвинуть объект» от зрителя, подобно картинке из теста Роршаха (намеренной «кляксографии») во избежание любого воздействия изображения на разум и ради пробуждения чисто субъективной фантазии.

Тщательное исследование сновидений и картин обнаруживает смысл, который вполне можно характеризовать как богоявление. В картине «Сеятель огня» этот смысл ясен без каких-либо пояснений. В других случаях к аналогичному результату приводит более или менее обстоятельный сравнительно-психологический анализ. Читателя, не признающего психологии бессознательного, я хотел бы поставить в известность, что мои умозаключения — не плод моей необузданной фантазии, как предполагают некоторые, они основываются на результатах исследования истории символов. Единственно ради того, чтобы не усложнять свой текст пояснениями, я отказался от любых ссылок на исходный материал. Тому же, кто чувствует потребность проверить справедливость моих выводов, *volens-nolens* придется приложить усилия и познакомиться с моими работами по этим проблемам. Метод амплификации, которым я пользовался при толковании смысла, доказал свою плодотворность как на историческом, так и на современном материале. В данном случае он обеспечил достаточно надежные, как мне кажется, результаты: подтвердилось, что во всех примерах проявляется известный в качестве центрального архетип, названный мною «самость». Именно это происходит в стародавнем образе нисходящего с неба богоявления, сущность которого в большинстве случаев отмечена противоположностями, а именно огнем и водой, согласно так называемому «щиту Давида» , состоящему из:  $\Delta$  — огня и  $\nabla$  — воды. Шестеричность — символ целостности: четыре — как естественное разделение круга, два — как вертикальная ось (зенит и надир), то есть пространственное представление целостности. Современным развитием символа правомерно считать намек на четвертое измерение в рисунках 2 и 3.

Противоположность *мужского и женского* наблюдается в продолговатых и круглых объектах — сигаре и круге (рис. 4).

Вероятно, это символизация секса. Китайский символ *единой* сущности, *дао*, включает *ян* (огонь, жар, сухое, южная сторона горы, мужское и т. д.) и *инь* (темное, влажное, холодное, северная сторона горы, женское и т. д.), что полностью соответствует упомянутому выше иудейскому символу. Аналог этому можно найти в христианской доктрине о единстве Матери и Сына, в андрогинности Христа, не говоря уже о прасуществах — гермафродитах экзотических и примитивных религий, в «отце-матери» гностиков и — *last not least* — в гермафродите Меркурии у алхимиков.

Третья противоположность — *верхнее и нижнее*, как, например, в рис. 3, где она скорее перенесена в четвертое измерение. В остальных примерах она позволяет различать то, что происходит наверху, на небе, и то, что случается внизу, на земле.

Суть четвертой противоположности заключается в *единичности и четверичности*, она проявляется в соединении четырех предметов (рис. 3 и 4), при этом «четыре» в определенном смысле образует рамки единого, особо выделенного центра. В истории символов четверка возникает как развертывание единого. Единую космическую суть познать невозможно, ведь ее не от чего отличить и не с чем сравнить. Но с развитием в «четыре» у нее появляется минимум разного рода качеств и возможность быть познанной. Это соображение — не метафизика, а всего лишь психологическая формула, которая описывает процесс осознания бессознательного содержания. Пока что-то находится в бессознательном, у него нет познаваемых качеств и поэтому его можно отнести к вообще неизвестной величине, к бессознательному Везде и Нигде, некоторым образом к «не бытующей», если воспользоваться гностическим выражением, сущности космоса. Но когда бессознательное содержание проявляется, то есть вторгается в сферу сознания, оно уже разделено на «четыре», иными словами, оно может сделаться предметом опыта только благодаря четырем основным функциям сознания: такое содержание *воспринимается* как нечто несуществующее, в таком качестве *познается и отличается* от познанного, оказывается *приемлемым*, «приятным» или, наоборот, «неприятным», и наконец *предчувствуется* (где оно возникло и куда стремится). Последнее не может быть ни

воспринято органами чувств, ни осмыслено интеллектом и потому является по преимуществу предметом интуиции. Вследствие этого расщепление сознания на «четыре» означает то же, что и разделение горизонта на четыре стороны света или годового цикла на четыре времени года. Иными словами, в акте осознания обнаруживаются четыре основных аспекта целостного решения. Естественно, это не может помешать затейливому уму с таким же успехом придумать еще 360 аспектов; в таком случае названные четыре аспекта уже не будут означать минимальное естественное разделение круга, а следовательно, и целостности. У моих пациентов часто встречался символ «четверка», очень редко pentas (пятиричность), еще реже trias (троичность). Поскольку моя практика давным-давно сделалась интернациональной, у меня было более чем достаточно возможностей для сравнительных этнических наблюдений; любопытно, что триадическая мандала в основном возникала у немцев. Мне кажется, что это в какой-то степени связано с тем фактом, что по сравнению с французской и англосаксонской художественной литературой типичная фигура анимы в немецком романе играет относительно малую роль. В отличие от обычной структуры 3 + 1 триадическая мандала, если подойти к ней с точки зрения целостности, обладает структурой 4—1. Четвертая функция противостоит первой, или главной, функции, функции недифференцированной или более низкой по уровню, характеризующей теневую сторону личности. Там, где в символе целостности она проявляется недостаточно, ведущая роль переходит к сознанию.

Пятая противоположность касается различия между загадочным *надземным миром* и человеческим *повседневным миром*. Именно это, самое важное, противоречие наглядно отражено во всех приведенных мною примерах, и поэтому оно глубже, чем остальные, проявляется в сновидениях, как, впрочем, и в картинах. Противопоставление здесь кажется намеренно обостренным. Горизонталь сознательного мира, который, отвлекаясь от психических состояний, замечает только движущиеся тела, противостоит другому порядку бытия, «психическому» измерению; все, что можно сказать о нем с уверенностью, касается психического, с одной стороны, и математически

абстрактного, вымышленного, мифологического — с другой. Если число понимать как открытие, а не как инструмент счета, то есть считать его вымышленным, то в соответствии со своим мифологическим выражением оно относится к области «божественных» человеческих и звероподобных фигур и, как и они, архетипично. Не походя на них, оно тем не менее «реально», поскольку, будучи некоторым *количеством*, существует в области опыта и тем самым выстраивает мост между доступным для понимания, реальным физическим миром и миром воображения. Последний хотя и не реален, но *действителен* в той мере, в какой он действует. В его действительности нельзя сомневаться, особенно в наше время. Это — не действие, не недостаток или избыток физических предметов, с которыми непосредственно соприкасается человечество, а *мнение*, которое мы о них составляем, или *воображение*, овладевшее нами.

Роль, которую число играет в мифологии и в бессознательном, наводит на многие размышления. Оно является аспектом и физически-реального, и психически-воображаемого. Число используется не только для счета и измерения и выражает не просто количество, а характеризует и качество. Поэтому оно представляет собой нечто среднее — пока еще загадочное — между реальностью и мифом, с одной стороны, открывая, с другой — придумывая. Например, уравнения — плод чистой математической фантазии — задним числом оказались формулировкой количественного воздействия физического предмета, и, наоборот, благодаря своим индивидуальным качествам числа являются носителями и посредниками психических процессов в бессознательном. Так, к примеру, структура мандалы в принципе — дело арифметики. Более того, вместе с математиком Якоби можно оказать: «Над сонмом олимпийцев царствует вечное число».

Этим замечанием я хочу подчеркнуть, что противостояние человеческого и надземного мира не абсолютно, а в высшей степени относительно, так как не существует какого-либо моста между посюсторонним и потусторонним бытием. Иначе говоря, в качестве важного посредника между ними выступает реальное и в том, и в другом случае, по своей сути оно — архетип. К пониманию образа расколотого мира, о котором идет речь в

наших примерах, теософские спекуляции ничего не добавят, поскольку в этом случае можно говорить только об именах и словах, которые не указывают нам никакого пути к «*unus mundus*» (единому миру). Число же принадлежит двум мирам, реальному и воображаемому; оно наглядно и ненаглядно, количественно и качественно.

В этом плане, особенно важно, что число характеризует и «индивидуальную» суть посредствующей фигуры, то есть *посредника*. С позиции психологии и теоретико-познавательных ограничений, поставленных перед любой наукой, я обозначил посредствующий или «объединяющий» символ, который психологически неизбежно возникает из достаточно сильного антагонистического напряжения, термином «самость», чем хотел подчеркнуть, что главное для меня обозначение эмпирически постигаемых условий, а не сомнительный уход в метафизику, иначе я вторгся бы в чуждую область всевозможных религиозных убеждений. Живя на Западе, я должен был бы вместо «самость» назвать имя Христос, на Ближнем Востоке — Хадир, на Дальнем Востоке — Атман, или Дао, или Будда, на Дальнем Западе — Заяц, или бог Маиса, а на языке каббалы — Тиферет. Наш мир сузился, и это мешает понять то, что существует только *одно* человечество с *одной* душой и что смирение является той самой добродетелью, которой христианин должен руководствоваться по крайней мере ради *caritas* (милосердия), занимающего центральное место среди всех добродетелей, подавая хороший пример и признавая существование одной единственной истины, пусть даже выражаемой на разных языках. Только из-за несовершенства нашего разума мы этого до сих пор не смогли понять. Никто не равен Богу настолько, чтобы быть единственным толкователем истинного слова. Все мы смотрим в то «темное зеркало», в котором слагаются темные мифы, намекающие на незримую истину. В этом зеркале духовное зрение видит изображение, чью форму мы обозначаем как самость, сознавая, конечно, тот факт, что речь идет об антропоморфной картине, которую этот термин только называет, но не объясняет. Мы подразумеваем под этим психическую целостность, не зная, однако, какие реалии лежат в основе этого понятия, поскольку психическое содержание в его бессознательном состо-

янии невозможно наблюдать; и ко всему прочему психика не способна познать свою собственную суть. Бессознательное доступно сознанию только в той мере, в какой оно стало осознанным. Об изменениях, которые происходят в бессознательном содержании в процессе осознания, мы имеем крайне слабое представление, не опирающееся на какие-либо достоверные знания. Из-за существования бессознательных компонентов понятие психической целостности неизбежно предполагает определенную трансцендентность. В этом случае последняя не равнозначна метафизическому представлению или гипостазе, а может претендовать, по словам Канта, лишь на роль «пограничного понятия».

О том, что могло бы находиться по ту сторону теоретико-познавательного порога, можно только догадываться. Однако *архетип* указывает, что «там» существует нечто, где наиболее явно выступает *число*, которое в нашем мире представляет собой *количество*, а на «той» стороне, как автономная психическая единица, оно характеризует качество в формах, предшествующих суждению. Такими формами являются не только причинно объяснимые психические феномены вроде символов сновидения и т. п., но и примечательные релятивизации пространства и времени, которые мы тщетно пытаемся объяснить детерминистски. Это те парапсихологические явления, которые я обобщил в понятии *синхронистичность* и которые статистически исследовал Райн. Положительный результат его экспериментов поднимает парапсихологические феномены на уровень фактов, которыми нельзя пренебречь. Тем самым мы несколько продвинулись к пониманию загадочного психофизического параллелизма, ибо теперь знаем, что существует фактор, который перебрасывает мост через мнимую несоизмеримость тела и души; он наделяет вещество определенными «психическими» способностями, а душу — определенной «вещественностью», благодаря чему одно может воздействовать на другое. То, что живое тело оказывает воздействие на душу, представляется азбучной истиной; однако, если подойти к этому строго, нам известно лишь то, что физические уродства или болезни проявляются и в душе. Конечно, это предположение имеет под собой основание только в случае



признания самостоятельного, автономного существования души, что противоречит ходячему материалистическому представлению. Тем не менее оно опять-таки не способно объяснить, каким образом из химического обмена веществ возникает душа. Обе точки зрения, как материалистическая, так и спиритуалистическая, — это метафизические предрассудки. Предположение, что живому веществу присущ психический аспект, а душе — физический, лучше согласуется с опытом. Но если мы примем — как и следовало бы — во внимание парапсихологические факты, то гипотезу о психическом аспекте необходимо распространить за пределы биохимических процессов, на вещество вообще. В этом случае бытие основывалось бы на одной, пока неизвестной сущности, обладающей и вещественным, и в то же время психическим качеством. Если принять во внимание современный физикалистский способ мышления, данное предположение натолкнется, видимо, на меньшее противодействие, чем прежде. Тем самым была бы отвергнута и сомнительная гипотеза психофизического параллелизма, а отсюда появился бы удобный случай для конструирования новой модели мира, приближающейся к идее *in us mundus*. «Акаузальная» корреляция психических и не зависящих от них физических процессов, то есть синхронистические явления, в частности психокинез, таким образом оказалась бы в сфере понятного, ибо всякое материальное событие включало бы *eo ipso* (в силу этого) психическое, *et vice versa* (и наоборот). Подобные соображения — не словесное трюкачество, за которым ничего не стоит, а повод к серьезному психологическому исследованию феномена НЛО, что и будет сделано далее.

# Феномен НЛО с непсихологической точки зрения

Если принять во внимание противоречивость и «невероятность» слухов об НЛО, причин для того, чтобы рассмотреть этот феномен как исключительно психологический, более чем достаточно. Вполне естественно, что слухи об НЛО наталкиваются на критику, скепсис и открытое неприятие. И хотя кое-кто не желал бы видеть за ними ничего, кроме бреда, смущающего души и вызывающего протесты разума, таких людей, однако, можно не только понять, но даже почувствовать к ним что-то вроде симпатии. Разумеется, можно было бы удовлетвориться психологическим объяснением и тем очевидным фактом, что в формировании слухов решающую роль играет сознательная и бессознательная фантазия, даже прямая ложь, и побыстрее сдать все дело *ad acta* (в архив).

Но дело в том, что эту ситуацию, какой она представляется нам сегодня, разрешить подобным способом невозможно. Насколько мне известно, существуют подтвержденные многочисленными наблюдениями факты, что НЛО воспринимались не только визуально, но отражались на экранах радаров и — *last not least* — зафиксированы на фотопленке. В данном случае я опираюсь на синоптические (безусловно не вызывающие сомнения) данные Руппельта и Кейхоу, а также на то обстоятельство, что астрофизику профессору Мензелу не удалось, несмотря на все предпринятые им усилия, удовлетворительно объяснить

рациональными средствами хотя бы одно достоверное сообщение. Иными словами, когда признают, что либо психические проекции отражали луч радара, либо, наоборот, появление реального тела давало повод к мифологическим проекциям, — становится понятным, что речь идет о серьезных вещах.

Могу лишь уточнить, что даже при физической реальности НЛО соответствующие психические проекции являются, собственно говоря, не причиной, а поводом. До эпохи наблюдения НЛО никому не приходило в голову связывать первое с последним. Существовали мифические свидетельства, основанные в первую очередь на особом свойстве заднего плана психики, коллективного бессознательного, благодаря которому его проекции имели место всегда. Конечно же, проецируются и многие другие формы, а не только небесный круг. Выявленная мной проекция вместе со своим психическим контекстом является специфическим явлением нашего времени и характерна именно для него. В свое время доминирующее представление о Посреднике и о Боге, ставшем Человеком, вытеснило на второй план политеистическое представление, а сегодня и ему, в свою очередь, предстоит превратиться в иллюзию. Миллионы так называемых христиан утратили веру в реального и живого Посредника, и в то же время те, кто верует, стремятся обратить в свою веру первобытные народы, хотя куда плодотворнее и важнее сейчас побеспокоиться о белом человеке. Но всегда гораздо легче, да и умирительнее говорить и действовать сверху вниз, чем в обратном направлении. Что делает Альберт Швейцер в Ламбарене? Люди, такие как он, гораздо нужнее в Европе.

Ни одному христианину не придет в голову оспаривать важность религиозного представления вроде представления о Посреднике. Он, как и я, не станет отрицать последствия, к которым приведет утрата этой веры. Могущественная идея, подобная идее Божественного Посредника, соответствует глубочайшей душевной потребности, она не исчезает, даже если ее проявление угасает. Что происходит с энергией, которая когда-то питала эту идею, и чья мощь поддерживала душу? Политический, социальный, философский и религиозный антагонизм, никогда раньше не обострявшийся до такой степени, раздирает сознание нашей эпохи. Там, где столкнулись подоб-

ные неслыханные противоречия, можно с уверенностью ожидать, что Потребность в посредничестве заявит о себе. Впрочем, моление о посреднике крайне непопулярно из-за иррациональности и ненаучности. В нашу статистическую эпоху нет места ничему подобному. Поэтому потребность, основанная на глубочайшем страхе, может выражаться только вполголоса. Кому, скажите, хочется быть пессимистами, как ранние христиане? Ведь именно оптимизм, высокая конъюнктура и неизменная улыбка (*keep smiling*) — главные атрибуты героя американизированной вселенной. Даже робкий пессимизм сразу же наводит на мысль о разрушительных намерениях, хотя это, пожалуй, единственное, что могло бы сделать нас вдумчивее. Впрочем, оптимистическая, крикливая и суетная поверхность не может препятствовать зарождению в глубинах человеческой души идеи посредника. Тысячекратно подтверждается наблюдение, что и в природе, и в душе напряжение противоположностей означает *потенциал*, который в любое время может разрядиться посредством выхода энергии. Падение камня или водопад соединяют верх и низ, между горячим и холодным происходит турбулентный обмен. Аналогичным образом между психическими противоположностями возникает поначалу бессознательный «объединяющий символ». Именно этот процесс происходит в бессознательном современного человека. Между противоположностями спонтанно образуется символ единства и целостности независимо от того, осознается он или нет. Если же во внешнем мире появляется что-то необычное или впечатляющее, связанное с человеком, предметом или идеей, то на это может быть спроецировано бессознательное содержание. В результате носитель проекции становится нуминозным и наделяется мифическими силами. Вследствие этого он действует в высшей степени суггестивно и приспособливает к себе легенду, основные черты которой повторяются с давних пор.

Повод к обнаружению скрытого психического содержания предлагает НЛО. С некоторой гарантией мы знаем о нем только то, что он обладает поверхностью, видимой глазом и одновременно отражающей сигнал радара. Все же остальные сообщения до такой степени ненадежны, что их до получения до-

полнительных сведений следует считать неподтвержденными догадками или слухами. Неизвестно даже, идет ли речь об управляемых машинах или о разновидности животных, неведомо откуда появившихся в нашей атмосфере. Вряд ли стоит называть это неизвестным метеоритным явлением, поскольку способ действия объекта никак не производит впечатление события, требующего физической интерпретации. Произвольность движения объектов и такие явления, как, например, изменение курса и бегство (а может быть даже нападение или защита) обнаруживают их принадлежность к психике. Они движутся в пространстве не прямолинейно и не с постоянной скоростью, как метеоры, а меняя направление, как летающие насекомые, и с различной скоростью — от нуля до многих тысяч километров в секунду. Наблюдаемые ускорения и изменения курса таковы, что их, как и высокую температуру, вызываемую трением о воздух, не выдержало бы ни одно земное существо.

Одновременное визуальное и радарное наблюдение было бы само по себе достаточным доказательством реальности. Но, к сожалению, это перечеркивают основательно документированные сообщения, согласно которым бывали случаи, когда глаз видит нечто, но это не появляется на экране радара, или когда объект виден на радаре, но не воспринимается зрением. О других, более курьезных сообщениях, тоже опирающихся на авторитетные свидетельства, я не хочу упоминать, поскольку из-за своей невероятности они предлагают слишком жестокое испытание разуму и готовности доверять.

Если эти предметы реальны — в чем по человеческим меркам вряд ли стоит сомневаться, — нам остается только выбирать между гипотезами *невесомости*, с одной стороны, и *психической природы* — с другой. Решить эту проблему мне не по силам. При таких обстоятельствах более уместно, как мне кажется исследовать в первую очередь психологический аспект феномена НЛО, чтобы добиться хоть некоторой ясности в этом запутанном деле. Посему я ограничился немногими, самыми очевидными примерами. К сожалению, более чем за десять лет мне не удалось собрать достаточного количества наблюдений, на основе которых можно сделать достоверные выводы. По этой

причине я был вынужден довольствоваться обозначением хотя бы нескольких направлений будущих исследований. Замечу, что это почти ничего не добавляет к физическому объяснению явления. Однако психическая сторона играет настолько значительную роль, что ее нельзя оставить без внимания. В ходе ее анализа высветились психологические проблемы, которые связаны с фантастическими допущениями или невероятностями в той же степени, что и физикалистский угол зрения. Если даже военным пришлось учредить бюро по сбору и анализу соответствующих наблюдений, то психология, со своей стороны, не только имеет право, но и обязана внести свой вклад в прояснение ситуации.

Проблему *антигравитации*, возникшую в связи с феноменом НЛО, я обязан оставить физике, только она в состоянии объяснить нам, есть ли у подобной гипотезы шанс на успех. Противоположный взгляд, согласно которому речь идет о чем-то психическом, что при этом обладает физическими качествами, представляется еще менее вероятным — откуда бы взяться подобным предметам? Если даже невесомость — трудноразрешимая гипотеза, то идея материализованного психического вообще не имеет под собой почвы, хотя парапсихология и располагает фактами материализации. Но подобный феномен возможен лишь при наличии одного или нескольких медиумов, которые только объединенными усилиями могут произвести субстанцию, обладающую весом. Конечно, психика способна передвинуть тело, но только вблизи живой структуры. Но чтобы психическое по качеству явление, обладающее свойствами вещества и наделенное огромным энергетическим зарядом, воспринималось на значительном удалении от медиумов — это выше нашего разума. Здесь наше знание совершенно бесильно, и нет смысла рассуждать о таких вещах.

Мне думается, что есть и третий вариант, естественно, со всеми необходимыми оговорками: НЛО — реальные вещественные явления неизвестной сущности, предположительно прибывшие из космического пространства, которые, видимо, издавна наблюдались жителями Земли, но в остальном не имеют никакого явного отношения к нашей планете или к ее обитателям. Однако в самое последнее время — частью из-за фанта-

зи о возможном прилете космического корабля, частью — из-за острой угрозы земному существованию — содержимое бессознательного спроецировалось на непонятные небесные явления, что придало им явно не заслуженную значимость. Так как со времени второй мировой войны они стали появляться чаще, чем раньше, то речь может идти о *синхронистическом феномене*, то есть о соответствующем совпадении двух процессов. Психическая ситуация человечества, с одной стороны, и феномен НЛО в качестве физической реальности — с другой, не имеют в явной каузальной связи, а скорее накладываются друг на друга в результате осмысления. Их смысловая связь возникает, во-первых, благодаря проекции и, во-вторых, благодаря согласующимся с проецируемым смыслом круглым и цилиндрическим формам, с незапамятных времен выражающим единство противоположностей. Другим столь же «случайным» совпадением является выбор авиационных знаков отличия в Советской России и США: в одном случае — красной пятиконечной звезды, в другом — белой. Почти целое тысячелетие красное считалось мужским, а белое — женским цветом. Алхимики говорили о *servus tibeus* (красном рабе) и о *femina candida* (белой женщине), которых они совокупляли и тем самым соединяли противоположности. Когда говорят о России, охотно вспоминают о «батюшке» царе и о «батюшке» Сталине; говоря об Америке, редко обходятся без выпадов в адрес «матриархата» в этой стране, подразумевая что большей частью американского капитала владеют женщины (достаточно вспомнить шутку Кайзерлинга об «американских тетушках»). Пожалуй, можно предположить, что подобная параллель не имеет ничего общего с выбором символа, по крайней мере не в виде осознанной причиной связи. Продолжая в том же духе, можно прийти и к другим комическим выводам; например, то обстоятельство, что красный и белый являются брачными цветами, позволяет представить Россию в забавной роли охладевшего или, наоборот, нежеланного любовника *femina candida* в Белом доме — даже если не говорить ни о чем более глубоком.

## | Эпилог

Я уже заканчивал рукопись, когда мне в руки попала небольшая книжечка: Орфео М. Ангелуччи «Тайна «тарелок»<sup>1</sup>, о которой я не могу не упомянуть. Автор ее — дилетант и сам себя характеризует, как невротика, страдающего «конституционными недугами». В 1952 году, сменив к тому времени ряд занятий, он устроился рабочим в отделение компании «Lockheed Aircraft Corporation» в Бербанке (Калифорния). По всей видимости, какого бы то ни было серьезного образования у него нет, но он обладает определенными естественнонаучными знаниями, превосходящими тот уровень, которого следовало бы ожидать при его обстоятельствах. Он — американский итальянец, наивный и, если не ошибаюсь, явный идеалист. Теперь он проповедует собственное «евангелие», возведенное ему посредством «тарелок». По этой причине я и останавливаюсь на его «откровениях».

Его карьера проповедника началась 4 августа 1946 года с наблюдения вроде бы подлинного НЛО. Говорят, что тогда он не слишком интересовался этой проблемой и в свободное время работал над сочинением, озаглавленным «Природа бесконечных сущностей»<sup>2</sup> (позднее он издал его за собственный счет). 23 мая 1952 года произошло событие, сделавшее его настоящим профессионалом: около 11 часов вечера он, по его словам,

---

<sup>1</sup> *Orfeo M. Angelucci. The Secret of Saucers. Amhurst Press, 1955.*

<sup>2</sup> По характеристике автора в ней говорится об «Atomic Evolution Suspension and Involution, Origin of Cosmic Rays» (прекращении и свертывании развития атомов, источнике космических лучей).



почувствовал себя плохо, ощутив в верхней части головы покалывание, как перед грозой. Это произошло в ночную смену, и когда в 12.30 утра он в своем автомобиле возвращался домой, то увидел красный светящийся овальный объект, который парил низко над горизонтом, вероятно, никем, кроме него, не замечаемый. На пустынном участке, где полотно дороги возвышалось над окружающей местностью, он увидел «на близком расстоянии», чуть ниже полотна, круглый «пульсирующий» объект красного цвета. Неожиданно под углом от 30 до 40 градусов объект рванулся ввысь и с огромным ускорением умчался на запад. Но прежде чем он исчез, от него отделились два зеленых огненных шара, из которых зазвучал «мужской» голос, говоривший на «настоящем английском». Ангелуччи сумел запомнить слова: «Не бойся, Орфео, мы — друзья!» Голос предложил ему покинуть автомобиль. Он вышел из него и, прислонясь к машине, с «близкого расстояния» смотрел на эти два «пульсирующих» объекта круглой формы. Голос сообщил, что светящийся шар — это «средство передачи», то есть разновидность органа чувств, и что Орфео находится в прямом контакте с «друзьями из другого мира». Голос напомнил ему о событии 4 августа 1946 года. И, едва Орфео почувствовал сильную жажду, голос предложил: «Выпей из хрустального бокала, который ты видишь на крыле автомобиля». Он выпил — это был «самый великолепный напиток, который ему когда-либо приходилось пробовать», — и почувствовал себя посвежевшим и окрепшим. Оба светящихся шара отделяли друг от друга примерно три шага. Вдруг они поблекли, и между ними возникло «трехмерное» свечение, внутри которого появились головы и плечи двух фигур — мужчины и женщины («being the ultimate of perfection» — абсолютно совершенных существ) с огромными сияющими глазами. Несмотря на свое совершенство, они были, как ни странно, знакомы и близки Орфео. Они рассматривали окружающую его местность. Ему казалось, будто он находился с ними в телепатической связи. Видение исчезло так же внезапно, как и появилось, а огненные шары снова засияли. Вновь зазвучал голос: «Путь будет открыт, Орфео... Мы видим каждого жителя Земли, и не так, как это позволяют ограниченные человеческие органы чувств. За жителями твоей

планеты наблюдение велось столетиями, но лишь недавно их подвергли повторному исследованию. Каждый шаг вашего общества регистрировался нами. Мы знаем вас так, как вы сами себя не знаете. Каждый человек — мужчина, женщина, ребенок — зарегистрирован нашей статистикой с помощью кристаллических дисков. Любой из вас бесконечно дороже нам, чем вам, обитателям Земли, потому что вы не сознаете подлинную тайну своего существования... Из-за древнего родства нашей планеты с Землей нас связывает с ее жителями братское чувство. В вас мы можем увидеть давно прошедшие времена и воссоздать некоторые детали своего прошлого. С глубоким сочувствием и пониманием мы наблюдаем путь вашего мира сквозь болезни роста. Мы просим тебя видеть в нас твоих старших братьев».

Из последующего автор узнал, что НЛО доставляют корабли-матки, хотя пассажиры НЛО не нуждаются в подобных средствах передвижения. Им, «эфирным» существам, последние нужны только для того, чтобы предстать перед людьми в материальной форме. НЛО почти достигли скорости света. «Скорость света равна скорости истины» (то есть «быстроте мысли»). Небесные пришельцы вполне безобидны и преисполнены лучших намерений. «Космический» закон запрещает шумную посадку на Земле. В настоящее время Земле угрожает большая опасность, чем когда-либо прежде.

После этих откровений Ангелуччи ощутил, что им овладели возвышенные чувства и уверенность. «Дело обстояло так, — рассказывает он, — словно на мгновение я поднялся над смертью и породнился с этими высшими существами». Когда светящиеся шары исчезли, ему показалось, будто обыденный мир утратил свою реальность и стал местом обитания теней.

23 июля 1952 года он снова почувствовал недомогание и не пошел на работу. Вечером когда он вышел прогуляться, на обратном пути в пустынном месте его охватили ощущения, подобные пережитым 23 мая того же года. С этим было связано «the dulling of consciousness I had noted on that other occasion» (помрачение сознания, которое я замечал в некоторых других случаях), то есть «abaissement du niveau mental» (понижение уровня сознания) — состояние, являющееся одной из самых

важных предпосылок возникновения спонтанных психических феноменов. Внезапно Ангелуччи увидел перед собой слабо светящееся, туманное образование на земле, напоминающее большой «мыльный пузырь». Этот объект на глазах обрел плотность, и он увидел что-то вроде входа, за которым угадывалось ярко освещенное внутреннее помещение. Войдя туда, он оказался в сводчатой комнате около 6 метров в поперечнике, стены которой были сделаны из «эфирного, похожего на перламутр материала». Напротив него находился удобный шезлонг, изготовленный из такого же материала. В помещении было пусто и ощущалось какое-то странное безмолвие. Он сел в шезлонг, испытывая ощущение, будто садится на воздух. Было похоже, что шезлонг сам приспособился к форме его тела. Дверь закрылась так, словно ее не было вообще. Он услышал нечто вроде зуммера — какой-то ритмический шорох, похожий на вибрацию и погрузивший его в «состояние полутранса». Комната потемнела, а из стен зазвучала музыка. Затем снова вспыхнул свет и Ангелуччи увидел на полу большой кусок металла, похожий на монету. Когда он взял его в руки, ему показалось, что НЛО уносит его вдаль. Неожиданно открылось нечто вроде круглого окна около 9 футов в диаметре. Снаружи он увидел Землю — с расстояния 1000 миль, как объяснил ему знакомый голос. Он заплакал от умиления, а голос сказал: «Плачь, Орфео... мы плачем вместе с тобой над Землей и ее детьми. Несмотря на свою внешнюю красоту, Земля — чистилище среди планет, на которых сформировалась разумная жизнь. Ненависть, эгоизм и жестокость поднимаются с нее как темное облако». Затем они явно двинулись в космическое пространство и встретили НЛО из прозрачного, кристаллоподобного вещества, размером примерно 1000 футов в длину и 90 футов в поперечнике. Оттуда слышалась музыка, сопровождавшая видение гармонически вращающихся планет и галактик. Голос объяснил ему, что любые существа на его (то есть на другой) планете бессмертны. Только их смертные тени пекутся на Земле о своем освобождении от темноты. Все эти существа находятся либо на стороне добра, либо на стороне зла. «Мы знаем, Орфео, на чьей ты стороне». По мнению Ангелуччи, он благодаря своей физической слабости обладал духовным даром, и поэтому они,

небесные существа, сумели установить с ним связь. Он понял, что музыка, как и голос, исходили из этого огромного космического корабля, который медленно удалялся. Он заметил огненные вихри на обоих концах корабля-матки, служившие пропеллерами и одновременно, инструментом телепатического зрения и слуха (!).

На обратном пути они встретили два обычных НЛО, находившихся на пути к Земле. Все это время голос продолжал рассказывать ему об отношении высших существ к людям: поскольку последние морально и психологически не успевали за своим техническим развитием, поэтому они, жители других планет, стараются помочь обитателям Земли понять суть нынешнего кризиса, помочь им излечиться. Высшие существа говорили и об Иисусе Христе. Он, по их объяснениям, аллегорически был назван Сыном Божиим, в действительности же он «Повелитель огня» (Lord of the Flame), «безграничное солнечное существо» (an infinite Entity of the Sun), рожденное за пределами Земли. «В качестве духа Солнца», который «пожертвовал собой ради детей скорби» (людей), Христос стал «частью человеческой сверхдуши и мировым духом». Этим он отличается от других мировых учителей.

Любой человек на Земле обладает духовной, неизвестной ему *самостью*, которая выше материального мира и сознания и вечно существует вне времени, она духовно завершается внутри единства сверхдуши... У человеческого существования на Земле единственная цель — воссоединение с «бессмертным сознанием». Под испытующим взглядом этого «великого и сострадательного сознания» человек чувствует себя «извивающимся червем поганым, полным заблуждений и грехов». Орфео снова заплакал под соответствующее музыкальное сопровождение. Опять зазвучал голос и сказал: «Дорогой земной друг, теперь мы крестим тебя в истинном свете мира вечности». Сверкнула белая молния — и вся жизнь Ангелуччи четко предстала перед его глазами. Он вспомнил о всех своих прежних существованиях. Он познал «тайну жизни»! Он подумал, что должен умереть, ибо понял, что в этот момент его переместили в «вечность», в «безвременное море блаженства».

После этой вспышки света Орфео пришел в себя. Под аккомпанемент «эфирной» музыки его перенесли назад на Землю и НЛО внезапно исчез без следа. Дома, ложась спать, Ангелуччи ощутил жжение на левой стороне груди. Там он обнаружил стигмат размером с монету в 25 центов — круглый ожог с точкой в центре. Он интерпретировал его как «символ атома водорода».

С этого момента он начал проповедовать. На долю Орфео как свидетеля выпали все насмешки и недоверие, которые достаются мученику. 2 августа того же года вместе с восемью другими людьми он наблюдал ночью на небе обычный НЛО, через некоторое время скрывшийся. Тогда он опять отправился в уединенное, знакомое ему раньше место, но нашел там не НЛО, а некое образование, которое обратилось к нему со словами: «Приветствую тебя, Орфео!» Он уже лицезрел эту фигуру в предыдущем видении, тогда она пожелала, чтобы он называл ее «Нептун». Это был удивительно красивый, очень крупный мужчина с огромными выразительными глазами, контуры его тела колыхались, словно зыбь на воде. Нептун сообщил Орфео дополнительные сведения о Земле, о причинах ее плачевного положения и о грядущем избавлении, а затем исчез.

В начале сентября 1953 года Ангелуччи снова впал в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся около недели. Придя в себя, он вспомнил обо всем, что пережил во время своего «отсутствия»: он находился на небольшом «планетоиде», на котором жили Нептун и его спутница Лира, а, точнее выражаясь, на небесах. Они выглядели такими, какими Орфео мог себе их примерно представить — со множеством цветов, благоуханий, с нектаром и амброзией, с благородными эфирными существами и, конечно же, с почти неслышимой музыкой. Там он узнал, что его небесного друга зовут не Нептун, а Орион и что «Нептун» — это имя самого Орфео, данное ему тогда, когда он еще пребывал в этом небесном мире. Лира выказывала ему особое внимание, на которое Орфео, ставший Нептуном, отвечал в соответствии со своей земной природой эротическими чувствами, чем вызвал ужас небесного сообщества. Когда он с большим трудом отвык от этих человеческих — слишком человеческих — реакций, он удостоился «небесной свадьбы»,

мистического единения, аналогичного *coniunctio oppositorum* в алхимии.

Этим кульминационным моментом я закончу изложение этого *pelerinage de l'âme*. Без всякой психологии здесь возникает предположение, что Ангелуччи во всех подробностях описал мистическое переживание, связанное с НЛО. Пожалуй, мне нет необходимости детально это комментировать. История столь наивна и прозрачна, что интересующийся психологией читатель сразу поймет, как и в какой степени она подтверждает мои предшествующие предположения и выводы. Ее можно даже рассматривать как своеобразный «document» о появлении и интеграции мифологии НЛО. По этой причине я и дал Ангелуччи слово.

Суть психологического события, связанного с переживанием НЛО, заключается в видении или легенде о круглом, то есть о символе целостности и об архетипе, который выражается в форме мандалы. Как показывает опыт, мандалы чаще всего появляются в ситуациях запутанных и загадочных. Формирующийся таким образом архетип представляет собой образец порядка, который накладывается на психологический хаос как — если можно так выразиться — перекрестье психического прицельного устройства, или как нечто, разделенное на четыре части. После этого любое содержание «занимает» определенное место, а расплывающееся целое скрепляется посредством охраняющего и защищающего круга. В соответствии с этим восточные мандалы махаяна-буддизма представляют космический, временной и психологический порядок. Одновременно они образуют и шантру — предметы, с помощью которых производится упорядочение<sup>1</sup>.

Если нашему времени свойственны раскол, запутанность и загадочность, то это обстоятельство проявляется и в психологии человека, а именно в спонтанно возникающих фантастических картинах, в сновидениях и в активной силе воображения. У сво-

---

<sup>1</sup> К вопросу о физиологических основаниях сравни: *K. W. Bash, K. Ahlenstiel, R. Kaufman. Über Präyantraformen und ein lineares Yanträ.* — В кн.: *Studien zur Analytischen Psychologie C. G. Jung Festschrift zum 80. Geburtstag.* Zürich, 1955.

их пациентов я наблюдал подобные явления уже 40 лет и на основе богатого опыта пришел к выводу, что этот архетип играет центральную роль, то есть приобретает значение в той мере, в какой эго как таковое его теряет. Для состояния дезориентированности характерно именно снижение роли эго.

В психологическом отношении круг или мандала означают символ самости. Самость с точки зрения души есть архетип порядка *par excellence*. Форма мандалы обусловлена арифметически, поскольку целые числа — это в равной мере и упорядочивающие архетипы примитивной природы. Особенно это касается числа четыре, пифагорейского тетрактиса. Так как состояние замешательства возникает, как правило, в результате психического конфликта, то с мандалой эмпирически связано и понятие диады, объединяющей двойки, то есть синтеза противоположностей, как показывает видение Ангелуччи.

Центральное место принадлежит символу ощущения собственной значимости, что выражается, например, в появлении у Ангелуччи стигмата. Символ совпадает с образом Бога (подобно, скажем, *complexio oppositorum* Николая Кузанского — с диадой), или с определением Бога: «*Deus est circulus cuius centrum est ubique, cuius circumferentia vero nusquam*» (Бог — это круг, центр которого повсюду, а окружность нигде), «знаком водорода» у Ангелуччи. Символ выражается не с помощью Христовых, отличающих Господа язв, а посредством символа самости или абсолютной целостности, то есть на языке религии — Бога. Из этой психологической связи возникает и алхимическое сопоставление или аналогия Христа с *lapis philosophorum* (философским камнем).

Нередко в качестве этого центрального символа выступает глаз: это может быть либо постоянно открытый глаз рыбы (в алхимии), либо никогда не дремлющее Божественное око совести или все освещающее солнце. Современное событие — это психологическое наблюдение подобных символов; они предстают перед сегодняшним сознанием не в виде, скажем, явления извне светящегося шара, а в форме психического откровения. Примером может служить случай, когда некая женщина (без всякой связи с НЛО) несколько лет назад описала свое переживание в стихотворении.

### Видение

*Падает внезапно свет на галечное дно  
Глубокого синего пруда,  
В колышущихся водорослях  
Сверкает драгоценный камень.  
Проходя мимо, я обращаю на него внимание.  
Блеск искрящегося глаза рыбы,  
Рыбы прозрачной, как стекло,  
Очаровывает мой разум и сердце.  
Мерцающая серебряная луна —  
Рыба, обретающая очертания и форму, —  
Кружится и кружится в танце,  
Все ярче и ярче свет,  
Диск превращается в золотое солнце,  
Погружая меня в созерцание.*

Вода — это глубины бессознательного, в которые проникают лучи от света сознания. Танцующий диск, глаз рыбы, не парит в небе, а плавает в темной глубине внутреннего и нижнего мира души. Из него возникает озаряющее мир солнце, ихтос, «sol invictus» (непобедимое солнце), постоянно открытое око, которое одновременно существует само по себе и как rotundum, выражающим целостный характер самости, — око, отличающееся от божества разве что абстрактно. «Рыба» (ихтос), как и «солнце», новое солнце (novus sol), — это аллегория Христа, представленного в виде «ока» Божьего. В луне и солнце проявляется Богоматерь и ее возлюбленный Сын, как можно увидеть еще и сегодня во множестве храмов.

Видения НЛО, следуя старому правилу, появляются на небе. Фантазии Ангелуччи обращены явно к небу, а его космические друзья носят имена созвездий, и пусть они не античные боги или герои, но по крайней мере они — ангелы. Автор делает честь своему имени: если его жена, урожденная Борджианини, происходит, по его собственному выражению, «из зловещей памяти рода Борджиа», то сам он, судя по фамилии — ангелоподобен. Возвещая, в духе Элевсинских мистерий, бессмертие, он является новым Орфеем, избранным, чтобы посвятить мир в «мистерию» НЛО. Если его имя — умышленно выб-



ранный псевдоним, то можно сказать: «*é ben trovato*» (хорошо придумано!). Но если оно записано в свидетельстве о рождении, то это уже проблематичнее. В наше время уже нельзя с ходу заявить, что обычное имя способно внушать подобные идеи. Более того, в этом случае его дражайшей половине (или аниме) следует приписать дурную цель. Образ духовно недалекого, наивного и легковверного человека, за которого мы его принимаем, получит иное толкование, если вдруг предположить, а не поработала ли здесь «*a fine Italien hand*» (ловкая итальянская рука). Тем, что сознанию часто представляется невозможным, вполне может распорядиться бессознательное, действующее с природной хитростью: «*ce que diable ne peut, femme le fait*» (что не может дьявол, может женщина). И оно своего добилось: опус Ангелуччи — явление само по себе наивное и по этой причине открывающее бессознательные подосновы феномена НЛО — в результате оказывается весьма интересным для психолога. *Процесс индивидуации*, столь важный для нашей современной психологии, предстает здесь в символической форме, которая в соответствии с примитивным мышлением автора выражена прямо и конкретно, подтверждая тем самым наши предыдущие соображения.

\* \* \*

После того как этот эпилог уже пошел в печать, я узнал о книге Фреда Хойла «Черное облако». Профессор Ф. Хойл — всемирно известный авторитет в области астрономии, два его внушительных труда «Природа Вселенной» и «Современные проблемы астрономии» были знакомы мне и раньше. Именно это блестящее описание новейших открытий в астрономии и позволяет считать его смелым и оригинальным мыслителем. То, что Хойл обратился к научной фантастике, пробудило мое любопытство. В своем предисловии Хойл характеризовал свою книгу как «*a frolic*», шутку, и возражал против отождествления замыслов своего героя, гениального математика, с его собственными. Пожалуй, в эту ошибку не впадет ни один разумный читатель, хотя и возложит на Хойла ответственность за написание книги, задав вопрос: что же побудило автора обратиться к проблеме НЛО? Дело в том, что в своей «байке» он описывает, как

молодой астроном из обсерватории Монт-Паломар в поисках сверхновой звезды обнаруживает в южной части созвездия Орион темное пятно круглой формы. Это оказалась так называемая глобула, темное газовое облако, движущееся, как выяснилось, по направлению к нашей Солнечной системе. Одновременно в Англии наблюдают значительные колебания в периоде обращения Юпитера и Сатурна. По расчетам гениального математика из Кембриджа, героя истории, причиной этого оказывается некая масса, расположенная, как установят позднее, точно в том месте, где американцы обнаружили темное облако. Эта глобула, чей поперечник примерно соответствует расстоянию от Солнца до Земли, состоит из водорода относительно высокой плотности и движется со скоростью 70 км/сек прямо к Земле, которой достигнет примерно через 18 месяцев. Когда темное облако оказалось в непосредственной близости от Земли, везде наступала страшная жара, возникли пожары, уничтожившие большую часть живой природы. Затем полностью померк свет и опустилась тьма, более ужасная, чем египетская, — *nigredo*, как оно изображено в «*Auroga Consurgens*» (алхимический трактат, который приписывают святому Фоме): «*Aspiciens a longe vidi nebulam magnam totam terram denigrantem, quide hanc exhauserat meam animam tegentem...*»<sup>1</sup>

Когда мало-помалу прояснилось, наступил невыносимый холод, что опять-таки означало смертельную катастрофу. Тем временем британское правительство переправило авторитетных ученых в окруженный колючей проволокой поселок-лабораторию, где они благодаря принятым мерам безопасности переживают катастрофу. Наблюдая странную ионизацию атмосферы ученые приходят к выводу, что облако самоуправяемо и поэтому внутри него должна находиться разумная движущая сила. С помощью радио им удалось вступить с ней в связь и получить от нее ответы. Таким образом стало известно, что об-

---

<sup>1</sup> «Созерцая с далекого расстояния, я увидел огромное облако (или мглу), которое бросило черную тень на всю землю; в то время как оно поглощало ее, моя душа закрылась...» М. — L. v. Franz «*Auroga Consurgens. Mysterium Coniunctionis. Vol. III, p. 48.*

лаку 500 миллионов лет, а в данный момент оно находится в состоянии обновления и расположилось возле Солнца, чтобы зарядиться от него энергией. Оно, так сказать, «пасется» возле Солнца. Ученые также узнали, что по ряду причин облаку приходится выводить все вредные для него радиоактивные вещества. Этот факт обнаруживают и американские наблюдатели, и теперь по их инициативе, чтобы «убить» облако, его собираются обстрелять водородными бомбами. Между тем выяснилось, что оно разместилось кольцом вокруг Солнца и из-за этого Земле угрожают катаклизмы продолжительностью в два года. Разумеется, среди вопросов, задаваемых англичанами облаку, есть и «метафизический»: имеются ли в космосе более крупные существа старше по возрасту более мудрые, обладающие большими знаниями? На это облако отвечает, что уже беседовало с другими глобулами, но столь же мало продвинулось в познании, как и люди. Совершенно добровольно оно проявляет готовность непосредственно передать людям свои огромные знания. Провести эксперимент соглашается молодой астроном. Он впадает в гипнотическое состояние, в ходе которого из-за какой-то разновидности воспалительного процесса умирает, так и не успев сообщить хоть что-нибудь. Продолжить эксперимент берется гениальный профессор из Кэмбриджа — при условии (одобренном облаком), что процесс передачи будет протекать гораздо медленнее. Несмотря на это, профессор впал в безумие, которое привело его к гибели. Тем временем облако уже само решает оставить солнечную систему и поискать другую область неподвижных звезд. Опять показывается Солнце, и все становится как прежде, если не считать чудовищного урона, нанесенного живым существам Земли.

Легко можно понять, что автор имеет в виду легенду нашего времени об НЛО: из космоса к Земле приближается круглое образование, что означает всемирную катастрофу. Правде, легенде больше свойственна политическая подоплека, она предсказывает ядерную катастрофу. Хотя раздаются немало голосов, которые с появлением НЛО связывают опасность, вторжения на Землю обитателей звезд, способных придать нашему сомнительному положению неожиданный и, быть может, нежелательный оборот. Странная мысль, что облако обладает разнообразно-

стью нервной системы и соответствующей психикой или разумом, не является оригинальной, поскольку в слухах об НЛО уже проскальзывали рассуждения о «sentient electrical field» (чувствующем электрическом поле), а также идея, что НЛО — как и облако, которое заряжается солнечной энергией — каким-то образом «запасается» на Земле кое-чем: водой, кислородом, мелкими живыми существами и т. д. Круглое облако явилось причиной высвобождения крайних контрастов температуры и абсолютного *pigredo*, наступления мрака и тьмы, что известно нам из сновидений алхимиков. Это высвечивает характернейший аспект той психологической проблемы, которая возникает, когда дневной свет, сознание, непосредственно сопоставляется с ночью, то есть с коллективным бессознательным. Противоположности высшей интенсивности сталкиваются друг с другом, возникает дезориентация и помрачение сознания, способное принимать угрожающие размеры, как это можно наблюдать в начальной стадии психоза. Данный аспект, то есть аналогию с психической катастрофой, Хойл изображает в сопоставлении психического содержания облака с сознанием двух несчастных жертв. Подобно тому как живые существа, столкнувшись с облаком, как правило, гибнут, так психика двух ученых разрушается в результате столкновения с бессознательным.

Будучи символом целостности, круглая форма тем не менее представляет опасность для недостаточно подготовленного сознания, которое, не воспринимая целостность, понимает ее ложно и поэтому не переносит. Неподготовленное сознание осознает целостность только в спроецированной вовне форме и не может интегрировать ее в качестве субъективного феномена. Это приводит к такому же роковому недоразумению, на которое обречен и душевнобольной: событие воспринимается как конкретный внешний факт, а не как субъективный (символический) процесс; внешний мир, естественно, оказывается в безнадежном хаосе и действительно разрушается, поскольку больной почти полностью утрачивает связь с ним. (У Хойла аналогию с психозом можно проследить в бредовом состоянии профессора.) В эту принципиальную ошибку впадают не только душевнобольные, но и все те, кто философские или теософские рас-

суждения принимает за объективную действительность, а собственную веру в ангелов рассматривает, к примеру, как гарантию, что те существуют объективно.

Важно, что несчастье постигает именно подлинного героя истории, гениального математика, ибо ни один автор не избегал того, чтобы не наделить героя некоторыми чертами собственной личности, не вложить частицу самого себя. Происходящее с героем символически наносит удар и по автору, что в данном случае, безусловно, представляет серьезную опасность: возможное столкновение с бессознательным будет означать гибель большинства дифференцированных функций сознания. Согласно общему, так сказать, нормальному предубеждению, погружение в бессознательные мотивы и склонности с необходимостью приводит к фатальному расстройству сознания. Однако именно этот контакт чаще всего способен изменить сознательные установки. Так как в нашей истории содержание бессознательного проецировалось вовне, то человечеству и вообще органической жизни на Земле сильно досталось. Автор это не особенно подчеркивает, скорее, упоминает как побочное явление, из чего можно заключить о преимущественно интеллектуальной установке его сознания.

Испугавшись, надо полагать, сотни водородных бомб, чья радиация якобы способна повредить его нервную систему, облако удалилось от Земли. О его сущности мы, собственно говоря, ничего не узнали, кроме того, что в основном метафизическом вопросе его познания так же ничтожны, как и наши. И все же интеллект облака оказался для людей непереносимо высоким, в связи с чем оно становится очень уж похожим на божественное или ангелоподобное существо. Здесь великий астроном протягивает руку наивному Ангелуччи.

С психологической точки зрения Хойл описывает фантастические вещи, которые благодаря символической природе обнаруживают свой источник в бессознательном. Где постоянно происходит подобное сопоставление, там, как правило, обозначается и попытка интеграции. Такая интеграция выражается в желании облака подольше находиться возле Солнца, чтобы насыщаться его энергией. С позиции психологии это означало бы, что бессознательное приобретает силу и жизнь через свое со-

единение с Солнцем. Вследствие этого Солнце теряет не энергию, а Землю и жизнь на ней, то есть людей. Оно должно оплатить издержки этого вторжения или — точнее говоря — вспышки бессознательного. Что в таком случае означает с психологической точки зрения космическое или психическое столкновение? Очевидно, что бессознательное провоцирует помрачение сознания, поскольку тем и другим нет никакого контакта, никакого диалектического процесса. Для индивида это означает, что облако перехватывает у него солнечную энергию, то есть его бессознательное берет верх над сознанием. Это равнозначно всеобщей катастрофе, как мы ее пережили в виде национал-социализма или еще переживаем в виде коммунистического подъема, при котором архаический общественный порядок угрожает человеческой свободе тиранией и рабством. И человек отвечает такой катастрофе своим «лучшим» оружием. То ли по этой причине, то ли из-за изменения настроения, облако переместилось из этого района в другой. В переводе на язык психологии это означает: бессознательное, обеспечив себя энергией, снова удаляется на прежнее расстояние. Баланс энтузиазма не вызывает. Человеческому сознанию и жизни вообще нанесен неизмеримый урон в результате непонятной, недоступной чувствам *lusus naturae*, «*a frolie*» космического масштаба. В этом опять-таки подразумевается нечто психологическое, хотя пока и непонятное. Пережившие катастрофу впали в летаргический сон, отныне они существуют в опустошенном мире: в действительности сознание понесло серьезные потери, будто дурной сон похитил у него что-то существенное. Потери заключаются в том, что упущен единственный, быть может, шанс диалога с бессознательным. И хотя разумную связь с облаком удалось установить, но передача его содержания оказалась невыносимой, что привело к гибели участников эксперимента. О потустороннем содержании ничего не удалось узнать. Встреча с бессознательным окончилась безрезультатно. Наше знание не обогатилось — мы пребываем в той же точке, что и до катастрофы. В остальном же мы сделали по меньшей мере на полмира беднее. Первопроходцы науки, представители авангарда, оказались слишком слабыми и незрелыми, чтобы воспринять послание бессознательного. Остается только ждать, чем ока-

жется этот печальный исход — пророчеством или субъективным мнением?

Достаточно сравнить с этим простодушие Ангелуччи, и мы получим важную картину различия между установками необразованного и научного подготовленного человека. Обе сдвигают проблему в конкретную плоскость: одна, чтобы сделать правдоподобной небесную акцию по спасению; вторая, чтобы превратить привычное или, лучше сказать, мрачное предчувствие в занимательную литературную «шутку». И та и другая, как бы сильно они ни разнились, затрагивают один и тот же бессознательный фактор и пользуются принципиально сходной символикой для выражения бессознательной тревоги.

# Содержание

<b>Воспоминания, сновидения, размышления</b> .....	3
<i>Предисловие</i> .....	5
<b>Введение</b> .....	14
<b>Мое детство</b> .....	17
<b>Школа</b> .....	34
I .....	34
II .....	51
III .....	63
IV .....	77
<b>Студенческие годы</b> .....	89
<b>Психиатрическая практика</b> .....	119
<b>Зигмунд Фрейд</b> .....	149
<b>Знакомство с бессознательным</b> .....	171
<b>Происхождение моих сочинений</b> .....	199
<b>Башня</b> .....	219
<b>Путешествия</b> .....	233
Северная Африка .....	233
Америка: индейцы пуэбло .....	241
Кения и Уганда .....	248
Индия .....	269
Равенна и Рим .....	279
<b>Видения</b> .....	283



<b>Жизнь после смерти</b> .....	291
<b>Поздние мысли</b> .....	318
I .....	318
II .....	331
III .....	342
<b>Прошлое и настоящее</b> .....	344
<b>Современный миф.</b>	
<b>О вещах, наблюдаемых в небе</b> .....	349
<i>Предисловие</i> .....	351
<b>НЛО — предмет слухов</b> .....	354
<b>НЛО в сновидениях</b> .....	372
<b>НЛО в живописи</b> .....	433
«Сеятель огня» .....	433
«Четвертое измерение» .....	442
Картина И. Танги .....	449
<b>К истории феномена НЛО</b> .....	457
Базельский листок 1566 г. ....	457
Нюрнбергский листок 1561 г. ....	458
Гравюра XVII века .....	460
Из рукописи «Познай пути»(Scivias)	
Хильдегарды Бингенской .....	461
Заключение .....	464
<b>Феномен НЛО с непсихологической точки зрения</b> .....	472
<b>Эпилог</b> .....	478

Научно-популярное издание

**КАРЛ ГУСТАВ  
ЮНГ**

***ВОСПОМИНАНИЯ,  
СНОВИДЕНИЯ,  
РАЗМЫШЛЕНИЯ***

Подписано в печать с готовых диапозитивов 27.12.02.

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная. Бумага  
типографская. Усл. печ. л. 31,0.  
Тираж 5000 экз. Заказ 4737.

ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.2002.  
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман,  
д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие  
«Полиграфический комбинат имени Я. Коласа».  
220600, Минск, ул. Красная, 23.





Карл Густав Юнг (1875—1961) — всемирно известный швейцарский психолог и философ, основатель «аналитической психологии». Его работы «Воспоминания, сновидения, размышления» и «Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе» составляют содержание данной книги.

ISBN 985-13-1220-7



9 789851 312203